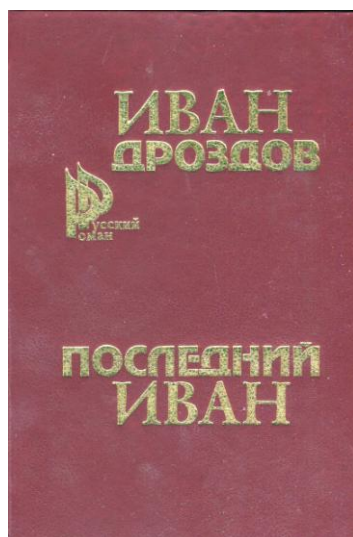




Иван Владимирович Дроздов Последний Иван

Роман – воспоминание

«О чем вы говорите? Пока мы не будем держать в своих руках прессу всего мира, все, что вы делаете, будет напрасно. Мы должны быть господами газет всего мира или иметь на них влияние, чтобы иметь возможность ослеплять и затуманивать народы».

Барон Монтефиори

Часть Первая

Глава первая

На дворе ноябрь 1990-го. Дворцовая площадь города на Неве кипит. Флаги, плакаты, речи. Россия, как застоявшаяся лошадь, бьет копытом. Черные бородатые люди зовут ее к революции. На этот раз, если она случится, она будет четвертой в XX столетии.

В дневнике своем я написал: «Дух отрицания и сатанизма растекается по миру, заражая народы вирусом бешенства. И может случиться, что в этой эпидемии погибнут многие страны и государства, погаснет и прекраснейшая из цивилизаций - славянская».

Есть у меня фронтовой приятель Меерсон Михаил Давидович. Он теперь все больше жмется ко мне, частенько с супругой Софьей Израилевной приходит в гости и тотчас заводит беседы о наболевшем.

- Вы вчера смотрели «Пятое колесо»? - спрашивает Михаил.

- Нет, не смотрел. Я редко включаю телевизор. И она вот,- показываю на жену свою Люцию Павловну,- смотрит только кино.

- Вам хорошо, вы его не смотрите, этого проклятого голубого разбойника. Я его включаю, и, представляете, он мне не дает спать. Я потом ночью часами смотрю в потолок и не могу сомкнуть глаз. Что-то с нами будет, что будет? Вот и вчера они вылезли на экран - шесть человек, и все шестеро - наши! И что-то там сказали обидное для русских. Ну вроде того, как сказал Арбатов об армии: дескать, ее надо сокращать! Или этот новый министр культуры, ну, тот, который был плохим артистом и вдруг стал министром. А? Как это вам нравится? А? Такое где-нибудь бывает? У нас бывает. Говорят, сам захотел. А? Как вам это

нравится? Захотел быть министром. Я бы хотел быть императором... хотя бы Эфиопии. Ну ладно. Если ты стал министром, не говори глупостей. А он взял и сказал: нам не нужен храм Христа Спасителя, нам нужен бассейн. И еще добавил: бассейн - тоже памятник! Ну? Вот и эти... шестеро — что-то брякнули. Ну, скажите на милость, зачем им всем лезть на экран и говорить гадости? Нет,. Иван, ты мне ничего не говори. Я знаю: ты всегда недолюбливал евреев и даже мне говорил, что все мы - пролазы. И я, твой приятель,- тоже. Скажу тебе больше: когда мы приходили к тебе в гости, а потом шли домой, моя Соня говорила: твой Иван - антисемит, и нечего с ним водить дружбу. Я ей говорю: мы живем в России, а к кому же мы должны ходить в гости? К китайцам? Они далеко. Надо ходить к русским. Но Соня всегда так: скажет глупость, а потом думает. Она думает, но уже потом, когда все сказала. Ну так вот: говорит, что ты - антисемит. Но теперь я больше антисемит, чем ты. Да, да, я - антисемит! Ты только посмотри на них: поналезли в «Пятое колесо» и во все телевидение и дразнят русских.

- Ах, вы вот о чем! - говорит моя жена.- Я вчера смотрела, но, позвольте, там были русские.

- Да, русские! Скажите лучше, русские фамилии. Но физиономии чьи, а? Или я, может быть, уже не узнаю своих? Вы тоже узнаете,- и не надо мне морочить голову. Посмотрите на меня: если я Меерсон, так уже Меерсон. И никто не скажет, что я киргиз. Да, Люция Павловна, я вижу, как вы говорите и что думают ваши глаза,- такие ваши замечательные карие глаза! Я напишу им письмо, буду протестовать!

- Раньше ты, Михаил,- возражаю я приятно,- не замечал таких вещей и будто даже радовался, если там, на экране, были все ваши. Я же помню: я в то время жил в Москве, и ты приезжал ко мне из Питера, показывал на экран, говорил: «Смотри, Иван! Новая рок-группа, талантливые ребята». На экране бесновались три еврея, били в барабан. Ты объявлял, как великую радость, что у вас в Питере есть еще и не такое - рок-группа «Тяжелый металл». Она приедет в Москву и покажет, как надо делать новую музыку. А теперь?..

- Они надоели и стали раздражать. Политики - тоже. Обозреватели, экономисты - все на одно лицо. Сначала крутились возле Горбачева. Писали планы. И что? Заводы остановились, товаров нет. А как пришел Ельцин - они к нему. Все разом. И все в министры: Есин, Шохин, Шойгу. А самый молодой из них - Явлинский - махнул в Казахстан, к Назарбаеву. Он и там сделает план. Наши любят делать планы - грандиозные! Канал, дамба, поворот рек... В Египте сделали пирамиды. Египтяне вбухали в них все силы и стали нищими. Они тогда прогнали евреев. Есть в Библии книга такая - Исход. Я знаю, читал. Казалось бы, хватит, не надо великих строек. Но нет, Явлинский, Шаталин, Шахрай и с ними Арбатов, Заславская не унимаются, делают новые планы. Да. Вот так! Они мутят воду, а я получу по шапке. Подойдут два шалопая и скажут: «Ты еще не уехал?» И - врежут!

- А помнишь, Михаил,- замечаю я мимоходом,- как ты мне говорил: если бы дали власть нашим, то есть вам, вы бы через Ледовитый океан перекинули мост. Только не сказал, зачем нам такой мост.

- Раньше и я думал так: нужны стройки века. Теперь так не думаю, теперь я боюсь. Все время жду: будет Армагеддон! Что это такое? А это, когда страшнее ничего нет. Армагеддон! И сделают его те, кто любит все перестраивать. У меня холодеет сердце, когда я вижу на экране наших, одних наших. Если журналист, то Зорин, если поэт - Вознесенский, экономист - Бунич, Лацис, специалист-международник - Бовин, Арбатов, Шишлин и еще кто-то. А самый крупный специалист по сельскому хозяйству - тоже наш, Черниченко. И как-то он говорит нехорошо, словно ему дверью защемили что-то. Надоели! Как ты не понимаешь, Иван! Да ты все понимаешь, только делаешь вид. В Ленинграде народ валит на площадь. Только и слышишь: там митинг, тут демонстрация. А позавчера по Невскому прошла колонна под лозунгом: «Отечество в опасности!» На Театральной площади бушевали «Россы». И тащат плакаты - в пять метров длиной: «Русским школам - русских учителей». И целая рота молодых здоровенных парней в форме царских офицеров. Зеленые фуражки, кокарды, портупеи - где только взяли? Через весь Невский тащат лозунг: «Пока не избавимся

от евреев - русских проблем не решим». Иван! Ты меня слышишь? Разве такую гнусную агитацию уже разрешают в России?

- В Москве разрешили сионистскую организацию. Русским тоже разрешили. А ты как хотел? Плюрализм!

- Кто это все придумал?

- Ваши придумали: Яковлев, Горбачев, Шеварднадзе. Демократия!

- Я бы им шею намылил!

- Сейчас не говорят: «намылить». Говорят: «смерить давление».

- Давление? Что это еще такое?

- Ты разве не знаешь? Румынскому Чаушеску, прежде чем вывести на расстрел, смерили давление. Его жене Елене - тоже.

- Ах, вот что! Ну, конечно, знаю. А интересно, у них нормальное было давление?

- У него - вроде бы да, а у Елены - чуть повышенное. Она, видимо, беспокоилась.

- Ты, Иван, зубоскалишь, тебе хорошо - тебе нечего бояться, а я сон потерял. Вчера с Соней были на Торжковском рынке,- там накануне облава была, сорок девять человек арестовали - кавказских торговцев. Рядом со мной парень с красной повязкой стоял. Говорит кавказцу: «Ты там передай своим, чтоб не баловали. Русский медведь рычит пока, а может и лапой по башке трахнуть. Лапа у него тяжелая, вас тут ни одного не останется». И меня с ног до головы оглядел, да так, словно кипятком ошпарил. Но мы-то с Соней при чем? Ты же знаешь, Иван, я на фронте хирургом был. Госпиталь бомбили, и мне осколком ударило в ногу. Ты это знаешь, но тот, с красной повязкой... и те, «Россы»,- они этого не знают.

- Довольно, Михаил! - успокаивает его Соня.- Закипел, как тульский самовар. Тебе надо попить валерьянку. Ты плохо спишь. Ночью встаешь и куда-то ходишь. Еще хуже, когда мы на даче. Подходишь к окну и все смотришь, смотришь. Особенно после той ужасной истории.

Дача Меерсонов на берегу Финского залива, в Комарово, между дачами двух выдающихся людей - академиков Кондратьева и Углова. Во время аварии на Чернобыльской АЭС на заборе усадьбы Меерсонов кто-то написал стишок:

Неизвестно, до какого
Жид уехал в Комарово,
А украинец-балбес
Бетонирует АЭС.

После этой выходки Меерсоны обновили забор, заказали металлические ворота с секретным запором. Ночью боялись выходить во двор. Михаил стал хуже спать.

- Ты хирург, известный в поселке человек - чего вам бояться?

- А я не хочу, не хочу, чтобы о нас так думали: что мы мешаем, что нас всех, без разбора... Нет, вы только подумайте: от нас надо избавиться! Меня - вон, на свалку! Вчера они вывели на площадь десять тысяч, завтра выйдут сто, двести... А там и бунт - всеобщий, страшный. Что нам прикажешь делать? - обращался Михаил ко мне, будто я лидер фаланги «Россов» и волен или не волен выводить людей на площадь.

- Брось паниковать,- сказал я строго.- Успокойся!

Михаил заговорил тише и без той уже нервозности.

- Я знаю вас, русских, и тебя знаю, Иван. Если к вам по-хорошему - лучше и народа на свете нет, но если вас раздражить... О-о... Вы такой Карабах заделаете! Не тот армянский или азербайджанский. Нет, то будет русский Карабах!

- Ты наговариваешь на нас, Михаил. Мы на такие дела не способны. Большой народ, как и большой зверь,- смирный. Нам его зить и руками размахивать не пристало. Зашибить сильно можем. Недаром же издревле у нас под боком множество наречий и народов живет. Иногда досаждают нам, в другой раз из терпения выведут - ну, шелкнем по носу, а так, чтобы, как ты говоришь, Карабах или, не дай Бог, Бухарест? Нет, Михаил, у нас этого не

будет. Спи спокойно и не дергайся по ночам. Не пугай Соню, а уж если припечет, ко мне приходи. Мы вас под диван спрячем. А теперь садитесь-ка за стол, будем пить чай.

Михаил и за столом не мог успокоиться. Продолжал ворчать:

- Ты, Иван, не обижайся, вы, русские, хороши, но и наши, черт бы их побрал! Поналезли во все щели. Раньше в редакциях гнездились, театрах, а теперь, оказалось, и в министерствах. А что до телевидения - плюнуть негде! Вот видишь, какой я антисемит.

- Не морочь мне голову, Михаил! Не то тебя заботит, что соплеменники твои все ключевые места в России захватили: в этом и есть ваша вожаделенная цель. Обнаружили они себя, слишком уж обнаглели - вот что тебя тревожит. Где-то я читал про вашу тактику: стойте у плеча владыки, а на трон не зарьтесь. А вы своего человека в Кремль завели, тут-то вас все и увидели.

Меерсон, устремив коричневые глаза на меня, тяжело, неровно дышал. Такого откровения он не ожидал. Хорошо, что Соня его, занятая беседой с хозяйкой, не слышала последних моих слов. С ней бы, пожалуй, случилась истерика, но Меерсон выдержал, он только почувствовал в висках прихлынувший ток крови, тупую боль в сердце. И голосом, хотя и изменившимся, но сдержанно-спокойным, проговорил:

- Ты что же - Горбачева, Ельцина считаешь евреями?

- Не будем копать в родословных. Булгаков всех евреев швондерами назвал, а всех пляшущих под вашу дудку - шариковыми. Так вот, Швондер или Шариков - это как в русской поговорке: хрен редьки не слаще.

- И что, Иван, ты во всех нынешних бедах нас что ли готов обвинить?

Голос Меерсона становился глуше, хриповатей.

- А кто у плеча Горбачева еще вчера стоял? Идеологией всей Яковлев ведал, его русские писатели с шестидесятых помнят, он еще тогда нас за русскую позицию громил. Иностранскими делами грузинский Швондер, то бишь Шеварднадзе, заправлял. Ну скажи на милость, какому бы царю пришло в голову иностранное ведомство державы доверить малограмотному, не умеющему толком по-русски сказать человеку? А уж о Ельцине и говорить нечего. Этот целый полк иудеев за собой тащит. Фамилии русские, а как на физиономии посмотришь - батюшки! Все ваши. Во главе правительства Черномырдин, вроде бы русский, но зато замы - ресины да есины да лифшицы. Так кто же после этого, скажи на милость, державу русскую разрушил, заводы на мель посадил, армию и науку на распыл пустил, водкой нечистой миллионы мужиков потравил? Кто? Чукчи? Калмыки? Может, корейцы или китайцы?

Михаил дышал все труднее, лицо стало землистым, глаза теперь сузились, светились желтым, нелюдским блеском. Он был сломлен и раздавлен очевидностью доводов, ни одной фамилии не мог опровергнуть. В сущности, я лишь продолжал развивать его мысли о природе случившихся с нами бед, но его тирады и монологи имели целью вызвать сочувствие с моей стороны, он ждал опровержений и в конечном счете защиты его соплеменников, а я вдруг подхватил его доводы и назвал вещи своими именами. По опыту работы с евреями, а работал я с ними всю жизнь, больше полстолетия, я знал, что лобовой атаки они не терпят. Их ум изошрен в иносказаниях, в подтексте и недомолвках, в откровенной лжи и фальсификации. А когда на них прет правда, да еще в обнаженном виде, да еще их избличающая, они теряются, а потом долго думают, чем ее нейтрализовать.

Евреи большие мастера маскировки и мимикрии, но они и не меньшие мастера саморазоблачений. Бог наградил их большой силой приспособляемости, но при этом положил предел их восхождения к власти. Он уподобил их камню, который чья-то сила все время затаскивает на средину горы, но затем та же сила выбивает из-под камня опору, и он с грохотом валится обратно, вниз,- и нередко в пропасть.

С трудом Михаил взял себя в руки.

- Мне иногда кажется, что вы, русские, хитрее нас, евреев,- проговорил он примирительно.

- Ты хотел сказать: умнее.

- Э-э, нет! Умнее нас в свете нет народа.

- Я все-таки думаю, что русские умнее. Пусть меня назовут шовинистом, но мы, русские, умнее. И лучше вас. Я так думаю. Я немножко шовинист.

- Хватит зубоскалить! А если серьезно, нам Суслова не хватает. Он баланс держал.

- Семьдесят пять ключевых постов отдавал евреям, а двадцать пять - русским. Вот его баланс! Других народов для него не существовало. Как в математике: есть настолько малые величины, что их не берут в расчет. Так он не брал в расчет якутов, марийцев, мордву... Для русских открывал клапаны, чтобы не накапливалось чрезмерное давление. А вообще-то он был ваш человек, и вы должны ему поставить памятник. Хотя бы в Израиле. Или, на худой конец, в Нью-Йорке, рядом со статуей Свободы.

- Ты опять зубоскалишь. С тобой нельзя говорить серьезно.

- Отчего же, давай. Я готов обсуждать любую тему.

- Мне уже не хочется ничего обсуждать. Сейчас так много произносят слов, что меня от них тошнит. Мне уже ничего не надо!

Да уж, верно: Меерсонам сейчас ничего не надо, кроме тихой спокойной жизни. И, конечно же, почтения со стороны сограждан. Он - специалист по лечению прямой кишки. Сразу после войны попал в ассистенты к мировому авторитету в этой области, несколько лет ассистировал, а затем получил в больнице отделение. Со временем стали поговаривать, что Меерсон берет взятки. В медицинской среде рассказывали эпизод: однажды к нему за помощью обратился известный в Ленинграде профессор-хирург. И будто секретарша Меерсона сказала по телефону: «Михаил Давидович вам операцию сделает, но она стоит пятьсот рублей». Мне Михаил звонил:

- Ты, наверное, слышал эту клевету? Какая мерзость! Меерсон - да, берет подарки, но взятки - никогда! У тебя есть приятель-хирург Вася Пяткин. Может быть, ты скажешь, что когда ему несут подарок, он отбегает в сторону? Нашли дурака!

Однажды в минуту откровенности Михаил мне рассказал, как он лечил финского фабриканта. Цветущий на вид, лет сорока мужчина, владелец фирмы по производству мебели. Но молодого хозяина беспокоит болезнь: ему трудно ходить, садиться. И вот фабрикант явился к Меерсону. Он неплохо говорит по-русски, просит сделать операцию. Меерсон с ответом не торопится, он то садится за стол, что-то пишет, то, поскрипывая протезом, ходит по кабинету. Время от времени взглядывает на больного, но ничего не говорит. Может быть, он этим долгим молчанием и хождением по кабинету подчеркивает сложность ситуации. Меерсон немножко артист, он и говорит не просто, а с каким-то игривым подтекстом, с не очень веселым юмором.

- Я слышал, вы хорошо делаете мебель,- почти как «Шаратон».

- Почему «почти»? - удивляется фабрикант, слышав фирму, с которой они давно конкурируют.- Наша мебель лучше «Шаратона», смею вас уверить.

- А я хотел приобрести «Шаратон».

- Мы можем поставить вам свою мебель. Уверю вас, вы будете довольны.

Мебель во все четыре комнаты Меерсоновой квартиры прибыла в Ленинград на трех машинах через неделю. А еще через неделю Меерсон сделал операцию. Фабрикант вскоре поправился и, счастливый, как на крыльях, полетел на родину.

В квартире у Меерсонов мебель финская, на даче - румынская и болгарская. Хорошо живут Меерсоны. Возраст у них почтенный, хочется им покоя. Но покоя нет. Каждый день приносит новые тревоги. Вот и вчера: по телевизору показали митинг. Я сразу же по горячим следам сделал запись в дневнике:

«Митинг весь пронизан русским национальным духом. Вот темы речей: "России вернуть прежнюю символику, возродить русскую культуру". Или: "Верховный совет создал комиссию по привилегиям, но кто ее председатель? Примаков, он же Киршблат. Хватит нам киршблатов! Надоели!"»

Тогда еще не знали, что этот академик станет при Ельцине министром иностранных дел России.

«Ораторы сменяют друг друга: "Верните нам прежние названия городов, улиц, площадей! Хватит нас дурачить, нам не нужны иудейские божки: Свердлов, Урицкий, Дзержинский". Доносятся крики: "Русским - власть в России и наш Андреевский флаг, наш старый национальный гимн!" К трибуне прорываются и члены ДС - Демократического союза. Они тоже стремятся попасть в струю настроений - говорят об экологии, о плюрализме, партаппаратчиках. Их захлопывают: "Космополитов-вон! Интернационалисты - домой, в Израиль!"

То, что еще вчера старались заклеить словами: "шовинизм", "национализм", ныне выплеснулось на площади, kloкочет горячими волнами народных страстей. И воспринимается, как крик исстрадавшейся души, как боевой клич, объединяющий русских людей. Это - как во время войны: "Вас осеняет великое знамя Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова!..»

11 января 1990 года газета «Ленинградская правда» напечатала письмо группы ленинградских евреев: «Прочитали коллективно вашу статью и пришли к выводу: "Россы" действуют правильно! Русские люди не против евреев. Мы - евреи и считаем, что Россией должны руководить русские люди, а другие нации должны спокойно жить и творчески работать. Россия должна быть русской, а евреи останутся на своей русской Родине. А. В. Фельдман». Тут же газета печатает письма других читателей - евреев и русских. Русская читательница пишет: «Кое-кого в толпе напугали лозунги "Россов", за что их обвинили в "фашизме", "национализме", "антисемитизме". Но, позвольте, что произойдет ужасного и "фашистского", если в русских школах русским детям будут преподавать русскую историю и культуру русские учителя? Насколько мне известно, русская интеллигенция поддерживает возрождение национальных школ в союзных республиках. Шли разговоры о создании таких школ и у нас, в Ленинграде».

Газета «Ленинградский литератор» поместила высказывание М. Салье: «Хочу создать национальную партию России». Той самой Марины Евгеньевны Салье, которая добивалась доверия ленинградцев на выборах в Верховный Совет СССР и не добились его. Утопленная в одном месте, вынырнула в другом - в Ленсовете. «Но позвольте,- недоумевали многие ленинградцы,- Салье - и национальная партия России? Может быть, не русская, а какая-то другая национальная партия в России?» Но нет, из пространных рассуждений Салье следовало, что в наших, русских головушках будто бы созрела мысль о создании своей национальной партии.

Где-то Салье обмолвилась: «Я - француженка!» Но и французам, наверное, нелегко знать, что там на уме у русских. Да и неловко судить об этом. Ну какому русскому взбредет в голову объяснять, к примеру, индусам, что творится в их головах и душах, или ехать в Дагомею и толковать каким-нибудь племенам тутси и пупси особенности их психологии? Да такое и сумасшедшему не придет в голову, а вот в нашей русской жизни, похоже, такие явления становятся нормой. У нас каждый инородец готов объявить себя учителем, очевидно, по причине «русского тупоумия», о котором в свое время сказал еще Ленин,- кстати, тоже не русский. Он, видимо, по той же причине, захватив власть, стал сколачивать в Кремле бойкую еврейскую дружину, а на себя лично принял роль вождя и учителя, и не только русского, а всего мирового пролетариата.

Великий «буревестник революции» Максим Горький сказал Ленину: «Чтой-то у вас в правительстве русских не видно, одни евреи?» Владимир Ильич ответил: «С русскими мне трудно работать, они меня не понимают».

Страсти в Питере продолжали бурлить. Я недавно живу в городе на Неве. Умерла моя жена Надежда, и я оставил Москву, где прожил почти сорок лет, переехал к своей новой супруге Люции Павловне. У нее тоже умер муж, мой приятель, большой ученый-физиолог Геннадий Андреевич Шичко, и мы решили жить в Ленинграде. Ходим на демонстрации, а вечерами я, как школьник, сижу у телевизора.

Вот на экране знакомое лицо - Сергей Воронин, известный писатель. Рассказывает о том, что раскололась надвое полутысячная писательская организация Ленинграда. От нее

отделился небольшой отряд - тридцать человек. Они создали свою писательскую организацию. Тридцать - число небольшое, если учесть, что там-то, в городской, осталось более четырехсот. Но вот что важно: мы, отколовшиеся, русские, а там во главе с Арро остались евреи. Так и сказал Воронин открытым текстом: мы - русские. А евреев назвал евреями. Раньше не принято было. И русских не называли русскими, и евреев тем более. Все были советскими. А тут... назвали. И оставшихся с Арро стали в городе называть арроновцами. И многим стало ясно, кто есть кто. И если уж арроновцы, то никакие они не писатели, а набежавшие в организацию по принципу: свои да наши.

В «Ленинградской правде» читаю откровения строгальщика Ижорского завода В. Иванова: «Я думаю, что в конце концов мы уже на грани того, что несмотря на то, что мы идем к государству правовому, нарастает такое недовольство, что скоро начнется самосуд, и вершить расправу будут прямо на месте, потому что рабочие уже возбуждены до того, что маленькая искра - и начнется такой раскрут, что трудно предположить, чем это кончится».

Чем напряженнее обстановка в городе, тем чаще люди говорят о евреях. И что особенно интересно, разговор обыкновенно заводят сами евреи. Они встревожены, торопливы и суетны. И странное дело: все остальные жители города невольно поддаются этой болезненной истеричности. И тут можно вспомнить Куприна: «Все мы, лучшие люди России... давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способная убить лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но во сто раз ужаснее то, что все мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решаемся. Можно печатно и иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуй-ка еврея! Ого-го. Какой вопль и визг поднимется среди всех этих фармацевтов, зубных врачей, адвокатов, докторов и особенно громко среди русских уж писателей,- ибо, как сказал один недурной очень беллетрист, Куприн, каждый еврей родится на свет с предначертанной миссией быть русским писателем».

Газеты добавляют страху, печатают интервью с прокурором города. Корреспондент спрашивает:

- А имеются ли хоть какие-нибудь основания для тех слухов, которые распространяются по городу? В частности, о так называемых «погромах»?

Прокурор отвечает:

- Во-первых, замечу, что сам факт появления всевозможных слухов именно в настоящее время вполне объясним. Ведь в стране сейчас сложное положение, в том числе и в экономике, что ощущают на себе и ленинградцы. А в подобной ситуации почва для раздувания различных слухов - самая что ни на есть благодатная. Вот они и поползли по городу, нередко обрастая, как снежный ком, самыми невероятными подробностями. В основном такие слухи передаются из уст в уста безо всякого злого умысла, однако при этом совсем упускаются из вида возможные последствия - от создания нервной обстановки до панических настроений у некоторых граждан.

В те дни я писал в Москву известной певице Эмме Масловой: «Пытался выполнить Вашу просьбу: организовать Вам гастроли в Питере. Куда там! Бесы настолько укрепились на берегах Невы, что и узкой щели не оставили для русского человека. Даже Борис Штоколов, несмотря на свой несомненный и внушительный авторитет, вынужден был оставить театр и мотается теперь по свету - дает концерты где угодно и лишь изредка появляется на сценах Питера. В операх свели на нет его репертуар, большую часть времени он проводит на гастролях».

Никто не знает законов жизни общественного организма: по каким причинам он возбуждается, бурлит и выплескивает свои страсти через край. Возмущения народа чем-то сродни наводнению. На город неожиданно падают сумерки, ветер треплет крону деревьев, гремит по крышам, а по небу со все возрастающей скоростью мчатся тучи. Нева выходит из берегов, затопляет город. Потом она уходит. И никто не заметил момента, когда вода

начинает спадать. Так и страсти людские. Никто не видит момента, не знает причин их успокоения.

Ныне на дворе 1997-й. Я просматриваю эти свои тетради,- написал их пять лет назад; тогда еще страну только начали разрушать, теперь она повержена и лежит почти бездыханная. Заводы остановлены - почти все, а те, что еще остались, работают на иностранцев и на скупивших их жуликов. Людям, еще работающим, по полгода не платят зарплату, женщины перестали рожать, мужчины пьют технический спирт, присылаемый из Америки для нашего умертвления. А народ... безмолвствует. В лучшем случае выйдет малыми группами на улицу и стоит с протянутой рукой: «Отдайте нашу зарплату». Зарплату ему не выдают, и он покорно плетется по домам. Что же с ним сделалось, с нашим народом? Уж, может, и вправду он сошел с ума?

Мы с женой в смятенном состоянии духа собираемся на дачу в Подмоскowie, под Сергиев Посад. Там я прожил почти сорок лет, люблю свой дом, усадьбу, сад. Деревья - мои дети. Я их сажал, растил, лелеял. В обнимку с природой будем отдыхать.

Однако и тут не дремлет голубой глаз злого волшебника. Смотрю в него и не верю глазам: о чем-то витийствует старый знакомец Аджубей Алексей Иванович. Между прочим, только евреи возвращают на арену политических мертвецов. Наши этого не делают, а если делают, то очень редко.

Перестройка, как всякое сильное общественное волнение, выбрасывает на поверхность пену - самых что ни на есть гнусных дельцов от политики, интеллектуальных захребетников, загребавших из народной казны миллионы, взлетающих на верх иерархической лестницы и там еще больше раскачивающих лодку общественной системы, вздымающих волны гнева и беспорядков. Аджубей я бы назвал крестным отцом самых злобных журналистов, оголтелых поносителей, принявшихся с приходом перестройки дружно развенчивать нашу историю, все то, что построено было поколением фронтовиков. Они понесли по кочкам армию, суд, милицию, на всю мощь раскрутили маховик развала, ослабления России.

Пройдет немного времени, и к молодым людям России с письмом обратится первоиерарх православной церкви зарубежья митрополит Виталий. Он скажет: «Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя русского возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Россия. Это почище Наполеона, Гитлера. Злые силы столько потрудились, чтобы сокрушить православную русскую державу, что для них возрожденная Россия - ночной кошмар с холодным леденящим потом».

Да, да, именно так. В закипевшие бои с начинающим просыпаться Ильей Муромцем они вводят все новые силы. Понадобился им и политический призрак - Алексей Аджубей, зловещая фигура хрущевского десятилетия. Думал я в те дни: «Вправе ли я не рассказать новым поколениям русских людей о тех, кто как злые духи точили корни нашей державы?»

Я работал в «Известиях», когда к нам пришел Аджубей. Это было в 1959 году - в середине суматошной эпохи правления Никиты Сергеевича Хрущева.

Помню, как происходила смена редакторов. Они сидели за красным столом в конференц-зале - Аджубей и главный редактор Константин Александрович Губин. Посредине - Леонид Федорович Ильичев, секретарь ЦК по идеологии. Губин сказал: «Сегодня я подписал трехтысячный номер "Известий"». И дальше говорить не мог: слезы душили его.

Судьба Аджубей и его дела - это судьба и дела человека, которому удалось породниться с главой государства и самому начать бурное восхождение к вершинам власти.

Кончалась небольшая передышка, добытая для русского народа его бесстрашным полководцем Г. К. Жуковым. Речь идет не о победах Жукова над немцами. Спустя одиннадцать лет он нанес внезапный и тяжелейший удар по сионизму: ввел в Москву две танковые дивизии, окружил Лубянку и пленил, а затем расстрелял Берию и вместе с ним выкинул из Кремля Кагановича, Молотова, Шепилова и других.

Это был удар, разорвавший цепь мирового иудейства, которая плотно сомкнулась надо всем миром, завершив, как считали евреи, процесс захвата ими мирового господства.

Хрущев, обеспечивший с помощью Жукова большинство в Политбюро и ЦК, стал теснить евреев с ключевых постов,- и, главное, из редакций газет и журналов. Но вот втершийся к нему в дом молодец, не помнящий, как он сам говорил о себе, родства, стал приобретать все большую власть. Несколько лет он преследовал Радугу Никитичну Хрущеву, женился на ней и стал главным редактором «Комсомолки». Затем «партия перебросила» его в «Известия». К тому времени у него уже было три сына.

Звали молодца Алексеем. А фамилию он имел восточную, почти сказочную.

Аджубей не Жуков, но тоже боец. Он солдат и даже полководец, только иной армии. Там и оружие, и приемы борьбы иные. Но если судить по результатам боев, и судить их мерками, успехов он достиг немалых, задачу свою выполнил: вернул своему легиону мощное идеологическое оружие - вторую газету страны.

Знаменитый в своем еврейском сообществе Мозе Монтефиори полтора века назад давал мудрый совет своему племени: «Напрасно вы приобретаете капиталы, захватываете торговлю и пр. Пока мы (евреи) не завладеем периодической печатью и не будем иметь в своих руках газеты и печать всего мира, до тех пор наши мечты о владычестве останутся пустою химерою».

Новый редактор наводнил редакцию своими людьми; ныне они там образовали монолит во главе с Голембиовским. Нам небезынтересно знать, как действуют аджубеевские легионы, как ловко манипулируют они искусством политической демагогии и мимикрии.

Нам важно знать их в лицо, уметь разгадывать вековые ребусы, распутывать хитросплетенную вязь лжи и надувательства, чтобы в предстоящих битвах за Россию не попасть, как это много раз уж бывало, в ловко расставленные ими сети.

Не часто, не навязчиво напоминал нам Алексей Иванович истоки своей компетентности, информированности и силы. Иногда приоткрывал завесу над семейной жизнью Владыки, говорил: «Никита-большой не садится обедать без Никиты-маленького».

Размякла, сомлела душа хозяина. Опасность еврейского засилья вновь замаячила на русском небосклоне.

На первом же редакционном совещании Аджубей объявил: «В нашем государстве нет газеты, выражающей мысли и чувства интеллигенции. Мы будем такой газетой». И коротко сформулировал программу:

- больше критики негативных сторон;
- критиковать, невзирая на лица,- предметно, называя фамилии. В том числе - крупных фигур;
- больше литературы и искусства. Больше науки, театра, живописи, архитектуры и т. д.;
- больше публицистики, очерков, эссе, фельетонов;
- больше интересного, важного, горячего.

Миша Буренков, харьковский корреспондент, мой приятель,- он на тот случай был в редакции,- поднял руку: «Позвольте!» И сказал примерно следующее. До сих пор наша газета была органом Верховного Совета. Так что же - такого органа больше не будет? Полагаю, нам никто не позволит менять лицо газеты, ее профиль, задачи.

Аджубей, придя к себе в кабинет, в окружении членов редколлегии метал громы и молнии, велел готовить приказ об увольнении Буренкова. Но Николай Дмитриевич Шумилов, бывший секретарь Ленинградского горкома и редактор «Ленинградской правды», - он по «ленинградскому делу» отсидел пять лет в одиночке,- его отговорил: «Вам не следует начинать с этого». Аджубей отступил.

Однако ближайшее окружение его скоро изменилось, и Шумилов уж не бывал так часто в его кабинете. У плеча нового главного стояли: Георгий Ошеверов - его заместитель, Валентин Китаин - заместитель ответственного секретаря, Михаил Цейтлин - заведующий иностранным отделом, Юрий Иващенко - заведующий отделом литературы и искусства, Любовь Иванова - заведующая отделом школ, глава «дамского» клуба - Маргарита Ивановна Кирклисова, старая женщина, которую называли «духовной мамой» Аджубея.

Вся эта бригада, за исключением Миши Цейтлина, пришла из «Комсомолки», где

Аджубей был главным редактором. Все они - евреи.

«Известия» были избраны вторым после «Комсомольской правды» участком, где совершался прорыв на незримой линии идеологической борьбы. Хрущев, ослепленный любовью к внукам, дал полную волю зятю, и тот, набрав дружину себе подобных, повел их в решительное наступление. Все темные силы, почуяв запах первых побед, устремились в пробитую брешь. Вскоре, уже при Брежневе, они хлынут питерским наводнением и заполонят все коридоры власти, культуры, торговли, медицины, и с непонятной яростью и упорством потащат страну в бездну хаоса, безверия, холодной душевной остуды, в омут одичания и зверства.

Уходили старые известинцы, рушился коллектив маститых журналистов, создававшийся годами. Их было мало, всего сорок пять в центральном аппарате, но каждый приходил сюда в результате тщательного отбора, проявив себя в других печатных органах.

Отделом литературы заведовал Виктор Полторацкий, писатель, журналист, честный, порядочный человек. Заместителем у него был Петр Карелин, мой добрый приятель, бывший ответственным секретарем у В. Кочетова в «Литературке», а затем - в «Октябре». Полторацкий и Карелин «ушли» первыми, а вскоре был вычищен и весь их отдел! На их место пришел белый, вертлявый еврей Юрий Иващенко, не имевший никакого отношения ни к литературе, ни к журналистике. Он был, как и все они, аджубеевцы, начисто лишен способности писать. Он делал политику, тащил в газету сотрудников и авторов одного толка - евреев. Насколько это были бестолковые и пустые люди, можно было судить по Китаину. Он был вторым замом ответственного секретаря, рисовал макет, втискивал статьи - делал газету сверху и внизу, то есть в редакции и в типографии. Принципы и стиль его работы мы поняли с первых же номеров: статьи старых известинцев, русских журналистов урезались, сжимались, они появлялись куцыми, их едва узнавали авторы; статьи новых известинцев - журналистов и авторов - подавались броско, широко, на видном месте. На страницах замелькали новые имена: Чайковская, Аграновский, Пархомовский, Шляппентох... В редакции появились киты журналистики, выходцы из верхов - Карпинский, сын Карпинского, Цюрупа, сын Цюрупы, Лацис и другие. Лицом схожие, точно братья.

В коридорах замельтешил народ израильский, все комнаты наполнились их гвалтом.

Мы по-прежнему держали свой редут - промышленный отдел «Известий». В большой комнате нас сидело четверо: Николай Пантелеев, друг Гайдара, Елена Черных, вдова редактора «Правды», я и - особняком, за огромным дубовым столом, Семен Борисович Розенберг, заместитель заведующего отделом - вечный заместитель, непотопляемый при всех режимах и редакторах, даже в пору сталинских гонений на евреев уцелевший. Ему уж было за пятьдесят, он был сед, сутул, грузен, ходил тяжело, львиную кудрявую голову поворачивал нескоро и неохотно. Казалось, он единственный из евреев не одобрял нашествия своих братьев. Может быть, и так. Может, знал, что добром такие нашествия никогда не кончались. И в самом деле, пять лет процарствовали они в «Известиях», потом Хрущева отстранили, а зятя его Аджубея в тот же день выставили. Впрочем, большинство его людей уцелели. Он за пять лет расширил штат, всех обеспечил квартирами, устроил сотни поездок за границу и многое-многое другое сделал для братьев-иудеев. Но все это потом, а тогда Розенберг все ниже клонил кудлатую голову, сурово оглядывал братьев-пришельцев и с нами будто бы посуровел, но общего тона не менял, никого не теснил, жизнь наша текла по-прежнему.

Кстати, Розенберг, к чести его, вел себя одинаково ровно и в дни, счастливые для евреев, и в дни суровых наваждений, когда папа Сталин вдруг начинал вычищать их из редакций и учреждений. Тогда друг его и однолесток Миша Цейтлин, сидевший и ждавший своего часа в иностранном отделе, повышал свою бдительность и активность. На каждом собрании, совещании клеймил своих - не грубо, не прямо, но нападал именно на тех, кто попадал в кандидаты на вылет. И даже если это был близкий к нему человек, не щадил, демонстрировал «партийную принципиальность».

Не знаю, что тут верно, что преувеличено,- мне так рассказывали

«старики»-известинцы.

Розенберга не трогали. И Розенберг никогда не поступал подобным образом,- сидел в дальнем ряду и молчал. И вот что странно: на Мишу Цейтлина будто бы разобидится, несколько месяцев не общается с ним, а потом они снова - не разлей вода.

Что это за тактика, я не знаю, но, как мне рассказывали ветераны-известинцы, всегда, еще со времен Бухарина, который редактировал «Известия» и был женат на дочери еврея Ларина (Лурье), комиссара Высшего экономического совета при Ленине,- в минуты тяжкие кто-то из них выскакивал на трибуну и начинал колотить своих. Этим он, очевидно, утверждал себя в среде новых хозяев. Нынешние евреи будто бы так не поступают.

В соседнем уютном небольшом кабинете сидел наш шеф - заведующий промышленным отделом Николай Дмитриевич Шумилов. У него в то время умирала жена, сошел с ума единственный тридцатидвухлетний сын, и сам он чувствовал себя нехорошо: был сер лицом, едва держался на ногах. Впрочем, случались более светлые минуты, и тогда он охотно вступал в беседу. Любил советовать. Однажды, выслушав мой доклад о поездке на строительство Сталинградской ГЭС, сказал:

- Поезжай-ка ты в Челябинск собкором, не то поздно будет.

- Что значит «поздно»? - спросил я.

- А то и значит: съедят они тебя. И я не сумею защитить. Они теперь русских выживать станут и на все места своих поставят. Уж знаю я их.

- И что же Черных, Пантелеева - тоже выживут? Они же ветераны журналистики.

- Их пока поддержат. А там и им дверь укажут.- Он помолчал, а потом добавил: - Они новые должности откроют. Синекуры создавать будут. Много синекур. Им надо своих устраивать.

Между прочим, за все десятилетия общения с евреями я узнал их первую страсть: везде раздувать штаты, своих устраивать. Вспомнил я прочитанное случайно письмо Сталина к уже больному Ленину, в котором секретарь ЦК предлагал отклонить проект некоего Кочина, как «плод карьеристских стремлений группы чиновников, стремящихся создать новые синекуры».

Вот когда еще начался процесс эксплуатации главной особенности социализма под их управлением - процесс создания бесчисленных «насосов», качающих кровь и соки общества. Ныне этот исполинский механизм в образе контор, научных учреждений, управляющих центров все развалил и разрушил, привел нас ко всеобщему позору и осмеянию, к очередям в магазинах, нехватке продовольствия, аляповатым товарам с непременным дефектом внутри. И всюду - тупики, провалы, заторы. Вчера по телевидению передавали конференцию учителей. И все то же: тупик в системе образования, и ни слова о педагогических академиях, гигантских министерствах просвещения, высшего образования, комитетах профессионально-технического обучения. Одних только научно-исследовательских учебных центров - двадцать. Знал бы Ленин и «отец всех народов» Сталин, каких размеров достигнет этот синекурный, сосущий из народа все здоровые соки механизм, зародыши которого уже видны были в начале 1920 года...

Однако вернемся к нашей редакционной жизни. Аджубей собрал совещание и с раздражением заговорил о наших делах:

- Портфели отделов пусты, печатать нечего, мы тут жуем жвачку, которая всем надоела. И ни у кого ни одной живой мысли. Вот вы! - ткнул он в меня своим жирным, волосатым пальцем.- Вы, вы! Вам говорю! Встаньте! Что у вас в блокноте?.. Какие мысли, задумки?

- Я... только что приехал из Сталинграда.

- И что?.. Что вы оттуда привезли? Информацию с великой стройки? Да я ее по телефону за пять минут возьму. Опять рапорты, реляции - бахвальство! Вам самим-то не надоело жевать эту резину?

- Да, противно. И надоело. Но - требуют. За тем и посылали.

- Его посылали! Бычок, которого ведут за веревочку. А сам-то... сам-то что думаешь о

стройке?

- Сам? Думаю... Много там расточительства. И проект не лучший, и организация.

- Вот! Об этом надо писать! Идите домой и пишите. Срочно. Завтра в номер! Разнесем строительство ГЭС в пух и прах!

Тут самый раз сказать, какова была жизнь в «Известиях» до Аджубея.

Тогда здесь работали мои приятели Петр Карелин, Виктор Полторацкий - в прошлом, как и я, военные журналисты. Я учился в Литературном институте, мне стоило от Тверского бульвара перейти улицу Горького, и я попадал в «Известия» - в мир большой журналистики, где мог увидаться и попить кофе с моими друзьями. При институте открылся печатный «Журнал молодых», назначили меня его редактором, но нам удалось выпустить лишь пять номеров, и журнал из-за недостатка бумаги закрыли, а я был вынужден искать работу, - тогда и попал в «Известия».

Спустя несколько лет после смерти Сталина жизнь в «Известиях» протекала так же тихо, как текут годы дряхлого, доживающего свой век старика. Каждый сотрудник знал свое место и припаян был к столу так же крепко, как болт или шуруп хорошо сработанной машины. В государстве свирепствовали бури: валились с пьедесталов «отцы Отечества», трясло, как на вулканах, министерства, ломались, словно мыльные пузыри, бесчисленные конторы и конторки - одних сокращали, других «сливали»... Люди умственного, конторско-учрежденческого труда страшились будущего: как-то оно для них сложится? И только сотрудники редакции «Известий» вели спокойный, размеренный образ жизни: к трем часам приходили на службу, в полночь их развозили на автомобилях по домам.

Нас было сорок пять сотрудников редакции, да человек семьдесят работало в областях и за границей - наши полпреды, собственные корреспонденты. Вот, пожалуй, и все. Полос у газеты было четыре, тираж колебался от двух до трех миллионов. Цена номера - двадцать копеек, а после денежной реформы в 1961 году - две. Одна копейка на покрытие расходов по производству номера, другая - на содержание сотрудников. Ни прибылей, ни убытков. Газета официальная, орган Верховного Совета - очередей в киосках за ней не было.

И может от того, что мы были слишком серьезны, на страницах не резвились - ни жареного, ни соленого в наших статьях не было, - может, потому мы и сидели, точно в глубокой бухте, волны времени нас не доставали. То были годы, когда заведенная Сталиным пружина строгости особенно прочно удерживала рамки прессы вообще, и официальной в особенности.

Пробавлялись воспоминаниями: когда-то и что-то в редакции все-таки происходило.

Я работал в промышленном отделе, сидели мы на пятом этаже. Комната большая, столы внушительные, двухтумбовые, посередине - ковер. И вдоль стен кресла. В них всегда сидят гости - один-два автора, два-три сотрудника из других отделов. Так и во всех других комнатах. Впрочем, у нас одно важное преимущество: никто не курит, воздух всегда свежий. Это потому, что среди нас, четырех сотрудников, - одна женщина, Елена Дмитриевна Черных. В прошлом она была корреспондентом «Комсомольской правды», затем вышла замуж за одного из редакторов «Правды» - Смирнова. Перешла к нам в «Известия». Курильщики она терпеть не могла, и все это знали. Курить и не пытались.

Обыкновенно с начала рабочего дня нам не мешали, мы склонялись над статьями и за два-три часа выполняли свою дневную норму. В восемь был ужин; ближе к нему мы отвлекались, кто-нибудь заговаривал, и мы, отклонившись на спинки кресел, но еще не выпуская из рук ручку, слушали.

Чаще всего молчание нарушал Пантелеев - человек пожилой, крепко измятый и даже побитый жизнью (за какой-то анекдот десять лет отсидел в лагерях) - он обыкновенно сообщал какую-нибудь малозначащую пустяковую новость, вроде:

- У меня в бассейне сазанья молодь вылупилась, этакие мальки-крохотули! Оно, хоть и рыбы, а повадки, как у всякой детворы, - любопытные, шельмы.

Мы тысячу раз слышали рассказы о бассейне на усадьбе Пантелеева, - он жил в Малаховке, под Москвой, - но так и не могли представить, как он устроен, как там живет

рыба и, вообще, что это такое - бассейн Пантелеева.

Николай Александрович Пантелеев человек был хороший, но лица своего и характера никак не проявлял. И в газете фамилия его не возникала. Он был из тех чернорабочих газеты, которые во множестве копошатся в редакциях и будто бы что-то делают, но что, зачем, ради чего - никто не знает. Сегодня он носится со статьей «интересного автора», завтра расскажет вам о любопытном сигнале, из которого он сделает «конфетку», но проходит время - ни статьи автора, ни его собственной «конфетки» так никто и не увидит. А еще, если уж он вам очень доверяет, поведает о том, как он устал от этой проклятой газеты и как мечтает вырваться на свободу и засесть, наконец, за книгу, которая в голове у него уже давно составила. Но проходят годы, а на свободу такие люди так и не вырываются, и до пенсии, как правило, не доживают - внезапно умирают от сердечной болезни, унося в могилу и свою мечту об иной, свободной жизни, и план книги, который в голове у них давно составил.

Рядом с Пантелеевым, стол к столу, сидела Елена Дмитриевна Черных - женщина строгая, всегда носившая черный костюм, в прошлом красивая полька, да и теперь еще не лишенная привлекательности. Глаза у нее карие с матовой вечной печалью; мальчишеская прическа - массивная челка густых черных волос прикрывает высокий лоб, у затылка, к самому воротничку, волосы сходят на нет, завершая форму круглой красивой головки. Ей сорок лет, но я из своего глубокого угла в задней части комнаты вижу, как она в минуты усталости кокетливо и грациозно встряхивает головой, поводит плечами или привычным жестом белых холеных рук чуть касается прически.

Я, самый молодой из сотрудников, недавно пришел в редакцию, и, может быть, именно я внес некоторое оживление в царство редакционной скуки, побудил Елену Дмитриевну вспомнить давно прошедшее для нее время журналистской молодости, когда она, двадцатилетняя красавица, познакомилась в какой-то поездке с журналистом из «Правды» и затем вышла за него замуж. Но рок осудил ее на долгое одиночество: Смирнов вскоре умер, и теперь она каждую неделю ходила к нему на могилу на Введенском кладбище; глубокая печаль не сходила с ее лица вот уже много лет. Она любила мужа. Он, видимо, был ярким человеком, и теперь - я это чувствовал каждой клеткой - презрительно оглядывала мужчин, не находя в них ничего от своего кумира.

С Пантелеевым она была в давней и глухой ссоре, меня исподволь изучала, а четвертого обитателя нашей комнаты откровенно презирала. Это был Семен Борисович Розенберг - заместитель заведующего отдела и старший по возрасту. Ему было пятьдесят четыре года. Елена Дмитриевна никогда не заговаривала с ним и редко смотрела в его сторону, а если и взглядывала, то поверх него, куда-то в дальний угол.

Невысокого роста еврей, грузный, тяжелый, с лвиной, начинавшей сидеть головой, Розенберг вначале долго и пристально ощупывал вас выпуклыми цвета пережженного кирпича глазами, а потом говорил: «Я вам даю статью, ее надо обработать». И еще долго стоял перед вами, листал статью, будто она ему очень нравилась, была для него дорогой, и если он с ней расставался на время, то делал это ради особого расположения к вам.

Он редко кого торопил. Статьи наши тяжелые, скучные ни читатель и никто в редакции не ждал. Но зато критика, содержащаяся в них, словно гром прокатывалась по кабинетам официальных инстанций. Да и в рабочих коллективах они производили большой резонанс. Такова была роль печати в то время.

Розенберг никогда ни с кем не ссорился, ни на кого не повышал голоса. Мы хорошо знали, что может, а что не может поместить редакция, - статьи при необходимости переписывали заново, а он потом долго и трудно сидел над каждой, листал страницы, целился карандашом, ворошил кудлатый затылок, кряхтел и всячески давал понять, что статья не получилась, и он не знает, что же теперь с ней делать.

Потом он вставал, куда-то ходил, кому-то звонил, сверял цифры, уточнял формулировки. Казалось, вся Москва была в его распоряжении - министерства только и делали, что ждали его вопросов, поднимали всех своих консультантов, ученых, архивариусов, чтобы с максимальной точностью ответить Розенбергу.

Впрочем, не ручаюсь за министерства, а уж редакция-то точно вся была к его услугам. Если статья была Пантелеева, то тот в такие минуты не сводил глаз с Розенберга и то подсказывал к нему, то отбегал на середину комнаты, хрипло и не очень ясно выражая недовольство: «Ну, что там еще?» или «Ах, пустяки, вечно вы!...»

Розенберг был непроницаем, неколебим,- он, казалось, с еще большим старанием вылавливал «блох» в статье, искал в ней места, над которыми, точно пика, вздымался его карандаш - вздымался, но не падал. Исправлений никаких он не делал, лишь вычеркивал абзацы, целые куски, иногда сокращал нещадно. И всегда так, чтобы ничего не переделывать.

Елена Дмитриевна работала над статьями подолгу, может быть, из-за желания не иметь с ним дела. Она была единственной в отделе, которая хотя и редко - два-три раза в год - появлялась в газете с собственными статьями. И ее фамилию, как и фамилии Евгения Кригер, Татьяны Тэсс, Юрия Феофанова, Бориса Галича, знал читатель. Когда же она сдавала статью Розенбергу, она в его сторону не смотрела, ходила гордо и прямо, будто знала: все равно пропустит.

Когда очередь доходила до моей статьи, я весь сжимался, внутри у меня все холодело. Старался не смотреть в сторону шефа, но все видел. Карандаш его, елозя над строчками, будто корябал мне по сердцу, выдергивая, словно крючком, куски живого мяса. У меня не было сомнения в своих литературных способностях - я к тому времени уже поработал в других газетах, печатал очерки, рассказы,- за литературный стиль не беспокоился, но тревога была иного рода: нет государственного мышления, нет понятий стиля и тона высших директив. С трепетным почтением оглядывал я львиную большую голову, где уместались все тайны государственного мышления.

О Розенберге ходило много былей и небылиц. Будто бы он пришел в журналистику не просто, не так, как приходят все: явился на Урал в областную газету таинственно, почти сказочно. Газете нужен был очеркист - журналист с «острым классовым чутьем», стилист-писатель. «Нужны такие очерки,- говорил редактор,- от которых бы читатель визжал и плакал». Такой очеркист мог быть только в Москве. Его надо было «уговорить и выписать» через центр, то есть послать запрос и отправить за ним делегацию. В коридорах редакции несколько дней не стихали разговоры: «Поедет ли? А если поедет, то какую ему положат зарплату? Конечно же, выделяют отдельный кабинет (здесь он был только у редактора)».

Наконец послали и запрос, и ездил в Москву делегация. Розенберг работал тогда нештатно в каком-то журнале. У него не было в Москве ни жилья, ни постоянного места работы. Он с радостью отправился на Урал.

Ожидали маститого седого газетного волка, а явился кудрявый паренек - сутулый, немощный. И пиджачок, и штанишки едва держались на худеньком теле.

Розенберга поместили в отдельный кабинет и попросили заполнить листок по учету кадров - были уже такие. Долго и мучительно заполнял он пустые строки, а в графе «профессия», как курица лапой, начертал: «журнализд».

Газетчики сначала недоумевали, потом разразились хохотом.

В отдельном кабинете его оставили, зарплату высокую положили и должность высокую дали - «экономический писатель», но очерков от него не требовали. А когда он спустя полгода написал свой первый двенадцатистраничный отчет о слете молодых рабочих, то в отделе информации этот его отчет переписали начисто, набрали петитом и загнали в дальний угол, так что читатель его не заметил и, следовательно, не было у него причин «визжать и плакать».

Но вскоре Розенберг, умудренный опытом работы на периферии,- в краю-то каком! на Урале! - возвратился в столицу, работал в газетах, журналах, а незадолго перед войной стал референтом наркома Тевосяна. Вот с этой должности в конце войны пришел он в «Известия» и стал заместителем заведующего промышленным отделом.

Что тут правда, а что сочинили досужие на выдумки братья-журналисты, сказать не могу: были такие слухи, что Розенберг лишь три года учился в школе, но и этот слух никто

не проверял, потому что никому и не нужно было рыться в анкетах товарища. Одно мы жали наверняка: Розенберг - дока, он всегда в курсе всех важных государственных дел и, если уж он «отработает» статью и поставит свою подпись, состоящую из одной буквы «Р», да и скорее не «Р», а закорючки, похожей на прыгнувшего вверх головастика, - считай, статья пойдет и никаких опровержений не последует. И автор будет на седьмом небе, как же, напечатался в «Известиях»! А того пуше, пробил вопрос, проблему - теперь легче добиваться ее решения.

Так же, как и мы, верил Розенбергу заведующий отделом Николай Дмитриевич Шумилов. Это был человек пожилой, с выцветшими водянисто-синими глазами, выпавшими зубами и волосами, низенький, толстенький, удивительно похожий на сеньора Помидора из сказки Джанни Родари «Чипполино». Во время войны он был редактором «Ленинградской правды», вынес все дни блокады, а после войны по сфабрикованному Берией нелепому «ленинградскому делу» был арестован. Это он пригласил меня на работу в свой отдел, долго и упорно «пробивал» мою кандидатуру и потом по каким-то едва уловимым нитям духовного родства с отцовской доверительной нежностью поверял мне некоторые служебные секреты, обязывавшие меня беречь их от постороннего уха. Я платил ему сыновнею любовью, и теперь, когда его давно уже нет, умерла и супруга его, делившая с ним тяжкие годы заключения, и где-то сгинул в психиатрической больнице их единственный сын, - я с благоговейной признательностью вспоминаю Николая Дмитриевича, протянувшего мне руку и поставившего на дорогу большой журналистики, где я постигал мудрость «розенберговского государственного мышления» и где я, мотаясь по всей стране, собирал материал, ставший содержанием моих книг.

Во второй половине рабочего дня - а это бывало в десятом или одиннадцатом часу вечера (работали с пятнадцати до двадцати четырех) - я заходил к Шумилову в кабинет, садился у стены напротив хозяина и сообщал какую-нибудь пустячную новость. Он отрывался от статьи и некоторое время смотрел на меня затерявшимися в нездоровых складках лица глазами. Обыкновенно спрашивал:

- Ну как, литератор? Не скучно у нас на газетной работе?

Спрашивал так, будто я знал какую-то другую работу. А я ведь сразу же после войны, в 1946 году, начал трудиться в дивизионке. И Николай Дмитриевич больше чем кто-либо в редакции знал мой послужной список: кадровик Андрей Алексеевич Бочков, в прошлом революционер, ветеран партии и добрейшей души человек, наводил обо мне справки и докладывал Шумилову. Они двое знали, что был я и редактором «Журнала молодых», и собственным корреспондентом газеты «Сталинский сокол» по Московскому округу Военно-Воздушных Сил - им командовал генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин. Иногда Николай Дмитриевич, не вдаваясь в подробности, задавал вопросы, связанные с этим периодом моей биографии. Я считал нескромным пускаться в пространные воспоминания, а Шумилов и не требовал подробных ответов. Николай Дмитриевич, как я уже сказал, был в свое время секретарем Ленинградского горкома партии, много знал о Сталине, о его сыне Василии, - давал мне понять, что дороги жизни нашей где-то соприкасались, и грустно заключал: лучше держаться подальше от царей и вельмож - будет спокойнее. Не знали мы тогда, что совсем скоро жизнь столкнет нас лицом к лицу с новым вельможей - ультрасовременным, совсем не похожим ни на какие типы, известные нам по истории.

Мы мирно беседовали, с каждым днем раскрывая друг другу души, становясь ближе духовно.

- Ну как, литератор? Не скучно у нас на газетной работе? - задавал он свой неизменный вопрос.

Ответы мои были все смелее. Однажды я рассказал Николаю Дмитриевичу о том, как перед армией работал в Сталинграде на Тракторном заводе. Было у меня три станка, и я мотался от одного к другому и думал: «Неужели всю жизнь так... бегать от станка к станку?» Николай Дмитриевич засмеялся, сказал:

- Наверное, и теперь думаешь: неужели всю жизнь так... обрабатывать статьи бесталанных, а подчас и неумных авторов?

- Признаться, являются такие мысли.

Шумилов задумался, постучал пальцами о стекло стола, проговорил:

- В «Известиях» так установилось: из штатных сотрудников пишут пять-шесть человек: Мариэтта Шагинян, Евгений Кригер, Татьяна Тэсс... Вот сейчас новое лицо - Борис Галич, он же Галачьянц. Его привел с собой из «Московской правды» Константин Александрович Губин, главный редактор «Известий». Да есть еще из соборов полтора десятка имен. К ним читатель привык, их знают, а новых имен газета не любит, новым хода не дают.

- Даже если журналист талантлив?

Шумилов отечески-снисходительно, с заметной дозой иронии смотрит на меня.

- Талантливый?.. Это бывает редко. Талантливые журналисты обычно в писатели выходят - Чехов, Горький, Шолохов. Я думаю, талант живописания словом еще реже встречается, чем талант певца. Это из моих наблюдений. Но, может быть, я ошибаюсь.

Мой шеф, очевидно, этой философией старался погасить во мне порывы к творчеству, к бесплодным и мучительным попыткам пробиться к читателю, громко заявить о себе. Мне нелегко было смириться с судьбой «раба-невидимки», я не хотел всю жизнь рыться, как червяк, в бумагах, выгребать мусор из чужих писаний, быть вечным парией газеты. В то же время я видел вокруг себя и над собой, на шестом этаже, где располагалось начальство, что и они, как и Розенберг, тоже парии, они тоже не печатаются. Я понимал: они-то уж вскинутся до потолка, начни я протискиваться на страницы. Они такую возведут преграду - лоб расшибешь!

Приходилось смиряться. Но... на время. Бежали дни, недели, и мысли о собственных громких статьях, фельетонах, очерках, о славе маститого журналиста вновь заползали в голову и вновь появлялись планы один другого смелее. Вот только говорить об этих планах ни с кем не хотелось, даже с Николаем Дмитриевичем. Слишком нескромными и несбыточными казались эти мои мечты.

Но однажды открылась щель, и я устремился в нее сломя голову.

В четвертом часу дня - мы только начали работу - раздалась команда: «Свистать всех наверх!» Мы собрались в кабинете Главного, в «каминном». Здесь сидел когда-то первый редактор «Известий» Н. И. Бухарин. Кабинет небольшой, мебель старинная, над камином фотографические портреты с дарственными надписями коллективу «Известий» - М. Горького, Романа Роллана и Михаила Шолохова. За столом главного - Константин Александрович Губин, высокий, сухощавый, всегда вежливый, готовый выслушать сотрудника и дать обстоятельный ответ на все вопросы. Его подводит голос: высокий, почти женский. Он только что приехал с совещания, - с самого верха, - говорит быстро, сбивчиво:

- К нам просьба... от самого Никиты Сергеевича: дать очерк о металлурге, сварившем нос атомному ледоколу «Ленин».

- Как нос? - спрашивают из рядов.

- Ну, планку, ту часть... которой режут льды. Нос ледокола. Он из особой стали совершенно невероятной прочности.

Губин обращает взгляд к Розенбергу, и все к нему поворачиваются. Он знает, он по части металла все знает, и Семен Борисович уж готов разъяснить, но Губин поднимает руку:

- Очерк большой - на подвал, и сделать его надо за четыре часа - чтоб в номер.

- Четыре часа! - визгливо выкрикивает Шагинян. - И еще куда-то ехать!

Она вскидывает руками, точно хочет вылететь из кабинета, - полная, низенькая, с прямыми торчащими во все стороны седыми волосами, чем-то напоминающая взъерошенную сову. В правом ухе слуховой аппарат с белым шнуром. Все к ней поворачиваются и тоже пожимают плечами: как же так, очерк за четыре часа?!.. И надо еще куда-то ехать, кого-то искать!

- Вы бы ему сказали... - подает голос важно восседающий в кресле у камина Евгений Кригер - журналистский волк с мировым именем.

- Кому сказать? Никите Сергеевичу? Нужен очерк, а мы теряем время. Metallург - тут, недалеко, к нему сорок минут езды.

Главный оглядывает сотрудников:

- Кто возьмется? Кто?

И тут меня словно бес за язык дернул: «Я!» - крикнул на весь кабинет. И зачем-то как школьник поднял руку.

- Вы?.. Ну, хорошо, вы так вы! - неожиданно просто разрядил обстановку главный.- Вот фамилия сталевара... Завод «Электросталь»,- это рядом, под Москвой. Внизу вас ждет машина.

Я поднялся и почти выбежал. Как на меня посмотрели все сотрудники редакции, что подумали - я мог только догадываться. Но думать об этом было некогда. Выйдя в коридор, я ощутил весь ужас своего положения. «Не успею!.. Не смогу!..» - горячечно колотились в голове мысли. А все тело покрылось потом. Холодным ли, горячим - не знаю, но только хорошо помню, что весь я был мокрый. И еще помню: шел по коридору и не знал, куда иду, зачем. Наконец вспомнил: «Электросталь». Зашел в какой-то кабинет, позвонил на «Электросталь». Мне ответили, что сталевар Н.- в цеху, он во второй смене.

Заказал пропуск, сбежал вниз, в автомобиль.

На улице Горького было тесное движение, и мы, к моему ужасу, принуждены были то медленно ехать, то, в местах пробок, совсем останавливаться. Завод «Электросталь»! Это даже не в Москве, а где-то за городом,- все более охватывал меня ужас. И я вспоминал физиономии наших «зубров» - Кригера, Галича... Галич и вообще-то был пересмешиком; армянин низенького роста очень походил на Мефистофеля, только обленившегося и разжиревшего. Он был попроще всех других «зубров», поближе к нам, смертным. Смущало в нем одно: он все время улыбался. Жмет тебе руку, таращит свои черные выпуклые глаза и улыбается, прямо даже смеется. И так, будто ты у всех на виду плюхнулся в грязную лужу, всех насмешил, а он теперь снисходительно тебя подбадривает: ничего, мол, обойдется. Татьяна Тэсс, шестидесятилетняя красавица, любившая сидеть в глубоких креслах и закидывать ногу на ногу,- так, чтобы круглая ее коленка, похожая на сдобную непропеченную булку, была видна из всех углов комнаты,- Тэсс презрительно, плотно сжимала губы, смотрела так, будто я и не сотрудник промышленного отдела, а внезапно упавший с потолка лягушонок. Кригер и совсем не смотрел на меня - тот самый Кригер, который перед войной называл себя немцем, во время войны - евреем, а после войны вдруг стал потомком австрийских баронов,- так этот самый еврей-немец-австрийский барон не удостоивал меня даже мимолетного взгляда. Я на одну минуту представил себе их физиономии после возвращения в редакцию в двенадцатом часу, когда газета будет напечатана и мой очерк никому не понадобится.

Авантюризм - свойство характера, в принципе дурное, но есть все же в этом свойстве черты привлекательные: смелость, риск, напор...

В моем решении за четыре-пять часов написать очерк не было авантюризма. Я мигом рассчитал: три часа на дорогу и встречу с героем, два часа писать. К тому времени я работал в дивизионке, в центральной газете «Сталинский сокол», в Румынии - в «Советской армии». Написал сотни статей и очерков. Писал и в номер за два часа. Есть журналисты-тугодумы; пишут долго, мучительно, часами высиживают абзац, страницу. У меня склад другой: мне бы знать материал, и тогда перо не поспевает за мыслью. Не говорю, что это хорошо, но говорю, что это так, что пишу я быстро.

Но это известно мне, а что же думал главный редактор - такой опытный и умудренный во всем человек? «А что ему думать? - возражал я себе. У него не было другого выхода - сыграл вслепую».

Все эти мысли явились мне в тот короткий срок, за который мы не успели доехать от площади Пушкина до площади Маяковского. А впереди еще целая вечность. Я вдруг стал ощущать, что очерка я не напишу - помешает волнение, которое мной овладело. В голове не было ни одной мысли. Сердце колотилось, в висках стучало. Конечно же, никакого очерка не

будет, сплошной конфуз - надолго, может быть, навсегда. Я буду приходить в редакцию раньше всех и уходить позже всех, чтобы никого не видеть. А на совещаниях забиваться в угол и молчать, как мышь. И это в том случае, если задержусь в «Известиях». Могут и уволить.

Сейчас я вспоминал эпизод, толкнувший меня в журналистику. Это было в январе 1945 года - в разгар битвы за Будапешт. Я стоял со своей зенитной батареей у переправы в районе Чепеля, районе заводов. Вражеские самолеты летали ночью. Все больше с грузами продовольствия для окруженной группировки. Самолеты тяжелые, трехмоторные - «Юнкерсы-52». Низкая облачность прижимала их к земле, и они летали низко. Мы били со всех стволов. И за одну неделю сбили шесть самолетов. К нам приехал корреспондент дивизионки Олег Бушко, стал писать очерк. Однажды он растолкал меня, - к утру я засыпал в окопе, - сунул кипу листов, сказал:

- Прочти. Нужна твоя подпись.

- Зачем?

- Патрон требует. Говорит, чтоб не было ошибок.

Я прочел и меня прошиб озноб. Если бы этот очерк был напечатан, я бы превратился в полкового шута!.. Надо мной бы смеялись до колик.

В очерке я был представлен таким храбрецом, хватающим за хвост тяжелые бомбовозы и швыряющим их наземь. Автор писал: «Зорко всматривается в пылающее огнями прожекторов небо командир. Но вот он слышит ноющий гул "юнкерса". Взмах рукой - и воздушная громада, пылая огнем, валится в Дунай. И это на глазах всего фронта. По полкам, по всему берегу Дуная, разносится: "Ура-а-а!.." А комбат стоит на пригорке. Ему всего двадцать лет, а он стоит. Вот снова тревожный гул. Снова взмах руки - и гигант-стервятник валится с неба...» Я подошел к Бушко, сказал:

- Не пойдет! Так нельзя. Это ужасно, меня засмеют.

- Да почему? Вы же сбили шесть самолетов!

- Сбили, но не так... Это все не так просто. Вам бы стоило у нас побывать, посмотреть.

- Самолеты падали?

- Падали, но не так. Не все сразу, не в один день. И я не стоял на пригорке - наоборот, в окопе, на командирском пункте. Нет-нет, я возражаю. Нужно иначе.

- Как иначе?

И тогда вот так же, как теперь, меня словно кто-то подтолкнул. Я сказал:

- Оставьте мне, я поправлю.

- Пожалуйста! Но только не тянуть. К вечеру я должен быть в редакции.

Я очень хотел спать - сколько ночей бессонных! - но делать нечего, присел в окопе, стал поправлять. Но вскоре понял: как ни поправляй, но тон этот дурацкий, бахвальский, остается, он прет из-за каждой строки, позорит, представляет не командира фронтовой зенитной батареи, а беспардонного и глупого хвастунишку, Мюнхаузена. Удивительно, как печать личности автора ложится на все написанное: если он наивен, то не в одной какой-либо строке, а всюду, во всех словах, стоит лишь к ним присмотреться.

Я отложил исписанные листы и повернул к себе обратную, чистую сторону одного из них. И стал писать на нем, как однажды утром, после боя, в котором первый орудийный расчет сержанта Касьянова сбил вражеский самолет, к нам на позицию пришли два солдата. Это были бойцы соседнего батальона. Один из них подал мне маленький серебряный самолетик и сказал:

- Это вам подарок от нашего батальона. Мы видели, как вы ночью сбили самолет...

Описав этот эпизод, я стал писать дальше, брал листы и их чистую сторону заполнял мелким четким почерком. И когда закончил рассказ о своей батарее, о бойцах и сержантах, сбивших только за последнюю неделю шесть самолетов, и поставил последнюю точку, стал думать: как же назвать этот первый в моей жизни очерк. И вверху первого листа написал «Фронтовой сувенир».

- О-о!.. Прекрасно! - воскликнул Бушко. - Мы его и напечатаем.

Очерк был напечатан, меня заметили в политуправлении фронта, а когда настало время демобилизоваться, предложили работу в дивизионной газете.

Мне сейчас невольно вспоминался тот эпизод, лезли в голову шапкозакидательские строки бушковского очерка. Сам я себе вдруг представился в роли Бушко - бездумным, несерьезным журналистом, взявшимся за пять часов собрать материал и написать очерк о человеке, профессия которого мне никогда не была знакома. И куда, в «Известия»! В серьезную и ответственную газету, которая считалась тогда органом верховной власти.

Вспомнил Пушкина: для творчества требуется спокойствие души, психическая уравновешенность. И я сделал над собой усилие: «Успокойся, думай и пиши!» Вынул блокнот, стал набрасывать очерк.

К проходным «Электростали» подъехали внезапно. Я взглянул на часы. Было начало пятого.

Минут через десять я стоял у электропечи и беседовал со своим героем. Это был мужчина лет сорока, роста чуть выше среднего, сухой, жилистый. Он смотрел на меня свысока, добродушно улыбался - почти так же, как Галич,- и, казалось, спрашивал: удивляетесь, что именно я сварил нос для ледокола?.. Но, разумеется, ни о чем подобном мы не говорили; он, подвигая какие-то рычаги на панели, все время заглядывая через синие очки в глазок, где бушевала огненная стихия, рассказывал о своей печи, о товарищах по работе и о том, какой у них завод, почему именно им и именно ему дали почетное задание сварить сталь для режущей части атомного ледокола. К тому времени я уже овладел почти стенографической скоростью записи устной речи, а тут, на мое счастье, оказался человек, говоривший неспешно и так, словно заранее знал план и композицию моего будущего очерка.

Пышущая жаром печь грозно урчала, точно зверь, к которому приблизился незнакомец. По изможденному лицу сталевара летали багровые сполохи, он время от времени прерывал беседу и, протянув руку к щиту управления, поворачивал какой-то рычажок, от которого гул в печи усиливался, пространство цеха прорезал угрожающий свист, и все вокруг ярко освещалось, точно в печи что-то ослепительно и мощно взрывалось. Сталевар рассказывал...

На обратном пути я уже ничего не видел, даже не знал, сколько времени у меня осталось до сдачи очерка. Писал на коленке.

К сроку поспел. Очерк был напечатан. И назывался он простенько и даже плоско - «Теплота большой души». Не знаю уж, кто дал такое название. С авторами в те времена считались мало. Долго потом братья-литераторы и особенно сокурсники по литинституту при встречах подсмеивались: «Ну как, "Теплота большой души"?..» Однако именно этот очерк явился моим первым заметным выступлением в большой газете и втиснул меня в узкий круг журналистов, имевших привилегию печататься в «Известиях». Лишь позднее я навсегда усвоил истину, что без хорошего заголовка нет ни газетной статьи, ни фельетона, ни даже порядочной заметки. Ведь даже книга, как ее ни насыщай красотой и содержанием, не полетит к читателю, если автору не удалось найти удачного, звонкого заглавия. И потому я всегда мучительно искал крылатые заголовки статей и очерков: «Размах и расточительство», «Город без хозяина», «Никулинские жернова», «Жест, означающий: валяй!», «Операция "холод"», «Шлагбаум самодура», «Шестая профессия Донбасса», «Заботы черного великана», «Шестьсот персональных дел Василия Пленкова», «Отнимите у них карандаши», «Потеряли завод» и т. д. И к своим книгам, к каждой из них, долго и трудно искал заголовки. Но одна из повестей названа ужасно. «Шахтерская династия». Я писал повесть о шахтере, у которого большая семья и многие сыновья продолжают его дело. И дал название «Егоров пласт». А редакторы - без моего ведома и согласия - вон как переделали! Мне и теперь совестно показывать друзьям книгу из-за такого заглавия, будто я позаимствовал его в местной горняцкой газете, где под такой выцветшей и облезлой шапкой едва ли не каждый день появляются заметки.

Трудное дело - найти удачное название. Кажется, Горький сказал, что заголовки ему не даются. И многие свои книги он называл по имени главных героев: «Васса Железнова»,

«Чел-каш», «Фома Гордеев», «Клим Самгин» и другие. И даже такие гиганты, как Л. Толстой, И. Гончаров, зачастую не могли справиться с этим делом: «Обломов», «Анна Каренина», «Отец Сергей», «Хаджи-Мурат». Есть, впрочем, у Толстого и удачные: «Воскресенье», «Живой труп».

Хороший заголовок - редкая удача! Удивлялся Губину: вежливый и внимательный, он мне представлялся интеллигентом из прошлых времен, этакий дворянин, забредший в наше грубое, лохматое время. Может быть, из вежливости он перестал и требовать звонких заголовков, привык к стертым, как медные пятаки, словам, сидел в своем каминном «бухаринском» кабинете и мирно, без разносов и возражений, подписывал газетные полосы, на которых пестрели, переходящие изо дня в день заголовки: «К новым успехам», «Рабочий контроль», «Слово передовика», «Размах соревнования», «Живое дело», «Живые родники» и т. д. Мы, рядовые сотрудники, готовя статьи для набора, пытались оживить в них язык, придумывали броские заголовки, однако уже в то время газетные редактора и начальники, сами, как правило, далекие от журналистики и ничего не писавшие, пуще огня боялись прослыть несерьезными, небдительными и потому беспощадно «резали» все живое, выбрасывали смелые и, как им казалось, рискованные обороты. На стол главного уже попадали привычные, проверенные временем, не вызывавшие сомнения материалы. Боже упаси, если в них вдруг забьется живая мысль, новая проблема, новый взгляд на явление жизни. Старое, привычное, устоявшееся - это был стиль мышления, такая, устраивающая всех, в особенности начальников, погода. Все катились по наезженной дорожке, ямщики дремали, седоки спали глубоким сном, за всех думал и все решал сидящий в Кремле богоносный.

Лишь изредка какой-нибудь забавный казус или курьезный случай оживит сонное царство редакции, да затейливая фантазия газетчиков что-нибудь придумает. Как-то заведующий литературным отделом Виктор Полторацкий принес главному заметку, в которой редактор прочел: «До революции в Туле был всего лишь один писатель, а сейчас сорок два, и среди них такие, как Фомкин, Голядкин, Бейненсон, Вольфсон, Цеперович». Главный подписал заметку. Но когда Полторацкий был уж на пороге кабинета, Губин своим тоненьким голоском остановил его:

- Позвольте, а кто этот один писатель, который был там, в Туле, при царе?

- Лев Николаевич Толстой.

- А-а... - упавшим голосом протянул главный, - Толстой!.. Понимаю.

И протянул руку:

- Дайте-ка вашу заметку.

И бросил ее в корзину.

С ним же, с Губиным, произошла будто бы история, едва не стоившая ему жизни. Печатали какой-то документ - то ли приказ, то ли выдержку из него - с подписью: «Верховный главнокомандующий, Маршал Советского Союза И. Сталин». И в слове «главнокомандующий» буква «л» выпала. И когда К. А. Губин пришел на работу, ему показали на ошибку. Он прочел и похолодел. Газету уже развезли по городам и весям. Исправить ничего нельзя.

Сидит наш Константин Александрович, ждет. Вот, думает, сейчас откроется дверь, и на пороге покажутся двое военных. Скажут: «Пошли!» Час сидит, два. Вдруг звонок. Поднимает трубку телефона.

- Это Константин Александрович Губин?

- Да.

- Здравствуйте, Константин Александрович! С вами говорит Сталин.

Следует пауза.

- Что же это вы, товарищ Губин, так меня величаете? Нехорошо величаете, прямо скажем, - нехорошо.

И снова пауза.

- Простите, товарищ Сталин, маленькая неувязочка получилась.

- Хорошенькая неувязочка! Так представить перед всем миром, а вы говорите: неувязочка.

Снова пауза. И затем:

- Вы, наверное, беспокоитесь, ждете встречи с Лаврентием Павловичем? Не беспокойтесь. Продолжайте выпускать газету, а я позвоню Лаврентию Павловичу.

Видно, Лаврентий Павлович внял просьбе Иосифа Виссарионовича, не пригласил Губина на свидание.

Другой раз я слышал о фотокорреспонденте Когане. Быль или небыль, а только рассказ этот в разных вариациях передавался не однажды.

Было это уже после Сталина, при Маленкове. По редакциям прошлись с очередной чисткой - увольняли евреев. Несколько уволили из «Известий». За братьев своих решил заступиться Аркадий Коган,- когда-то он снимал семейство Маленковых, делал для него фотоальбом,- и надумал обратиться в Кремль по старой дружбе. Подкараулил, когда из кабинета вышел ответственный секретарь газеты, подошел к телефону-«вертушке», набрал номер Маленкова.

- Георгий Максимилианович, здравствуйте, пожалуйста! Я - Коган, был у вас на даче, делал фотоальбом. Вы меня послушайте, пожалуйста, и помогите. У нас уже такой нехороший случай: уволили Леву Файнберга, Гошу Анаховича, Мишу Флоксермана и всех наших. Ну, скажите, пожалуйста, чем они виноваты? Я тоже Коган, ну так и что же?.. Я не должен жить и кушать хлеб? Другие хотят кушать - я не хочу? И Миша Флоксерман, и Гоша, и Лева... А? Что вы сказали?

Говорил он и еще что-то. Потом услышал в трубке длинные гудки. И долго еще стоял над телефоном, думал о превратностях судьбы, о Мише Флоксермане, с которым был дружен. И сколько, и о чем он думал - не помнил, а когда повернулся к двери, там стояли офицер и два солдата.

- Пройдите! - сказал офицер.

Аркадий прошел. Куда прошел - неизвестно. И с тех пор никто не видел Аркадия Когана. И даже был ли он в редакции или нет, никто не помнит. И были ли Миша Флоксерман, Лева Файнберг - тоже никто не знает, но рассказ о незадачливом защитнике еврейского братства в «Известиях» передавался из уст в уста.

Повальная замена русских иудеями во второй газете страны началась с воцарения на посту главного редактора Аджубея Алексея Ивановича.

Поднимаясь на шестой этаж редакции, не знал я, что ступаю в мир, который вскоре, с приходом Аджубея, станет одним из заповедных мест нашего диссидентства, неофициальной оппозицией - мощным, вещающим на всю страну рупором, из которого непрерывным потоком будут изливаться новости - важные, правительственные, «единственно верные»,- и толкование событий, и мнение о фактах, делах, людях - тоже правительственное, не подлежащее сомнению.

Я всходил на борт корабля, плывущего сквозь шторм и непогоду, вливался в команду, которая не раз сменялась, в семью матросов и командиров, которые часто подпадали под подозрение и им безжалостно рубили головы. Н. И. Бухарин, бывший главным редактором «Известий», получил пулю в затылок - от своих же, да и тесть его Лурье был пристрелен в подвалах Лубянки.

К тому времени я уже знал, что не однажды случалось в нашей послереволюционной истории, когда в борьбе за власть и влияние вчерашние соратники отстреливали своих же, как бешеных собак.

Прежде чем подняться на шестой этаж, в отдел кадров, я завернул на пятый, к Шумилову. Он пригласил меня в «Известия», и я шел к нему, как к своему, родному человеку. Он и действительно был родной по духу - русский, открытый, понятный. Вот наш разговор:

- Вы сейчас подниметесь к Бочкову, начальнику отдела кадров,- он человек хороший, вы его не бойтесь. От него пойдете к членам редколлегии, они разные, отвечайте на их

вопросы сдержанно, делайте вид, что еврейский вопрос вам неведом, для вас все одно - что еврей, что русский. И когда у главного будете, тоже делайте вид... Вам все равно. И только у Баулина, у заместителя главного, можете позволить чуточку откровенности,- он такой же, как я, но - тоже будьте сдержанны.

Уже в тот первый вечер я понял, почему тут надо было разыгрывать простака - американского оболтуса, как называют в Америке людей, не понимающих еврейскую проблему.

Бочков мне говорил примерно то же, что и Шумилов. Он, как и Шумилов, был пожилой, из ветеранов партии, и тоже занимал в прошлом важный партийный пост. По тому, как он со мной говорил, по тону голоса и выражению лица я понял, что человек он русский и хотел для меня добра. Осторожно, деликатно советовал, как и с кем надо разговаривать.

Первым меня принял ответственный секретарь - начальник штаба редакции Александр Львович Плющ,- большой, грузный, с почти облысевшей головой, на которой редко кустились седые кудряшки. Смотрел тяжело, исподлобья,- он был, как я узнал позже, еврей, рядившийся в украинца, а точнее, в «запорожского хохла». С ходу напал на меня:

- Слышал, какую линию вы гнули в «Журнале молодых». О вас уже вся Москва знает. Мне звонили из Союза писателей.

- Не понимаю, о чем вы говорите. Журнал у всех на виду, его многие читали. Шолохов нам письмо прислал, хвалил, одобрял.

- Нас не интересует, что вам писал Шолохов. Хотел бы предупредить: у нас не «Журнал молодых», а серьезная газета, и тут царит дух интернационализма, согласия и уважения ко всем нациям.

Я хотел встать и выйти, но тут же сообразил: может быть, он на это и рассчитывал. Вдруг я понял, что и тут, как и у нас в Литературном институте, как и в Союзе писателей, идет борьба русских с евреями, и было бы глупо сорваться на первой ступеньке и тем обмануть надежду русских на вновь прибывающего бойца.

Я молчал. Зазвонил телефон, Плюща звали к главному. Он поднялся и мирно, даже тронув меня за плечо, сказал:

- Хорошо, товарищ Дроздов, я возражать не стану. Надеюсь, мы с вами будем друзьями.

От Плюща я пошел к Севрикову Константину Ивановичу. Это был высокий, красивый мужчина с серыми насмешливыми глазами. Из тех, кто «словечка в простоте не скажет». Я представился, назвал себя.

- Ну! - откинулся он на спинку кресла.- И что же?.. А я вот Севриков... Константин Иванович. И что же из этого следует?

Я понял: в волнении забыл сказать о цели своего визита. Сказал:

- Хотел бы работать в отделе промышленности. Николай Дмитриевич не возражает.

- А я хотел бы работать в Совете Министров - Председателем, на худой конец - замом, а?

Я был растерян. С виду человек умный и важный, а изображает из себя клоуна. Не послать ли его подальше?

Севриков склонился над статьей и минут пять чертил, дописывал. И потом, не поднимая головы, сказал:

- Я вас не знаю. Голосовать за того, кого не знаю, не буду.

Он был человеком русским, в прошлом работал секретарем обкома комсомола, кажется, в Москве. Женат на еврейке, и в отделе у него - почти одни евреи.

Позже я узнал, что Севриков на редколлегии сказал так же, как и мне: «Я его не знаю, а с виду он мне не понравился. Молчит, как бычок, я таких боюсь».

Хорошо, что Севрикова на редколлегии не воспринимали серьезно. Впрочем, кое-кто знал подоплеку его истинных побуждений: будучи русским, он при случае не прочь был завалить русского автора, русского сотрудника - и тем косвенно угодить евреям, на службе у которых, видимо, давно состоял. Маска же скомороха позволяла ему легко выходить из

ситуаций, которые для всякого другого человека могли дорого стоить.

От него пошел к Юрию Филоновичу, заведующему отделом пропаганды. В просторном кабинете за большим столом сидел и что-то писал неказистый сутуловатый еврей с жиденьким пучком волос неопределенного цвета. Он, видимо, ждал меня, изредка взглядывал, щурился. Вдаль он плохо видел, но меня разглядел и вопросы задавал ядовитые.

- Вы из Литературного института, редактором журнала там были?

- Да, был.

- Вот видите, - редактором, главным, а к нам в рядовые сотрудники. Чего так, а?

- Журнал закрыли. В стране бумаги мало. Не хватает типографий.

- Кому-то хватает, а вам - не хватает. А? Неспроста это - журналы закрывают. Неважный журнал-то у вас был, видно, не тех печатали.

- Претензий к нам не было.

- Как же не было? А Фриду Вигдорову как приняли? Она вам - повесть детскую, а вы ее - пинком из редакции.

- Журнал для студентов был создан, а Вигдорова...

Филонович не слушал, продолжал править статью, говорил.

- Илью Сельвинского огорчили. Старик за женщину заступился, а для вас и он не авторитет. А с ним плохо стало, умер скоро. Хорошенькие дела там у вас творились.

Я понял: в дискуссию с ним входить не следует. Вспомнил чью-то фразу: «евреи - сообщающиеся сосуды, они все знают». Юра Филонович - его так звали в редакции - долго еще таким образом читал мне нотации, затем сказал:

- Ну, хорошо, идите. Посмотрим на редколлегии.

Для него я был чужим, ненужным, заранее постылым, и он не скрывал своих антипатий. Тут даже и для элементарной вежливости места не оставалось. Я же помнил наказания Шумилова и Бочкова: не хотелось их подводить.

Уныло я брел по коридорам редакции, надежд у меня не оставалось. Открыл дверь заведующего отделом науки. Здесь меня принял Бронислав Колтовой, временно исполнявший должность заведующего. Колтовой не был членом редколлегии, и я мог к нему не заходить, но зашел - больше из любопытства. Ему было около сорока лет, он был исполнен важности и величия. Перебирал на столе бумаги, на меня не смотрел, но меня видел, и я это чувствовал. Смурной, недовольный, он сидел за большим начальническим столом, нехотя спрашивал:

- Раньше где работали? До журнала, значит, в военной газете? Вам будет трудно у нас: тут от каждого требуется государственное мышление.

- Да, конечно, я понимаю...

- Понимаете, а идете.

- Буду постигать. Николай Дмитриевич Шумилов обещал помочь.

- Станный народ! Не понимаю вас, сразу и на вышку - в «Известия».

В этом роде и продолжался разговор. Я терпеливо отвечал, не задира, не провоцировал других вопросов - явная недоброжелательность, нетерпимость и неприятие выводили из себя, но я был смиренен и все больше теплел душой к Николаю Дмитриевичу, потому что видел, как нелегко ему было брать в свой отдел русского парня.

Рядом с отделом науки располагался отдел литературы, там был заведующим писатель Виктор Полторацкий, известный мне по замечательному фронтовому очерку «Москвич». Но он болел, и его замещал Цюрупа - сын наркома продовольствия в ленинском правительстве. Он сильно походил на еврея и не скрывал к ним своих симпатий, а каждого русского автора встречал в штывы. Я знал это и знал также, что он не член редколлегии, а потому с пятого этажа пошел наверх, к заместителю главного редактора Гребневу Алексею Васильевичу. Слышал о нем много забавных рассказов. Его называли «тишайшим» за мирный, незлобивый нрав, за тихий, постоянно ровный голос, неторопливую манеру вести беседу. Кажется, в повести «Радуга просится в дом» или в романе «Покоренный атаман» я писал с него черты редактора областной газеты - это после того, как много лет с ним проработал. Но тогда я шел

к нему со священным трепетом и очень боялся, как бы не сказать лишнего.

Алексей Васильевич, как всегда, читал гранки. В кабинете пахло свежей типографской краской, зам. главного сидел за массивным редакторским столом и лишь на мгновение сверкнул на меня крупными, сильно увеличивающими очками.

- Садись, любезный, посиди,- сказал мне тихо, домашним голосом.

Стучал по гранке пальцами, думал. И, словно вспомнив обо мне:

- В Литинституте учился?

- Учился, Алексей Васильевич.

- А-а... Ну да...

Снова стучал пальцами, тихо напевал. Видно, статья, лежавшая перед ним, его озадачила и он не знал, что с ней делать.

- Зачем? - поднял на меня усталые, чуть припухшие по красневшие глаза.

- Что «зачем»?

- В Литинституте учился? Писателем надо родиться. На него не выучишься. Вот Подъячев, он нигде не учился, а как писал! Вы читали Подъячева?

- Да, читал. Повесть «Зло», кажется, «Письма из рабочего дома».

- Вот - «Зло». Повесть небольшая, а сколько там мыслей. М-да-а... а литинститутов не проходил. Это теперь... Литературный институт имени Горького. А сам-то Алексей Максимович в церковно-приходской шесть групп окончил, а-а? А как писал! «Челкаш» к примеру. М-да-а... Писать умел и в общественные дела совал нос. Тут он многое напутал!

Позвонил по телефону, попросил заменить заголовки к одной статье и к другой, и к третьей. Снова склонился над полосой, стучал пальцами, чуть слышно напевал.

И, словно проснувшись:

- А-а... Литература, говорите? Ну, а вы-то писать умеете?

Я молчал. И Гребнев замолчал. Потом поднялся, сел напротив меня, у края стола, заговорил громче и живее.

- Я вот у вас спросил: писать умеете? И вспомнил анекдот, еще в молодости слышал: приходит к редактору человек - вот как вы ко мне, наниматься. А редактор его и спрашивает: «Вы гвозди писать умеете?» - «Гвозди? Как это - гвозди? Их забивать надо, а не писать».- «Да нет,- говорит редактор,- не те гвозди, а наши... Ну, статьи такие - сильные, звонкие,- гвоздем номера их называют». А он в ответ редактору: «А у вас что, газета из одних "гвоздей" состоит?» - «Ну нет, конечно, из номера в номер идет мякина. Не прожужеешь».- «Так эту вот мякину я и буду вам поставлять».

Алексей Васильевич рассмеялся, затрясся грузным телом, лицо его покраснело, из глаз, увеличенных очками, проступили слезы. Он был доволен, что рассмешил сам себя, вынул из кармана платок, махнул им:

- Идите. На редколлегии затвердим вас. Думаю, затвердим.

От него я пошел к другому заместителю - первому, и, как я слышал, наиглавнейшему человеку в редакции. Он и газету «вёл», и кадрами ведал. Это был Александр Николаевич Баулин. Он тоже читал полосы, но при моем появлении встал из-за стола, потянулся, сказал:

- Садитесь. Мне о вас Николай Дмитриевич говорил. Садитесь вот сюда, а я сяду напротив. Прервусь от чтения, глаза начинают сдавать.- И приветливо улыбнулся: - Вам сколько лет? Ну, вот... совсем молодой, а мне пятьдесят семь. Говорят, шахтеры мало живут, а потом - газетчики. Ну так как? Вы сговорились с Николаем Дмитриевичем?.. Ну и ладно. Будете работать.

Потом спросил меня об С. С. Устинове - редакторе газеты «Сталинский сокол». Оказалось, они вместе работали в военной газете, и Баулин очень уважал Устинова - кстати, замечательного редактора и редкого по душевности человека. Он, кажется, умер рано - ему не было шестидесяти,- и многие другие журналисты редко доживали до пенсии, подтверждая печальный вывод Баулина, который и сам окончил свой путь, едва выйдя на пенсию.

Я потом видел, как много работал, как был умен, талантлив и доброжелателен этот человек. Он первым покинул «Известия», едва вступил к нам на порог Аджубей. Его место

занял Григорий Максимович Ошеверов - правая рука Аджубея.

Баулину и Шумилову я был обязан тем, что попал на журналистскую «вышку» и проработал там десять лет. А вот как они сами туда попали, какие силы забросили в «Известия» этот мощный русский десант - не знаю. Главный редактор К. А. Губин тоже был русским, но ему, как я потом мог заключить, было все равно, кто идет в «Известия», русский или еврей: он, видимо, был по натуре интернационалист и вполне мирился с тем, что почти все члены редколлегии при нем были евреи или женаты на еврейках. А если отдел возглавлял русский, как, например, Шумилов, Полторацкий или Кудрявцев (иностранный отдел), то заместителем у него был непременно еврей. У Шумилова - Розенберг, у Полторацкого - Цюрупа, у Кудрявцева - Миша Цейтлин.

Мне потом говорили: «Хрущев тут недавно многих вычистил, а то бы ты сюда никак не попал!»

Да, это было время, когда две танковые дивизии, стоявшие под Москвой, внезапным ударом пробили брешь в еврейской цепи, и те еще не могли оправиться от потрясения. Жуков ввел в Москву форсированным маршем дивизии, окружил Лубянку, арестовал Берию. И вскоре расстрелял его. И тут же на военных самолетах привезли в Москву двадцать членов ЦК и вывели из состава Политбюро Кагановича, Молотова и «примкнувшего к ним» Шепилова.

Если учесть, что Каганович был еврейским ханом в Кремле, Берия, его двоюродный брат, держал на штыках еврейский трон, а Молотов, Шепилов, Ворошилов - главные шабес-гои, то можно себе представить, какой удар был нанесен в то время иудеям, считавшим, что власть в России со времен Февральской революции принадлежит им, и исчезновение с политической арены «бешеного грузина» только упрочило их господство.

Ныне за рубежом появился ряд книг, где акцию Г. К. Жукова, осуществленную им единолично, сравнивают по значению с самой блистательной бескровной революцией, итогом которой явилось падение мирового господства иудеев, якобы достигнутое ими с захватом в 1917-м России.

Послушаем лидеров мирового еврейства. 18 июля 1957 года, то есть спустя четыре года после «революции Жукова», Бен Гурион, урожденный виленский иудей Давид Грин, сказал агентству ЮПИ: «Хотя в начале своего существования Израиль пользовался моральной поддержкой России и материальной со стороны Чехословакии, теперь, к нашему большому сожалению и огорчению, обе эти страны, без всякого на то основания, превратились в злейших врагов Израиля».

8 сентября 1959 года в Лондонской «Тайм» оплакивалось положение евреев в советской стране, говорилось, что оно там совершенно переменялось. В этой статье есть такая фраза: «Нет сомнения, что влияние иудеев в советской иерархии, значительное в годы немедленно после революции 1917 года, теперь исчезло».

И уж потом американский писатель Джеймс Мичинер произнес полные великого смысла слова: «Иудеи всего мира ненавидят новую Советскую власть мессианской ненавистью».

Как раз в то время, в конце пятидесятых, я пришел в «Известия», которые, как сказал мне ветеран-журналист, были «изрядно почищены» от иудеев. Да, почищены, но, однако, эти люди еще оставались на многих важнейших постах, их влияние было едва ли не определяющим. Потому-то и было так нелегко Шумилову заполучить в свой отдел Ивана, который, впрочем, очень скоро станет последним и вынужден будет метаться по городам и весям в роли собкора, дабы не сойти с известинской орбиты.

Чтобы понять обстановку тех лет и все последующие события в жизни моей и в жизни правительственной газеты, мне, очевидно, нужно рассказать о борьбе партий и идеологий, которая закипела сразу же после войны и достигла кульминации в канун 1990 года.

Я сказал «борьбу партий» и не ошибся, не оговорился, ибо за время работы в газетах, журналах, в издательстве, в литературе, а теперь еще и в Международной Славянской академии (более двух лет являюсь президентом ее Северо-Западного отделения) - за все

пятьдесят с лишним лет работы в этой духовной сфере я пришел к твердому убеждению, что у нас всегда, начиная с 1917 года, существовало две партии: одна легальная, коммунистическая, и другая - нелегальная, религиозно-иудейская, со своей тайной, но вполне определенной программой захвата капитала и власти в стране, а затем и во всем мире. Между этими партиями шла непрерывная жестокая война - и не бескровная, а скорее самая кровопролитная, не имеющая аналогов во всей мировой истории по количеству жертв.

Точнее будет сказать, войну вела партия иудейская, она же наступала, она же лила и кровь. Партия же коммунистов - ее принято еще считать ленинской, хотя я теперь в этом сильно сомневаюсь,- насколько я помню и понимаю события прошлых лет, войны не вела, она даже не оборонялась, а покорно несла свою голову под молот мирового сионизма. И этот молот до падения заменившего Сталина нового «бека» Берия и хана современной Хазарии Кагановича работал во всю свою дьявольскую силу.

Я не историк, не социолог и не стану приводить здесь обобщенных цифр расстрелянных в «лагерях Френкеля», замученных русских «кулаков», заморенных голодом в 1921 и в 1933 годах - эти цифры теперь называют многие авторы,- моя цель другая: рассказать детям, внукам и правнукам, как мы жили, как нас всю жизнь обманывали и как постепенно мы осознавали суть тайной войны, которую все годы советской власти с нами вели претенденты на мировое господство. Они уже слопали весь мир, захватили все ключевые рубежи в Советской России и готовились к новым победам, как вдруг...

В истории так всегда было с Россией - вдруг выкинет что-нибудь. Не ждали не гадали... Умом Россию не понять...

Расскажу о событиях тех лет, как они представлялись нам, современникам.

Почти сразу же после войны, в конце 1946-го, я пришел в дивизионную газету 44-й дивизии ПВО «На боевом посту». Стояли во Львове - там, в лесах Прикарпатья, еще добивали бендеровцев, еще гремели выстрелы, напоминая о только что прошедшей войне.

Однажды ранним утром, еще было темно, мы шли с редактором в полк - присутствовать на подъеме солдат. Вошли в темень заросшего вековыми деревьями Лычаковского кладбища. И вдруг из склепа - люди. Один шагнул к нам, по-украински сказал:

- Хто це таки?

Редактор Фролов ответил и-тоже на украинском:

- Мы зараз охвицеры. Вкраинци.

- А цей хлопчик? - ткнул в меня пистолетом.

- Це тож охвицер. Батька у нього русский, а мати - вкраинка.

Пистолет качнулся, показал нам путь:

- Проходьтэ.

То были бендеровцы. Находчивость редактора, знавшего украинский язык, спасла нам жизнь.

Только я пришел работать в газету, началась кампания борьбы с космополитизмом. Газеты вдруг запестрели статьями с разоблачениями «апологетов Запада», «безродных космополитов», «беспаспортных» бродяг и очернителей всего русского, советского... Фамилии назывались еврейские: Коган, Лившиц, Раппопорт, Браиловский, Асмаловский...

Все это было неожиданным, обвинения казались несправедливыми. Воспитанные на идеях братства и интернационализма, мы не могли поверить газетам на слово. Однако к евреям стали присматриваться.

В среде офицеров стали чаще возникать разговоры о евреях-вояках в духе: «воевали в Ташкенте», отсиживались на складах и базах.

Войну я закончил командиром артиллерийской батареи. Вспомнил своих евреев: врач полка - Вейцман, помпотех - Гиршман, начальник автослужбы - Вольфсон. У меня на батарее - военфельдшер Анахович, комсорг батареи Рубинчик. Во время боя все они сидят в землянках, ни раненых, ни убитых среди них нет.

Так в сознание закладывалось отношение к евреям - тот внутренний протест и

осуждение, которое евреи дружно называют «антисемитизмом» и «русским шовинизмом». Старики-партийцы мне скажут: до войны за антисемитизм расстреливали. Вон как! В прошлом, если царя оскорбляли, брали штраф триста рублей, а тут еврея назови евреем - пуля в затылок.

От таких рассказов рождались уже не только осуждение и неприязнь, а ненависть к евреям. Но мы еще не знали ни цифр, ни масштабов преступлений еврейства, не знали и не могли знать того потрясающего факта, что власть у нас с самого 1917 года принадлежит евреям.

Борьба с космополитизмом прервалась так же вдруг, как и началась. Читая «Правду», мы не могли знать, что же происходит в Кремле, кто начал борьбу с космополитизмом и кто ее прихлопнул.

Можно было лишь догадываться о попытках Сталина свернуть им шею, о том, что ранее послушный им «бек» выходит из повиновения. Взбесившегося собрата слоны убивают бивнем в бок - надо было полагать, что и Сталина постигнет та же участь.

Простодушный, доверчивый ум русского человека в то время так далеко не шел, но вскоре именно так и случилось.

В 1949 году меня пригласили в Москву для работы в редакции ВВС «Сталинский сокол».

Неожиданно вновь выкатился всплеск борьбы с еврейством: разоблачение врачей-отравителей. И снова невидимые силы погасили начинавшуюся атаку.

Как-то в 1951 или в 1952 году я прихожу в редакцию и вижу пустые коридоры. Заглядываю в отделы - пусто. Не пришли на работу евреи, которых даже в военной газете было множество. Я пошел к редактору, полковнику Устинову.

- Сергей Семенович, в чем дело, почему сотрудники не пришли на работу?

Полковник взглянул на дверь, тихо проговорил:

- Все евреи не пришли.

И пожал плечами. Он, конечно, знал, что с ними произошло, но предпочел не говорить лишнего рядовому сотруднику.

В тот же вечер, возвращаясь в первом часу ночи домой, я встретил на Можайском шоссе Сашу Фридлянского, с ним я работал в отделе информации. Он схватил меня за руку, зашептал.

- Ну, что там?.. Я еще не арестован, а как другие?..

Я тоже ничего не знал и потому лишь пожимал плечами. Домашних телефонов в Москве тогда было немного, даже у евреев, - они не сразу обменивались информацией.

На следующий день к нам пришел лектор из какой-то важной инстанции. Помню слова, поразившие меня, как громом: «Ваши корреспонденты...» - он назвал несколько еврейских фамилий, - переписали все летные части, все марки самолетов, фамилии всех старших командиров - до командира полка включительно, и все эти сведения передали иностранным разведкам».

Однако вскоре же часть евреев вернулась в редакцию, а часть так и не пришла. Многих я больше никогда и не видел. В Москве немудрено и затеряться.

Лекция была объявлена ложной.

Глава вторая

Что же все-таки происходило за кремлевскими стенами?.. «Правда» оставалась верна себе - не говорила народу правду, «Известия» вещали не нужные народу вести, а то, что требовали «сверху». Даже и мы, журналисты центральных газет, могли лишь строить догадки о всплесках антиеврейских кампаний. Было видно, что в Кремле образовались силы, которые пытались прорвать цепь еврейской блокады, но сил не хватало. Атаки, едва начавшись, захлебывались.

Грузин для евреев становился опасным, надо было ждать трагической развязки.

Позже Михаил Семенович Бубеннов, автор знаменитой «Белой березы» - любимой книги Сталина, мой задушевный друг, мне скажет:

- Хочешь услышать забавную историю - то ли быль, то ли небыль,- так вот, слушай: собрал это Сталин у себя на Кунцевской даче своих ближайших соратников - Берия, Кагановича, Ворошилова, Молотова, Маленкова, Микояна - и будто бы сказал: «Хочу сделать важное сообщение. Вы знаете, что со времени подготовки революции и до наших дней евреи нам ставили палки в колеса. В революцию они выдали план восстания, в гражданскую войну разжигали страсти и сталкивали всех лбами, в двадцатые - тридцатые годы наломали дров с коллективизацией, в годы войны бежали в Ташкент, делали панику в Москве, и так на протяжении всей истории. Если мы хотим успешно двигаться по пути строительства социализма, мы должны кардинально, раз и навсегда, решить еврейский вопрос. Я предлагаю выселить всех евреев из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов Советского Союза и определить им места проживания вдалеке от промышленных и культурных центров страны». Сталин сделал паузу, и в эту минуту раздался вопрос Кагановича: «А меня?» Сталин посмотрел на него, вынул из кармана трубку, сказал: «Для вас сделаем исключение». Тогда Ворошилов шагнул вперед, бросил на стол партийный билет: «Я выхожу из партии». Сделался шум, все заговорили разом. Через несколько дней газеты сообщили о смертельной болезни Сталина.

Бубеннов замолчал, пытливо и с улыбкой смотрел на меня. Я знал, что Михаил Семенович сразу же после смерти «отца народов» имел поручение от «верха» написать документальный, строго правдивый очерк о бытовой жизни Сталина и будто бы был допущен во все дачи, квартиры и кабинеты и к нужным документам, но через четыре дня его дела были приостановлены, и будто бы даже у него были отобраны все записи. Впрочем, все это я слышал стороной, сам же Михаил Семенович предпочитал об этом не распространяться. Однако эпизод с выселением евреев звучал в его устах правдиво, и, видно, не без умысла он сообщал мне его, возможно, в надежде, что с ним он не уйдет в могилу. На официальную историографию не надеялся, был уверен, что в обществе нашем еще долго будут властвовать силы, которым правда об этом невыгодна. В чем мы и убеждаемся теперь. Стоит увидеть физиономию Юрия Афанасьева, директора историко-архивного института, или Арбатова, Примакова, Заславскую - тоже директоров крупнейших институтов, как тотчас приходит на ум опасение Бубеннова - настолько он был прозорлив в своих прогнозах.

Мы были близкими друзьями на протяжении двадцати лет, до самой его смерти. Он многое поведал мне в дружеских беседах. Рассказывал и о том, как ему однажды позвонил по телефону Сталин.

Было это сразу после войны, когда Бубеннов из Риги прислал в журнал «Октябрь» рукопись «Белой березы». Роман стали печатать из номера в номер. Обрадованный Бубеннов вместе с женой Валей приехал в Москву, получил гонорар и снял угол где-то в частном доме под Москвой. Был он в то время болен - мучил туберкулез легких,- беден, не имел никакого имущества. И вдруг телефонный звонок:

- Попросите, пожалуйста, Михаила Семеновича.

Хозяйка отвечала:

- Михаил Семенович отдыхает. Он ночью работал и теперь спит.

- А когда он проснется?

- Через час.

- Хорошо. Я позвоню через час.

Проходит час. И снова звонок:

- Мне нужен Михаил Семенович.

- Я слушаю вас.

- Здравствуйте, Михаил Семенович! С вами говорит Сталин.

Бубеннов рассказывал о своем состоянии в эту минуту. Акцент его, Сталина, но, конечно же, его кто-то разыгрывает. Наверное, какой-нибудь литератор из журнала решил над ним подшутить. И не послать ли его подальше? Но все-таки решил говорить серьезно.

Мало ли! А вдруг?.. Сталин продолжал:

- Прочитал ваш роман «Белая береза». Замечательную вы написали книгу! Мне думается, это лучшая книга о войне. Поздравляю вас, товарищ Бубеннов. От души поздравляю!

Сталин сделал паузу, а Бубеннов не знал, что отвечать и надо ли отвечать. На мгновение пришла мысль: поднимут на смех в редакции, будут повторять каждое произнесенное им сейчас слово и хохотать до упаду. Но все же ответил:

- Благодарю вас, товарищ Сталин. Мне лестно это слышать.

- Как вы живете, Михаил Семенович? Есть ли у вас квартира? Какая у вас семья?

- Семья у меня небольшая - жена и дочь, а квартиры нет. Добрые люди приютили нас.

Снова мелькнула мысль: вот эти «добрые люди» особенно поднимут на смех. Сталин продолжал:

- Такой писатель, как вы, достоин того, чтобы иметь хорошие условия жизни. Я позвоню в Моссовет, попрошу предоставить вам квартиру. Завтра наведайтесь к председателю Моссовета - он что-нибудь для вас сделает.

Помедлив, заключил:

- Желаю успеха! До свидания.

Бубеннов ничего не сказал Вале, хозяйке, наскоро собрался, полетел в редакцию. Ходил по отделам, заглядывал в лица. Нет, никто над ним не смеялся. Зашел к главному редактору, Федору Ивановичу Панферову, осторожно рассказал ему о звонке Сталина. Тут же добавил:

- Может, разыграл кто?

- Ну, такие шуточки исключены.

И позвонил в Моссовет. Там сказали:

- Пусть Бубеннов придет за ордером на квартиру.

Этот эпизод Михаил Семенович рассказывал мне не однажды. Мы сидели в его роскошном кабинете в доме напротив «Третьяковки». В квартире четыре комнаты, и кухня больше любой из комнат, а по коридору можно кататься на велосипеде. Сталин же подарил ему и дачу в поселке «Внуково». Умел «отец народов» одаривать, щедрость проявлял восточную. Однако и то верно: пошла вскоре по разным языкам, странам и народам прекрасная книга о войне - «Белая береза», и потекли миллионы рублей в казну государства от трудов писателя Бубеннова. Я стоял у книжного шкафа в его квартире, разглядывал ряды все новых и новых изданий - несколько десятков тут было, и все - в прекрасных обложках, на белой гладкой бумаге. Лучшие художники оформляли книги, ювелирную отделку придавали им полиграфисты. А он ведь потом написал и другие романы, и те приносили доход государству, украшали частные и публичные библиотеки. Нет, не даром Михаил Семенович жил в прекрасной квартире, имел от государства хорошую дачу!

И тут же будет уместно сказать: немногие русские писатели пользовались вниманием государства, и уж совсем единицы удостоивались ласки и заботы со стороны коммунистических вождей. Судя по граду лауреатских медалей и орденов, сыпавшихся на грудь иных счастливиц от литературы, можно было бы привести и еще несколько фамилий: Эренбурга, Симонова, Суркова, Фадеева, но тут налицо несовпадение симпатий монархов и читателей. Пример Бубеннова редкий, может быть, единственный. Обласканный в начале творческого пути, он затем попадет в сферу глухой неприязни официальных критиков и всю жизнь проведет в сторонке от Союза писателей, от общественной жизни столичной семьи литераторов. Книги его будут жить своей счастливой жизнью, пользоваться читательской любовью, а имя его исчезнет со страниц литературных газет и журналов, он станет одним из тех выдающихся русских писателей, чьи имена негласно будут под запретом «Литературной газеты», много лет возглавлявшейся евреем Симоновым, а затем евреем Чаковским. Сыны Израиля цепко держали в своих руках газету, имевшую право казнить и миловать литераторов. И можно без труда понять, кто у нее ходил в постылых, а кого она поднимала на щит славы за заслуги, которых не было в природе.

У Бубеннова были времена материальных затруднений, но, к счастью, непродолжительные. «Белая береза» и другие романы кормили его и его небольшую семью. К сожалению, этого нельзя сказать о всех русских писателях. С начала 1970-го мне довелось работать в издательстве «Современник». Мы в главной редакции подсчитали средний гонорар живущего в России писателя и вывели смехотворную цифру: 130 рублей в месяц - примерно такую зарплату получала уборщица в министерстве.

Бубеннова наглухо «закрыли» после одного эпизода.

Летел он с Катаевым в составе писательской делегации в какой-то город. В самолете сидели рядом. Катаев спросил:

- Ты, Миша, читал мой роман «За власть Советов»?

- Читал.

- И как он тебе?

- Не понравился.

- Хо! Это интересно! Все говорят, роман великолепный, а он - «не понравился!» Ты, наверное, антисемит, Миша?

- Ну вот, сразу и антисемит! Роман мне не понравился потому, что он плохо написан, а не потому, что его автор еврей. Бедный язык, штампы, банальности, нет живых лиц. И все говорят, говорят. Как же он может понравиться?

Катаев позеленел, что-то еще шипел об антисемитизме, но Бубеннов его не слушал, ушел в заднюю часть самолета. А когда вернулся из поездки, снова перечитал роман и написал о нем статью. Большую, на шестьдесят страниц. И послал в «Правду».

Прошел месяц, другой - ответа не было. Друзья говорили: «Зачем послал в "Правду"? Газета может напечатать семь-восемь страниц, а ты накатал шестьдесят».

- Да,- соглашался Михаил,- свалил дурака.

И вдруг - звонок:

- Говорит Сталин. Здравствуйте, Михаил Семенович! Из «Правды» мне дали вашу статью о Катаеве. Очень вы хорошо написали. В статье содержится анализ не только романа «За власть Советов», но и стиля писателя, его художественного метода, если вообще у таких писателей есть художественный метод.

- Спасибо, Иосиф Виссарионович, но статья большая, и я напрасно послал ее в «Правду».

- Да, верно, статья большая, но я, полагаю, редакция найдет для нее место. Попрошу, чтобы напечатали без особых сокращений.

Статья была напечатана, и с тех пор Бубеннов надолго получил ярлык антисемита. Официальная критика вычеркнула его из числа писателей. Михаил Семенович написал еще два прекрасных романа - «Орлиная степь» и «Стремнина», - к последнему по просьбе издательства я написал послесловие, но для критики этого писателя не существовало. Наша критика, состоящая сплошь из евреев, таких дерзостей русским писателям не прощает. Два десятилетия спустя, вступая в литературу с романами «Покоренный атаман» и «Подземный меридиан», я и сам испытал холод еврейской неприязни. «Подземный меридиан» был вдребезги раскритикован и объявлен чуть ли не враждебным только за то, что я копнул в нем заповедные уголки иудейства: науку, театральную режиссуру, министерства. С трудом я потом напечатал еще роман «Горячая верста», после чего передо мной плотно захлопнулись двери издательств, и я был вынужден, как и Бубеннов в последние годы жизни, как и многие русские литераторы, писать «в стол» и довольствоваться тем, что тебя оставили на свободе.

Но я отвлекся. Свои мытарства в литературе, образы друзей-литераторов я надеюсь показать дальше. Здесь же речь поведу лишь о делах газетных.

Повторяю: Михаил Семенович рассказывал о совещании на даче Сталина как-то несерьезно, с какой-то лукавой усмешкой, а рассказав, спросил:

- Ты работал у Василия Сталина, - может быть, и там говорили об этом?

- Слышал я эти разговоры и в «Сталинском соколе», и в окружении Василия Сталина, но никаких документальных подтверждений этому не находил. А куда он их хотел выселить?

- На Дальний Восток. И лагеря для них подготовил.

- Ну, это вряд ли. Без Берии и Кагановича такой операции он бы не проделал. Нет, это уж из области сказок. Да и то, что вы рассказали о совещании, мало походит на правду. Судите сами: к кому он обратился со своим предложением? К Кагановичу? К Берии?.. - они двоюродные братья. К Молотову, Калинин, Ворошилову, Жданову, Андрееву - они женаты на еврейках. К Микояну? - армяне те же семиты, только крещеные. Возле Сталина, как и возле Ленина, плотно держался еврейский клубок. В действиях Сталина много было странно стей: одна разборка перед войной западной оборонительной линии чего стоит! Но чтобы с предложением выселить евреев обратиться к самим евреям? Не верю я в это, как хотите!

На том закончилась эта наша памятная беседа.

Слышу недовольный ропот читателя: зачем ворошить эту кучу, не принято у нас, непривычно для слуха. Шовинизмом пахнет. И вообще русскому человеку не свойственно дурно говорить об инородцах, живущих с ним рядом. Мы интернационалисты по натуре своей, по самой природе.

Да, верно, русский человек широк. Он добр и благороден, душа его распахнута, открыта - заходи, будь как дома, чем богаты, тем и рады. Гостеприимство русских известно всему миру. «Будь как дома» - из тех, далеких времен идет, когда предки наши, славяне, Богу-солнцу поклонялись, и нам передались безбрежная доброта и гостеприимство. Но какая опасность таилась в этой младенческой доброте и наивной вере нашей, мы только теперь увидели.

Те, кому распахнули мы дом и душу, за кем слепо пошли в 1917 году и затем вверили всю полноту над собой власти, не только взгромодили ноги на стол, пустили по миру семью хозяина, но еще и принялись уничтожать его физически.

Тут уж меня непременно обругают шовинистом. Ну а что поделаешь с Федором Михайловичем Достоевским? Ему-то этот банальный ярлычок на грудь не повесишь. А он в своем знаменитом «Дневнике» заметил: «А между тем мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов - ну, во что обратились бы у них русские и как бы их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как дельвали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю?»

Это место из «Дневника писателя» вызвало особую ярость евреев: его упрекали в ненависти к ним. «С некоторого времени,- писал Достоевский,- я стал получать от них письма, и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них нападаю, что я "ненавижу жида", ненавижу не за пороки его, "не как эксплуататора", а именно как племя, то есть вроде того, что "Иуда, дескать, Христа продал"».

Достоевскому лишь «иногда» приходила такая мысль, а мне не иногда, а частенько думается: а что если бы не у нас в России были у власти сплошь нерусские - Ельцин, Бурбулис, Шахрай, Чубайс, Лившиц, а в Тель-Авиве в их кнессете заседали бы Иванов, Петров, Васильев?.. Или они были бы на самом деле Иванов, Петров, Васильев, а фамилии бы носили Коган, Фельдман, Вольфсон... Что если бы русская команда сформировалась не только в кнессете, а и в правительстве Арона Шамира? Долго бы она там усидела?.. Да и возможно ли там такое представить даже в порядке теоретических химер?.. Вы смеетесь. А мне совсем не смешно бывает, когда в здании, названном ими Российским Белым домом, я вижу среди министров одни только иудейские лица. Фамилии - нет, не только иудейские; там есть и Примаков, и Козырев, и Бакатин, но лица... Их ни с кем не спутаешь.

Достоевский сказал о евреях самую малость,- в наше время они о себе говорят куда больше. В 1993 или 94-м году в студию Ленинградского телевидения пригласили гражданку Израиля. С ней беседовала наша, питерская еврейка. Наша говорит: «Я еврейка, но муж у меня русский. Нам не будут чинить препятствий в Израиле?» Соплеменница ей ответила: «Израиль - государство национальное, ваш брак у нас будет недействительным, а дети -

незаконнорожденными. И если ваш муж умрет, его нельзя будет похоронить на земле Израиля. У нас с этим строго».

А ну-ка, заведи мы такие строгости, что было бы в России с евреями? И какой бы крик во всем мире подняли так называемые «борцы за права человека»!

Так за что же вы обижались на Достоевского? Какую же неправду он о вас сказал?

Говорю об этом из опыта своего общения с евреями, вспоминая их косые взгляды, обвинения в антисемитизме. Но помилуйте: разве я хоть где-нибудь сказал о вашем национализме, о вашей нетерпимости к другим народам? Хотя бы одну десятую того, что поведала питерцам ваша соплеменница? Да, господа, скажи я такое, и меня бы забросали камнями! Меня бы, как Василия Белова, назвали бы человеконенавистником, избили бы, как Распутина!

Вот где ваша правда и весь ваш характер. Вы, как летучие мыши, боитесь света. А коль скоро вас вытащат на свет, вы одно только и кричите: «Антисемиты!..» Ну что ж, антисемит, так антисемит! Вы так называете людей прозревших. И уж лучше быть в компании Достоевского, Гоголя, Есенина, Лескова, Тургенева, Куприна и миллионов других прозревших ныне людей, чем в компании совков и оболтусов, которых вы же и презираете. Цинично, на весь мир, используя свое телевидение, кричите, что живете в стране дураков. Господа, проснись Россия! Где твоя гордость?

А, собственно, что это такое - «антисемит», «антисемитизм»? Ну почему нигде в мире по отношению к другим народам нет подобного обвинения, например «антикиргиз», «антикиргизизм»? Всякий здравомыслящий задумается: ага, если есть антисемиты, значит, есть и то, за что люди не любят этих самых семитов. Антисемиты-то есть не только среди русских, но и среди других народов, всюду они есть, во всех странах! Это обстоятельство, кстати, характеризует самих евреев, а не тех, кто их не любит.

Ненависть евреев преследовала Достоевского почти столетие - он был объявлен «реакционером», «мракобесом». Полуеврей Ленин назвал его «архискверным писателем». Но сила и масштаб исторической личности измеряются не ярлыками оппонирующих политиканов, а важностью открываемых этой личностью истин и глубиной прозрения общественных явлений. Для каждого нового поколения русских людей, да и других народов мира, фигура Достоевского как бы открывается заново и с каждым разом становится все выше и привлекательнее. Ныне «Дневник» за 1877 год, в котором великий писатель исследует еврейский вопрос, стал необходимым документом для каждого образованного человека. Из этой книги, из работ А. Куприна, Н. Гоголя, И. Тургенева, М. Салтыкова-Щедрина, из новейших публикаций, академика Ф. Углова, профессора Б. Искакова, писателей И. Шевцова, В. Солоухина, В. Белова, из статей И. Шафаревича, М. Лобанова, по великим откровениям митрополита Иоанна, а также по работам авторов русского зарубежья наши люди узнают истину о еврейском характере, об их многовековой и нелестной роли в истории Российского государства.

Давайте поговорим начистоту: в чем же погрешил против истины Достоевский? Где та ненависть «к жидам, как к племени», которую вот уже более ста лет вы усматриваете в его «Дневнике»? Достоевский задался вопросом, что стало бы с русскими, если бы нас было три миллиона, а евреев 80 миллионов, и мы бы жили в их стране?

Великий писатель мог бы задать и другой вопрос: что станет с русскими, если однажды в результате какой-нибудь революции евреи придут к власти в России? И тогда бы нам не пришлось на него отвечать. Ответ мы видим в самой жизни. За семь десятилетий после того, как в 1917 году они пришли у нас к власти, разрушено Русское государство, русская православная вера, русская культура. Они создали у нас такой бедлам, от которого сами же евреи в панике побежали из России.

А русский народ?

Народ еще цел, но это уже не тот народ, который был и которого знал весь мир. Нынешний русский народ на себя не стал похож, не даром нас то манкуртами называют, то зомби.

И вот ведь что примечательно: если евреи получают волю, то к такой черте подводят каждый народ.

Пишет Достоевский в своем «Дневнике»: «А дней десять тому назад прочел в "Новом времени" корреспонденцию из Ковно, прехарактернейшую: дескать, до того набросились там евреи на местное литовское население, что чуть не сгубили всех водкой, и только ксендзы спасли бедных спившихся, угрожая им муками ада и устраивая между ними общества трезвости. ...Вслед за ксендзами и просвещенные местные экономисты начали устраивать сельские банки, именно, чтобы спасти народ от процентщика-еврея, и сельские рынки, чтобы можно было "бедной трудящейся массе" получать предметы первой потребности по настоящей цене, а не по той, которую назначает еврей».

Литовцев спасли ксендзы да «просвещенные местные экономисты». У нас, у русских, после 1917 года ни тех, ни других не осталось: революционеры, возглавляемые евреями, предусмотрительно «вычистили» русское общество от тех и от других. Карающий меч революции польский еврей Дзержинский опустил, прежде всего, на русских священников и русскую интеллигенцию. «Революция тогда чего-нибудь стоит,- повторял отцов французской революции Ленин,- когда она умеет защищаться». Революцию они защитили, народ пустили на распыл.

За многие грехи ныне обвиняют Сталина,- я ему не защитник,- однако скажем наконец правду: Сталин-то не один был, возле плеча его стояла все та же «ленинская гвардия», которую мы теперь знаем поименно.

Работал я в газетах, писал свои книги, а в голове все сильнее пульсировала мысль: наш русский народ вымирает! Вот еще десять, двадцать, тридцать лет - и народа не станет. Он будет таким же редким, как были до Великой Отечественной войны ассуры - некогда могучие и гордые ассирийцы, или на Кавказе - абазинцы. Кровь холодела в жилах. Можно ли такое представить? Нет, но жизнь на каждом шагу подтверждала мрачные прогнозы. И братья-писатели, и художники с тонко развитым инстинктом предвидения, с широким и глубоким охватом мироощущения не дают разуму успокоиться, бьют тревогу, зовут к борьбе. В начале шестидесятых выходит в свет и повергает евреев в шок роман Ивана Шевцова «Тля», тотчас же заклеянный официальной прессой как антисемитский. «Агенты влияния» всполошились. Я тогда работал в «Известиях» и видел, как перетрусили все эти буничи, лацисы, бурлацкие, Карпинские, трусцой перебежали из кабинета в кабинет, ошалело таращили глаза. Весь их заполошный вид говорил: «Что же это будет? А?..» И, едва опомнившись, ударили по автору ненавистой «Тли». Из всех стволов крупного калибра - со страниц почти всех центральных газет. За месяц десять статей! Многовато! Любой другой человек упал бы замертво, Шевцов устоял. Крепким оказался Иван. Ну Иван! Гитлер со своей армадой не сумел его сокрушить, и эти не сломили. Прямой наводкой пушки палили, снаряды - самые крупные, тиражи - многомиллионные, прицельно жарили, снаряд в снаряд, а он, Иван, живехонек. И еще романы пишет: «Во имя отца и сына», «Любовь и ненависть», «Лесной роман». «И все о нас,- галдели евреям.- Живуч, однако! Неужто и все они такие, русские? Этак ведь не добьемся мы мирового господства к 2000-му году. Все карты нам попутают. И сегодня...- на что уж власть наша, и Полторанин во главе всей печати, и Голембиовский царит в "Известиях", и Егор Яковлев на телевидении, и Попцов, и прочие ребята из дружины Александра Яковлева, а Шевцов новый роман против нас выкатывает. И назвал-то как - "Над бездной"! Ну, Иван! Много на нашем пути стояло крепких молодцов. Но этот! Не в пример прочим - ровно дуб на поляне. Не побежать бы нам самим от русских, как встарь наши прадеды давали деру из Египта, Испании, да есть ли страна такая, из которой не случилось бы скорбного исхода? Вон Средняя Азия,- ныне и оттуда уж побежали...»

В Питере примерно тогда же художником Евгением Мальцевым создается эпохальный холст «Братья» - о природе гражданской войны, в Москве художник огромной духовной силы Виктор Иванов множит галерею портретов земляков, жителей села Исады. Я не однажды бывал у него в мастерской, всматривался в лица, в особенности женщин,- они кажутся живыми, но уж очень сурово смотрят. Так сурово, что, как мне чудилось, теряют

свое женское обаяние, мягкость и нежность. Другие стали наши женщины, не те, что были на холстах Венецианова, Кустодиева, Серова. И много у художника похорон. Хотелось сказать, да не посмел. А недавно читаю в газете вопрос к нему: «Да что ты все похороны пишешь?» Художник ответил: «А как не писать? В моем селе Исады за два года 600 человек в землю положили. А в первый класс школы прошлой осенью пришли трое детей, а этой - и вовсе двое».

Однажды я шел по Невскому, на столбе у Казанского собора увидел листовку. В ней сообщалось, что уже давно проводилась у нас перепись населения, а результаты переписи скрывают до сих пор, потому что боятся обнародовать страшную цифру: народа русского осталось 65 миллионов!

Позвонил в статуправление. Никто не знал или не хотел отвечать, когда будут напечатаны результаты переписи. Позвонил своему другу, он заведует кафедрой статистики в столичном вузе, наверное, знает.

А это ведь,- ответил профессор,- как и кого считать. Есть русские и русские наполовину, и русские на четверть. Вот я вам на этот счет прочту некоторые примечательные записи. Драматург Е. Петросян в своей интермедии говорит: «Хорошая рыба угорь, размножается только в Саргассовом море, а мой знакомый прописан в Москве, живет в Одессе, а размножается по всему Советскому Союзу». А вот еще, из романа В. Ерофеева «Москва-Петушки»: «Он всегда возил с собой в дипломате коктейль "Поцелуй для тети Клавы": сто граммов - и человек становится настолько одухотворенным, плюнь ему в харю - он ничего не скажет, а девушка ни в чем не откажет». Ну, и последняя запись, из присланного мне недавно частного письма: «В города и села Вологодской области, как и в другие области России, едут женихи с юга, внедряются в русские семьи с целью их разрушения или чтобы снабдить девушку внебрачным ребенком».

- Ну, спасибо, мой друг,- сказал я профессору на манер Некрасова,- разогнал ты мою грустную думу.

Ох, как больно, как тяжело жить, когда ты думаешь не о себе только, а хоть немножечко и о других.

В цифры я тогда не поверил, не верю и теперь, и «кабалистика» профессора меня не смутила: не о расовой чистоте моя тревога! Плохо, конечно, когда и цветом, и видом рождается полу-тот и полу-этот, но блуждающий негодяй-самец напрасно думает, что, рассыпая там и тут свое семя, он умножает свою национальность. Она, национальность, идет, в основном, от матери, впитывается с материнским молоком и формируется затем средой, воспитанием и самой природой обитания. Себя же этот пилигрим скоро превратит в получеловека-полужверя, и цена ему немного больше той, которую он берет с москвичей на Рижском рынке за пучок петрушки. А сын его или дочь, рожденные русской женщиной, на рынке с пучком петрушки стоять не будут, а если и принесут туда какой продукт,- то будет тот продукт свой, выращенный их собственными руками. И весь характер, и облик, и манеры будут у них плоть от плоти матери. Было уж такое в истории, и не однажды. Вливалась в нас кровь половецкая, и кровь монгольская, и татарская: прабабушки наши абортотворцев не знали, а татары и монголы с ними не церемонились. ан, ничего, переварили мы всякую кровь и обратили ее в русскую.

Дмитрий Менделеев в расчетах своих применял анализ почти химический. Взял прирост русского населения на начало века, прикинул, что, сохрани мы этот прирост, и к концу века мир имел бы 600 миллионов славян. Не знал он, с какой цифрой мы войдем в новый эксперимент, названный перестройкой, и с какой цифрой выйдем из нее: уже теперь известно, что русский народ в нынешнем столетии не досчитался 400 миллионов человек.

Простите нас, сторевающие в печах дьявола, и... не родившиеся. Велик наш грех перед вами, и замолить мы его не сумеем.

Да, численность народа русского пока снижается и может достигнуть критической черты, но верю я: встрепенется люд славянский, увидев край своей беды, и, как птица Феникс, возродится из пепла. Ведь было же не раз такое и будто бы случалось в древности,

когда нас, русских, было меньше, чем грузин, однако же, восторженувшись, наши предки являли миру силы небывалые.

Процессы, происходившие в «Известиях», были характерными для всего идеологического фронта партии - для газет, журналов, радио, телевидения, литературных сфер, издательств, театров-для всего, что призвано было формировать нового человека, которому жить «при коммунистическом светлом будущем». Конечно же, этот человек должен быть идеальным - честным, благородным, высокоразвитым во всех отношениях. Нам, журналистам, предстояло формировать гармоническую личность.

Но кто же были сами журналисты? Кому поручалась такая высокая миссия?

Олицетворял журналистику тех лет Аджубей Алексей Иванович - «талантливый журналист, умный, смелый редактор, прогрессивно мыслящий государственный деятель» - так о нем говорили, так о нем писали, такой образ прочно и надолго внедрился в сознание людей.

Русский народ легко поддается обаянию царствующих персон, а Хрущев сидел на троне! Как же не полюбить его зятя?

Итак, новый редактор ткнул в меня пальцем, сказал:

- А сам-то, сам-то что думаешь о стройке?

И послал домой писать о строительстве Сталинградской ГЭС то, что я думаю.

Я пошел. И написал. И новый редактор напечатал. Это была статья «Размах и расточительство» - первый негативный материал об одной из строек коммунизма.

Затем и другие подобные статьи стали появляться в «Известиях». Помню статью Василия Давыдченкова «Все ли простят победителю?» - о строительстве Братской ГЭС. Одна за другой появлялись статьи о личной жизни больших или знаменитых людей, об изъянах нравственности и морали в нашем обществе.

«Известия» приобретали новое лицо. Газету читали. В киосках за ней стояли в очередях.

Интересно, что статьи, очерки, фельетоны, которыми зачитывались, писали ветераны-известинцы, сидевшие еще вчера «в потемках». Ныне они выходили на свет, писали живо, публицистично. И, что самое главное, писали правду, были объективны в суждениях, тактичны в обличениях.

«Старики»-известинцы делали своей газете новую репутацию - самой смелой и новаторской газеты. Но вся слава доставалась Аджубею. В народе говорили: «Пришел новый, умный редактор и, смотрите, как изменилась газета!»

Аджубей, действительно, был человеком и умным, и смелым. Обладал он и другими завидными качествами: был молод, здоров, имел внушительный вид, красно говорил. Если же к этому прибавить его «вхожесть» в любые сферы, «верхушечную» информированность, то можно представить, с каким интересом мы шли на всякого рода совещания, слушали его речи. Он любил и умел ловко и ненавязчиво себя рекламировать. Например, между делом скажет: «Когда меня принимал президент Кеннеди...»

Мы все перестали бояться звонков из ЦК. Инструкторы нам не звонили, а когда однажды кто-то из членов редколлегии сказал: «Звонил заводделом ЦК...», Аджубей его перебил: «Пусть они звонят мне». Ему они звонить не решались.

Впрочем, вскоре мы узнали, что в ЦК все-таки есть люди, которых Аджубей боится. Когда однажды кто-то из редакционных сказал, что он звонил Фурцевой, Аджубей встревожился. Приказал: «Фурцевой и Суслову не звоните. Никогда. Я сам...»

Суслова боится - это ясно, тот серый кардинал, но Фурце-ва... Впрочем, злые языки дальними и не очень чистыми намеками вскоре все разъяснили.

Портрет Аджубея будет неполным, если не вспомнить некоторые были-небылицы, витавшие в то время над его именем: что в войну он играл в военном оркестре на трубе, что учился в театральном институте на чтеца, а затем перешел в Московский университет... Он был рослый, с румянными щеками и большими темными глазами с поволокой, что выдавало в нем человека Востока, а молва уточняла: восточного еврея. В то время стали много писать о

кознях сионизма. Рассказы о его родстве с Хрущевым обволакивались еще и политической окраской.

Первые месяцы аджубеевского периода - лучшее время в истории «Известий». Но время это было недолгим. Тогда же исподволь создавался новый стиль газеты - в языке, в подаче материалов, в содержании. Закладывались основы нынешних демократических «Известий», ставших во главе желтой перестроечной прессы.

Язык становился развязным, подача статей - броской, бьющей на эффект, в содержании было много субъективного, «жареного», идущего от эмоций автора, его личных симпатий и антипатий, - все чаще проскальзывало раздражение, нервозность, стремление глубже уязвить, больнее уколоть. Наметилась тенденция в подборе фамилий не только авторов, но и фельетонных, очерковых персонажей. Все совершалось у нас по Куприну, который еще в 1909 году писал Батюшкову: «...они внесли и вносят в прелестный русский язык сотни немецких, французских, польских, торгово-условных телеграфно-сокращенных нелепых и противных слов. Они засорили наш язык и нашу литературу всякой циничной и непотребной социал-демократической брошюратой. Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензии. Они же, начиная от "свистуна" (словечко Л. Толстого) М. Нордау и кончая Оскаром Норвежским, полезли в постель, в нужник, в столовую и ванную писателя».

Без церемоний выживал Аджубей из редакции ветеранов. Оставили свои посты заведующие отделом литературы и искусства В. Полторацкий, иностранным отделом В. Кудрявцев. На место Полторацкого пришел Юрий Иващенко - русоволосый, светлоглазый еврей. Он ко всем склонялся и улыбался, а руки держал за спиной, точно там у него был камень. Очень скоро он убрал из отдела всех прежних сотрудников и набрал новых. На иностранный отдел поставили Мишу Цейтлина. Этот с утра до вечера торчал в кабинете Аджубея, у его плеча, был главным его советником.

Начались реорганизации, перестройки. Отделы промышленности и сельского хозяйства слили в один отдел народного хозяйства. Во главе его был поставлен тихий, покорный Жора Остроумов. У него были два качества: он ничего не смыслил в народном хозяйстве и еще меньше смыслил в журналистике. И по этой причине не вмешивался в дела отдела и никогда не появлялся с собственными публикациями на страницах газеты.

Розенберг стал полновластным хозяином сферы промышленности. Шумилова назначили на отдел науки, - временно, надо полагать.

Курировать сельское хозяйство пригласили Геннадия Лисичкина, никогда не знавшего, чем отличается рожь от пшеницы и овес от риса. В искусстве писать статьи он, как мне кажется, понимал еще меньше. Тоже еврей. И тоже - почему-то белый.

Нас, русских, поражала легкость, с какой новый редактор раздавал должности в редакции. Мне вспомнился чей-то рассказ, слышанный мною в ту пору и немало меня поразивший, о том, как Ленин подбирал наркомов в первый состав советского правительства: брал человека с улицы и сажал его в кресло наркома, лишь бы этот человек был евреем. Было, наверное, преувеличение в этом рассказе, и немалое, но то, что пятнадцать наркомов из семнадцати были евреи, это верно. И, конечно же, эти наркомы смыслили в делах не больше, чем Иващенко, Лисичкин, Остроумов в журналистике.

Было ясно: кадров у них не хватает.

Вспоминал я чей-то рассказ о том, как сразу после революции на жительство в Париж приехал отец Куприна. Его обступили журналисты.

- Как там, в Петербурге, советская власть укрепилась?
- Да, укрепилась, - отвечал Куприн, в прошлом полковник генерального штаба.
- А в Москве, - спрашивали репортеры, - укрепилась?
- И в Москве укрепилась.
- А во всей России?
- На всю Россию у них евреев не хватает.

Так вот и здесь: не было под рукой у Аджубея квалифицированных журналистов.

На шестом этаже, на вышке, воцарился Григорий Максимович Ошеверов - второй заместитель главного, как две капли воды похожий на Киссинджера или на нашего обозревателя, профессора Зорина. Ответственным секретарем «Известий» стал Николай Драчинский. «Старики» изумились: «Драчинский?.. Он же фотокорреспондент "Огонька". Снимки делал неплохие, но ответственный секретарь "Известий"?..»

Да, зубры журналистики не могли до конца постигнуть еврейской психологии, стремительности их действий, особенно когда речь идет о средствах информации, о том, чтобы захватить там власть и влияние. Секретарь редакции - это начальник штаба, он планирует все публикации, направляет, контролирует, он старший повар редакционной кухни. По закону и установившейся в русской журналистике традиции ответственный секретарь - самый опытный и самый умный человек в коллективе, друг и наставник газетчиков.

Скоро о Драчинском заговорили: «Он ни во что не вмешивается, сидит в своем роскошном кабинете, принимает друзей».

Друзья у него были из его фотокорреспондентского цеха - из столичных газет, журналов, - почти сплошь евреи. Приходило их много, и бывали они часто: каждому хотелось «проскочить» в «Известиях». Уже тогда мы увеличили тираж с четырех до семи миллионов - «проскочить» в «Известиях», то есть напечататься, было мечтой и для журналистов, и для фоторепортеров.

Первым заместителем Драчинского был назначен - и тоже неожиданно - Дима Мамлеев, человек «приятный во всех отношениях». Талантами он не блистал - работал всего лишь вторым корреспондентом в Ленинграде, - зато был со всеми в отличных, почти дружеских отношениях. Я говорю «почти» потому, что Мамлеев знал и строго выдерживал ту невидимую и многими не соблюдаемую черту, за которой кончаются приятельские отношения и начинаются сердечно-дружеские. Мне кажется, что другом он никому не был, но зато приятелем... При встрече крепко пожмет руку, улыбнется, спросит: «Как живешь?» и для каждого найдет приятные, ободряющие слова. Впрочем, в кабинет не пригласит, но, если зайдешь, беседует охотно, без того нетерпения и раздражения, которое вы слышите в голосе и жесте недоброжелателя.

Словом, это был рубаха-парень, он всем в редакции нравился. Сочувственно обращался со «стариками» - и с теми, кто еще не видел сгущавшихся над их головами тучами, и с теми, кто уже был назначен на вылет. Дима проявлял тут даже смелость: обещал хлопотать и действительно хлопотал, просил за человека. В то время мы еще не знали, что Мамлеев был избран окружением Аджубея и, может быть, им самим кандидатом в какие-то родственники. Но родство не состоялось, а положение в редакции Дмитрию было обеспечено.

Мамлеев был удобен евреям. Внешне он был одинаков как с русскими, так и с евреями, однако для тех, кто внимательно к нему присматривался, становилось ясно: служит он больше евреям и, если нужно будет сделать выбор между теми и другими, он предпочтение отдаст новым хозяевам.

Скоро мы в этом убедились: корреспондентская сеть внутри страны - эту сеть ему подчинили - стала заполняться евреями или людьми, породнившимися с ними. Дима был из тех, кто знает своего хозяина и умеет ему служить. Это о таких евреи сами говорят: шабес-гой. Гой, пляшущий под их дудку.

В коридорах шестого этажа, где располагалось высшее начальство, появилась и еще одна фигура: Маргарита Ивановна Кирклисова, выполнявшая роль литературного секретаря. Фигура для газетчиков страшная. Отсюда шли главные оценки журналиста: владеет или не владеет слогом, умеет или не умеет писать. Литературный секретарь может и пропустить статью, и ничего не скажет автору, не сделает ни одной поправки, но на вопрос кого-нибудь «Как статья?» неопределенно пожмет плечами, сделает кислую мину. Словом, должность серьезная и мало к чему обязывает. Одна из тех многочисленных синекур, которые расплодил «развитой социализм».

Кирклисова имела странное имя - Абаша и вид типичной старой еврейки, но многим

говорила: «У нас в Армении...» И почему-то ее называли «духовной мамой» Аджубея. Она будто бы была близким человеком к семье редактора. Одно было ясно и сразу же сказалось на всей жизни редакции: в кабинете Кирклисовой стали оседать статьи старых известинцев. Они сюда падали как в колодезь, и их уже трудно было извлечь на поверхность. Скоро поняли: отсюда подаются сигналы - хода не будет. Ты постылый, собирай манатки.

Борис Галич, он же Галачьянц, большой знаток еврейской психологии, однажды мне сказал:

- В каждой статье подавай сигналы: «Я ваш, я не против вас, я вас люблю, обожаю». И тогда увидишь, как статьи твои будут легко проскакивать. Понял?..

- Нет, не понял. Как это «подавать сигналы»?

- Ах, Иван! Ну что ты такой бестолковый! Сигналы - это значит упомянуть Эйнштейна - дескать, умный, как Эйнштейн - или Светлова - «яркий талант Светлова», - а не то Плисецкую, Райкина. Если о науке речь пойдет, приплети Векслера, Иоффе. Всего строчка-другая, а статья пойдет, как по маслу.

- Я же пишу о делах железных, заводских, при чем тут Светлов, Плисецкая?.. Шутишь ты, Борис!

- И не шучу! О чем бы ты ни писал, хоть о строительстве шахты, а «яркий талант Светлова», «божественную Плисецкую» пристегни. Кирклисова затем и посажена, чтобы своих вынюхивать, сигналы улавливать. Смекай, брат Иван, а иначе - дело труба.

Как-то незаметно исчезали старые работники секретариата. Их было трое, они имели большой опыт, и в первые дни, когда пришел Аджубей и потребовал новую, красивую газету, броские подачи статей, они вдруг явили великолепное искусство. И, между прочим, аджубеевцы, составляя потом свои макеты, все время обращались к тем первым номерам, заимствовали их стиль и рисунок.

Увольнялись русские. Однажды Шумилов мне сказал:

- Не жди, пока уволят. Уйди сам.

- Аджубей похвалил мою статью. Неужели...

- Сегодня похвалил, а завтра позовет Сильченко и спросит:

- Когда уйдет Дроздов?

Сильченко приглашен на кадры, на место А. Бочкова, ветерана партии и революции. Новый заведующий низенького роста, молодой, носит очки в золотой оправе, улыбчив, вежлив - с каждым остановится, поговорит.

Я продолжал возражать Шумилову:

- После моей статьи Алексей Иванович сказал мне: «Старик, если мы с тобой больше ничего и не сделаем в жизни, то и тогда будем хлеб есть не даром. Теперь проекты гидростанций будут дешевле. Экономятся миллиарды!..»

- Все равно - уходи. Ты Иван и, кажется, уже последний.

- А вы?

- Что я?

- Тоже будете увольняться?

- Меня не тронут. Не посмеют. Меня в ЦК знают.

На ту пору умер челябинский корреспондент Сафонов. Будто бы выпил лишнего, вошел в вагон поезда Москва-Челябинск и - умер. Шумилов мне сказал:

- Просись на место Сафонова.

Я набрался духу, зашел к Аджубею.

- Алексей Иванович, пошлите меня в Челябинск, собкором.

- А поезжай,- сказал Аджубей.- Урал нам нужен каждый день. Ты сможешь.

Назавтра я оформил документы и через три-четыре дня был уже в Челябинске.

В город на Южном Урале приехал восьмого мая 1960 года, день был холодный, с неба валил мокрый тяжелый снег. «Вот она - Сибирь», - подумал я с не очень веселым чувством и с мыслью о добровольной ссылке.

На перроне меня встречал шофер корреспондента «Известий» Петр Андреевич Соха,

мужчина лет пятидесяти, в черном плаще и типично рабочей кепке. Со мной в купе ехал следователь союзной прокуратуры, вместе с которым мы сели в машину и поехали в гостиницу «Южный Урал», где для меня уже был заказан двухкомнатный номер. Вечером он зашел ко мне и предложил материал для моей первой корреспонденции. «Здесь творится неладное,- сказал он заговорщицки,- в вытрезвителе загоняют в спину шило и ржавые гвозди».

Сообщил конкретные факты, но просил на него не ссылаться, а устроить свое, корреспондентское расследование.

Утром следующего дня я вручал «верительные грамоты» первому секретарю обкома партии Николаю Васильевичу Лаптеву. Это был интеллигентного вида человек, в прошлом учитель, невеста какими силами брошенный на высокий партаппаратный пост. В то время нехитрая, но содержащаяся в глубокой тайне механика партийной иерархии мне была совершенно неведома. Николай Васильевич принимал меня любезно, не скупился на время, угощал чаем, а затем и коньяком - признак особого благоволения, приглашение жить в мире и тесной дружбе. Я потом нечасто с ним встречался, но то первое знакомство отложилось в моем сознании как светлый эпизод общения с высоким человеком, имевшим почти неограниченную власть над обширным краем гигантских заводов, необъятных полей, лесов, горных ключевых озер, смотревших в небо громадными синими глазами.

Лаптев был невысок ростом - настолько, что это бросалось в глаза. Я потом, через три года, поеду в Донбасс работать собственным корреспондентом «Известий», там явлюсь к первому секретарю Донецкого обкома Компартии Украины Александру Павловичу Ляшко - и он тоже окажется маленького роста,- а затем явлюсь к первому секретарю Ворошиловградского обкома Николаю Васильевичу Шевченко - также человеку маленького роста. И уж потом, много позже, я близко сойду с Николаем Васильевичем Свиридовым - заметьте, тоже Николаем Васильевичем, и тоже невысоким, приземистым, сутуловатым. Он два десятка лет возглавлял издательский мир и полиграфию России, далеко вперед подвинул эту отрасль; был умен, проницателен и так же поражал меня рискованной откровенностью.

Мне невольно хочется продолжать список «маленьких» мужчин, почти подросткового роста, и тогда придется вспомнить Дмитрия Степановича Полянского, министра сельского хозяйства СССР, члена Политбюро, непокорного и мятежного, сосланного Брежневым в Японию послом. Как человек пытливый, образованный, он следил за текущей отечественной литературой, и, когда меня банда Чаковского «понесла по кочкам» за роман «Подземный меридиан», позвонил мне, долго и участливо говорил всякие хорошие слова, а в конце разговора пригласил к себе «поближе познакомиться». И тут я увидел человека невысокого, живого и чрезвычайно смелого в суждениях. Тогда я невольно задумался: почему это многие выдающиеся начальники, встретившиеся мне в жизни, непременно маленького роста и с первой же встречи выказывают откровенность, доходящую до дерзости? Уж нет ли тут какой-нибудь мистической предопределенности, вроде той, что все маленькие ростом мужчины рвутся в Наполеоны? Что же касается их искренности, она мне порой казалась безрассудной. Я хотя и забежал далеко от темы, но вспомню здесь, как принимал меня в Ворошиловграде, в то время переименованном в Луганск, а затем снова в Ворошиловград, тамошний первый секретарь обкома Н. В. Шевченко. С ним тоже мы пили коньяк, он, видимо, перебрал лишнего, стал бранить Хрущева. Говорил, что у них Приазовская степь, юг Украины, мало выпадает дождей и нещадно палит солнце,- кукуруза родится раз в пять лет, а Хрущев приказывает двадцать процентов земель отводить под кукурузу. «Это же черт знает что! - кипятился Шевченко.- Мина под нашу область! Он что, с ума сошел!..»

Мы разошлись, а редактор областной газеты вечером мне сказал: «Шевченко тревожится, не передашь ли ты его разговор Аджубею? Он как-то и не подумал, что Аджубей - зять Хрущева, а ты приехал от Аджубея... Словом, мужик покой потерял».

В тот же вечер я позвонил на квартиру Шевченко, поблагодарил его за дружеский прием, за доверительность и сказал, что я подобную откровенность высоко ценю в людях и никогда их не подвожу. Он говорил со мной тепло и душевно: видимо, звонок мой снял с его

души камень.

Но вернемся в Челябинск. Факты беззаконий и страшных насилий, сообщенных мне следователем, подтвердились, но, как они ни были выгодны для газетной статьи, я не считал уместным начинать свою работу с такой сенсации. Заехал к областному прокурору, сообщил материал своего расследования, он заметно струхнул, но я его успокоил: «Не стану поднимать шума, если вы дадите мне гарантии, что ничего подобного в вашей области происходить не будет». Он тотчас меня заверил, что примет самые крутые меры, и попросил, чтобы ни в обкоме, ни в облисполкоме я об этом не говорил. «Я-то, пожалуйста, но следователь...» - «Со следователем мы все уладим. Мы с ним одного ведомства - как-нибудь договоримся». Я тогда не придавал значения словам прокурора, но потом я все больше постигал науку смотреть не только на один, отдельно взятый факт, но видеть во всяком деле цепь, которая подчас тянется далеко и имеет крепкое сцепление с фактами другими.

Тогда уже были и узковедомственные интересы и, как мне кажется, в глубинах управляющего механизма уж зарождалась коррумпированная мафия. И хотя она слишком глубоко была запрятана от постороннего глаза, но мы ее видели и вели с ней борьбу. И только природы ее до конца не понимали. Теперь же эту «природу» увидели на экранах телевизора. Знаем фамилии, лица... Мафия, разрушители, имеет свои этнические черты. Семь главных банкиров - березовские да Гусинские, владельцы фирм, скупленных за бесценок, - они же.

Смотрим и сравниваем, и делаем выводы.

Царствование Хрущева окрестили «великим десятилетием» все те же... - тогда они только еще рвались в академики, директора институтов - арбатовы, заславские, Шмелевы и поповы. - Все те же, кто потом из всех сил будет превозносить «великого миротворца» Брежнева, пожнет на этой ниве и академические дипломы, и директорские должности. Но вот уже в новом, более высоком качестве, выпрыгнут они в карету перестройки и до небес вознесут нового «архитектора». И так всю жизнь, загоняя до кровавого пота лошадь - историю, путаясь во лжи, лицемерии, интригах и обмане, приволокут они свои толстые зады в кресла депутатов Верховного Совета и там окончательно развалят Российскую империю. Но вот там-то и увидит их русский народ и поймет, наконец, кто же так долго и ловко морочил нам голову, заводил в тупик, в бездонный колодец все наши усилия и, в конце концов, привел к страшному, библейскому запустению отчужденную землю и покрыл позором народ русский перед всеми народами мира.

Дорого же заплатили мы за то, чтобы увидеть этих кротов, но увидели, слава Богу! Знаем теперь их в лицо. Может быть, теперь-то хоть легче будет жить и строить свой дом. Ведь это как в боевой жизни летчиков-истребителей: увидел врага - победил!

Знаем мы теперь, как велика способность этих каменщиков-разрушителей, тайных подземельных гномов при каждом историческом волнении выскакивать на поверхность и вещать новые смертоносные идеи. Академик Заславская в пьяную голову миротворца Брежнева внедрила идею о «неперспективности» русских деревень, - интересно бы знать: возразил ли хоть шепотом ей кто-нибудь из членов Политбюро, членов ЦК партии? И какую новую мину заводит она нам во времена перестроечной вакханалии, обхаживая младших научных сотрудников, ставших вдруг хозяевами Кремля?

Депутат Бурлацкий уже выкатил свою мину: предлагает план насыщения Москвы продуктами питания. Для этого не потребуется почти никаких затрат. Нужна самая малость: завести с Запада тысячу фермеров и расселить их вокруг Москвы на площади 25 тысяч гектаров. И еще позвать из Голландии два десятка фермерских семейств - они научат русского мужика растить картошку. Заметим тут, кстати: Гитлер, называвший славян «туземцами», тоже намеревался заселить наши земли голландцами, а нас использовать в качестве рабов-исполнителей.

Уже при Хрущеве продолжался начатый в 1917 году мор на Землю Русскую. Вчера мы с женой Люцией Павловной встречали Новый, 1990 год, у Штоколовых. Борис Тимофеевич готовит в эти дни сольный концерт, все средства от которого пойдут на восстановление

храма Христа Спасителя в Москве.

За праздничным столом неспешно текла наша беседа.

- Есть два проекта восстановления храма,- говорит Борис Тимофеевич. Первый...- он, видимо, идет от сионистских кругов: поставить на старом месте сооружение-силуэт храма, второй - возродить храм таким, каким он был. И увековечить там не только героев войны 1812 года, но и подвиги в Великой Отечественной войне, и жертвы репрессий. И пусть знают, кто, как и с какой целью разрушал храм. Я согласен петь только ради храма в его полном и еще более величественном облике, а ради храма-силуэта петь не стану.

Помолчал Борис Тимофеевич, потом с затаенной печалью и гневом добавил:

- Каганович, добившись у Сталина согласия на разрушение храма, будто бы сказал: «Приподнимем теперь подол у матушки России!...»

Слова эти прозвучали пророчеством. Оттуда, с тех лет, пошла волна морального и нравственного распутства, затопившая души русских людей, а в нашу пору превращающая детей в беспамятных злобных манкуртов.

- Мне на днях,- продолжал знаменитый певец,- митрополит Филарет сказал: «Хрущев повелел разрушить пятнадцать тысяч пятьсот храмов. И эта директива была выполнена».

Я не удивился: вспомнил другой Новый год, 1983-й, мы встречали его в Москве на квартире вдовы Николая Владимировича Грум-Гржимайло - Софьи Владимировны. И были там тоже известные нашему народу люди: дирижер Константин Иванов, певец Александр Огнiewicz, поэт Игорь Кобзев... Я сидел рядом с Дмитрием Николаевичем Чечулиным, академиком архитектуры, бывшим многие годы главным архитектором Москвы. Он был невесел, у него накануне Нового года сожгли дачу, погибла большая коллекция картин,-я полагал, что Дмитрий Николаевич грустит о своей потере. Сказал ему: «Не кручиньтесь, тоска ест наши силы, а они нам еще пригодятся». Он сказал: «Вы думаете, я о даче. Нет, печаль моя о другом: на днях у меня были молодые архитекторы, обвиняли меня за будто бы снесенный мною уголок Москвы - Зарядье. И будто бы десять храмов в Зарядье я тоже порушил. А я, между тем, лишь в том и виноват, что на месте Зарядья поставил созданную мной гостиницу "Россия". А судьба Зарядья была predetermined еще Сталиным и Кагановичем». И еще Дмитрий Николаевич сказал:

- Я, конечно, вписывал гостиницу в конкретное место, но при нашей системе даже главный архитектор Москвы не всегда может защитить от сноса одно малое здание, тем более исторически сложившийся жилой район, каким являлось Зарядье.

Жгли и томили душу старого архитектора дела минувших дней, и, может быть, от этих неизбывных сердечных страданий до времени угасла жизнь - вначале его супруги, а затем и его самого.

Да, не знал я,- не мог знать рядовой, еще неопытный журналист, что и тогда, при Хрущеве, несмотря на поднятый им вселенский шум о разоблачении «культ личности», о «восстановлении законности», продолжал свою дьявольскую работу набравший еще при Ленине силу культ серенького человека, возмечтавшего править миром. Он, этот серенький человек вполне определенной национальной окраски, уже властвовал к тому времени в театре, в музыкальном мире, в архитектуре, в живописи и на хребте Хрущева устремился на штурм очередных бастионов: печати, школы, здравоохранения. Ныне они главенствуют и тут. Мне только что позвонил мой крестник Володя - он преподает литературу в одной из ленинградских школ,- поздравил меня с Новым годом. И произошел у нас такой разговор:

- Как живешь, Володя?

- Не скажу, что хорошо, а лучше сказать - плохо.

- Что так? Ты молодой, здоровый, жизнь должна тебе улыбаться.

- Оно бы так, да тошно на работе, слова живого нельзя сказать - тут же берут в оборот разного рода контролеры.

- Да в чем же конкретно тебя притесняют, и кто они такие - контролеры?

- О ком говорить с учениками, кого хвалить, кого замалчивать - все у нас расписано по часам и минутам. Безыменского, Маршака, Алигер хвали на здоровье, возноси до небес, и

времени на них не жалеют, а что до Некрасова, Кольцова, Лермонтова - на них времени нет. И Гоголя, Достоевского ученики наши почти не знают. Толстого, Тургенева не читают.

- Но ты же учитель! Изловчись, просвети души.

- В Москве создан гигантский комитет по народному образованию, там академия педнаук, научно-исследовательские институты, центры по составлению программ, методик, да и здесь, в Ленинграде - облоно, гороно, районо. Черт голову сломит! Все это аппарат подавления живой мысли, контроля и насилия, и всюду одно и то же: все прозападное, модерновое насаждается, все наше русское подавляется. Тяжко русскому человеку! Уж лучше бы я корейцем родился!

Ныне корень зла многие видят в нескольких лицах: дескать, прорвались к власти и разрушили Россию. Горбачев, Ельцин... Да еще дюжина фигур. Кого-то назовут жидо-масоном, кого-то американским шпионом. Бывший шеф КГБ Крючков придумал им название: агенты влияния. И будто бы все верно, и есть доказательства, но народ так и остается в неведении, не может понять, что же с ним произошло? Нелепым кажется и невероятным, чтобы кучка злоумышленников - пусть даже тридцать, сорок человек - могла развалить империю, которую еще вчера весь мир признавал за сверхдержаву.

Об этом думают, размышляют. Недавно я слушал по телевидению беседу А. Невзорова с узником «Матросской тишины» Крючковым. В них любимый Шурик, как мне показалось, задает собеседнику наивные вопросы, а вернее, такие вопросы, которые заведомо и расчетливо уводят беседу от глубинной сути проблемы. Я написал письмо Невзорову. Вот оно:

Дорогой Александр Глебович!

Пишу по поводу Вашей беседы с Крючковым.

Это хорошо, что Вы такую беседу сделали и, хоть и в коротком варианте, ее показали. Уже одна эта акция в наше треклятое время делает Вам честь, вновь Вас поднимает над сонмом пишущей братии, суевающейся вокруг пустяков, жующей третьестепенные новости.

Но не одну только похвалу я хотел бы на этот раз высказать. Как мне показалось, -я рад бы ошибиться, -Вы свои вопросы задавали с позиции человека, не знающего всего комплекса подводных течений случившейся с нами беды, а Крючков в своих ответах отвечивал ровно столько информации, сколько следовало, и говорил лишь о том, о чем можно было говорить, не повредив и не осложнив своего настоящего и будущего. В результате диалог напоминал беседу двух дипломатов, один из которых не до конца понимал предмет разговора.

Вы сделали нажим на то, что Горбачев и его клика оказались предателями и Горбачев был завербован какой-то иностранной разведкой; Вы даже повторили вопрос: когда он был завербован, до или после своего воцарения в Кремле? Крючков, как и следовало ожидать, уклонился от ответа, улыбался лукаво - дескать, ну, это такой вопрос, на который я пока отвечать не стану. Не подтвердил факт вербовки, не опроверг это. Ему, как человеку, люто ненавидящему Горбачева еще и за личные невзгоды, было приятно оставлять Вас и всех Ваших слушателей в недоумении по адресу экс-президента, который, конечно же, является предателем, и притом самым чудовищным во всей мировой истории. Не замечено на обозримом горизонте, чтобы царь, король или президент умышленно разваливал свое царство и в конце концов предавал свой народ. В этом смысле Россия также явила миру пример феноменальный.

Но вот вопрос, и он должен был быть главным в вашей беседе: почему Горбачев предал? Потому ли что он был кем-то завербован и служил за деньги другому государству?

Поверить в это, значит, направить следствие по ложному пути, увести из-под суда народного силы, которые не однажды ввергали российское государство в полосу неисчислимых бед.

С пришествием на нашу землю Антихриста в образе Бланка-Ленина мы выбросили из хранилищ много книг, предали анафеме национальных мудрецов, освистали героев, объявили вредными целые направления в умах и науке. Стало недостойным, вредным и опасным изучать и что-либо говорить о психологии нации, генных структурах, выбросили за

борт такую важную науку, как физиономистика. Ленину и его учителю Марксу важно было растворить русский народ в месиве других народов, соорудить вселенский коктейль и таким образом уничтожить само понятие «русский». Таджики пусть остаются, армяне, киргизы - тоже, но вот русских... не надо, такого народа не должно быть. И для этого они выкатили на арену дьявольскую идею - интернационализм.

Дружба, лояльность, терпимость и гостеприимство нужны всем народам, но интернационализм, как доминирующая идея общественной жизни, потребовалась только одному народу: евреям. Дружба, терпимость, гостеприимство проповедовались всеми учителями человечества - Христом, Буддой, Магометом, Лютером, Радонежским, Саровским,- все они, включая и Христа, были не евреями, а интернационализм провозгласили два проповедника - Маркс и Ленин, и оба они - евреи.

Тут мы сразу слышим хор возражений: «Ну, евреи разные бывают, есть евреи и хорошие. Маркс и Ленин как раз таковые...»

Я прожил много лет, и вся моя жизнь со дня окончания войны протекала среди евреев - в журналистике и литературе. Десять лет я работал в «Известиях». Уже тогда, в пятидесятых годах, там было 55 процентов евреев и породнившихся с ними, а с приходом в 1960 году зятя Хрущева Аджубея, бухарского еврея, этот процент был доведен до 90. Меня называли «Последним Иваном». «Известия» снискали себе печальную славу советского, а затем российского еврейства. И могу сказать: да, евреи, как и все люди, разные, но только в частностях, а в главном, в их пристрастии к своим сородичам и к деньгам, они все одинаковы. И это заметил еще древний историк, кажется, Плиний, сказавший много веков назад: «Нет тысячи евреев, есть один еврей, помноженный на тысячу». Маркс тоже объединял евреев в стремлении к наживе, называл их дух торгашеским и подчеркивал неистребимость этого духа, предупреждал человечество о заразительном характере философии рвачества, эгоизма, о том что человечество ни к чему разумному не придет, если оно не эмансипирует себя от еврейства.

Это - высокая материя, а если спуститься на землю, к предмету Вашей беседы с Крючковым, то складывалось впечатление, что вы оба старательно обходили тот важный вопрос, что у нас в правительственных структурах, и в особенности на Старой площади, уже накануне прихода Горбачева создавалась ситуация, подобная известинской: сгрудилась, сорганизовалась критическая масса еврейства, то есть такой их процент, при котором у них срываются тормоза и они в открытую начинают раскручивать свой торгашеский механизм, кстати, в конце концов пожирающий и их самих.

Процент, создающий критическую массу, никто в точности не исчислил. Очевидно, он для разных мест и ситуаций разный, но журналисты заметили, что в редакциях газет он равен шестидесяти-семидесяти. В такой пропорции борьба здоровых сил с ними становится бессмысленной. Она может стоить карьеры, а то и жизни. Борьба затухает, и они еще выше поднимают голову, их поступки принимают черты криминального поведения. Разумеется, это не значит, что при таком их скоплении они реализуют все свои замыслы. При советском строе у них было много препятствий, но критическая масса является гарантией того, что при первом детонаторе их торгашеская стихия срывается с тормозов и устремляется вразнос.

Горбачев явился таким детонатором, а когда он подтянул себе в главные помощники Яковлева, наглого и неумного еврея, все рыночные процессы хлынули на нашу голову, как с гор селевой поток.

Вам следовало прояснить этот вопрос, но он остался за кадром.

Не подумайте, что я вас за это обвиняю - нет, конечно. На фронте командиры даже от самых смелых бойцов не требовали, чтобы они бросались на амбразуры или чтобы все летчики, подобно капитану Гастелло, направляли свой самолет на скопление врага. Человеческие возможности имеют свой предел и требуют от вас какого-то сверхгероизма было бы святотатством. И тем более ждать от Крюčkова, пожилого больного человека, сверхподвига может только бессердечный и помраченный разумом человек. К тому же и не дали бы вам эфир для такой передачи. Но не задавать вопроса, уводящего следствие по

ложному пути, Вы могли.

Нет, Александр Глебович, никто Горбачева не вербовал, никакой он не шпион. Он был завербован самой своей сутью. И не случайно у его плеча стоял Яковлев, а на кадрах ответработников сидел Разумовский, а всеми «советующими институтами» заведовали и заведуют сейчас яковлевцы: Арбатов, Афанасьев, Абалкин, Примаков, Заславская, Шаталин, Аганбегян. В газетах, журналах - те же подручные Яковлева: Лаптев, Коротич, Егор Яковлев, Лацис, Бурлацкий, Голембиовский - это редакторы. Обозреватели, они же спецкоры, они же собкоры, - тоже Цветовы. Одни - «лучшие японцы», другие - «лучшие немцы», а вместе взятые - «хорошие американцы» и, уж конечно, достойнейшие сыны Израиля. Кто угодно, но только не русские! И не патриоты российские - наоборот, люто ненавидящие Россию.

Когда вскроются все дела Яковлева и мы поймем, что этот нелюдь больше наделал зла, чем его соплеменник Троцкий, тогда в полной мере оценим и вредоносную деятельность горбачевских консультантов, советников и таких помощников, как Шахназаров.

Вот это и есть критическая масса, которая составляла энергию давления, влияния. Не все они формально завербованы, но все работали и работают на страну, являющуюся альма-матер торгашеского духа.

Гений русской литературы Гоголь изобразил Янкеля. Этот маленький, юркий, ласковый человечико на многие версты вокруг себя превращает храмы в конюшни, а землю в пустыню. И это всего лишь жалкий безграмотный Янкель. Ну а если тысячи Янкелей забежали в Центральный комитет партии и расселись там во всех кабинетах?.. И если эти Янкели все ученые, да многие из них академики, пусть даже липовые, что же они сделают с Россией? А то, что и сделали!

Вот где причина, где суть явления! Горбачев органически вписался в стаю янкелей, - может быть, не по рождению, но уж обязательно по родству. Жена, дети, зять, внуки... А они, внуки, подороже детей бывают.

Сваливать все наши беды на одного Горбачева или хотя бы на тридцать его единомышленников - значит оставлять в целостности всю колонию вируса, создавать условия для будущих новых обострений болезни, а говоря проще, для окончательного истощения, а затем и убийства русской нации. Настало время, когда мы должны с привлечением всех средств науки исследовать причины периодически случающихся с нами катастроф. Нужны комплексные анализы болезни. Но если это так, то и сам Крючков, и некоторые другие ГКЧПисты предстанут перед нами в ином свете. Те же Лукьянов, Янаев, Рыжков, Язов, заняв место у плеча генсека, слово лишнее боялись молвить и уж так были покорны, что за них становилось неловко. Ныне они пребывают в ореоле мучеников, они, хотя, может быть, и поздно, но преодолели лакейскую робость, свершили действие во благо народа и за него, за народ, пострадали. На Руси издревле любят страдальцев - их пожалели, им извинили и робость, и неумелость действия - все ж таки пострадали! Но суд истории неумолим. Придет время, и с Крюčkова спросят: а где вы раньше были? Тридцать лет в органах - и сидели по углам, как мыши. А тем временем «агенты влияния» расплзались по министерским кабинетам, смелели, наглели, а уж затем и вовсе охамели. Наполнили все коридоры власти, забрали печать, руководство школой, наукой. В России не было и одного театра с русским дирижером и режиссером! Среди писателей семьдесят процентов - евреи, а в Москве, Ленинграде - и все восемьдесят... Когда в Питере от местного союза отделились русские писатели, то их оказалось всего тридцать, а евреев - четыреста. Но, позвольте, где были органы надзора за порядком? Где были вы, товарищ Крючков и ваш шеф Андропов, «который никогда не говорил вам неправды?» Ах, вы молчали потому, что у генсека была слишком большая власть! Но тогда чем же вы отличаетесь от агентов влияния? Ведь вы все видели, все позволяли, всех пропускали, больше того, улыбались этим агентам влияния и тем поощряли их к еще более активным действиям.

Хороши бы мы были на фронте, если бы, увидев прорвавшегося к нам в окопы врага, только ласково ему улыбались бы. Вы теперь с удовольствием и даже с нежностью вспоминаете Андропова, который никогда не врал. Но при Андропове процветали и

Горбачев, и Лигачев, притянувший в Москву Ельцина, и Разумовский, заведовавший кадрами министров и секретарей обкомов, и Громыко, сунувший Горбачева в кресло генсека, и Гришин, и был в большом фаворе Ельцин, и первым помощником у Андропова был еврей Вольский. Да, Андропов создал антиссионистский комитет,- ему с его чисто иудейской внешностью надо было продемонстрировать себя слегка «антисемитом», но во главе комитета он поставил не кого-нибудь, а еврея Драгунского.

Нет, господин Крючков,- товарищами вы никогда мне не были. Вы теперь пострадали, и сердобольные русские люди вас зауважали и многое готовы простить. Но история сердца не имеет, и память ее учитывает только дела. Рассеется словесный мусор горбачевых, ельциных, Собчаков, но и ваша жизнь, и жизнь других узников «Матросской тишины» - Павлова, Янаева, Язова... и других ваших товарищей по несчастью будет представлена не одним только опереточным переворотом, а и всем ходом вашей жизни, ее делами и плачевными результатами.

Все вы, или почти все, добросовестно трудились над созданием той критической массы торгашеского духа, который и привел к взрыву такой исполинской силы, который в ключья разметал величайшее государство в мире, привел к неисчислимым человеческим жертвам и на столетия назад отбросил прогресс России и ее многочисленных народов.

Общественный катаклизм этот не будет иметь себе равных, он же еще раз подтвердил наивную доверчивость русских и безмерное коварство племени, сотворившего этот чудовищный взрыв.

Из облисполкома мне позвонили:

- Вам выделена дача. На Соленом озере.

Братья-газетчики из «Челябинского рабочего» сказали:

- Ты попал в элиту. Поезжай на дачу, занимай.

Соленое озеро было пресным, чистым, как все озера на Южном Урале,- по крайней мере, тогда, сорок лет назад. Оно располагалось в десяти-пятнадцати километрах к югу от Челябинска - в сторону Троицка, северо-казахстанских степей. Берега озера, точно рамой, окаймляли леса. После мокрого снега, который меня встретил на вокзале, установилась ясная теплая погода, даже жаркая, что было вполне обычным для этих мест.

Обкомовские дачи - их было всего двадцать - огорожены высоким забором, у въезда стоял милиционер. Не избалованный в жизни вниманием властей, я вдруг попал в число двадцати чиновников огромной области, которым государство выказывало свое особое почтение. Дача представляла особняк из двух половин: две комнаты, кухня и веранда выделялись мне, другая половина - физику В. П. Морозову - человеку, о котором самые скудные сведения сообщили мне газетчики, да и то шепотом. Он будто бы являлся главным начальником, научным руководителем гигантского атомного комплекса, условно называемого «Челябинск-40». К нему, этому комплексу, рвался американский летчик Пауэре на своем сверхвысотном и скоростном разведчике, сбитом нашими зенитными ракетами.

С одной стороны дома жил главный архитектор города Н. Чернядьев, с другой - в отдельной и большой даче жил мой коллега, корреспондент «Правды» по Южному Уралу Александр Андреевич Шмаков. У него был крупный породистый кот рыжей масти - очевидно, по признаку цвета хозяин назвал его Аджубеем. Когда же я приехал, хозяин лишил кота его имени, чем, очевидно, немало озадачил бедное животное.

В первое же утро я поднялся в шестом часу, вышел на берег озера. Тут уже загорал сильный, стройный молодой мужчина с роскошной шевелюрой русых выющихся волос. Это и был физик Морозов. На академика он мало походил, на большого начальника - тоже, впрочем, может быть, это все мне так казалось; я к тому времени еще мало видел больших начальников, министров и совсем уж не видел академиков.

Мы быстро познакомились, болтали о пустяках: между прочим Морозов мне рассказал, что несколько лет назад на моей даче жил писатель Александр Фадеев. Он приехал на Урал писать роман «Черная металлургия», но в Челябинске жил мало и вскоре уехал в Магнитогорск.

С полотенцем через плечо вышел Александр Андреевич Шмаков, любезно, с оттенком снисходительности поздоровался с нами, пригласил меня кататься на лодке. Морозова не приглашал, и тот не поднимал головы, не смотрел на Шмакова: видимо, между ними не было дружеских отношений. Впрочем, вскоре я заключил, что у Шмакова почти ни с кем не было теплых, дружеских отношений. Он занимал свой пост более двадцати лет, усвоил позу и психологию человека, стоящего над всеми, даже над обкомом и помнил о своем праве судить, оценивать дела всех лиц и инстанций - говорить слово последнее, подводить черту.

Для него, как и для первого секретаря обкома, была подготовлена лодка, и никто не смел ею пользоваться. Я шел за ним как бедный родственник, а он садился в лодку важно, вставлял весла в уключины и неторопливо, женским тоненьким голосом говорил:

- Мы с твоим предшественником Сафоновым были в большой дружбе, и тебе, старик, советую держаться ко мне поближе. Я тут все и всех знаю, и мой газетный опыт... Словом, не дам ошибиться. Но и ты тоже - о чем писать вздумашь, какие мысли в голову придут - говори, ничего от меня не таи. А?.. Ты согласен со мной?

Тон его был важный, до обидного покровительственный. Я никогда не работал собкором, да и такую важную большую газету представлял впервые. Правда, три года трудился в «Сталинском соколе» - тоже газета московская, центральная, хотя и военная, со своей спецификой, со своими строгими военными законами.

Лодка скользила по золотым россыпям, блестящим на водном зеркале, Шмаков казался мне великаном - все знающим и все умеющим. Вспомнил, как в «Челябинском рабочем» журналист Киселев - фронтовик с резиновой рукой - говорил о том, что Шмаков - писатель, он вот уже двадцать лет пишет о Радищеве. Александр Николаевич Радищев в пору своей молодости работал в Троицкой таможне, в ста километрах от Челябинска. Шмаков изучает все материалы этого периода деятельности великого писателя-революционера и опубликовал два тома о Радищеве. Киселев сказал: «Сейчас Шмаков пишет третий том: "Радищев и водородная бомба"». Зло пошутил, но журналисты добродушно смеялись. Шмакова они не любили. Впрочем, в те первые дни я этого еще не заметил.

На берегу озера выросла новая мощная фигура. Она махала рукой - дескать, подплывайте, возьмите меня. Мы подплыли, и в лодке оказался третий человек, тоже журналист, редактор областной газеты «Челябинский рабочий» Вячеслав Иванович Дробышевский. Он был поэт, человек простой, душевный, редкой моральной чистоты и порядочности. Он станет мне близким товарищем.

Так начиналась моя жизнь в Челябинске. Через неделю из Москвы приедут моя жена Надежда Николаевна и двенадцатилетняя дочь Светлана. После душной столичной атмосферы жизнь на Соленом озере покажется им блаженством.

Мне же предстояло заявить о себе, как о журналисте, которому «Известия» не напрасно доверили представлять ее в «опорном крае державы», как называли поэты Урал.

В Магнитогорске готовили к пуску стан «2500» - гигантский листопрокатный агрегат, призванный обеспечить своей продукцией автомобильные заводы, производство бытовой техники - холодильников, пылесосов, стиральных машин.

- Поедем вместе! - предложил Шмаков.- Представлю тебя магнитогорцам, покажу город, комбинат, Магнит-гору...

Шмаков ехал на «Волге». Мне сказал:

- Поедешь со мной, а твоя «Победа» пусть следует за нами.

- Зачем же гнать две машины? И вообще я полагал, что на поезде...

Шмаков заметил сурово:

- Поезд - он и есть поезд! Поедем на моей машине, а твоя тоже нужна будет. Магнитогорск - большой город, без машины там намаешься.

Мне казалось расточительным и даже нелепым гнать машины в Магнитогорск за 240 километров от Челябинска, на юго-запад, к границе Башкирии. Но делать нечего.

Зажигаем в горком партии. Шмаков представляет меня секретарям, они проявляют ко

мне интерес, хотят побеседовать, но Шмаков занимает всех своей персоной.

- Я буду у вас ночевать, попрошу номер - удобный, двух комнатный, с ванной и балконом.

- Мы вас разместим в домике.

- Не хочу в домике, в гостинице лучше - ближе к комбинату. Мне надо часто бывать в цехах.

«Я, я, мне, мне...». Про себя решаю: больше со Шмаковым ездить не буду.

В тот же день приехали в цех на новый стан. Тут шло опробование, нас никто не замечал, я затерялся в толчее комиссий, наладчиков, министерских и иных представителей. Шмакова потерял и был доволен. Прошел в начальный пролет стана, видел, как раздвинулись чугунные дверцы, и из пышущего огнем чрева печи выползла солнцеликая чушка - сляб

и, подобно волшебному сундуку, поплыла под первую клеть стана. Здесь на нее сверху и с боков навалились стальные плиты, жамкнули ее, тиснули, так что из нее во все стороны брызнули миллионы искр, и она тотчас же вытянулась, ужалась, рванулась вперед и уже быстрее, словно испугавшись, покатила по роликам стана к очередной клетке. Тут ее жамкнули еще с большей силой, и заготовка полетела к следующей клетке. И там, далеко, из клеток вырывался раскатанный лист и мчался все стремительнее, пока не достиг скорости курьерского поезда.

Ходил вдоль стана, наблюдал, записывал. Подходил к специалистам, расспрашивал и вновь писал и писал в блокнот.

Вечером в гостинице встретился со Шмаковым.

- Передал информацию? - спросил он.

- Нет, еще не написал.

- А чего там писать? Я из блокнота продиктовал стенографистке. Завтра дадут.

Я ничего не сказал, пошел к себе в номер. Раскрыл блокнот, сидел над белым листом - не знал, что писать. Вспоминал, как о пуске станов писала наша газета, как подавалась информация в «Правде». Обыкновенно это были небольшие заметки в одну короткую колонку на первой или второй странице. И назывались они просто: «Пуск стана», «Выведен на проектную мощность», «Очередная победа строителей». И мне что ли так назвать?

Поднялся, стал ходить по номеру. Вдруг представил, как завтра выйдет «Правда», и в ней - рассказ о пуске стана. Рассказ интересный, подробный. Шмаков написать сумеет - он писатель, ему ничего не стоит. А я дам бледную заметку. А то еще и опоздаю. «Правда» даст, а мы нет. Представляю, как будет кипеть Аджубей. Распечат на летучке, на совещании редколлегии.

У меня от этих мыслей в висках застучало. В эту минуту в номер вошел человек с фотоаппаратом. Представился фотокорреспондентом местной газеты.

- Фотографии хотел вам показать.

Первая же фотография мне очень понравилась: в эффектном освещении панорама нового стана.

- Откуда же вы снимали?

- Из-под крыши, с самого верха.

- Здорово! Шмакову показывали?

- Нет, он таких вещей не берет. «Правда» фотографий не любит.

Я не знал, дадут ли наши панораму стана, но мне захотелось ее предложить и соединить с броским репортажем, да на первую полосу.

- А как доставить ее в Москву? Сегодня же!

- Очень просто: самолетом! Дам пакет летчику, а ваши пусть встретят.

Я тут же позвонил в редакцию, Мамлееву. Предложил репортаж и фотографию. Он сказал: «Хорошо, старик! Так и надо подавать такие события. Утром нос "Правде"».

Там, в редакции, во всем соревновались с «Правдой»: велико было желание Аджубея «утереть ей нос».

Записал номер рейса самолета, время прилета. Фотокорреспондент обрадовался, сказал: «Я тотчас мчу на аэродром». Для него было счастьем появиться в «Известиях», да еще с таким крупным снимком.

Оставшись один, я склонился над белым листом, стал думать. В то время уже хорошо знал, что броский заголовок - половина удачи любого газетного материала, а то и больше. Здесь же репортаж о большом событии в жизни страны. Название должно запоминаться. Встаю, хожу по номеру. Представляю стан в подробностях, с начала и до конца.

В будущем, когда начну писать роман о металлургах и в центр сюжета положу строительство и работу стана, тоже предстоит мучительно искать заголовок. Тогда мне вдруг вспомнится оброненное рабочим слово «верста», то есть длина стана - верста. И мне явится название: «Горячая верста». Считаю его удачным. Но здесь я, хотя и не замыслил роман, но поиск названия так же труден.

Не найдя ничего подходящего, сажусь писать репортаж.

Рассказываю, что это за стан, куда пойдет его продукция, какая скорость проката, производительность. Инженеры дали мне расчет: сколько автомобильного листа произведет стан в смену, в сутки, в неделю, месяц... Является фраза: «За год стан произведет столько листа, что им, как ремнем, можно опоясать земной шар».

Репортаж получился большой, как статья. И когда поставил точку, то как-то вдруг сам собой явился заголовок: «Еще один уральский богатырь!»

Репортаж передал по телефону в редакцию, и тут зашел Шмаков.

- Ну, что, старик, написал информацию?

- Да, и уже передал. А вы?

- Я тоже. Покажи, что ты написал.

Я протянул ему исписанные листы, размашисто начертанный заголовок. Он глянул на него, покачал головой.

- Ну и ну! Размахнулся!

Перебрал листы - их было пять или шесть,- улыбнулся.

- Это все передал в редакцию?

- Да, передал.

Снова покачал головой. Сказал:

- Это несерьезно. И заголовок - для стенной газеты. Нет, старик, большие газеты не любят шалостей. Нужна строгость! И краткость. Несколько строк и - хватит! Вот как у меня - язык должен быть лапидарным. Газетную площадь, брат, надо экономить. Да, старик. Ты перехватил.

У меня по спине поползли мурашки, озноб переходил в дрожь. Шмаков сидел в кресле развалясь, важный, серьезный, смотрел на меня, как на мальчишку. Казалось, вот-вот - и рассмеется в голос. И в эту минуту я смотрел на него с таким уважением, с таким доверием: двадцать лет работает корреспондентом «Правды» по крупнейшему району страны, писатель, автор романов - он-то уж, если бы захотел, смог написать репортаж о стане, и заголовок бы нашел получше,- главное, посерьезнее.

- А вы какой дали заголовок? - спрашиваю упавшим голосом.

- «Стан в строю». И написал тридцать строк. Другого ничего не надо. В свое время, по молодости, и я пробовал. Но газета, старик,- и наша газета, и ваша - большая газета! - имеет свои законы. Тут разная игра словами: два притопа - три прихлопа не проходит. А будешь приплясывать - на смех поднимут. Потом и на дверь укажут. Да, старик, законы журналистики суровы. Постигай. А заметку напиши новую. Пока не поздно. И в другой раз не мудри.

Поднялся с кресла, богатырски потянулся, сказал:

- Бывай. Пойду спать.

Не знаю, как назвать свое состояние, но, кажется, я испытывал чувство, будто на меня, лежащего, кто-то наступил громадным сапогом и крепко вдавил в грязь. Мне даже воздуха не хватало. Смотрел на телефон и порывался звонить, просить стенографистку задержать

репортаж, но знал, что репортаж уже на столе у Мамлеева, у Розенберга, а может, и у самого Аджубея. Махнул рукой и завалился спать. Но сон пришел лишь под утро.

Сходил позавтракал, побродил по Магнитогорску, а потом, после обеда - к тому времени в редакции у нас начался рабочий день - позвонил Мамлееву. Он сказал:

- Репортаж в номере. Молодец, Иван. Продолжай в том же духе!

И снова переживания, снова мурашки по телу, но теперь уже от радости, почти детского восторга.

Вечером в номер снова зашел Шмаков.

- Как дела, старик?

- Не знаю,- пожал плечами, стараясь не выдать распивавшего меня желания бросить ему в лицо: «А репортаж-то дают!»

- Ничего, не волнуйся: там сократят, сделают конфетку. А заголовок - он один для всех, я его еще двадцать лет назад нашел. «Стан в строю!»

Он захохотал и хлопнул меня по плечу.

- Пойдем в ресторан! Там, говорят, фирменные котлеты превосходно делают.

Газету с репортажем я увидел уже в Челябинске - в редакции «Челябинский рабочий», куда я заехал прямо из Магнитогорска. На первой полосе, в правом углу, на уровне с названием газеты красивым шрифтом бежал заголовок: «Еще один уральский богатырь!» На полполосы снимок - панорама стана. И тут же сообщение: «В Челябинске приступил к работе наш новый собственный корреспондент по Южному Уралу Дроздов Иван Владимирович». И дальше - репортаж. Он такой же, как я его написал. Ни сокращений, ни изменений. И самые смелые эпитеты, сравнения сохранены. Я держал в руках газету, и сердце мое колотилось от радости. Оказывается, можно в большой газете - и смело, и с размахом.

Поднял глаза, посмотрел на заведующего промышленным отделом, в кабинете у которого я сидел. Он был мрачен. Стукнул кулаком по столу:

- Редактор мне втык сделал, ваш репортаж в нос сует: почему мы отделались заметкой? Но если и всегда было так - «Стан в строю», и «Правда» так дает, вон, посмотрите, как Шмаков. А что вы дали большой репортаж, и снимок и заглавие... А-а... Надоело!

Он махнул рукой и вышел.

Словом, сам того не желая, я явился возмутителем спокойствия в рядах местных журналистов. И, может быть, не только местных. Но тут, разумеется, нужно сказать: смелость нового редактора «Известий», новые формы подачи газетных материалов были той благодатной почвой, на которой появлялись в то время всходы новой, более речистой, броской и яркой журналистики.

Глава третья

Скоро я втянулся в темп редакционной жизни и поставлял на газетные полосы столько материалов, сколько требовалось. Помнил фразу Аджубея: «С Урала нам нужны материалы каждый день». На Урале нас было двое: в Свердловске Виктор Иванович Бирюков, старый газетный волк, и я в Челябинске. Следил, что дает Бирюков. Немного. Небольшие заметки, деловые информации. Время от времени шли авторские статьи крупных директоров, партийных и иных чинов. Статьи суховатые, но умные и деловые. Мне они нравились, и я почтительно относился к своему старшему товарищу.

Наезжал к нему в Свердловск. Он всегда жаловался, что статьи его лежат в редакции, их маринуют, они стареют. Позже на совещании собкоров я узнаю: процент проходимости у Бирюкова восемнадцать. То есть из сотни посланных в редакцию материалов проходили лишь восемнадцать. Меня такая бухгалтерия не устраивала, скажу больше: страшила. Я остро переживал каждую задержку своих материалов.

Однажды была задержана статья о Магнитогорске «Город без хозяина». Горисполком и горком партии почти не влияли на распределение жилья, не строили школы, детсады, не

касались транспорта, культуры и т. д. Всем верховодила в городе Магнитка - Магнитогорский металлургический комбинат.

Большую власть сосредоточил в своих руках директор Магнитки. В горкоме мне рассказали эпизод военного времени, когда директор комбината Григорий Иванович Носов был на приеме у Сталина. Беседа кончилась, и Носов был уж на пороге кабинета, когда Сталин вдогонку ему сказал:

- Вы там посматривайте за ребятами из горкома партии.

- Хорошо, товарищ Сталин,- ответил Носов.

С тех пор директор и посматривал за ними, не давал им никакой власти. А между тем в городе, кроме Магнитки, было больше двадцати других промышленных предприятий.

Я ставил вопрос о передаче власти исполкому горсовета. Но статья не шла. Из редакции сообщили: лежит у Киркисовой. А Киркисова, я уже знал это, ни на какие уговоры не поддается, статьи у нее оседают прочно, чаще всего - навсегда, и чем она руководствуется при оценке статей, никто не знал. Ее называли «Бермудским треугольником» и только одно советовали: будь с ней поласковее, при встречах низко кланяйся, целуй руки и привози ей подарки: старуха любит сувениры.

Я же ей и руку не целовал, и подарки не привозил - явно угодил в постылые.

Частенько я вылетал в Москву. Прошло полгода после воцарения Аджубея. Редакцию было не узнать. Старых известинцев, русских, не породненных с евреями, почти не осталось. Держались пока Шумилов, Черных да еще два-три человека. Впрочем, я тогда о родстве не думал, в анализе ситуации так далеко не шел. Смотрел на лица - этот русский, этот еврей, этот - полуеврей. Полуевреев знали - называли «полтинниками».

Русский человек интернационален по природе, у него от века сильно развито чувство гостеприимства. При этом предки наши на лица не смотрели, национальность не выясняли. Философы-мудрецы заметили это свойство русского характера и нарекли ему сыграть в мире судьбоносную защитительную для живущих с ним народов миссию. Но так всегда бывает в природе: одному положительному явлению непременно сопутствует отрицательное. Так случилось и с нами. Наша безбрежная доброта, наша доверчивость были использованы злыми силами в свою пользу: русских, поверивших в святое братство народов, бесовски надували в нынешнем столетии. Интересно бы знать, научило чему-нибудь русский народ это страшное столетие в нашей истории?

Лично мне эта наука давалась трудно. На каждом шагу я спотыкался, разбивал нос.

Вот и на этот раз. Приехав в редакцию, заметил, как сильно придавили тут русский дух, как вздыбили шерсть Миша Цейтлин, Юра Филонович, Колтовой, Цюрупа... О новых уж и говорить нечего: никого не видит и знать не желает Валя Китаин (евреи всех называют, как в детском саду: Валя, Юра, Миша), «приятный во всех отношениях» Мамлеев сидит в роскошном кабинете первого заместителя ответственного секретаря, напротив, через приемную комнату - кабинет нового ответственного секретаря, вчерашнего фоторепортера Драчинского. Прежнего секретаря Александра Львовича Плюща повысили: назначили редактором только что начавшего выходить приложения к газете - еженедельника «Неделя».

Открывались все новые и новые должности. Обсуждался проект нового здания «Известий». Здание предполагалось пристроить к старому, и так, что новое будет в три-четыре раза больше старого. Каждому сотруднику - кабинет. А сотрудников становилось все больше.

- Сколько же их будет? - спрашивал я у Галича.

- Очень много! Штат будет резиновым... Все время расширяться.

Впоследствии так и случилось. Здание построили, действительно, оно очень большое, этажей, коридоров, кабинетов - не счесть. Я недавно, лет пять-шесть назад, зашел в «Известия» повидать своего старого товарища Юрия Грибова - он в то время работал редактором «Недели» и первым заместителем главного редактора «Известий». Сидел он в том самом каминном бухаринском кабинете, но пройти к нему можно было через коридоры нового здания. Я шел, плутал, смотрел по сторонам и дивился размаху аджубеевских

реформ. Им, евреям, во всем свойственен гигантизм, умопомрачительные масштабы без всякой видимой необходимости. Газета оставалась прежней: те же четыре полосы, ну, еще вкладку однополосную напечатают, а поди ж ты как размахнулись! Десятки миллионов стоило новое здание. А сотрудников... Их теперь копошилось тут, словно в исполинском муравейнике. И зарплата! И документ у каждого известинский - из бордового сафьяна с золотым правительственным гербом.

Шел по коридорам, а сам вспоминал разговоры при Губине. Тогда всерьез говорили о возможности сокращения центрального аппарата журналистов с сорока пяти до двадцати. Сколько же теперь сотен здесь сотрудников?

Задал этот вопрос Грибову. Он ответил уклончиво:

- А вот тут, в «Неделе» у меня, столько же, сколько у вас работало в «Известиях». Всех же наших штатов я не знаю. Много сотрудников, очень много!

Изучая материалы для своих многочисленных статей, а затем и книг, я все глубже проникал в самый тайный, самый главный и самый разрушительный для страны механизм «насосов». Система наша считала деньги «наоборот». Если купец, фабрикант, крестьянин считал расходы, чтобы вычислить и затем прирастить доходы, то «хозяин» при социализме считает расходы, чтобы вычислить возможность прирастить... расходы. На первый взгляд - нелепость, но нет, ничуть. Вес и значение в обществе и государстве учреждения, предприятия, а вместе с ним директора, редактора, то есть хозяина, определяется не доходами, а расходами. «Известия» при Аджубее остались прежними по размеру - почти прежними, - но увеличили тираж и тем незначительно умножили доходы. Однако расходы они увеличили во много раз. И за то все славили Аджубея. «Смотри, как размахнулся! Вот редактор, это - деятель!»

Редакцию он превращал в насос, качающий соки народа и государства: до нелепостей раздувал штаты, плодил бездельников, паразитов. Но этого народ не видел. А я думал: отцы Отечества, «наша правящая, руководящая...» делают вид, что все разумно, целесообразно.

Тот же процесс происходил со всеми конторами, учреждениями, институтами. Лишенные чувства ответственности и патриотизма дельцы, словно пиявками, покрыли нашу землю «насосами», и они сосут все живые соки, сосут.

Тогда я многого не знал, кое о чем лишь догадывался. И все время разбивал нос.

Приехал в редакцию по поводу статьи «Город без хозяина». Тут же и ростовский корреспондент Семен Руденко. «А, коллега, привет, привет! Ну, как живешь, как дела?»

Говорить нам есть о чем. Идем вместе обедать в ресторан «Минск». Он тут рядом, на улице Горького.

- Послушай, Семен, как понять Аджубея? Одних евреев в редакцию тащит...

Руденко молчит, ниже склонил голову. Дернул резиновую руку, - левой руки нет, из рукава выглядывает розовый протез. Я продолжаю:

- Секретариат облепили: Драчинский, Фролов, Китаин. Вчера прихожу - новая сидит: Мария Ивановна Величко. Такая же Мария, как я Исаак.

Руденко еще ниже бычит голову, тяжело сопит. Шаг ускоряет, словно хочет от меня оторваться, и хрипло, не поднимая головы:

- Ты это брось, Иван! Не советую.

- Что брось? - опешил я.

- Катить бочку. Ты еще молодой - тебе жить надо, детей растить.

- Да ты о чем, Семен? Не понимаю.

- Сиди на своем Урале и помалкивай. Не то тебе скоро шею свернут. За ними сила всегда была, а ныне - особенно. Смирись. Я тебе как друг говорю. Понял?..

Глянул на него - лица на нем нет. Побагровел, точно его кипятком ошпарили.

Минуту-другую молчал и я. «Уж не еврей ли он?» - являлась мысль... Нет, Руденко - славянин. Но отчего так взъерился, ума не приложу.

В ресторане за обедом он смягчился, видимо, понял, что хватил лишку, старался сгладить напряжение первых минут.

- Я в «Известиях» давно - знаю: люди сюда приходят разные, но власть они всегда удерживают. Они это они - сам понимаешь, о ком говорю. И на самом верху тоже. Тебе кажется, Хрущев пришел к власти, а там Микоян сидит, Суслов - красный кардинал, другие трон облепили. И кадры газетные Суслов расставляет. Не таких, как мы с тобой, а редакторов, членов редколлегии.

- Ну, везде его рука не достанет,- сопротивлялся я.- В областях, например, в республиках.

- Там свои механизмы есть, тоже надежные. Не беспокойся, сусловский аппарат секретарей обкомов по идеологии назначает. А уж в центральных газетах - тут каждый член редколлегии через мелкое сито пропущен.- И после паузы сказал твердо, снова зардевшись багровым цветом: - Словом, так, Иван: еврейскую кучу не вороши. Хочешь жить - найди с ними общий язык. Я много старше тебя и знаю, что говорю.

На следующий день нам объявили приказ главного редактора: «Собственный корреспондент по Ростовской области Семен Руденко назначается редактором "Известий" по разделу фельетонов». А еще через два дня из Киева к нему прибыл заместитель - Эрик Пархомовский. Им обоим в центре Москвы были предоставлены прекрасные квартиры. Видимо, Руденко давно нашел с ними «общий язык».

Миновало с той поры лет пятнадцать. Как-то с женой мы шли по Ленинградскому шоссе, и нам навстречу из улицы Правды вышел Руденко - сгорбленный, сильно постаревший. И с ним жена - толстая, припадавшая на одну ногу еврейка.

Я в первую минуту опешил, не знал, что сказать. В одно мгновение вспомнил ту нашу беседу и святой гнев Семена. И - расхохотался.

- Что с тобой? - растерялся он.- Ты что?

- А вот... теперь только понял.

Семен рванул за руку свою супругу и пошел прочь.

...По поводу статьи «Город без хозяина» пошел к Севрикову. К тому времени у нас с ним установились добрые, почти дружеские отношения, я уже не однажды присылал ему статьи из Челябинска, и он их печатал. Но эту статью задержал.

- Вы такой смелый редактор,- начал я,- а тут трусили.

- Я не трушу, и вообще пора бы тебе знать: Севриков никого не боится - ни бога, ни черта. И Аджубея - тоже. Но только ты, Иван, старайся летать пониже, слишком-то высоко не забирай. А то размахнулся,- ишь, чего захотел! Советскую власть в Магнитогорске установить. Да ее и в Москве-то нет и не было, и никогда не будет. А он... Я, милый - друг, Дон Кихотом быть не хочу - воевать с мельницами не стану.

Я взял статью и пошел на шестой этаж. Там в конференц-зале начиналось вечернее совещание.

За длинным полированным столом - на нем можно кататься на коньках - сидела «голова» газеты: Главный и его замы, секретариат, члены редколлегии и их замы, специальные корреспонденты. Допускались сюда и бывшие на тот случай в редакции соборы.

Я взял свободный стул и втиснулся с ним перед Китаиным, сидевшим всегда возле Главного. Он взглянул на меня с удивлением, хотел оттеснить, но я придвинулся ближе к столу. И пока еще не началось совещание, подвинул Аджубею статью. Он взглянул на меня с изумлением, сдвинул брови, сказал:

- Что это?

- Важная статья,- хорошо бы в номер, но Севриков ее боится.

Он двинул ее в мою сторону, начал совещание. Но я не унимался. И когда тот замолчал, дав говорить другому, снова подвинул ему статью.

- Нашел время! - буркнул он зло и хотел было отшвырнуть статью, но я сказал:

- Гляньте, она небольшая.

Он зацепился глазами за название, стал читать. Минут за пять, пока Гребнев давал кому-то указания, Аджубей ее прочитал. И на углу написал: «В номер!»

Так была напечатана статья, утвердившая советскую власть в Магнитогорске. С тех пор власть директора комбината, хотя и простиралась широко, но она уже не охватывала все сферы жизни этого большого с полумиллионным населением города.

Смелость Аджубея как редактора была замечательной. Надо признать за ним и еще одно важное качество: он умел быстро пробежать глазами статью и, ухватив в ней главное, определить ту самую, незаметную для другого черту, за которой кроется рискованная сущность, которую ни здравым смыслом, ни логикой нельзя оправдать. В «Известиях» печатались статьи смелые, дерзкие, - мы, корреспонденты, как бы шли по острию ножа, но редко подставляли бока для битья. И в этом искусстве идти по краю пропасти Алексей Иванович проявлял высокий артистизм. Если газету сравнить с цирком, то Аджубей все пять лет его царствования ходил без шеста по канату под самым куполом. И сорвался оттуда лишь в тот день, когда из Кремля был выставлен его могущественный тесть, тоже, кстати, отважный канатоходец.

На страницах газеты становилось все теснее. В коридорах редакции, в отделах появлялось все больше людей, жаждущих выступить в «Известиях», протолкнуть какую-нибудь тему, устроить проект, «пробить» звание, степень, премию. Ширился корпус элитарных журналистов, «зубров», «китов», - они сновали из кабинета в кабинет, Ошеверова звали Гришей, Китаина - Вaley, Мамлеева - Димой и самого Главного называли фамильно Алексей.

Мне все чаще приходилось приезжать в редакцию, «пробивать» статьи, и я постигал здесь нравы нового коллектива. Эти нравы совершенно не походили на прежние. Раньше тут все было важно, чинно, и каждый знал свое место и дело, и в коридорах появлялись редко, а в кабинеты начальников заходили только по приглашению. Почти торжественная сдержанность, почтительная вежливость проявлялись в отношениях. Все операции по подготовке номера производились неспешно, бесшумно и без суеты. И даже в одежде сотрудников сохранялась какая-то одинаковость и строгость формы: костюмы добротные, из дорогой ткани, рубашки белые, галстуки свежие.

Так было раньше. Но все смешалось, перепуталось теперь. Во-первых, прибавилось штатных сотрудников, их стало в полтора-два раза больше. Под крышей тех же «Известий» появилось еженедельное приложение к газете - «Неделя». Редко-редко встречалось там славянское лицо. Некоторые наши статьи, очерки, фельетоны, которые не проходили в газете, направлялись туда, но я вскоре убедился, что русским там хода нет. Что бы и как бы ты ни написал, - хоть бриллиантами выложи строки, но статья твоя будет лежать: отбор происходил только по национальному признаку. Из столкновений с сотрудниками «Недели» я сделал невеселый вывод: молодые евреи более жестки и нетерпимы ко всему чужому, чем евреи старшего поколения. С Розенбергом, Цейтлиным еще можно было о чем-то договориться, с этими же - ни о чем! Они слушали тебя, кивали головой, но никогда и ничего для тебя не делали. У меня в «Неделе» были напечатаны всего два-три фельетона: «Операция "холод"», «Клюнет-не клюнет» - вот, кажется, и все. И я перестал к ним обращаться. И даже не ходил к ним, если из газеты мой материал направлялся в «Неделю».

В редакции появился «Дамский клуб» - общественный институт, о существовании которого в природе я раньше и не слыхивал. Во главе его стояла Люба Иванова - член редколлегии, заведующая отделом школ и научных заведений, которого раньше у нас не было и он, как мне кажется, был создан специально для нее. Мне она казалась русской, но работавшие у нее в отделе женщины все были еврейки. Она числилась негласным президентом «дамского клуба», но кто-то мне сказал, что глава клуба - Маргарита Ивановна Кирклисова. И занимайся они своими женскими делами, можно было бы их и не брать в расчет, и здесь их не вспоминать, но «дамский клуб» забирал в редакции все большую власть и наши соборовские материалы все больше от него зависели. Беседуя с Севриковым:

- Константин Иванович, я вам посылал статью.

- Да, посылал, милоч, и статья хорошая, я тебе ее заказывал - спасибо, дорогой, что сделал. Я ее вычитал и сдал. Но...

Он разводил руками.

- Да что же - но? Почему не идет статья?

Севриков показывает на потолок, то есть на шестой этаж:

- Там, там застряла.

- Да где там, у кого? Ошеверов задержал, может, Гребнев?

Мотает головой: ни тот и ни другой. И, пугливо глянув на дверь, тихо произносит:

- Кирклисова. У нее статья.

- Не понимаю вас! - закипаю, как самовар.- Вы член редколлегии, статью одобрили, подписали, а Кирклисова держит. Да кто она такая?

Севриков подносит палец к губам, смотрит на дверь. Боится, как бы нас не услышали. Несмотря на свою видимую важность, он порядочный трус и, очевидно, был всегда таковым, потому и рос по служебной лестнице, занимал пост секретаря обкома комсомола и теперь вот - редактор «Известий» по разделу советского строительства. Но я уже вижу: Кирклисову он боится как огня, если он со своим положением так трусит, то что же остается нам, бедным и бесправным соборам.

Иду к Шумилову. Николай Дмитриевич теперь ведает отделом науки, сидит в небольшом уютном кабинете и, кажется, ничего не решает. Статьи по проблемам науки заказывает его заместитель Колтовой, к нему же идет самотек, он всем правит, все решает, а Николай Дмитриевич занимает почетное место. Его пока нельзя уволить, но ему и не следует доверять. Пусть сидит в роли работающего пенсионера.

- Что происходит? - спрашиваю у него.- Статья осела у Кирклисовой, хочу пойти к ней, учинить скандал.

- Вот этого как раз не следует делать.

- А как же быть?

- Надо осторожно, ласково.

- Но я не умею, Николай Дмитриевич! Ни лгать, ни роли играть - не умею!

- Ничего не поделаешь. Ее и Алексей Иванович слушает, она - авторитет, что скажет, то все и делают.

Шумилов помолчал минуту, потом в раздумьи заметил:

- Вот так, Иван, надо привыкать. Мы в чужом монастыре, и не нам тут устанавливать законы. Хочешь жить с ними под одной крышей - постигай их нравы. А нравы эти... Черт знает, на что похожи!

Нравы в «Известиях» были таковы: заведующий отделом - он же, как правило, член редколлегии, то есть редактор газеты по какому-то разделу,- сдавал статью в секретариат. Раньше ее просматривал ответственный секретарь или его заместитель, и статья сдавалась в набор. Статьи возвращались редко, лишь в каком-то особом случае; редактор по разделу назначался высшими партийными инстанциями, он и определял политику и тактику газеты по своим темам. Теперь же этот механизм был начисто порушен. Статьи попадали в секретариат, но ответственный секретарь и его заместители могли о них и не знать. Они лежали на столе Кирклисовой и ждали своей очереди. По каким признакам она судила о статьях, никто не знал, материалы лежали подолгу, что-то пытались выяснять сами авторы, но ничего не добивались. Даже маститые - такие, как Кригер, Шагинян, Тэсс... Члены редколлегии заходили к ней реже, может, знали тщету таких хождений, может, по каким другим причинам,- вокруг имени Кирклисовой было много тайн и неясностей.

В этом «Бермудском треугольнике» застряла моя статья «Саткинский магнезит» о развитии производства важнейшего для металлургической промышленности огнеупорного материала и о судьбе города, затерявшегося на склоне уральских гор. Помню, что город этот был больше Москвы по территории, что жители соседних домов порой из-за деревьев не видели один другого и что однажды к колодцу одновременно с женщиной вышел из леса медведь. Но это детали, а суть была в другом: нехватка магнезита сдерживала развитие металлургической промышленности.

«И что она смыслит, старая карга, в таких делах!» - возмущался я, направляясь к

Кирклисовой.

Маргарите Ивановне, как мне казалось, было далеко за семьдесят, ей в порядке исключения был выделен персональный автомобиль, часы работы ее не учитывались, а от лифта до кабинета ее нередко, поддерживая за руку, сопровождал какой-то молодой еврей.

С Кирклисовой у меня произошел разговор короткий, неприятный, но неожиданно для меня плодотворный.

Сказал я дословно следующее:

- У вас застряла моя статья: не понимаю, почему она к вам попала и почему вы ее держите?

Маргарита Ивановна подняла на меня непроницаемо-темные, усталые глаза. В них я разглядел тоску и желание какой-то иной жизни.

- Вы, молодой человек, научитесь вести себя...

Говорила она тихо, лицо ее из землисто-серого вдруг сделалось землисто-черным, нижняя челюсть дрожала, - она, казалось, вот-вот расплчется. Я нечаянно, помимо своей воли, нанес ей жестокий удар: она, очевидно, не помнила такого с ней кавалерийско-бесцеремонного обращения.

- Дайте мне статью! - продолжал я, полагая, что судьба этой статьи, да и всех последующих уже спета, мне их и не надо будет писать. Но статью она не отдавала. Смотрела на меня с некоторым любопытством. И даже будто бы со страхом. И после продолжительной паузы, оправившись от моего наскока, спросила:

- Почему я не должна читать ваши статьи?

- Зачем они вам? Пишу я о делах железных, вам они не интересны, да, наверное, и не очень понятны - зачем зря время тратить? - Собравшись с силами, добавил: - Ждать я не могу. Важные проблемы. Все равно, буду ходить по начальству - к заместителям пойду, к Главному. Я такой, упорный.

Понимал, что говорю не то, глупости, тяжело дышал при этом, сжимал кулаки, и ей, видимо, передалась моя решимость. Она перебрала стопку статей, достала мою и, протягивая, сказала:

- Хорошо. Скажите там, в отделах, чтоб ваши статьи мне не давали. Не надо.

И склонилась над столом. Я вышел. Севрикову сказал:

- Можно печатать статью. Кирклисова не сделала замечаний. И просила передать вам: статьи мои ей не носить.

- Как? - удивился он.

- А так. Говорит, не надо. Видно, потому, что край у меня железный - Урал. Она в этом ничего не смыслит. Так, наверное.

Севриков пожал плечами.

Я в тот же день уехал из редакции. И думал, что больше уж никакие мои материалы печатать не будут, но дня через три статья «Саткинский магnezит» была напечатана, а затем стали появляться и другие. А когда я приезжал в редакцию, Кирклисова при встречах не отворачивала головы, а пристально смотрела на меня, милостиво отвечала на мои сдержанные, но, впрочем, почтительные поклоны. Этот тон вежливых сдержанных отношений я сохранил с ней до конца. Она, видимо, решила не задирать меня. Ей, наверное, не нужен был лишний шум, и, как женщина умная, она стремилась избегать конфликтов. Лучшего варианта я не мог и ожидать.

Талантливейший русский фоторепортер, - я бы его назвал патриархом отечественных фоторепортеров, - Анатолий Васильевич Скурихин, показывая на своих коллег, а они у нас в газете почти сплошь были евреи, говорил:

- Смотри, Ваня, запоминай лица этих людей: ихними глазами мы смотрим на мир, ихними ушами мы слушаем мир, ихним больным умом мы незаметно проникаемся и начинаем постигать все явления мира. И если мы не сбросим с себя это наваждение, то скоро, очень скоро мир кривых зеркал станет нашей привычной жизнью.

Был у меня в редакции старый приятель из этого мира «кривых зеркал» - Коган Михаил

Давидович. Он был у нас ретушером, в той же роли служил он и в редакции «Сталинский сокол», где мы с ним работали до закрытия этой газеты. В «Известиях» у него была маленькая комната, он сидел у окна и ретушировал каждую фотографию. Я иногда заходил к нему и присаживался к его столу. Он был мирный благодушный человек, говорил с еврейским местечковым акцентом - слушать его было забавно. Специальным ножичком, вроде скальпеля, он подчищал нужные места, потом кисточкой, чертежным пером оттенял силуэт, выделял грани. И как-то у него получалось, что все лица, даже типично славянские, приобретали нерусские черты, чем-то присущие евреям. Однажды я сказал:

- Михаил Давидович! А вы ведь их делаете немножко евреями!

Он повернулся, долго разглядывал меня.

- Ты был в Монголии?

- Нет.

- А в Китае?

- Нет.

- А в Японии?

- Был.

- Ну вот, хорошо, что ты был в Японии. Я не был в Японии и не был в Китае. В Монголии тоже не был, но знаю, как там рисуют. Если в Китае нарисуют портрет Толстого - он будет похож на китайца. Если Ленина - тоже будет похож на китайца. В Японии - тоже так. Скажи мне, разве не так в Японии?

- Да, я привез оттуда книгу с портретом Достоевского. И действительно, Федор Михайлович похож на японца.

- Ну вот, а зачем же тогда мне делаешь упрек? Я еврей, и все мои люди немного похожи на евреев. Но немножко, самую малость. Другие никто не видят, а ты увидел. Скажи мне, пожалуйста! Как ты много видишь!..

Он снова повернулся ко мне.

Михаил Давидович ни с кем не общался, не заходил в отделы, и у начальства его никто не видел, но его знания редакционной жизни были поразительны. Если у меня проходила удачная статья и ее хвалили на летучке, он мне говорил:

- Мне кто-то немножко сказал, что ты иногда умеешь писать.

Мне хотелось возразить: почему иногда? Но я смирал свое желание, слушал.

- Ты почему молчишь? - продолжал Коган.- Разве я сказал что-нибудь не так? Ты умеешь писать, это хорошо, но ты напрасно думаешь, что это уже так важно. Можно и не уметь писать, но быть умным человеком - вот это важнее.

- Но позвольте, Михаил Давидович! Мы работаем в газете, мы должны уметь писать!

- Может быть, может быть...- говорил себе под нос Коган, продолжая уверенными штрихами, почти автоматически превращать курносые носы в носы с горбинкой, впалые глаза в глаза выпуклые и чуть-чуть испуганные. Ты молодой, а молодые много знают, но если бы ты посмотрел вокруг себя, и хорошенько бы посмотрел, ты бы увидел, не все тут умеют писать, а есть просто умные и очень умные люди, а живут хорошо, и ездят на машинах, и едят там, под крышей. А, кстати, ты бывал там, под крышей, где маленький буфет и кормят этих... ну, которые у нас главные, а?.. Ты там бывал?

- Нет, я там не бывал.

- А мог бы сходить, попробовать, что там дают: икру разную, семгу, балык?.. Хорошо это, когда семга, балык?

- Но, Михаил Давидович, я же не член редколлегии.

- Ты же теперь собкор? В самом крупном районе. Разве это не так?

- Собкор, но что это значит?

- А разве ты не знаешь, что это значит? О-о... Это значит многое. Тебя там, в Челябинске, допустили к пирогу, к корыту. Ты чавкаешь с ними, ну, с теми, кто там правит, а значит, и у нас... Например, машина. Тебя возят тут на машине?

- Ну, если попрошу.

- Ай-ай!.. Если попрошу. Что же у тебя за мама, что родился от нее таким глупым! Я говорил тебе: писать можно не надо, а умным быть - очень надо. Где ты найдешь среди наших, чтобы он был уже такой дурак, чтобы отказался от машины? И наверх ты можешь сходить. Говорят, что если ты собкор по большому району и тебя там, в стране собкории, кормят с ложечки, то и здесь тебе в маленьком буфете дадут немножечко икры. Пусть это будет красная икра, а если можно черную - еще лучше. Роза говорит - ну, ты знаешь мою жену Розу,- она говорит: Миша, не забудь сходить под крышу и попросить у Люды икру. Скажи, что просила Роза, и она тебе даст. Ты же знаешь, когда ей было плохо и у нее что-то там нашли, я звонила прокурору Зусману, и тот сказал: пусть она работает. И с тех пор мы берем у нее икру. Хочешь, я тебе тоже немножко дам, а ты мне потом принесешь осетра?

- Да где же я возьму вам осетра?

- Ты будешь ходить туда, наверх, что-нибудь дашь Люде, например, малахит, и получишь осетра. Каждый день получишь. Сегодня - осетра, завтра - севрюгу. Если малахит, то получишь много: и даже бананы, и фейхоа.

- Но, Михаил Давидович, дорогой, я вас не понимаю: во-первых, откуда мне взять малахит, а во-вторых, что такое фейхоа?

- Хо! Он мне говорит! Малахит на фабрике, где шлифуют драгоценные камни. Она у вас на Урале. Ты не был на такой фабрике? Где же ты был? Писал много статей,- я слышал: хорошие статьи! А фабрики такой не знаешь. Но что же ты тогда знаешь, Иван? Шахту, где добывают уголь? Печку, где варят чугун? Ты это знаешь и про это пишешь статьи? Но скажи мне, пожалуйста, твой уголь можно есть? Чугун можно положить в карман? Зачем же ты о них пишешь? Иди к Люде и ты узнаешь, как там хорошо кормят. А еще позвони Белле Абрамовне и скажи, что ты хочешь на субботу и воскресенье в Пахру. И не один, а с женой и дочерью.

Я вспомнил, что некоторые собкоры, особенно работающие в капстранах, приезжая в редакцию, ездят по выходным в Пахру - заповедный уголок, где отдыхает известинская элита: редакторы, их замы, специальные корреспонденты и собкоры. Набрался смелости, позвонил Белле Абрамовне, которая, как мне говорили, с самого начала советской власти заведовала в «Известиях» разными путевками, талонами, детскими лагерями. Робко сказал:

- Нельзя ли поехать в Пахру?

Она ответила:

- Пожалуйста. Завтра, в пятницу, я выпишу талоны.

И вот мы с женой Надеждой и дочерью Светланой на специально выделенном автобусе приехали в Пахру.

Если можно представить уголок рая, каким его обрисовали еще в церковных книгах, то это и будет известинская Пахра - деревянный городок для отдыха, удачно вписавшийся в лесистые холмы на берегу живописной речушки Пахры. Вначале, как только вы к нему подъезжаете по дороге, ведущей на юг, вам из-за высоких деревьев открывается гигантская голова робота с продолговатыми прямоугольными глазами. Потом только вы сообразите, что это водонапорная башня. А уж сами домики - деревянные, одноэтажные, разные по архитектуре и назначению - вы увидите лишь тогда, когда дорога побежит между ними и над вами будет величаво расстилаться зеленая крона деревьев.

Нам на троих выделили половину небольшого особнячка: две комнаты, террасу - квартирку со всеми удобствами.

Поодаль - длинное здание столовой, рядом - большой зал, бильярдная.

Не стану описывать всех подробностей этого райского быта, я к тому времени уж кое-что повидал на свете: бывал в санаториях у себя в стране и за границей, охотился в заповедных королевских местах в Румынии, где ночевал в охотничьем домике короля Михая - в нем же во время войны жил и Гитлер со своими генералами,- словом, кое-что видел, конечно, и не скажу, чтобы уголок отдыха известинской элиты был так же красив, удобен и роскошен, но, несомненно, это было дорогое удовольствие для государства, и я был поражен той щедростью, с которой содержался небольшой круг журналистов одной газеты, пусть

даже и правительственной. Тут был спортивный инвентарь, зимой - лыжи, ботинки, был бильярд,- кстати сказать, роскошный,- кино, буфет, столовая,- и мизерные, буквально символические цены. Я был здесь чужим, белой вороной, и завсегдатаи смотрели на таких, как я, свысока, говорили с нами через губу и снисходительно. И на лицах у них мы читали: «И вы здесь? Странно!» Дочери моей, восьмикласснице, было здесь хорошо, но жена моя, Надежда Николаевна, сказала: «Я бы не хотела сюда приехать в другой раз».

Накануне развала страны много говорили о привилегиях партгосаппарата, создавались комиссии по их ликвидации, но, как мне кажется, нынешние привилегии превзошли все прежние. Как человек не может отказаться от своей ноги или руки, или вырвать у себя глаз, так он не может расстаться с дарованными ему удобствами жизни. Человек сросся с ними, привык к ним, удобства жизни стали его потребностью и существом. Мы знаем, как нелегко пьянице оторвать от себя рюмку, курильщику - сигарету, но представим на минуту человека, которому говорят: вы ездили на персональном автомобиле, а теперь поезжайте в трамвае; к вам на дом приходил врач, а теперь вы идите в поликлинику и попробуйте там записаться на прием к врачу; вам домой привозили бананы, ананасы, черную и красную икру, балык, семгу, осетрину, а теперь вы будете стоять четыре часа на морозе в очереди за вареной колбасой...

Тема эта неприятная, не стану ее ворошить, скажу лишь, что на склоне лет я нередко перебираю в памяти те немногие редкие куски, что летели мне с барского стола и я, соблазненный ароматом, инстинктивно хватал их на лету, не задумываясь над их природой и над тем, что рано или поздно они отыгнутся угрызениями совести, будут названы воровством и составят перечень твоих поступков и дел, за которые надо будет отвечать. Я уже говорил, кажется, что в жизни не поднимался высоко, и хотя ездил на служебном автомобиле, отдыхал в первоклассных санаториях, но с черного хода и в специальных буфетах не кормился. Однако скажу по чести: и те небольшие привилегии, которыми я все-таки пользовался, и теперь тревожат мою совесть. Слабым утешением служат лишь мои книги: доход от них государству исчисляется миллионами рублей - вот только сознание исполненного мною труда, а еще лежащие в моем письменном столе сделанные, но еще не напечатанные книги, и позволяют мне благодушно посмеиваться над своими прежними аппетитами, извинять те малости, что привелось мне отщипнуть от преступного пирога привилегий, испеченного для людей, полагающих, что обыкновенное банальное воровство им когда-нибудь перед судом истории удастся назвать каким-то другим, не столь уж суровым словом.

Под крышу в маленький буфет я не ходил. Меня туда никто не звал, а сам я даже ради любопытства там не появился. Слава Богу, тогда еще не было перестройки, хищным кооператорам хода не давали, и в магазинах можно было купить колбасу, выбрать желанный сорт сыра, а кое-где в рыбных магазинах в небольших бассейнах еще плавали карпы и сазаны. Впрочем, и тогда уже намечалась повышенная активность разрушительных сил, с которыми судьба моя постоянно сводила меня тесно.

Центральной фигурой в секретариате - вечно хлопочущей, суевающейся, бегающей по коридорам,- был Валентин Китаин. Его, как основного, моторного, все на себя замыкающего человека, Аджубей забросил в «Известия» за десять дней до своего прихода. Он неожиданно появился в нашем старом секретариате - для него открыли новую должность,- присматривался, приглядывался, ходил по отделам, и, когда явился новый главный, он уже знал, с кем и с чем он имеет дело.

Валя Китаин - еврей, лет сорока пяти, сутуловатый, начинавший сидеть, с глазами, которые никуда не смотрели, а вечно бегали по сторонам. Говорил он хрипло, треснувшим голосом и так, будто его крепко напугали или с ним что-то необыкновенное приключилось. «Давай!.. Ну, давай, говорю, давай!..» Нервное возбуждение передавалось собеседнику, и он в первые минуты не мог сообразить, не знал, что от него хотят.

Валя Китаин рисовал макет. Я потом, приезжая из Челябинска, а впоследствии из Донецка, где я тоже три года работал собкором, заходил в секретариат, «проталкивал» свои

статьи, очерки - и наблюдал за работой Китаина. Макет он рисовал бойко, лихо, и поначалу будто бы рисунок номера получался неплохо: колонки, «кирпичики» статей располагались в порядке, ласкающем взгляд, но, как только принимался втискивать фанки статей в отведенные им места, макет нарушался: одни статьи выпирали из рамок, другим недоставало строк. Валя начинал звонить. Кричал в трубку, срывался на визг... Требовал сократить, ужать, дописать, прибавить. И как-то так получалось, что одних авторов он всегда ужимал, другим прибавлял места, подавал их броско, широко. Я начинал проникать в тайны механизма, который все время теснил и меня. Статья важная, интересная, а на страницах газеты ее едва найдешь. И обрежут, окургузят, и затолкают вниз, в сторону, в угол. Но когда я приходил в секретариат и статья шла при мне, я отстаивал каждую строчку и требовал, чтобы статью поставили наверх, на видное место.

Нужны были нервы и силы, чтобы одолеть этого черта - Валю Китаина. А буйство его, начинавшееся с утра, все нарастало: обзвонив всех по телефону, накричавшись, он хватал листы макета, кипу статей и сбегал с шестого этажа. Теперь крик его раздавался в коридорах, отделах, везде он что-то требовал, грозил снять с номера, выбросить совсем в корзину. К вечеру, когда номер близился к подписанию, шум в коридорах, крики Китаина достигали апогея... Многие, чтобы избежать с ним стычек, шли в буфет пить кофе.

Раз в году, как и все, Китаин уезжал в отпуск. И тогда его место занимал Анатолий Никольский - журналист, обладавший «ласковым» пером, умевший хорошо писать, но в газете появлявшийся редко. Он к тому же хорошо рисовал. На досуге или во время скучных совещаний изображал сидящих за столом, и выходили у него милые карикатурки, забавные и не злые. Ему в отсутствие Китаина поручалось рисовать макет. И, странное дело, не было ни шума, ни крика, и газета выходила на час, а то и на два раньше. Но приезжал Китаин, и люди теряли покой. Как верно заметил древний мудрец: «Евреи любят шум и смятение».

И еще в секретариате появились полная пожилая женщина Мария Величко и тучный неторопливый мужчина Александр Фролов - тоже евреи.

Через год-полтора мои дела приняли относительно спокойный, размеренный характер. В неделю я давал две-три информации, авторскую статью, корреспонденцию, в месяц - два-три своих материала: очерки, статьи, репортажи. Меня не заносило, я ничего не «натаскивал», не «натягивал», не гонялся за жареным, сенсационным - писал о том, что у всех было на виду, не вызывало сомнений, что уже созрело и просилось на бумагу. Благо и такого материала жизнь доставляла в избытке.

На совещании соборов в редакции объявляли, как и всегда, процент проходимости наших материалов. У некоторых он был совсем мал: восемь-десять, у большинства - восемнадцать-двадцать; у Буренкова, например, сильнейшего из соборов, этот процент переваливал за пятьдесят. У меня он был самым высоким - восемьдесят два. Неожиданный рекорд окончательно вселил в меня уверенность. Я, вернувшись в Челябинск, не торопился, не волновался и, как столяр, обретший известный уровень искусства, мог уже наслаждаться своим ремеслом.

Между тем, штаты в редакции все расширялись, появился целый сонм так называемых нештатных корреспондентов «Известий», которым были выданы редакционные удостоверения. Они в изобилии разлетались по всей стране, делали свое дело. Вскоре я заметил, что все они оперировали именем Аджубея, называли себя его личным представителем, щеголяли близостью к нему. То и дело говорили: «Алексей Иванович меня просил», «Алексей Иванович, посылая меня...» и так далее. Я поначалу верил этому и уделял им много внимания.

Однажды сидел у директора Челябинского трубного завода Осадчего. Вошла секретарша, доложила: «Писательница из Москвы, от главного редактора "Известий" Аджубея».

Яков Павлович сказал:

- Пусть войдет.

И вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами: ничего о ней не слышал.

Открылась дверь и, поддерживаемая секретаршей, в кабинет вошла ветхая старушка с палочкой. Она шла трудно, еле переставляя ноги, смотрела вниз, на ковер, и реденькие белые пряди волос закрывали половину лица. Опустившись в кресло, долго разглядывала нас, потом сказала:

- Я хочу поглядеть трубы.
- Пожалуйста,- сказал Яков Павлович.- Но вам будет трудно.
- Ничего, я надеюсь, будет дан инженер, он проводит и все покажет.
- Да, да, конечно, я назначу вам провожатого.

Наступила пауза. Мы разглядывали старушку, а она снова опустила голову, смотрела на ковер. Говорила она с трудом с каким-то непонятным для меня акцентом. Яков Павлович с удивлением разглядывал столичную гостью. Ей бы сидеть дома, нянчить правнуков, а она из Москвы едет или летит на Урал «смотреть трубы». Ни в какое ее «писательство» и в то, что она вообще сможет что-то написать о заводе, мы, конечно, не верили, и у меня, например, не являлось желания узнать, какие книги она написала. По опыту Литературного института, я уже знал, что в Москве живет прорва членов Союза писателей, которые никогда и ничего серьезного не писали, но числят себя в ряду русских писателей и в этом почетном качестве ездят по всей стране, а то еще и по всему миру. Несомненно, что и эта особа принадлежит к той же категории «деятелей» отечественной словесности.

- Вы что, тут всегда живете? - спросила она, неизвестно у кого.

Осадчий вздрогнул. Сказал:

- Да, да, конечно. Я местный, челябинский. А вот... Иван Владимирович, он из Москвы, ваш земляк. И тоже из «Известий». Вы, очевидно, знаете.

- Номер у меня хороший, внизу ресторан, но нет машины. Алексей Иванович очень хотел, чтобы я поехала. Обещал машину.

- Машину? Ах да, машина! Будет вам машина. Я сейчас...

Позвонил в гараж, попросил выделить для московской писательницы машину.

И снова наступила пауза. На этот раз длительная. Писательница низко склонила голову, кажется, даже задремала, а мы ждали очередного вопроса. Но вопроса не последовало. Старушка глубоко вздохнула и подняла глаза на меня, но смотрела мимо, куда-то в угол. Факт моего присутствия ее не интересовал. И я этому был рад. И рад был также, что директор завода отрядил для нее машину: не будет приставать ко мне. Осадчий поднялся, подошел к ней, взял за локоть. Старушка с его помощью поднялась, и они направились к двери. В приемной директор поручил ее секретарше и вернулся на свое место. Долго молчал, покачивая головой, но ничего не сказал. Я же считал неуместным заводить разговор о столичной гостье.

В другой раз мне из редакции сообщили, что ко мне едет с личным поручением от главного редактора какой-то очень выдающийся фельетонист. Его надо разместить в своей квартире и ничего никому о нем не говорить. Я спросил фамилию, но мне сказали, что пока и фамилии его открыть не могут, чтобы не вызвать в области тревоги и не наделать ненужного шума.

Я знал всех «выдающихся» фельетонистов, их было не так-то много, да и те, которые были, казались мне дутыми величинами; фельетоны их мне не нравились, и я удивлялся, что «Правда», «Известия» и другие большие газеты их печатали.

С неделю фельетонист не прилетал, меня держали в напряжении; я не мог ничего делать и все спрашивал фамилию. Наконец, назвали приметы, велели встречать в аэропорту. Разглядеть его среди других пассажиров было нетрудно: с бородой, в бакенбардах - весь «ушел в шерсть», как любил говаривать поэт Владимир Фирсов. Я подошел к нему, подал руку. Он и на этот раз не назвал фамилию, а сказал:

- Роман. Будем знакомы.

И улыбнулся дружески, давая понять, что парень он хороший и его не следует опасаться. И еще он сказал:

- Алексей Иванович вас хвалил. Это хорошо, когда главный редактор хвалит.

В этих словах уже звучали нотки «выдающегося фельетониста», и вид у него был чинный, покровительственный. В машину садился вальяжно, с шофером не поздоровался. И этим подчеркивал значимость своей персоны.

Между тем, водитель мой Петр Андреевич Соха - в прошлом фронтовик, пехотный капитан,- безошибочно определял человека по тому, как он здоровался вначале со мной, а затем с ним. В случае же, если пассажир с ним и вообще не здоровался, как это было с фельетонистом, Петр Андреевич отзывался о таком человеке без зла, но с сожалением.

- Гордыня обуяла,- говорил он обыкновенно. И потом, после некоторого размышления, добавлял: - Она, гордыня, если человека обратает, тут уж пиши пропало.

И больше ничего не скажет, если я не отзовусь на этот косвенный призыв к разговору. Но я редко пропускал возможность послушать его сентенции, не лишённые житейской мудрости и тонкого юмора.

- Человек заносится от сознания силы,- поддерживаю разговор.

- Сила, как и все на свете, вещь временная,- скажет Соха.- Сегодня ты силен, а завтра - наоборот. Туг-то гордыня и припомнится.

В другой раз дальше развивает свою мысль:

- Гордыня и гордость - понятия разные. Гордость - это когда честь свою берегут, а гордыня от зла в человеке поселяется. Ненависть под сердцем кипит - к людям и ко всему свету. У нас на селе людей таких ненавистными называли. Именно так называл гордецов и мой брат Федор, долго живший в селе.

Ударение в этом определении они ставили на втором слоге, и от того слово принимало какой-то особенно жесткий смысл.

Фельетониста Соха невзлюбил с первого взгляда, и я это видел по суровому выражению его лица.

- В гостиницу поедем? - предложил я спутнику.

- Хорошо бы к вам домой. Мне сказали, что вы один живете, без семьи.

- Можно и домой,- сказал я без энтузиазма. Мне, как и Сохе, тоже не нравился этот самоуверенный молодой человек. Кроме того, я не хотел себя связывать его делами. Фельетоны пишутся по фактам жареным, сенсационным,- видимо, у Романа было письмо читателя или какой-нибудь тайный сигнал: я ждал, что он мне объявит характер своего задания.

Дома я приготовил обед, отвел гостю комнату и сел было за письменный стол, но Роман, приняв ванну и облачившись в невообразимо яркий махровый халат, стал допытывать меня вопросами. Его интересовал Челябинский металлургический завод: кто да что, да что такое арматурный цех. Я ждал, что посланец Аджубея раскроет свои карты, расскажет о характере задания, теме фельетона, но Роман водил меня за нос, петлял, темнил, и я уже начал испытывать какое-то нетерпимое чувство досады и раздражения. «А есть ли у него командировочное предписание. Какая фамилия?»

- Вы мне не представились,- сказал я с добавлением металла в голосе.- А я тут, между прочим, человек официальный.

Роман прошел в отведенную ему комнату, принес командировочное удостоверение. Я прочел: «Коган Роман Семенович».

- Мне о вас звонили,- сказал я, возвращая удостоверение,- называли вас выдающимся фельетонистом.

- Да, я пишу фельетоны.

- А где печатаетесь? Извините за невежество.

- В журналах, газетах. А! Не хочется об этом говорить.

Он ходил по квартире, а я сидел за письменным столом, но работа не шла на ум. Думал о фельетонисте, о его задании - о том, что он за человек и о чем думает писать. И журналы, и газеты я, конечно, читал, и фельетонистов знал, особенно выдающихся, но Коган?.. Такую фамилию среди фельетонистов не встречал. И вообще, по тому, как он себя вел, что и как говорил, не похож он был на фельетониста, и в душу мне закрадывалась тревога о

возможных неприятных последствиях его визита в мои края. Как и следует корреспонденту центральной газеты, я тут рассчитывал каждый свой шаг, тщательно выбирал темы, подолгу приглядывался, прицеливался, прежде чем пальнуть из такого страшного оружия, каким является газета, а тут - фельетон, да еще не сообщает мне ни тему, ни фамилий будущих персонажей. Роман уже казался мне проходимцем, и я глубоко сожалел, что поселил его в своей квартире.

Однако делать было нечего, приходилось ждать развития событий. Но по всему я видел, что Роман не торопился со своими делами.

Вечером мы пошли в театр, а после спектакля, возвращаясь домой, я спросил:

- Когда думаете приступить к работе?
- Командировка у меня на двадцать дней - вы же видели: торопиться не стану.
- Мне нужно ехать в Троицк,- сказал я, придумав на ходу способ оторваться от Романа.
- Надолго?
- Дней на пять.
- Хорошо, поезжай. Я подожду. Только оставь мне машину.
- О машине мы договоримся с директором завода, мне машина нужна.

Я уже не смотрел на Романа, старался говорить спокойно, но вместе с тем и твердо.

Назавтра Коган съехал в гостиницу. Я же в тот день уехал в Троицк. Однако мне там не работалось. Чужало сердце, что с Коганом хвачу я лиха. И в самом деле: через три дня приезжаю в Челябинск, а тут меня встречают вопросами: кто такой Коган? Правда ли, что он - ближайший помощник Аджубея? Спрашивают журналисты, обкомовцы, но больше всего он напугал директора Металлургического завода.

- Да в чем дело? - спрашиваю я.- Чем он вас так встревожил?

Оказывается, Коган везде представляется личным посланником Аджубея, выдающимся фельетонистом и обещает написать не один, а целую серию «зубодробительных фельетонов». Приходит на завод и требует отдельный кабинет. И чтобы рядом сидел инженер «для посылок». Приглашая для беседы человека, предупреждает: «Чтобы никто ничего не знал. Нам важно сохранить тайну». Задает множество вопросов и все пишет, пишет. Киселев, журналист с резиновой рукой, позвонил мне и спросил:

- А этот Коган, он на твое место метит?
- Не знаю. Мне этого никто не говорил.
- Мы так его поняли. Они там, в редакции, всех русских заменили, теперь корреспондентскую сеть будут менять.
- Откуда у тебя такие сведения? Ты так уверенно говоришь.
- Старик, не вешай нам лапшу на уши. Мы хотя и провинция, а в таких делах побольше вашего знаем.

И повесил трубку. «Резиновая рука» всегда так: говорит бесцеремонно, возражений не терпит. Однако прогноз его не столько встревожил меня, сколько насторожил. Я решил не вмешиваться в работу Когана, но был дома и ждал его звонка. И звонок последовал быстро. Коган сказал:

- Хотел бы взять тебя с собой на завод. Поедем?

На заводе он бойко приступил к своим делам. Некоторое время я сидел с ним и слушал его беседы. Приглашал он начальников цехов, парторгов, мастеров. Задавал кучу вопросов, из которых никак нельзя было заключить, чего он хочет, чего добивается. Одно я мог понять: в вопросах фигурировала еврейская фамилия, и Коган старался эту фамилию обелить, очистить от каких-то наветов, а всех, кто противостоял этому, старался обвинить, «поставить на место». Однажды даже у него вырвалось словцо «антисемит».

Я зашел к директору, от него - в партком, в профком,- постепенно выяснил, в чем суть дела и чего добивается Коган. Он хотел черное выдать за белое и, наоборот,- то есть в случившейся конфликтной ситуации своего соплеменника представить борцом за правду, а его противников обваливать черной краской. Я все это понял, посоветовал заводчанам не беспокоиться, а сам в беседах с Коганом изображал из себя незнайку. Тревожило меня

только одно: что напишет в своем фельетоне Коган и покажет ли он мне его перед тем, как отвезет в редакцию. И вот однажды он мне говорит:

- Приступаю писать фельетон. Приходи ко мне в номер.

В номер я к нему пошел, хотя, признаться, не понимал, зачем я ему нужен именно в тот момент, когда он приступает писать фельетон. Обыкновенно этот процесс происходит в тишине и в одиночестве - творческая работа всегда индивидуальна. Зачем же я-то ему нужен?

В номере у него был большой кавардак: на кровати в скомканном виде валялись одеяло, простыни, на стульях, диване - галстуки, рубашки, носки. На столе - початые бутылки с вином, водкой, колбаса, конфеты. В воздухе витали запахи духов, одеколона и еще чего-то мерзкого, непонятного. Позже я узнал, что время в Челябинске Коган проводил бурно, в номере до поздней ночи у него толклись молодые евреи - женщины, артисты, журналисты. Они много пили, орали песни. Администрация гостиницы даже вызывала милицию, но милицкий офицер, узнав, с кем имеет дело, отступился и посоветовал директору не затевать скандала.

Коган стал рассказывать суть приключившейся в цехе ситуации, тему фельетона. Еврейскую фамилию упомянул однажды и вскользь, не желая, видимо, раскрывать до конца своих истинных намерений. А рассказав, подвинул ко мне бумагу, ручку, сказал:

- Набросай, как ты мыслишь, фельетон, а я потом посмотрю - может, что и возьму из твоих набросков.

Я набрасывать фельетон не торопился. Он заметил:

- Это просьба Алексея Ивановича, чтобы вы мне помогли.

Неохотно, скрепя сердце склонился я над листом. Написав пять-шесть страниц, отдал ему. Он бегло прочел их, поморщился, сказал:

- Ну нет, старик, это не то. Так фельетоны не пишут. Нужны юмор, сатира, а у тебя тут ничего этого нет.

Я согласился с ним: у меня, действительно, не было юмора, а что до сатиры-тем более. Поднялся, развел руками, сказал:

- Я не фельетонист, что умел - написал.

Утром следующего дня Коган, не простившись со мной, на заводской машине уехал в аэропорт. А дней через восемь газета напечатала фельетон. Я прочитал и ахнул: это были мои записки без малейших поправок. И только в одном месте была написана строка, из которой видно было, какой хороший человек соплеменник Когана. На это ума и умения у «выдающегося» фельетониста хватило.

Потом как-то я спросил у главного редактора:

- Алексей Иванович, вам Коган на меня не жаловался?

- Какой Коган?

- А тот, фельетонист, который от вас приезжал?

- Не знаю я никакого Когана,- недовольно буркнул Аджубей, и я пожалел, что обратился к нему с таким наивным вопросом,- наивным потому, что сразу не распознал такого тривиального хода, каким воспользовался «выдающийся фельетонист» и который так типичен для всех ему подобных.

Фельетон напечатали. Он будто бы был достаточно незлобив, и все в нем излагалось справедливо и в пользу рабочих - я о том только и старался, предлагая свои записки Когану. Он же оказался достаточно осторожным, чтобы ничего в этих записках не менять. Но самую малость он все-таки от себя добавил - фразу, обеляющую его соплеменника. Она-то и послужила причиной недовольства многих заводчан. А поскольку Коган подписал фельетон не своей фамилией, а созвучной с моей - Сурков, Бурков или что-то в этом роде,- то и тень от фельетона падала на меня. Я тут же вернулся к этой истории, расследовал все обстоятельства приключившегося в цехе эпизода и написал статью «Конфликт в арматурном». Когда же мне в редакции сказали, что об этом уже писали, то я ответил: «Писали, да не так написали». Люди, посылавшие Когана в Челябинск, поняли мой намек

правильно и во избежание скандала напечатали статью.

Вскоре после этого мне пришлось написать действительно «жареную» и сенсационную статью,- она ударила многих, вызвала резонанс во всей стране и бумерангом зацепила самого автора. Вот как это случилось.

Поздно вечером, почти в полночь, мне позвонил Чернядьев - главный архитектор Челябинска:

- Хотел бы встретиться, есть серьезное дело.
- Давайте условимся о времени. Я готов хоть завтра.
- А нынче, сейчас - можно?
- Пожалуйста, приходите.

Через несколько минут в квартиру вошел профессор Чернядьев - человек лет пятидесяти, с красивой седеющей шевелюрой, с лицом мудреца и ученого. Я знал его как соседа по даче,- мы рядом жили на Соленом озере, знал его жену - она была сестрой журналиста-международника Подключникова, работавшего собкором «Правды» в Германской демократической республике. И хотя я не был в архитектурных мастерских и отделах Чернядьева - руки пока не дошли, но слышал от местных журналистов много лестного о талантах главного архитектора. Его будто бы приглашали в Киев на ту же должность, но он, верный уральскому патриотизму, оставался в Челябинске.

Пили чай, беседовали. Он подступился к делу без обиняков:

- Завтра будет заседание исполкома горсовета - просил бы вас на нем присутствовать. Там примут жилые здания, школы и целые фабрики, которых нет в природе.

- То есть как - нет? Не понимаю.

- Я тоже ничего не понимаю, но так уж у нас не раз случалось накануне Нового года. Сдаются объекты, намеченные планом строительства, но не построенные.

- Совсем не построенные?

- Ну, не совсем, конечно,- фундаменты есть, а где-то - первый-второй этаж выведен, какой-то объект и под крышу подвели, сдают, потому что процент нужно выводить, в Москву докладывать. Я тоже должен подписывать - архитектурный контроль, акты комиссий, а я не могу. Нет сил больше врать, государство и народ обманывать. Но я один ничего не могу сделать: я не подпишу - заместителя вынудят, рядового архитектора подставят. Все равно сдадут.

- В это трудно поверить. Встречались мне случаи недоделок, подтасовок, но в таких масштабах, как вы говорите...

- Да, масштабы таковы. Я ничего не выдумываю. Вот вам список объектов, которые будут завтра принимать,- с утра поезжайте, посмотрите на них, а в четыре дня будет исполком.

Я взял список, пообещал осмотреть все объекты. И, не дожидаясь, пока профессор попросит меня оставить в тени его фамилию и наш разговор, сказал:

- Вы, наверное, не хотели бы фигурировать...

- Да, конечно. Тут будет моя особая просьба: не выдавайте наш разговор. Живьем съедят, работать не дадут.

- Не беспокойтесь. Вас я не видел и никакого разговора между нами не было.

Он ушел довольный, с сознанием честно исполненного долга. А я назавтра с самого утра поехал осматривать объекты, назначенные к сдаче. Начал с окраины города. Там строилась фабрика трикотажных изделий. Комплекс зданий с главным корпусом посередине едва поднимался над фундаментом. Строители работали лишь на главном корпусе. По фасаду тянули кирпичные ряды второго этажа, по бокам заканчивали первый. Подошел к строителям, поздоровался. Они смотрели на меня настороженно: вроде бы на начальника не похож - просто любопытный. Машину я по обыкновению оставлял в сторонке, а по одежде я, действительно, мало походил на начальника, и в голосе не слышно ни металла, ни властного тона.

- Когда сдавать будем? - спросил у прораба.

- Не знаю,- буркнул тот недовольно и хотел отойти, но я шел сзади, пытал:
- Я слышал, комиссия у вас была, вроде бы объект принимала?
- Комиссия была, а вот что она в акте написала - не знаю,- проговорил прораб, очевидно, признав за мной право спрашивать, но не желая допытываться о моей персоне. Я продолжал идти за ним.

- Если строить прежними темпами, сколько вам понадобится времени до окончания стройки?

- Если прежними - два-три года. Но кто вы такой, с кем имею честь?

- До свидания, мой друг. Я из тех, кто много хочет знать.

И поехал дальше по намеченному маршруту. Путь лежал к больнице. Знал, как ждут ее в городе. Но и она была лишь подведена под крышу: ни самой крыши, ни дверей, ни оконных переплетов не было. У главного входа над бетонным замесом трудились три женщины. Было больно смотреть, как молодые хрупкие девчата шуровали большими лопатами. Как-то так выходило, что на многих стройках Челябинска и области тяжелейшие работы выполняли женщины. Государство, провозгласившее себя самым гуманным в мире, творило много подобных чудовищных преступлений. О них не говорили, но их все видели и предпочитали молчать, делать вид, что ничего особенного не происходит. Я потом буду работать собкором «Известий» по Донбассу и там увижу таких же вот хрупких женщин в забоях - они не рубили уголь, но по сырым штрекам толкали вагонетки, выполняли множество других подсобных и тяжелых работ. Начальники шахт виновато оправдывались, обещали вывести женщин на поверхность, но я приезжал на другие шахты и там видел ту же картину. В статье «Шестая профессия Донбасса» был поставлен вопрос о развитии в районе таких отраслей, где бы нашел себе посильную работу слабый пол. И надо сказать, после этой статьи в Донбассе стали строить много предприятий легкой промышленности,- там давно уже не встретишь женщину в забое. Однако на тяжелых работах и ныне можно встретить немало женщин, особенно славянок, и этого нам, родившимся при советской власти мужикам, не простят потомки, как не простят они нам алкогольного и информационного террора.

Женщины на стройке оказались проще и доверчивее. Они не разглядывали меня, не спрашивали документов.

- Тут еще работы - ой-ой! А строителей уже забрали на другие объекты. Говорят, хотя бы одну школу к Новому году завершить. А тут вот недалеко школа-интернат строится - оттуда тоже строителей забрали. Говорят, потом достроим.

- А правда ли, что и ваш объект, и обе школы к сдаче в этом году назначили?

- Да вроде бы. Нам уже премию пообещали.

- За эту вот больницу?

- Да, записали, будто мы ее построили. А она - вон, без крыши стоит.

- А как же это: объект не построили, а за него уже премию дают?

- А так. У начальства спросите. Нам эту премию и получать неудобно. Может, и откажемся.

В блокноте у себя пометил: «Конфликт нравственный - женщины хотят отказаться от премии. Приехать к ним позже».

Так я объехал все объекты, названные Чернядьевым. Лишь несколько из них были готовы, и на них спешно производились отделочные работы.

Минут за тридцать до начала исполкома пришел к председателю. Он встревожился, смутился. Стал меня отговаривать:

- Приходите в другой раз, а сегодня у нас... так... семейный разговор. Вы будете смущать.

- Да нет, я хотел бы именно сегодня. Вы ведь будете рассматривать объекты, предъявленные к сдаче. Для меня это очень интересно.

- Оно так, но и не совсем так... Разговор предварительный. А когда соберемся снова, я вам позвоню.

Я настаивал, но председатель упирался. Он даже сказал, что поскольку они хотели обсудить дела внутренние, то и заседание закрытое, надо звонить в обком.

Я тут же позвонил секретарю обкома по промышленности Борису Васильевичу Руссаку. Он тоже стал меня отговаривать и тоже настойчиво - так, что даже сказал:

- Мы решили обговорить все дела между собой, это дела наши, внутренние.

Пришлось напомнить, что я представляю тут интересы правительственной газеты и у местной власти не должно быть от меня секретов.

Руссак не сдавался, и тогда я пустил в ход последний козырь:

- В таком случае буду звонить главному редактору.

Руссак подумал, затем сказал:

- Ну зачем же нам заходить так далеко? Так уж и быть - присутствуйте, пожалуйста. Но только уверяю вас: вам будет неинтересно.

Заседание начиналось докладами управляющих строительными трестами. Я слушал и ушам не верил: первый оратор говорил о «высокой готовности фабрики трикотажных изделий», перечислял строительные участки, бригады, которые «в срок построили фабрику и удостоились премий». Другой управляющий говорил о сдаче «под ключ» новой школы. «Это будет лучшая школа в Челябинске». Требовал дополнительных ссуд для поощрения отличившихся строителей. И третий, и четвертый ораторы громким, почти торжественным голосом перечисляли объекты, требовали премий, называли передовиков. Я украдкой заглядывал в свой блокнот, сверял названия объектов, адреса - да, это были те недостроенные, а порой едва начатые объекты, а здесь они «украшали город», «удачно вписывались в архитектурный ансамбль...» Я поглядывал на профессора Чернядьева: он сидел в уголке, опустив голову, молчал, и я не представлял даже, как бы он мог встать и сказать правду. Такое и нельзя было вообразить в обстановке царившего тут общего воодушевления, в гуле победных речей, дружного одобрения. С детски-наивным изумлением разглядывал я лица первого секретаря горкома партии Воронина - хозяина миллионного города, второго секретаря обкома партии Бориса Васильевича Руссака... Этот сидел сбоку от председателя горисполкома - грузный, массивный, с шевелюрой русских красивых волос. Вспоминал, как приходил к ним, вначале представлялся, а затем раз-другой заходил к каждому по делам. Обыкновенно подолгу сидел в огромных приемных, ждал, когда позовут в кабинет. Правдист Шмаков говорил: «Я здесь - представитель ЦК, а и то приходится сидеть в приемных...» Но что бы мы о себе ни думали, а нравы тут суровые, начальники цену себе знают и бисер ни перед кем не мечут. В приемных я обыкновенно думал не столько о себе, сколько о простых людях, гражданах города. Как же им-то?.. Впрочем, в этих больших приемных я никого из рабочих не видел, а если кто и сидел, то тузы, местные владыки. У себя в кабинетах они тоже не враз примут посетителя, и не каждый удостоится предстать пред их очами. Таков общий порядок, стиль жизни и непреложный закон партгосаппаратчиков, который тогда, уже в конце пятидесятых, набрал полную силу, а уж потом лишь совершенствовался, углубляя ров между властью имущими и народом, плодя вельмож и париев, подвигая одних к черте крайней бедности и бесправия, а других - к преступному миру тайных миллионеров, безнравственных политиканов. Думал о Шмакове. Он как-то мне говорил: «Ты, старик, не будь чрезмерно любопытным, не лезь в заповедные уголки. У них тут есть такие сферы, которые не терпят ни света, ни чужого взгляда. Не выполнишь эту мою заповедь - сгоришь тут же. И никакой Аджубей тебя не спасет. Потому как - система! Она умеет себя защищать!» Да, конечно, я сейчас сунул нос в такой заповедный уголок. Недаром они - я оглядывал председателя исполкома, секретаря обкома - не хотели меня сюда пускать. Однако волков бояться - в лес не ходить. Выдерживай характер до конца.

И все-таки образ мудрого Шмакова не раз вставал перед глазами, и где-то в уголке сознания копошилась мысль о его политической зрелости и моей глупости. Молодость! Ей трудно даются уроки жизни.

Один за другим поднимались председатели приемных комиссий. Они тоже...

Перечисляли степень готовности объектов, называли лучших строителей. Кому-то посоветовали вручить знамя. Потом я выяснил: это тому тресту, который «сдал» едва начатую фабрику.

И снова смотрел на Чернядьева - он все ниже опускал голову, на Воронина, Руссака - эти смотрели весело, лица их светились торжеством исполненного долга. И вдруг - плач, у окна встает женщина:

- Не могу, не могу принимать больницу, где еще нет и крыши! Мне же врачей пришлют, фонд зарплаты - я должна отчитываться, врать. Не подпишу акта, не подпишу!

Вслед за ней - другая женщина:

- Что же вы делаете? Сдаете школу-интернат, а там один фундамент! Я должна обманывать государство, писать ложные отчеты.

Совещание превращалось в спектакль, где вдруг стали разыгрываться драматические сцены.

Домой я пришел вечером. Сразу же сел писать статью «Пыль в глаза». Утром прочел ее, поправил и передал по телефону стенографисткам. Дня через три она была напечатана. Помню, рано утром мне позвонил «резиновая рука»:

- Газету свою видел?

- Нет, не видел.

- Ну, посмотри.- Выдержав паузу, добавил: - Заварил ты кашу.

Я понял: напечатали статью. И еще понял: тему копнул горячую и неизвестно, как она аукнется и мне, и редакции - и вообще, как ее примут здесь, в Челябинске, и во всей стране.

Вышел на улицу, пошел по проспекту Ленина. Первым встретился Шмаков. Он как раз в это время проделывал с собакой утренний моцион.

Встретил меня неласково, вяло пожал руку. Лицо красное, возбужденное. В глаза не смотрел.

- Надо было посоветоваться,- сказал, наконец. Взял меня за руку, пошли вместе.

- Мне, конечно, неизвестно,- продолжал он,- чем все это кончится, но ты, старик, не думай, что мы всего этого не знали.

- Я этого не думаю.

- Есть вещи за пределами наших интересов. Я, кажется, тебе говорил.

Я молчал. Разговор становился неприятным, Шмаков переходил грань правомерности такого разговора, но он был много старше меня, и я покорно выслушивал нравоучения. Он же распалялся все больше.

- Наконец, и меня подвел, и других коллег.

- Каким образом? - не понял я.

- Что скажет мой главный? Как посмотрят на это в редколлегии?

- Ну, если так подходить к делу... Тогда всякой темы надо опасаться. Я бы не хотел, Александр Андреевич,- сказал я твердо, устанавливая границы наших отношений.- Если же вы опасаетесь за меня, то не стоит. За свои дела я привык отвечать.

В тот день я не пошел в редакцию «Челябинского рабочего», не встречался с писателями, работниками обкома и в корпункте не сидел. Поехал в соседний совхоз, где директором был мой хороший приятель, Петр Иванович Нестеров. У него на столе лежал свежий номер «Известий».

- Там твой рассказ напечатан,- сказал Петр Иванович.

- Рассказ? Почему рассказ?

- А что же? Ну, статья.

Мой друг, сам того не желая, подметил главную сторону всех моих статей и корреспонденции: я писал их, как рассказы или как главы из повести. Сказывался мой литераторский зуд, мое естественное стремление не просто сообщать о фактах, поучать, давать характеристики, как это обыкновенно делают газетчики, а изображать факт, человека, начинать действие исподволь, затем развивать его, доводить до апогея и тщательно выписывать финальную сцену. Многим газетчикам такая манера кажется несерьезной. Она,

кроме того, требует больше газетной площади, но я заметил: всякий, кто тяготеет к писательству, тот и стремится не вещать, а изображать. Читатель же видит тут к себе уважение: ему не разжевывают, а подают событие таким, каким оно было в жизни. Такие материалы охотнее печатают и с большим интересом читают. Еще Максим Горький, много проработавший в газете, сказал: каждый факт сюжетен. И писал не заметки, а миниатюрные рассказы.

Можно себе представить, с каким волнением я взял в руки газету и принялся читать свой «рассказ». К счастью своему, убедился, что никаких ошибок, опечаток в нем не было. Отодвинул газету, ждал, что скажет мне приятель. А он не торопился, хотя я чувствовал, что Петр Иванович понимает, что материал этот не рядовой и для меня необычен.

- Много я прочитал твоих статей, но эта...

Кажется, он умышленно тянул, нагнетал напряжение. Помогал жене накрывать на стол, покачивал головой.

- Жалко, что придется нам расставаться,- сказал он не ожиданно.

- Да почему?

- А потому, друг мой, что в нашем волчьем мире таких вещей не прощают. Никому! - Несколько минут он молчал, потом заключил: - И Аджубей тебе не поможет.

Я возразил:

- Если уж отвечать придется, то и мне, и ему, как редактору. Их-то бьют еще сильнее.

- Кого-нибудь, может, и бьют, а его не ударят. Пока у него тесть...- Петр Иванович ткнул пальцем в потолок,- не ударят!..

Вечером заехал в «Челябинский рабочий» к Дробышевскому. Вячеслав был, как и прежде, будто бы весел, любезен, но в глаза мне не смотрел, был суетлив и говорил о пустяках с нарочитой, плохо скрываемой беззаботностью. Когда он на минуту вышел из кабинета, ребята, тут вертевшиися, сказали:

- Он только что с бюро обкома. Там твою статью признали неправильной. Будут писать в ЦК, требовать опровержения.

- А что опровергать? Объекты приняли, а их просто нет. Пусть приедет комиссия, проверит.

- А-а... Брось ты! Комиссия? Кому это надо? Кто руку поднимет - на обком, на Лаптева? Он-то - член ЦК. Нет, старик, ты тут, конечно, дал маху. Таких вещей не прощают.

- В это время в кабинет редактора вошел Киселев - «резиновая рука».

- Бросьте вы каркать! - прикрикнул на товарищей.- Привыкли на пузе ползать, а человек не хочет! Он прямо ходит, с поднятой головой. Размахнулся и врезал им - вралям и бюрократам! - Положил мне на плечо руку: - Не горюй, друг! Пусть они тебе морду расквасят - на то драка, но уж как им ты врезал - по всей земле звон пошел! Говорят, статью твою на английский перевели, по всей Европе передают.

Мне бы хотелось побыть наедине с Дробышевским, пойти к нему домой, но я понимал его щекотливое положение,- к тому же, они, члены бюро обкома, обыкновенно строго хранят тайны, и он мне ничего не расскажет. Махнул рукой и пошел домой. Здесь беспрерывно звонил телефон. Меня поздравляли, благодарили за статью. Не все называли свою фамилию, да мне это и не надо было, но все говорили одно и то же: у них давно заведено так, и это узаконенное вранье дорого обходится государству: объекты превращаются в долгострой, работы на них, хотя и ведутся, но качество плохое, строители работают урывками, кое-как, но, главное, неприятно, унижительно сознавать, что без вранья, без этого всеобщего взаимонадувательства мы жить не можем.

Телефон звонил беспрерывно, но я лег на диван, бездумно смотрел в потолок. Ждал звонка из Москвы. Междугородний звонил по-особому, резкими, короткими звонками, однако редакция молчала. Часу в двенадцатом, когда я уже спал, раздались звонки междугородние. Звонил Мамлеев, из дома:

- Как там? - спросил тревожно.

- Состоялось бюро обкома.

- Ну! Что решили?

- Официально не сообщали, но будто бы... возражают. Требуют опровержения. Мамлеев молчал. Видно, и его мое сообщение озадачило.

- Да-а-а... - протянул он, наконец. - Скверно!

И долго дышал в трубку. Потом сказал:

- Ну, ладно. Бывай.

И наступила тишина. Накинул халат, прошелся по квартире. Встал у окна, смотрел на затихающий в полночь город. Из окна мне виден был Политехнический институт, тыльная часть театра и вдалеке, в свете тухнувшего зарева городских огней, силуэт огромного здания обкома партии. Маленьким и ничтожным, и неуместным в этой жизни человеком казался я себе в ту минуту. Ключнул на брошенную мне приманку, отдался во власть минутным страстям, ложным эмоциям - не подумал о чем-то большом и важном, о том, что заложено в основу нашей жизни - всей жизни огромной, необъятной страны, миллионов и миллионов людей. Среди телефонных звонков был и один сердитый, злой: «А вы подумали, что нам не дадут премии. Тысячам людей! Чем мы детей кормить будем?» В самом деле: они-то, эти люди, при чем? Статья вышла, и что же?.. Жизнь пойдет по-старому, все будут лгать и обманывать друг друга и правительство. А правительство, как и прежде, будет знать, что его обманывают, и делать вид, что ничего этого не знает. Боже мой! Да что же это за государство такое мы построили? Королевство кривых зеркал!.. Цирк, где представляют одни клоуны и фокусники!

Заснул под утро. Телефон отключил, и он мне не мешал спать до полудня. А когда проснулся и включил телефон, то дежурная мне сказала:

- Вам много раз звонили из Москвы. Просили позвонить.

Связался с редакцией и узнал: в Челябинск срочно на самолете отправилась комиссия ЦК.

- Будь на месте. Тебя могут пригласить. Хорошо бы тебе иметь в запасе больше материала, чем ты изложил в статье.

Я ответил, что использовал в статье лишь пятую часть имеющихся у меня фактов.

От этой новости я испытал некоторое облегчение. Комиссия есть. Комиссия - свежие, независимые от обкома люди. Как бы там ни было, а они-то уж будут вынуждены зафиксировать правду.

Позвонили в квартиру. Открыл дверь: на пороге - профессор Чернядьев.

- Ехал на работу, зашел к вам.

Профессор испытывал некоторую неловкость. На заседании исполкома он молчал. Теперь его мучили угрызения совести. Я сказал:

- Понимаю, почему вы молчали на исполкоме. Вам же тут работать.

- Да, конечно, вы правы, но теперь и я решил пойти в атаку. Одним из первых меня вызвали на беседу к членам комиссии.

- Но комиссия только что вылетела из Москвы.

- Утром мне звонили из ЦК. Просили быть на месте. Им будто бы дали мало времени - два дня. Статью будут обсуждать на Политбюро.

- Неужели?

- Да. Хрущев приказал. Он сам будет вести Политбюро. И я решил выйти из засады, встать рядом с вами и отстаивать правду. Все равно уж... Не стану я работать в обстановке такого обмана.

Весь этот день я пробыл у себя дома. И даже в магазин, и в столовую не выходил - ждал вызова. Но вызова не последовало. Комиссия работала, я знал, кого вызывали, кого спрашивали, но меня не приглашали. Видимо, от меня хватило и того, что было написано в статье.

Назавтра в полдень комиссия улетела. И снова тревога, ожидание. Из редакции не звонили, видимо, и там с тревогой ждали развязки. И никто из местных журналистов, писателей и тем более должностных лиц, состоявших со мной в дружеских отношениях,-

никто не звонил и ко мне не заходил. Звонили только простые люди, читатели газеты, рабочие, строители, сельские труженики. Они поздравляли, благодарили, высказывали пожелание побыстрее вскрыть и другие язвы, а их, этих язв, было много, и каждый предлагал свои факты, свои услуги. Я записывал, обещал заняться, изучить, но понимал, что слишком много уж записал в блокнот и вряд ли успею во все вникнуть, все изучить, обо всем написать.

Утром следующего дня стало известно: главное челябинское руководство вызвано в Москву. Среди них - все секретари обкома, председатель облисполкома, председатель совнархоза, управляющие трестами.

А утром следующего дня я развернул газету - на третьей странице броским шрифтом заголовок: «В Челябинском обкоме КПСС». Статья на две колонки - и подпись: «Секретарь обкома Б. Руссак».

Стал читать. Обком признавал статью «Пыль в глаза» правильной, подробно перечислялись положения статьи, с которыми обком выражает свое согласие.

Вот теперь я мог облегченно вздохнуть. Впрочем, как еще повернут дело на Политбюро? Вдруг укажут главному редактору на неуместность выступления, на нарушение какой-нибудь этики в отношениях с обкомом?

Наконец вечером стали поступать некоторые вести. Первым позвонил редактор «Челябинского рабочего» Вячеслав Дробышевский. Почти все первые лица области сняты с работы, секретарь обкома Б. В. Руссак и первый секретарь горкома Воронин исключены из партии. Первый секретарь обкома Н. В. Лаптев сильно наказан, председатель облисполкома внезапно заболел...

Я вышел на улицу. И первым, кого встретил, был Киселев. Здоровой рукой он показал на обком партии, сказал:

- Долго они тебя будут помнить.

И заспешил в редакцию.

А через несколько дней отстранили от должности и первого секретаря обкома. На его место приехал другой - М. Т. Родионов. Как обыкновенно случается в подобных ситуациях, Первый знакомится с корреспондентским корпусом. Приглашает их на беседу - как правило, по одному. Родионов тоже стал приглашать собкоров центральных газет. Разумеется, начал со Шмакова. Как мне доложили, долго и дружески с ним беседовал. Я снова оставался дома, ждал приглашения, но, к моему удивлению, после Шмакова Первый пригласил корреспондента «Труда». Затем - представителя «Комсомольской правды». Меня не приглашал. Я терялся в догадках. Такое откровенное и грубое нарушение этикета, такое пренебрежение к «Известиям» мне казалось непонятным. А тут вдруг в «Правде» появилось постановление ЦК КПСС о челябинских очковтирателях. В постановлении прямо говорилось, что оно принято по статье «Пыль в глаза», напечатанной в «Известиях». И называлась моя фамилия. И тем не менее меня не приглашали. Родионов будто был заместителем министра иностранных дел. Хорош дипломат!

Словом, ничего не понимал я в этих играх. Позвонил главному. Рассказал, что меня игнорируют, не приглашают... Аджубей ответил не сразу. Проговорил глухо:

- Ты там работать не будешь. Вылетай в Москву.

- Как? Почему, Алексей Иванович?

Опять ответил не сразу. Спросил:

- К тебе на прием сколько пришло человек вчера?

- Человек пятнадцать принял. И не всех успел.

- Ну вот. А в приемной обкома всего четыре человека было. Пословицу русскую помнишь: «В одной берлоге два медведя не живут»? Собирайся и - в Москву.

На мое место в Челябинск прислали журналиста из Свердловска Ефрема Бунькова. Я увидел первую ласточку из той категории журналистов, которую избрал Мамлеев для формирования внутренней корреспондентской сети. Вскоре по приезду в Москву я увижу и других новых собкоров. Они подбирались по принципу: еврей, полуеврей или

породнившийся с ними. Буньков был полуеврей. Он имел вид подростка с помятым старческим лицом. «Любитель выпить», - подумал я о нем, искренне жалея, как я жалел всех известинцев, имевших пристрастие к вину. Положение корреспондента обязывало быть высокоморальным и совершенно трезвым человеком. В то же время у корреспондента на каждом шагу подворачивалась ситуация с винопитием и если он имел эту слабость, то рисковал быть вечно непросыхаемым.

Осмотрев мою квартиру, Буньков сказал:

- Хороша, но мала. У меня больная сестра, ей нужна отдельная комната.

Вечером принес вина, водки и сильно напился. А утром, похмелившись, спросил:

- Как думаешь, мне позволят подписывать корреспонденции полным именем: «Ефрем Буньков»?

- Не знаю. Собкоры, вроде, так не подписываются. Такое право у именитых журналистов-спецкоров... Евгений Кригер... и так далее.

- Буду просить главного. Нельзя иначе, сам понимаешь, - неприлично звучит.

Я представил его подпись с именем, обозначенным одной буквой, и - рассмеялся.

- Пожалуй, - утешил коллегу, - редакция разрешит.

Но редакция не позволила сразу зачислить Бунькова в классики - предложили заменить имя, и он из Ефрема превратился в Семена. Подписывал свои заметки: «С. Буньков». Говорю - «заметки» потому, что статей он не писал, а посылал в редакцию лишь короткие информации, да и те редко. А через год или полтора его за пьянство и аморальное поведение исключили из партии и сняли с работы.

С грустью покидал я Челябинск, край невысоких гор, синих озер, горных лесов и безбрежных полей. Там я жил полной интересной жизнью: ездил по заводам, рудникам, колхозам, совхозам. Имел много друзей. Зимой и летом ходил с ними на рыбалку, а в охотничий сезон - охотился. Тогда еще там были чистые реки, озера, в лесах водилась дичь. Со своих полей челябинцы снимали по 120 миллионов пудов зерна, а Курганская область, Оренбуржье и Башкирия - и того больше.

Ни умом, ни сердцем не мог уяснить того, что со мной произошло. От кого и за что я получил жестокий щелчок по носу? Редактор «Челябинского рабочего» Вячеслав Дробышевский по секрету высказал предположение, что новый секретарь обкома, получая назначение, поставил условие, чтобы меня в Челябинске не было, - может быть, и так, но от этого мне было не легче. Выходит, несправедливость творилась на самом высшем уровне.

Так или иначе, но... надо было уезжать. Я расставался не только с прекрасным краем, но и с полюбившимися мне людьми. На журналистских дорогах много встретишь людей, иные станут приятелями, друзьями, но дороги эти дальние, езда по ним быстрая - расставания так же часты, как и встречи. И редко-редко прикипевший к сердцу человек встретится вновь на твоём пути.

Месяца два я был без должности, не каждый день ходил на работу, а придя в редакцию, слонялся без дела. Зайти было не к кому - из прежних известинцев почти никого не осталось. В отделах было много народу, галдели, суетились незнакомые люди - все больше молодые. Я теперь внимательно присматривался к их лицам, находил общие черты - то были евреи. Постепенно вырабатывалась способность различать людей по национальному признаку, впрочем, у нас было только две национальности - евреи и русские. И еще одна категория людей заметна была в новой редакции и среди новых авторов газеты - полуевреи. Потом я узнаю, что много полукровок работает в ЦК партии, Госплане и Совете Министров СССР. Там их называли «черненькие русские».

Я уже думал, что обо мне забыли, что скоро надо будет оформлять расчет. Зашел как-то к «тишайшему» - Алексею Васильевичу Гребневу. Он по-прежнему был вторым замом и «тянул» всю газету.

- За что со мной так? - спросил я Гребнева.

Он долго елозил синим карандашом по пахнущей свежей типографской краской полосе и делал вид, что меня в кабинете нет. Потом, не поднимая головы, спросил:

- Как?

- А так. Статью напечатали, на всех уровнях одобрили, а меня - по шапке.

Он снова долго, старательно чертил карандашом, шумно дышал. Потом стал легонько напевать. А уж затем оторвался от полосы, взглянул на меня сквозь толстые стекла очков. Карие глаза его, увеличенные очками, казались бездонными.

- А ты чего хотел? Премию, орден?.. Другим накидал синяков и шишек, а как его задели - сразу в слезы! Ну, нет, брат, в драке так не бывает.

И снова уперся взглядом в полосу газеты.

Я поглубже уселся в кресле, приготовился слушать. В по-отечески доброй, участливой интонации слышал готовность собеседника подробно обсудить мои дела, сообщить мне что-то важное. К тому времени я уже хорошо знал этого благородного, умнейшего человека, его полушутовскую-полусказочную манеру говорить с молодыми сотрудниками; не однажды слышал, как он в подобном же роде говорил и с евреями, но в этих случаях грань откровения опускалась ниже, и добрых, отеческих советов он им не давал. Наверное, они улавливали эту разницу, может быть, о ней догадывались, но если русские отзывались о Гребневe с неизменной теплотой, то евреи о нем говорили редко, а если упоминали, то не иначе как с иронией, называя его «тишайшим».

- Мы в какой стране живем? - спросил он неожиданно, и так тихо, что я едва расслышал.

- В России, Алексей Васильевич. При самом справедливом социалистическом строе.

- В России, говоришь? - возвысил он голос.- Ну вот, ты опять все перепутал. Даже не знаешь, в какой стране мы живем. Ты институт-то кончил или так... по коридорам прошел? Страна у нас Советским Союзом зовется, а ты - Россия... Где она, твоя Россия? Сказал бы еще - РСФСР, а то - Россия. Запиши себе в блокнотик, а то еще скажешь где-нибудь.

И вновь чертил карандашом, и тяжело вздыхал, и - пел. И покачивал головой, сверкая очками.

Я смотрел на него с сыновней любовью, вспоминал, как он до войны и во время войны работал на Дальнем Востоке редактором «Приморской правды», а полковник Сергей Семенович Устинов, мой прежний начальник по «Сталинскому соколу», редактировал там военную авиационную газету «Тихоокеанский сокол». Мой друг по военной журналистике Сережа Кудрявцев, работавший в этой газете, любовно называл ее «Тихоокеанским чижиком»... Все это перебрасывало незримый мост между мной и Гребневым, рождало, как мне казалось, особое дружеское доверие.

- А кто нами правит? - оторвался он от полосы и в упор нацелился очками.

- Нами... Аджубей Алексей Иванович.

- А им кто правит?

- Им?.. Ну, там сидят... на Старой площади. Наверное, сам генеральный секретарь.

- А тем кто правит?

- Над тем власти нет. Он и есть власть... надо всеми.

Гребнев качал головой. И в глазах его я читал искреннее сочувствие, будто он жалел меня за то, что я простых вещей не понимаю.

Он снова взял в руки карандаш, склонился над полосой. И чертил долго, и уже не пел, не вздыхал шумно, а о чем-то сосредоточенно думал. Потом так же тихо, как и вначале, заговорил:

- Сталин на что был крут и горяч, а все тридцать лет смиреннько сидел в кармане. У кого? А?.. Не знаешь?.. Чего же ты тогда знаешь. А еще собкором на Урале работал! А таких простых вещей не знаешь. Ну так вот, сидел и посиживал. И очень ему хотелось на травку выбежать, босиком побегать, ан нет, не пускали. Кто не пускал? А уж этот вот вопрос самый главный.

Я, конечно, понимал, у кого в кармане сидел Сталин, и от кого мы теперь с ним зависели в газете,- понимал, но молчал.

Алексей Васильевич выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда бумажку.

Разглядывая ее, проговорил:

- В конце прошлого века у нас в России организовался так называемый Ишутинский кружок «Ад». Ты не слышал о нем?

- Нет, не слышал.

- Так вот, в программе этого кружка было записано: «Личные радости заменить ненавистью и злом - и с этим научиться жить».

Он спрятал в столе бумажку, тихо добавил:

- Иди домой. И жди звонка из редакции.

Я ушел, а дня через три мне позвонили из редакции: приказом главного редактора я назначен специальным корреспондентом.

Меня, конечно, эта весть обрадовала. Должность мне дали престижную - она была более высокой, чем собственный корреспондент по Южному Уралу.

Постоянного места у меня в редакции не было. По новому положению я мог приходить на работу, а мог и не приходить, однако не чувствовал за собой такого права, каким обладали «классики» газеты. Надо сказать, что к тому времени в узкий ряд специальных корреспондентов втиснулись новые люди: Аграновский, Морозов и еще кто-то. Они сразу же повели себя как «классики» - на летучках сидели особняком, ближе к главному, в редакции не появлялись неделями. Меня же безделье томило, а сознание бесполезности не давало покоя. Почти каждый день приходил я в редакцию, примерялся, где приклонить голову и что делать.

В отделе советского строительства, в комнате, где сидела Елена Дмитриевна Розанова, был свободный стол. Севриков мне сказал:

- Ты будешь при нашем отделе, располагайся здесь, рядом с этой очаровательной женщиной.

Елена Дмитриевна улыбнулась, пригласила садиться.

Итак, в промышленном отделе была Елена Дмитриевна Черных, здесь - Елена Дмитриевна Розанова.

В первый же день я мог наблюдать разительную несхожесть в характере, в образе поведения этих двух женщин. Та пребывала в гордом одиночестве, редко кому звонила и, кажется, не имела друзей; эта звонила непрерывно, и непрерывно звонили к ней. Шли люди, - главным образом, женщины, и все еврейки. Русской женщины я возле нее не видел, - даже из отдела писем, по делам, связанным с газетой, к ней присылали евреев.

Сама Елена Дмитриевна казалась мне русской: будто бы и черты лица славянские, и глаза серые, волосы прямые, русые. Кто-то мне сказал, что она внучка или правнучка знаменитого русского философа Розанова, наследует его уникальную библиотеку и будто бы даже у нее же хранятся какие-то важные рукописи - труды деда по философии.

Но вот поди ж ты, разберись: связи у нее лишь с миром еврейским и, если звонить примется, так же, как и ее подружки, адвокатствует за них же, за евреев.

Вскоре я насчитал десятка полтора выходящих возле нее «летучих», нигде в штате не работавших журналисток: Ольга Чайковская, Марина Вовк, Изабелла Кривицкая... Они сидели у нас часами, перемывали столичные новости и непрестанно звонили. Звонили здесь, по Москве, и в разные города страны, и даже за границу. Болтали подолгу - минут по двадцать, и все, конечно, за счет редакции.

Я со все большим интересом наблюдал за их действиями, вслушивался в разговоры. Постепенно они привыкли ко мне, видимо, принимали за круглого дурака, - и звонили, звонили.

Цель у них была одна и та же: порадеть за своего, похлопотать, защитить, протолкнуть в институт, в престижное учреждение. И в каждом разговоре не преминут козырнуть именем главного редактора.

- Мне поручил Аджубей Алексей Иванович... Вы уж, пожалуйста, проследите лично...

В тех или иных вариациях эта фраза фигурировала почти в каждом разговоре.

Елена Дмитриевна, как мне казалось, была умнее большинства своих подруг и

частенько с тревогой взглядывала на меня,- будто бы испытывала неловкость.

Некоторое время я не предлагал никаких тем - приравнивался к своему новому положению. Но посетительницы нашей комнаты знали меня по прежней работе, наверняка читали мои статьи, очерки, репортажи.

Надо сказать, что все эти дамочки, налетевшие на газету, как мухи на сладкий пирог, начисто были лишены способности писать - в этом я вскоре мог и сам убедиться, но мне казался совершенно фантастическим и необъяснимым тот факт, что все они в сумках, папках носили вырезки своих собственных выступлений - в газетах, журналах - и охотно их показывали.

Впрочем, со временем для меня стала приоткрываться завеса и над этой тайной.

Как-то Марина Вовк в разговоре, как бы между прочим, стала называла мои статьи и наиболее удачные, как ей казалось, заголовки, сюжеты, персонажи. И тут же излагала план своей статьи, которую мечтала написать и уже собрала материал. Поинтересовалась, как бы я построил сюжет статьи, с чего бы начал, чем бы закончил.

Я охотно развивал свой взгляд на ее статью, предлагал на выбор заголовки и, главное, сообщал соображения по поводу сюжета, композиции, и даже эпизоды один за другим выстраивал в нужный порядок. Она тут же записала нашу беседу, а дня через три-четыре подсунула мне свою объемистую записную книжку, сказала:

- Иван! Набросай начало, ну что тебе стоит?

Я стал набрасывать начало. А она, видя мою сосредоточенность, выводила из комнаты подружек одну за другой, наконец и саму Елену Дмитриевну, «чтобы не болтала по телефону», увлекла за собой в коридор.

Зная в подробностях материал, я «набрасывал» абзац за абзацем, писал час, а может, и больше - женщины не входили. Я подумал: «Напишу-ка ей всю статью! Что из этого выйдет? Неужели и она, как тот "выдающийся" фельетонист?..»

Писал до обеда. И никто ко мне не входил - Вовк, как волк, надежно стерегла двери.

Выходя из комнаты, вручил ей блокнот и пошел в буфет. Тут одиноко сидела за столом и пила кофе Елена Дмитриевна. Подозвала меня, посадила рядом.

- Что будешь есть? - спросила фамильярно.

- Пару котлет и чашку кофе.

- Сиди, сейчас принесут.

Через две-три минуты принесли обед: две большие котлеты, обжаренные сложным и вкусным гарниром, круто заваренный кофе и чашечку сливок.

- Ну, Марина, ну, Марина!..- качала она головой.- Вы ведь, наверное, всю статью ей написали?

- Набросал некоторые мысли.

- Знаю, как «набросал», знаю. Ну, Марина...

Я сказал, что помогать женщине - наш мужской долг, и тут я не вижу ничего особенного. Подруга ваша - женщина одинокая, она будто бы нездорова, как ей не помочь?

- Здоровье - да, у нее неважное. Однако живет она...

Тут Елена Дмитриевна запнулась и больше о своей подруге не распространялась. Святой ее гнев мне был понятен: она много лет работала в газете и никогда не печаталась. Ей был неприятен такой напор подружки, ведь в случае опубликования статьи та приобретала репутацию серьезного журналиста. Впрочем, эту репутацию она уже имела. Теперь она устремлялась к славе маститого публициста. Интересно, каких высот можно достигнуть таким образом?..

После этого Марина Вовк долго у нас не появлялась, а на шестой день статья ее была опубликована, но не у нас, а в другой газете. И дана броско, заголовок набран аршинными буквами, между главками много воздуха. И вверху полужирным шрифтом: «Марина Вовк».

Читал статью и дивился: мое и не мое. Весь текст, который я «набросал» ей в блокнот, был здесь, в статье, но по нему как-то неловко и даже нелепо разбросаны другие, чужеродные слова, ничего не прояснявшие, а, казалось, лишь затемнявшие и запутывавшие

смысл написанного.

- Ну что, узнали свою статью? - спросила Елена Дмитриевна.

- Она добавила своего текста, но, по-моему, лучше бы не добавляла.

- Ах, господи! Что там она могла добавить! Ей легче танцевать чечетку, чем писать статьи.

Чечетку? М-да-а...

Мы оба невольно рассмеялись. Вовк в свои пятьдесят лет казалась совершенной развалиной: это была очень полная низкорослая, не имевшая шеи женщина. Рыжие волосы ежовыми колючками торчали по сторонам, желто-зеленые глаза, хотя и обращались к вам, но смотрели один в левую сторону, другой - в правую.

Как-то я в Донбассе заехал в байбачий питомник и увидел там байбаков - древних жителей Приазовской степи. Глаза у них высоко на лбу и все время тревожно оглядывают пространство над головой: зверек боится орлов и все время смотрит в небо... Мне невольно вспомнилась Вовк. Было в ее фигуре, но особенно в глазах, что-то общее с этим жителем Приазовья.

Интересно, что и после опубликования статьи она к нам долго не заходила, а когда пришла, то о статье не проронила ни слова. Розанова ее спросила:

- Статью напечатали?

- Да, тиснули в одной газете, но, гады, как всегда, испортили.- И, повернувшись ко мне:

- Тебе, Иван, спасибо: твои наброскигодились.

В тот день она пришла на редакционное совещание; сидела в ряду «классиков», недалеко от главного редактора. И вид у нее был почти величественный.

В «Известиях» аджубеевского периода я воочию наблюдал в евреях удивительную черту - занимать любой пост, лишь бы он дался в руки, при этом нимало не заботясь об успехе дела. Слов «Я не справлюсь, у меня нет знаний и опыта» они не ведали. Лишь бы царить, лишь бы захватывать власть!

Но - журналистика! Как певцу нужен голос, спортсмену - ловкость и сила, журналисту нужна литературная одаренность. Но так думал я. Марина Вовк и почти все другие посетительницы нашей комнаты так не думали.

Скромнее всех из них была моя «vis a vis» Розанова. Но у нее были свои таланты: она точно знала, какая статья пройдет легко, какую надо проталкивать, а какая и вовсе не пойдет.

Однажды Шумилов попросил меня подготовить к печати статью академика-хирурга из Ленинграда Углова Федора Григорьевича. Статья потрясла меня силой фактов, откровениями по поводу бед, чинимых нашему народу алкоголем. Я с жаром принялся ее готовить. Но Розанова мне сказала: «Не пойдет!» Я на нее посмотрел с удивлением и продолжал готовить. И затем каждый день ходил в секретариат с просьбой поставить статью в номер. Тщетно. Статью задробили на всех уровнях.

Это было мое первое знакомство с академиком Угловым,- в тот раз - заочное. Шумилов - в прошлом ленинградец - сказал об Углове: «Еще до войны начал борьбу с алкоголизмом, бьется мужик, как рыба об лед».

Я тогда не знал, что люди, правящие бал в средствах информации и там, выше, как огня, боятся отрезвления народа.

Много у дьявола средств, чтобы погубить, извести народ, хитры бесы, велеречивы, изобретательны. Давно, очень много веков назад, подсмотрели они в природе человека слабость - тягу к средству, позволяющему ему забыться, хоть на время уйти в мир розовых красок и почти волшебного состояния полета в никуда. Средство это - алкоголь.

Императрица Екатерина Вторая мудрая была женщина: она, хотя и из немцев, но понимала, что властвует над людьми русскими, правит государством российским, потому с почтением относилась к своим подданным, но и она оценила силу алкоголя, изрекла: «Пьяным народом легче управлять».

Гитлер ломал голову над вопросом: как извести русских?.. Стрелять в затылок и закапывать, как это делали пламенные революционеры,-хлопотно. Печи газовые строить -

дорого. И его осенило: «Никакой гигиены, никаких прививок - только водка и табак».

Компьютера у него не было, но была немецкая привычка все считать и взвешивать, и еще была унаследованная от папочки-портного страсть - во всем видеть выгоду.

Достоевский, наш русский пророк и печальник, тоже видел силу алкоголя. Знал, что бесы, рвущиеся в кремлевские дворцы, непременно обратятся к наивернейшему средству эксплуатации, развращения и сживания со свету людей. Вещал великий писатель: «Набросились там евреи на местное литовское население...»

С чем набросились?.. С пиками, саблями? Оружие это вроде бы не в чести у евреев. С винтовками наперевес? Но и с винтовкой в атаку евреи не ходят. Тогда с чем же?

Ах, вот оно... «...Чуть не сгубили всех водкой», - скажет Достоевский. На наш русский народ тоже набросились - с этим же оружием.

Потери? Их никто не считал - свалили в безымянную могилу. Во главе Статистического управления СССР многие десятилетия стоял еврей Старовский. Не потери он считал от водки, а прибыль. Только вот чья эта прибыль, кому она шла в карманы - сводки не указывали.

Но мы, славяне, кажется, и здесь уцелели. Живучи же мы, братцы! Право слово! Сумели-таки протолкнуть в стан чужебесов своих ученых-экономистов - академика Струмилина, профессоров Лемешева, Исакова... Эти подсчитали и потери. Сказали, например, народу, что от продажи спиртного он несет в шесть раз больше убытков, чем получает денег в казну.

Другие потери... Их так много, что никакая, даже самая современная техника не способна ни исчислить их, ни вложить в блоки памяти.

Заходил в отдел писем, просматривал свежую почту. Однажды в небольшом анонимном письме прочел:

«У вас под носом, в магазине "Электротовары", обосновалась шайка жуликов, а вы спите. Зайдите к директору магазина, потребуйте список очередников на холодильники - там же одни мертвые души! Все адреса и фамилии пишут "от фонаря", сходите хоть по одному адресу, и вы убедитесь, что все это липа».

Никому ничего не сказал, а в магазин зашел. Директор, толстый, холеный дядя восточного типа, встретил меня тревожным вопросом:

- Что вам надо?

Я вежливо поздоровался, назвал себя и поинтересовался: как можно купить холодильник?

Тревога в глазах директора нарастала: он буквально сверлил меня черным проникающим взглядом, пытался понять, действительно ли мне нужен холодильник?

- У нас очередь. Есть список, но... для вас...

- Я хотел бы в порядке очереди.

Взгляд директора потеплел, он, очевидно, решил, что я действительно хочу купить у них холодильник.

- Вы извините, но для «Известий»... Это такая газета. И с нами рядом. Мы вам устроим самый лучший и пришлем на дом.

- Нет-нет, я - как все, на общих основаниях. У меня принцип. Занесите меня в список.

Директор достал толстую тетрадь, стал записывать: фамилию, адрес...

- Мы вас известим.

И хотел снова сунуть тетрадь в ящик стола, но я протянул руку.

- Дайте посмотреть.- Прочел несколько раз две-три фамилии, стоящие рядом с моей, запомнил адреса.

- Жаль, нет телефонов, я бы у соседей по списку спрашивал, когда подойдет наша очередь.

Директор вышел из-за стола, склонился надо мной:

- Извините, вы меня извините, но еще раз хочу спросить: вам такая морока очень нужна? У вас нет других дел, да? Мы сами позвоним, когда надо, выпишем и привезем, а?..

Из чего тут делать себе проблему?

- Мне дали квартиру, но я туда въеду через месяц...

- И хорошо! Въезжайте себе через месяц, а мы в тот самый день доставим вам холодильник. Тепленький, прямо с завода!..

- Хорошо,- согласился я, довольный тем, что совершенно рассеял подозрения директора. И вежливо с ним расстался.

Некоторое время потолкался в торговом зале, заметил, что чеки на холодильники оплачивают все больше восточные люди. Тут же им заказывают машины для перевозки, контейнеры на железную дорогу. Даже невооруженным взглядом можно было разглядеть тайные блатные сделки.

Поехал по адресам. Конечно же, адреса проставлены наобум, фамилии вымышлены - мертвые души!

Темой этой занимался еще три дня, а на четвертый написал фельетон «Операция "Холод"». Однако сдавать его не торопился. Зашел к Шумилову, рассказал о своем замысле. Он спросил:

- Там, поди, орудуют евреи?

- Кажется, да, впрочем, фамилия директора вроде бы русская.

- Директор знает, что ты о нем пишешь в газету?

- Кажется, нет!

- Кажется. Это тебе, мой друг, всего лишь кажется. А знаешь ли ты, в какую кучу ты сунул свой нос? Наши в редакции все уже в курсе дела. Фельетон зарежут. А тебя возьмут на заметку, скажут: опасный.

- Да полноте вам, Николай Дмитриевич! - не выдержал я.- Неужели у них все так повязано? Должны же они думать и о газете, об интересах государства!

Николай Дмитриевич спокойно выслушал мою тираду. У него не было никакой охоты спорить, возражать. Он имел вид крайне усталого и совершенно разбитого человека. Недавно вышел из больницы, жену даже сам не сумел похоронить - не было сил. Он после нашествия Аджубея, похоже, капитулировал. Взгляд его водянисто-серых, некогда синих глаз, потух, смотрел в себя. Я, видимо, его раздражал.

- Простите, Николай Дмитриевич. Я не хотел вас озадачивать. Подумаю над вашими словами.

- Не лезь на рожон,- проговорил он тихо.- Сгореть просто, важно уцелеть. Две-три таких акции, и они... не потерпят.

Шумилов склонился над статьей, давая понять, что говорить со мной больше не хочет.

Я вышел. Слонялся по коридорам, этажам - хотел было зайти к кому-нибудь, но с ужасом понял, что зайти не к кому. Из русских тут оставался Анатолий Васильевич Скурихин, великий мастер фоторепортажа, да еще несколько человек, которым душу не откроешь. Пришел к себе. Тут уже щебетал привычный кружок дамочек, жаждущих от имени «Известий» и главного редактора кого-то протолкнуть, кого-то защитить, кому-то помочь... Пытливо взглянул на них: не знают ли о моем замысле? Нет, они будто бы ничего не знали. Внезапно пришла дерзкая мысль...

Вышел из редакции, позвонил из автомата в Московскую ОБХСС знакомому следователю, рассказал суть дела. Попросил сохранить в тайне мою фамилию.

- Сейчас же буду в магазине,- сказал он мне.

Прошел день, два... Следователь позвонил на квартиру, сказал:

- Дело раскручиваю на всю катушку. Директора магазина взяли под стражу.

Утром следующего дня я «выкатил» фельетон. Предварительно сократил перечень еврейских фамилий, директора назвал по имени-отчеству. Газета вышла с фельетоном.

Следствие получило серьезную поддержку, в дело вовлекались новые и новые лица. Процесс обещал быть громким. Шумилову я сказал:

- Видите, Николай Дмитриевич, обошлось.

Не совсем,- сказал он.- К сожалению, не совсем.

И снова посоветовал.

Будь осторожен.

«Что значит не совсем?» - думал я. Но ответ на этот вопрос не замедлил явиться. Половина редакционных перестала со мной здороваться. Иные проходили мимо, словно мы не знакомы. Спускаясь в буфет, меня догнал Вася Васильев - один из немногих русских журналистов иностранного отдела. Положил мне руку на плечо, сказал:

- А ты, Иван, антисемит. Не думал, не думал...

- А ты, Вася, работаешь в иностранном отделе, а не знаешь, что антисемитизм - орудие сионизма, а я какой же сионист?.. Путаешь ты, Вася, путаешь.

Он даже шаг придержал от неожиданности, выкатил на меня вечно пьяные глаза. Он крепко «зашибал», имел жалкий, убогий вид и частенько «стрелял» трешки, в том числе и я ему ссужал несколько раз. Думаю, они его держали с умыслом: смотрите, мол, вот ваш русский - на кого он похож?

В буфете Вася подсел ко мне.

- Ты, Иван, меня удивил. Не понимаю этого, чтобы антисемитами были сионисты. Растолкуй.

- И понимать нечего. Каждое проявление антисемитизма вызывает сочувствие к евреям, желание им помочь. Вот они, сионисты, даже к диверсиям прибегают, лишь бы переломить антиеврейские настроения. Ты, может, слышал, недавно в Стамбуле, в синагоге, во время службы взорвалась бомба. Погибло около сотни еврейских старцев. Турецкие власти нашли террористов: ими оказались три выходца из Ливана, евреи, члены партии сионистов.

Я поднялся. Говорить с ним не хотелось.

Елена Дмитриевна посуровела со мной, взгляд ее потух, говорила мало, сосредоточенно разбирала письма, что-то подчеркивала, что-то помечала в календаре, в тетради для записок, всегда перед ней лежавшей.

Я сейчас, глядя на нее и видя, как она ко мне переменилась, как-то обостренно понял, почувствовал каждой клеткой бездну, разделявшую меня с этими людьми, ложность своего положения. Внешне я должен был улыбаться, сохранять со всеми добрые отношения, но в то же время я видел, как трудно играть эту роль, слышал закипевшую неприязнь, которую уже многие и не могли скрывать от меня. Я поражался несходству наших натур, взглядов, всех жизненных установок. Я стремился вскрыть и обличить порок, не думая о том, какая тут задета национальность, какие фамилии вытаскивались на свет божий. Ежедневно читал газеты, в том числе и свою, где разносились, развенчивались бюрократы, мерзавцы, лихоимцы, и русские, иной раз - украинец, белорус или узбек, и не было у меня никаких обид, жалости, лишь бы вымести сор из общего дома, принести пользу людям - но здесь же... Зацепи еврейскую фамилию - и на тебя смотрят зверем. И не один или двое свирепеют, а сразу все, как по команде. Как же прозорливо и точно сказал наблюдавший их древний историк, кажется, Плиний: «Нет тысячи евреев, а есть один еврей, помноженный на тысячу». И еще я думал: к чему же могут прийти люди, проявляющие такую неразумную спайку? Люди, в природе которых заложен такой дружный коллективный эгоизм?..

Глава четвертая

Работая в газете, еще с 1947 года, когда я начал свой путь с дивизионки, писал рассказы, повести, - эта страсть привела меня в Литературный институт, и ко времени описываемых событий было уже напечатано несколько книг. Но свои увлечения литературой я тщательно скрывал от братьев-газетчиков - знал, что почти все они скептически относятся к стремлению коллег «выйти» в писатели, одни - из зависти, другие - из сильно развитого чувства критиканства, а подчас и цинизма.

Но как литератор я стал задумываться над природой окружающих меня людей, стал зорко присматриваться к ним и уже с новых позиций оценивать их дела и линию поведения. Захотел поближе сойтись с «корифеями», носившими лестный титул специальных

корреспондентов. Раньше их было в «Известиях» трое: Мариэтта Шагинян, Евгений Кригер и Татьяна Тэсс. Все они имели книги, были признанными писателями. Это была «белая» кость, аристократы газетного мира. К ним я не был причислен, да и Борис Галич, которого привел с собой из «Московской правды» Губин и назначил его специальным корреспондентом, тоже общался лишь с Евгением Кригером, а полноправным членом «клуба избранных» так и не стал.

Новый главный редактор расширил этот корпус: назначил спецкором Анатолия Аграновского и Савву Морозова - внука известного русского фабриканта Саввы Тимофеевича Морозова. Меня хоть и назначили специальным корреспондентом, но, как сказал мне Севриков, прикрепили к его отделу, лишив таким образом и права свободного посещения газеты, да и зарплату я получал меньшую. После же первого фельетона «Операция "Холод"» не мог не заметить, каким ледяным холодом повеяло на меня от Шагинян, Тэсс и даже от всегда доступного, свойского Евгения Кригера. На второй или третий день я встретился с ним в бильярдной Пахры, куда я теперь получил право ездить.

- Хотел тебе сказать,- взял он меня за локоть и отвел в угол,- я сам не люблю евреев - все они пролазы и ловчицы, но! - он высоко поднял над головой кий,- я никогда не опускаюсь до юдофобства. Этого, старик, позволять нельзя!

- Вы так говорите, будто я уже замечен в этом грехе.

- Не крути, старик, не надо. Будем говорить начистоту: ты написал антисемитский фельетон.

Я при этих словах стал покрываться потом: вот уже готов тебе и ярлык. И от кого,- Евгения Кригера, который дружески здоровался, приглашал в гости.

- В фельетоне разные фамилии - все больше русские, а еврейских там вроде...

- Старик, не надо! Тут тебе не детский сад. Ты из Челябинска несколько раз пальнул по евреям, и тут... Не надо меня дурить. Хочешь дружеский совет? Тему эту оставь, палку в еврейский муравейник не суй. Я не еврей, ты знаешь, и я их тоже, как и ты, не жалую, но ворошить - не надо. Муравьи и те искусают, а евреи съедают. Начисто. Совсем! И косточек не останется. Ну, а теперь пойдем играть. Удар за тобой.

Муторно было на душе, неуютно и как-то неловко смотреть на людей, которые еще несколько дней назад тянулись навстречу, заводили дружеский разговор, теперь же... Даже Николай Дмитриевич проходит по соседней дорожке, сдержанно кивает и торопится идти дальше. И Мамлеев, всегда такой приветливый, чуть кивнул и прошел мимо. Аграновский важно шествует в компании молодых евреев. На нем белая меховая шапка, какая-то невообразимо нарядная куртка. Вот Мэлор Стурау. Высокий, худой, с огромным крючковатым носом. Жена в красных чулках, взглянула на нас, как на нечто странное и непонятное.

Жена моя Надежда ничего не знает о фельетоне, газет она не читает, говорит:

- За что они нас так не любят?

- Это тебе кажется. Все они славные, хорошие ребята.

- Нет, не любят. Я это вижу. Лучше бы мы сидели с тобой в Челябинске. Там рыбалка, охота и такие славные люди.

- Погоди, родная. Ты еще увидишь, какие есть тут люди, - тоже очень хорошие.

Вечером я снова в бильярдной. На этот раз мы играем с Саввой Морозовым. Это большой, тучный мужчина лет пятидесяти,- говорят, в точности похож на деда, в честь которого получил свое имя. Он будто бы весел, и смотрит на меня, и говорит, как и прежде, дружески. «Ну, слава Богу, хоть этот не изменился,- думаю о нем.- Человек он русский - чего ему!»

Сыграли с ним несколько партий. И разговоры вели нейтральные.

И все-таки душевный дискомфорт не рассеялся, тревога смутная лежала под сердцем. Не за себя и свою семью, а за нечто большее, но такое же дорогое, как и мать, отец, жена и дети. За то, что называется высокими словами: народ, Родина. Что же будет с нашей страной, народом, если аджубеевцы придут к власти повсюду? И не только в газетах, на радио,

телевидении, а и в науке, культуре, министерствах, райкомах и обкомах? Раньше мне такие вопросы на ум не приходили,- я и вообще не делил людей по национальным признакам. Знал, конечно, что ленинское правительство состояло сплошь из евреев и сам Ленин был по матери евреем, и что самыми жестокими палачами были Дзержинский, Ягода, Френкель, Берия; самым бесчестным и гнусным политиком - армянин Микоян, а самым коварным - Каганович. Знал все это, но не относил эти их свойства к национальным чертам. С раннего детства мне прививали чувство интернационализма, а это означало не одно только гостеприимство, которое, как я слышал еще в деревне, от века было присуще русским. Наши учителя и газеты, и радио, и книги в понятие «интернационализм» вкладывали готовность прийти на помощь человеку другой национальности, особенно меньшей по численности, во всем ему уступить, помочь, отдать последнее. К евреям прививалась любовь особенная. «Это очень умные люди,- говорили нам,- они рождаются с талантами музыкантов, художников, писателей»,- и с раннего детства нам читали книжки еврейских авторов: «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля, «Мойдодыр» Корнея Чуковского, стихи Маршака, Багрицкого, Безыменского. Еще до войны «Комсомольская правда» как сенсацию сообщала о мальчике-супергении Бусе Гольштейне. Мы читали и восхищались им, и затем благоговейно смотрели на каждого еврея, стремились одарить, оберечь, вознести над собой.

С этим, почти врожденным чувством симпатии к евреям я работал в дивизионке, затем в «Сталинском соколе» и уж потом только, в Литературном институте, увидел иную сторону еврейского характера и стал понимать, чувствовать сердцем громадность этой проблемы.

В «Известиях» я уже увидел, что опасность еврейского засилья может стать гибельной для русского народа, для нашего государства. И опасность эта зарождается в редакциях газет, журналов, в ячейках массовых средств информации. Отсюда она тянет щупальцы в каждую семью и поражает ум и душу, формирует комфортную для евреев «погоду». «Погода» же эта гибельна для всех остальных людей, а в конечном счете и для самих евреев.

Пройдет с тех пор почти тридцать лет, и в газете «Литературная Россия» в «Открытом письме секретариата правления Союза писателей РСФСР Председателю Гостелерадио СССР Ненашеву М. Ф.» я прочту такие слова:

«ЦТ - ведущее средство массовой информации в нашей стране - развертывает беззастенчивую клеветническую кампанию против русской литературы, русских писателей, а по существу - и русского народа, превращаясь (как в данном случае) в средство злонамеренной диффамации, которое разжигает на практике национальную рознь» («ЛР», 09.02.90).

Как раз в этот день моя дочь Светлана уволилась «по собственному желанию» с Центрального телевидения,- как и я из «Известий»: она там проработала десять лет, как и я в «Известиях», она была там едва ли не последним человеком, не имеющим органических связей с прочно утвердившимся еврейским и проеврейским конгломератом. Я ей сказал:

- Крепись, дочь, ты не первая жертва этого вселенского разбоя. В свое время я был последним Иваном в «Известиях», теперь они слопали и Гостелерадио. Но если раньше некому было жаловаться, то теперь... Вот возьми газету - почитай. Теперь их видят все русские писатели, а это значит, что очень скоро увидит и русский народ.

...Но все это потом, спустя тридцать лет. Тогда же... попробуй я скажи русским писателям, что «Известия» захвачены евреями,- меня свои же дружно обозвали бы антисемитом. А мой лучший друг Шевцов, наверное, сказал бы: «Ты, Иван, неосторожен. Так нельзя».

Обыкновенно по вечерам в Пахре я играл в бильярд, а мои жена и дочь гуляли по аллеям и в окрестностях. Мы потом сходились и начинался обмен впечатлениями. Женщины всегда знают больше всех и судят обо всем с непосредственностью доверчивых сердец.

- Это правда, что Аджубей будет министром иностранных дел?

- Может быть. Разговоры об этом у нас идут давно. И если из него вышел неплохой редактор, то может выйти и хороший министр.

- Ты тоже пойдешь с ним в министерство?

- Ты находишь, что из меня мог бы получиться дипломат?

- Я-то полагаю, а вот Аджубей, верно, так не думает. В будущем министерстве всем находится место, а твою фамилию не называли.

- Я знал, что время от времени у нас в редакции вспыхивали разговоры о перемещении Аджубея в министры, и тотчас же начинался дележ портфелей, но меня при этом, конечно, в расчет не брали. Сейчас, видимо, женщины снова «делили портфели», и до слуха Надежды долетели обрывки этих горячих, задевавших каждого сотрудника страстей. Евреи очень любят бывать за границей, особенно жить постоянно в консульствах, посольствах, корреспондентских пунктах. Я еще в первый год работы в «Известиях» заметил, что среди представителей газеты за рубежом почти нет русских, а если и встречались, то обязательно породненные или чем-то связанные с евреями. И это было при Губине, и в пору, когда иностранным отделом заведовал русский Владимир Кудрявцев. Где-то наверху, очевидно, на Старой площади, давно утвердился и прочно удерживался механизм, назначавший корреспондентов для работы за рубежом,- посылались туда люди проеврейские. И, как я заметил, механизм этот осечки не давал.

Министры иностранных дел за весь советский период подбирались, очевидно, тем же механизмом: Чичерин - полуеврей, Литвинов - еврей, Вышинский - еврей, Громыко женат на еврейке. Представляю, как бы служил своим братьям Аджубей, будь он назначен министром иностранных дел!

Бедная Надежда! Она еще думала, что от главного редактора нам можно ожидать какой-то милости, что за громкие статьи меня ценят в редакции, и не подозревала, что я вишу на волоске: стоит мне еще раз задеть их муравейник, и они найдут средство со мной расправиться.

Время за полночь, а мне не спалось. Думал, что если наш главный и в самом деле станет министром иностранных дел, он с такой же яростью изгонит и оттуда русских людей. Что же будет тогда с нашим иностранным ведомством?

У меня в то время было еще много иллюзий: я и представить себе не мог, что такой важный государственный организм уже давно был в лапах чужих людей, что всюду, где во главе ведомства, учреждения или предприятия побывал еврей, там тотчас же появляются его сородичи,- до такой страшной мысли я не доходил. И вот что странно: даже очевидные факты не укрепляли в таком убеждении. Я уже упоминал о директоре Трубного завода на Урале Осадчем. Когда при мне в кабинет к нему входил еврей, он быстренько решал его дело, а потом, когда тот скрывался за дверью, говорил: «Этот остался от прежнего директора. Я евреев на работу не беру. Говорю им: не хочу, чтобы меня обвиняли в семейственности». А между тем, я ходил по цехам, отделам, и почти всюду начальники были евреи. Натаскивал их на завод не Осадчий, а его начальник отдела кадров.

Подобную ситуацию я встретил в министерстве связи. Когда министром туда назначили Николая Владимировича Талызина, с которым у меня были давние приятельские отношения, он в телефонном разговоре как-то сказал: «Зашел бы ко мне, посмотрел, как я устроился на новом месте». Я пришел, и пока мы сидели, к нему заходили разного рода начальники. Фамилии русские, но, как мне показалось, лица еврейские. Зашел начальник, ведающий телефонизацией Москвы. Этот уже был явный еврей. Отпустив его, Николай Владимирович заметил:

- Знаю, что теперь думаешь, но скажу тебе честно: не я его поставил на эту должность, не мне его и снимать.

И что-то еще говорил о том, какую справедливую политику в подборе кадров он стремится проводить. Но когда я выходил от него и в приемной увидел других начальников, ожидавших приема министра, я мог без труда заключить, какая это была справедливая политика.

Я с Талызиным познакомился в пору, когда он был заместителем министра связи, и тогда еще мне говорили: Талызина окружают одни евреи. И не потому ли он затем становится министром, а потом и того выше - председателем Госплана СССР, кандидатом в

члены Политбюро ЦК КПСС?

Время безадресных обвинений проходит, народ теперь хочет знать конкретных виновников наших бед. История в поисках истины не останавливается на полдороге, она идет до конца. Поступить истории можно замедлить, притормозить, ей можно подсунуть ложные сведения, но все это будет лишь процессом движения, а результат всегда один - истина.

Жена и дочь спали. Я ходил по комнатам. Нам на воскресные два дня отводили четвертую часть особняка - две большие комнаты, коридор, кухню и террасу. Другие сотрудники, особенно члены редколлегии, размещались просторнее: там и мебель, и ковры иного, высшего класса. В редакции уже говорили: Пахра будет расширяться, круг отдыхающих в ней увеличится. Возможность два дня в неделю отдыхать в таких условиях - большая привилегия. Редакционная элита имела много и других привилегий. Особое медицинское обслуживание: в Адлере, на берегу Черного моря, свой собственный санаторий - ежегодно вместе с семьей туда выезжали на месячный отдых. В Малаховке под Москвой - свои известинские дачи, ими обеспечивался весь журналистский корпус редакции. Наконец, для избранных - их было персон двадцать - специальная столовая, гараж персональных машин, особый «кремлевский» паек. В конце года - «лечебные» - кому сколько; я получал месячный оклад. Наверное, были и другие привилегии, о которых я, грешный, ничего не знал.

Любопытно, жил ли так средний помещик на Руси?.. Или владелец фабрики, или доходного дома - все те «эксплуататоры» и «паразиты», против которых была направлена Октябрьская революция?

Расскажу один эпизод.

Работая в Донбассе собственным корреспондентом «Известий», я как-то приехал в Ворошиловград. Тогда ему на короткое время вновь вернули старое имя - Луганск, но затем наверху вдруг подумали: а ведь и их именами могут называться города - зачем же создавать прецедент! - пусть уж лучше вечно носит город имя партийного деятеля, хотя уже было известно, что руки этого деятеля по локоть в крови. Ворошилов - один из тех чудовищных палачей, кто осуществлял геноцид собственного народа.

Так вот, приезжаю я в этот областной город Донбасса, являюсь к председателю облисполкома, а он в конце беседы говорит:

- Где вы остановились?
- В гостинице. У меня хороший номер.
- Ну, зачем гостиница. Поезжайте в наш домик.

Я знал, что такое «наш домик»: такие «домики» есть едва ли не в каждом городе и, мало того - в колхозах, совхозах, на стройках и заводах. Сказал:

- Благодарю, не беспокойтесь. Я лучше в гостинице.
- Нет-нет,- в домик! Я сейчас позвоню.

Переехал в домик. Тут вечером за круглым обеденным столом встретил второго жильца. Им оказался заместитель председателя Совета Министров СССР. Не стану называть его фамилию. Это был милый, простой человек и, конечно же, интересный собеседник. После прекрасного ужина - с вином и фруктами,- который, кстати, почти ничего нам не стоил, пошли гулять по городу. И в домик вернулись лишь за полночь. Но... в домик нас не пускают. У подъезда стоит человек, а возле его ног наши чемоданы. Человек извиняется. Показывает на машину:

- Позвольте отвезти вас в гостиницу.
- Как? - изумляюсь я.- Что произошло?

Но человек словно не слышит, вежливо показывает на машину.

Мы сели, и нас отвезли в гостиницу. Поместили в прекрасные номера.

- Здесь для вас будут те же условия,- сказал человек. И еще повторив два-три раза «извините», удалился.

Я решил, что в домике без нас произошла авария: что-нибудь прорвало, отключилось.

Назавтра стало известно: в Луганск прибыл член Политбюро ЦК КПСС - кажется, это был Щербицкий или Подгорный,- я точно сейчас не помню.

Вечером мы снова гуляли с моим новым высоким знакомым. Он был весел, живо, интересно говорил - казалось, его не обескуражила дикая выходка властей. Я откровенно ему сказал об этом:

- Ну, ладно, со мной так обошлись, но поступить так с вами?

Он ничего не говорил и лишь улыбался. Я же не мог успокоиться:

- Да как же он-то позволил - гетман Украины, некоронованный царь и властитель? Вы и по служебной лестнице стоите над ним. Наконец, ему бы с вами веселее было, да и дела бы многие он мог решить! Я поражаюсь!

- Напрасно вы его вините,- мирно заговорил важный государственный человек.- И местные власти тут ни при чем. Существуют правила охраны жизни членов Политбюро. По этим правилам, очевидно, никто посторонний находиться рядом с ним не может. Да если бы и не было специальных правил охраны его персоны, то и тогда бы жить с ним рядом было бы великим неудобством. Его и кормят, и обслуживают иначе, чем нас.

Случай этот поразил меня, и все подробности его поныне стоят перед глазами. Председатель облисполкома, поселивший меня в домик, конечно, не предполагал, что в тот же вечер к ним нагрянет такой высокий гость. При встрече на другой день он делал вид, что ничего не произошло, а я, конечно, тоже о нашем пассаже с ним не заговаривал. Одно я усвоил крепко: не совать больше своего свиного рыла в калашный ряд! И если, случалось, мне говорили: «Поместим вас в нашем домике»,- наотрез отказывался. Хотя, впрочем, и знал: члены Политбюро ездят по городам редко, а иные, вроде Михаила Андреевича Суслова, и вовсе никуда не выезжали, может быть, потому, что в партии и народе ходили о нем самые таинственные и страшные слухи: его называли то серым, то красным кардиналом и говорили, что он волен своей властью менять в государстве царствующих персон, и что водится он с самыми темными силами, и что быть от него большим бедам. Никто не знал, какого он рода и племени, и еще меньше знали, какие мысли копошатся в его маленькой крысинообразной голове. И вот ведь что интересно: сбылись смутные предчувствия русских людей. Большие беды свалились на нас к концу жизни серого кардинала: пришла к разорению русская деревня, в пьяную одурь погрузились славянские племена, реки стали черными от мазута, больной коростой покрылась земля, мор пришел на скотину. Чужебесие воцарилось в России. Но не увидели, ничего не поняли славяне,- как и когда умер этот человек, и лишь немногие заметили, что хоронили его как-то не по-людски, не по-русски, не по-христиански. Лежал он с ногами, поднятыми над гробом, в лакированных туфлях, блестящих так, словно он не в могилу уходил, а отправлялся на бал.

И песнопения были странные, русской природе непонятные.

Говорят, что так будто бы хоронят братьев своих масоны,- говорят люди неофициальные, мало чего знающие, а любители до всяких быль и небылиц,- им лишь бы языки почесать.

Одно тут, пожалуй, верно: христиане так своих людей не хоронят.

Мои отношения с новыми известинцами принимали характер азартной игры: я видел, с какой неумолимой последовательностью они выживают из редакции последних русских, с какой расчетливой жестокостью теснят «Иванов». Из рядовых известинцев - не связанных с ними и не танцующих под их дудку, шабес-гоев,- я, кажется, оставался один. И Вася Васильев, прося у меня очередную трешку и повода при этом замутненным от принятых двухсот граммов взглядом, схватил, как клещами, локоть моей руки и зашептал на ухо:

- Последние мы с тобой: Иван да Василий.

- Ты им не мешаешь,- ответил я.

- Почему?

- Статьи не пишешь. Пьешь вот да слоняешься без дела.

Он долго стоял возле меня, то надвигаясь могучим телом, то отдаляясь, будто я его отталкивал, потом сказал:

- Мешаю и я им. Еще как!

- Да чем же?

- А тем, что существую, что морда у меня славянская. Они, как меня завидят, так и примолкнут. Сидят, как сычи, и ждут, пока удалюсь. Не могут они духа моего терпеть. Тайное замышляют.

Постоял с минуту Василий, глядя куда-то в сторону, и потом, как-то жалостливо сморщив некогда красивое лицо, проговорил:

- А ты, Иван, прости меня. Никакой ты не антисемит. Ты, как и я, - лишний здесь, и, как и все мы, русские, глуповат малость, и... блаженный. Ну, будь!.. Только это... пером своим не размахивай. Не любят они... таких-то... кто их зашибить может.

Зашел к своему сослуживцу по «Сталинскому соколу» Когану. Хотелось послушать его философические местечковые сентенции. И на этот раз он принял меня приветливо, но в нотках его голоса я уловил недовольство.

- Ты помнишь, я тебе говорил: не обязательно надо уметь писать. У русских я слышал много пословиц - не скажу, что умных, но... ничего, есть дельные. Ну вот эта: «Слово как воробей, упустишь - не поймашь».

- Не «упустишь», а «выпустишь».

- «Выпустишь»?.. Может быть, но «упустишь» - тоже ничего. В жизни всегда так бывает: упустишь - плохо, не упустишь - хорошо. Ну, если выпустишь - ладно, выпускать тоже не надо. Вот ты выпустил - что из этого вышло? А?.. Скажи мне - что?..

- Да что же я выпустил?

- Он еще говорит! Холодильники выпустил - больше ничего. Потом что-нибудь другое выпустишь. Ты такой - я знаю.

- Да как же я их выпустил? Наоборот: теперь их продают по справедливости.

- Хо! Он еще говорит! Смешно!..

Сидя у окна, он отклонял свою седую голову то вправо, то влево, нацеливался своим железным, каким-то особенным карандашом и касался тушью глаз, ресниц, ловко выскабливая на лицах славянские черты, придавая им вид восточный. В этом, как мне кажется, в целом свете не было мастера, равного ему.

- Мне нужны четыре холодильника, - ты дашь мне их?

- Да где же я возьму холодильники, Михаил Давидович? Да если бы я работал в магазине, я бы и тогда продавал по очереди.

- И брату родному, и сестре?

- И брату, и сестре.

Михаил Давидович качал головой, смеялся. Как-то внутренне, утробно, глубоко, с икотцей.

Повернулся ко мне, долго разглядывал. Сказал:

- А помнишь, как я тебе говорил: писать - хорошо, но можно не писать. Я вот не пишу, другие - тоже, а если бы напал на холодильники, я бы их имел, и ты тоже, и все другие...

В подобном роде Михаил Давидович и дальше развивал свои мысли, но слушать его было скучно. Он повторялся. И если коротко суммировать его философию, она сводилась к одному: «Надо быть умным, уметь брать».

Я смотрел на его большую кудлатую голову и думал: «Не стесняется своих мыслей: хотя в них ведь нет ничего, кроме циничного агрессивного эгоизма. Мира для него не существует. Есть он, его близкие - больше ничего».

Зашел в отдел оформления, здесь было несколько комнат, первая - большая, вроде гостиной. В ней колготились суетливые, как ртуть, фотокорреспонденты: одни шли на съемки, другие приходили, что-то рассказывали, чем-то возмущались.

Из этой комнаты - вход в другую, всегда темную, - там лаборатория. Заведовал ею Витя Бирюков. Кажется, он один здесь был русский, да еще Анатолий Васильевич Скурихин - художник-фотограф, большой выдумщик и фантазер. Его снимки, композиции поражали красотой, неожиданностью темы, сюжета. Скурихин работал еще при царе, он никого не

боялся - любая газета, журнал почли бы за честь иметь такого сотрудника. Его не трогали. Витю Бирюкова - тоже. В газете даже боялись, как бы он не заболел, не ушел в отпуск.

Удивительные это были люди - и очень разные.

Бирюков - невысокий ростом, тихий, скромный. Когда я пришел в газету, он в первый же вечер заглянул к нам в промышленный отдел, робко поздоровался, оглядел всех - никто на него не обратил внимания - и подошел ко мне. Подавая фотографию, сказал:

- Не поможете... подтекстовку написать?

И положил на стол листок, на котором значились данные: фамилия, имя, должность. Новатор, мастер...

По живому его рассказу я написал не «подтекстовку», а заметку, нечто вроде маленького репортажа.

- Вот... если подойдет.

Снимок и репортаж напечатали. А через неделю он встретил меня в коридоре.

- Получил гонорар. В ресторан что ли сходим?

- Да что вы? Какой ресторан? Ради бога, пустяки какие. А, кстати, почему вы не приходите? Другие ко мне обращаются, а вы - нет.

- Другие ходят? Ах, нахалы! Но я не виноват. Не говорил им, что вы помогли. Но они сами... пронюхали. Да разве от них что скроешь?

«Подтекстовки» - большая проблема для фоторепортеров. Редкий из них может составить текст, объясняющий снимок, - большинство подолгу ходит по отделам, просит, унижается, но журналисты отмахиваются от них, как от назойливых мух. Я же не мог отказать товарищу по газете. Всегда, где бы ни работал, старательно делал им маленькие рассказы. За хороший текст, как и за снимок, платили гонорар, но ни денег, ни подарков я от братьев своих по цеху не брал, зато они платили мне трогательной мужской любовью. И заходил я к ним как к родным людям.

На этот раз в отделе оформления царили крик, гам... Скурихин стоял посредине комнаты, распекал своих молодых коллег. Завидев меня, всплеснул руками:

- Ну, прохиндеи, ну, фокусники, - слету обобрали старика, украли сюжет и тему!

Фотокорреспонденты сидели в креслах, кто курил, кто рассматривал на свет негативы, и спокойно обсуждали свои дела.

- Нет, ты послушай, как он меня обобрал! - обратился ко мне Скурихин. - Я не успел рта открыть, и сказал-то одно слово: «Гусь-Хрустальный», а он - шмыг - и там! Я не успел командировочные оформить, а он уже снимки везет. Вон, посмотри!

Я подошел к столу, на котором один молодой фотокорреспондент разложил снимки, привезенные из Гусь-Хрустального. Женщины с вазами, бокалами, рюмками с завода, изготавливающего изделия из хрусталя. Корреспондент мне сказал:

- Чего старик шумит - ну, поехал, ну, сделал... И каждый может: поезжай, снимай.

Подошел Скурихин, стал смотреть снимки.

- Куча! Тут нет и одного дельного! - Повернувшись ко мне: - Поехали в Гусь-Хрустальный. Посмотришь, как я снимаю. Заодно и сам напишешь что-нибудь.

Мы поехали. Много я видел фоторепортеров, но как работает Анатолий Васильевич Скурихин...

С утра начинает ходить по цеху. Смотрит, примеряется и, надо полагать, многое видит из того, что другие не замечают. Наконец в одном месте выбирает женщину, в другом - вазу, графин. Устанавливает свое, изобретенное им освещение. Просит женщину принять одну позу, вторую... Снимает, снимает... Без конца!

Начальник или мастер ему тихо говорит: «Она у нас не передовая, и ваза эта с другого места».

Скурихин кивает, соглашается, но... снимает.

И так в другом цехе, в третьем. С утра до вечера. Бессчетное число снимков. И лица, композиции выбирает сам - по признакам, известным одному ему.

И вроде бы женщины некрасивые, мужчины неэффектные, и в предметах, попадающих

в объектив, я не нахожу ничего особенного. Но вот приехали домой, он вместе с Виктором Бирюковым проявил пленку, отпечатал снимки... Потом рассылает их по редакциям. В свою газету - два-три лучших, в другие - остальное.

И с месяц или два газеты и журналы печатают его снимки, многие из них - на обложках журналов, некоторые идут за рубеж.

Скурихин сидит в кресле, читает. Проходит месяц-другой - и Скурихин снова в путь. При этом он точно выбирает момент- приближение весны, осени, зимы, лета. Объект - люди: геологи, сталевары, химики.

Привозит снимки, и вновь газеты и журналы жадно хватают его продукцию...

Еще до войны вышел с ним презабавный, напугавший всех казус. Вздумал он снять панораму строящейся Магнитки с птичьего полета. И для этого взобрался на самую высокую трубу - метров в тридцать или сорок. И когда уже был на самом верху, из-под ног у него отвалилось звено лестницы.

Между тем, пошел дождь, поднялся ветер, а тут и ночь наступила. Привязав себя ремнем к громоотводу, Скурихин висел на краю трубы. Внизу бегали начальники, руководители города - и только к утру монтажникам удалось наладить спуск отчаянного фотокорреспондента.

- Зато оттуда,- рассказывал Анатолий Васильевич,- я привез не только снимки панорамы Магнитки, но и фото Аленки, которая много десятилетий красовалась на обертке шоколада.

У Скурихина нет жены, но есть дочка Майя. Потом она тоже станет фотокорреспондентом. И теперь вот уже много лет работает в «Правде», а снимки ее, как и снимки отца, печатают на видных местах многие газеты и журналы.

Анатолий Васильевич был моей отрадой в «Известиях», я любил его сыновней любовью, и он ко мне питал добрые чувства. В среде фотокорреспондентов ходили слухи о его миллионах. Он действительно получал большие гонорары, но мне частенько говорил:

- Заработаю деньги, куплю мотоцикл и махну на Волгу. Буду жить, как Шалапин, на берегу.

Я потом спрашивал:

- Купили вы мотоцикл?

- Покупаю по частям. На весь-то денег нет. Вот еще колесо куплю, и тогда - поеду.

Мне он подарил фотоаппарат «Контактс-Д». Сказал:

- Перед войной немцы нам двадцать штук таких прислали. Стекла объектива шлифовались водой. Рисует!

И вправду: снимки у меня получались изумительные.

Анатолий Васильевич ушел из газеты и никому не подавал о себе весточки. Я тоже его не искал - видимо, припела ему пора побыть, наконец, в одиночестве.

Вызвал меня Гребнев. Чуть заметно кивнул на приветствие, читал гранки. Садиться не предлагал - манера у него такая, несколько странная. Я всегда у него чувствовал себя провинившимся. Читал он долго, будто забыл обо мне. Потом, как обыкновенно, тихо и каким-то домашним голосом заговорил:

- Опять тебя с Васильевым видели. Небось, выпили?

- Что вы, Алексей Васильевич, я не пью.

- Мало-то... не пьешь, а так, чтобы, как Васильев, основательно,- наверное, бывает?

- Да что вы, в самом деле! Это, наконец, обидно слушать. Говорю - не пью, значит не пью.

- Ну, может, на людях не пьешь, а ночью, да под одеялом?

- Извините, Алексей Васильевич! Но это ни на что не похоже. Ваши шуточки! Я, наконец, обидеться могу.

- Ну да ладно - остынь. Не пьешь, и хорошо. А тогда с Васильевым зачем? От него надо подальше. Пустой он человек и пьяница запойный. Жалко его, а что поделаешь. Говорил я с ним, и он обещал, клялся-божился - и снова запивал. Подальше ты от него!

Я начинал понимать: злые языки, увидев меня раз-другой с Васильевым, сделали вывод: пьем вместе! И пошли гулять по редакции пересуды. До Гребнева дошли. Сел в кресло, ждал.

- Вон письмецо на столе - возьми, почитай.

Я взял со стола письмо. Аноним сообщал, что на заводе, где-то под Подольском, орудует шайка крупных лихоимцев во главе с заместителем директора завода по снабжению Никулиным.

- Не хотелось бы... в грязи копаться,- сказал я Гребневу.

Он долго молчал, будто и впрямь забыл о моем присутствии, но потом, не отрываясь от гранок, как-то особенно тихо заметил:

- И мне... надоело ваши статьи читать, шелуху из них выгребать, а что поделаешь - приходится. Работа такая. Вот скоро сорок лет будет, как... словно дворник, с метлой по статьям вашим. И у тебя тоже - своя работа. Волка ноги кормят, бегают много, добычу выслеживает. Твоя добыча - вот она, письмецо анонимное. У нас сейчас многие... из кривого ружья стреляют. Пальнул из-за угла - и смотрит, как мы тут, а самого не видно. Поезжай, милый, размотай клубочек,- авось, и тут... наше дельце выгорит.

Он замолчал, и теперь уж я видел, разговор окончен. Положил письмо в карман, сказал:

- До свидания, Алексей Васильевич.

- С Богом, дорогой. Удачи тебе.

Приехал на завод, а он военный, очень важный и большой. Всюду секретность, нужны допуски. Решил не заводить канители - использовал свои излюбленные, годами наработанные приемы. Захожу в пивную, беру кружку пива. Слушаю разговоры. Никулина поминают. Один, изрядно напившись, сквозь зубы цедит:

- Два вагона белой жести привез, знаю, куда сплавил.

- На индивидуальные домики пошли - куда же больше.

- Так-то оно так! Но ведь как, сука, сработал? На складе стройматериалов дружок у него сидит. К нему и загнал прямым назначением. Жесть продали, деньги разделили.

- Ну, так-то просто не бывает. Чай, документы есть, оформлять нужно.

Пьяница смотрел на меня почти с презрением. «Эх, ты! - говорил его взгляд.- Простых вещей не понимаешь».

- А, кстати, где он, этот склад? Мне тоже жесть нужна.

Пьяный назвал и место склада, и фамилию дружка никулинского. И несколько других крупных афер перечислил. Я слушал и старался запоминать. Потом уединялся, записывал.

Так анонимно, разыгрывая где простака, где выпивоху, изучал, выуживал... Жил в городской гостинице, а в заводской поселок приезжал. С неделю шел по следу, наматывал факты, фамилии. Дело высвечивалось крупное, жулье тут орудовало матерое. Не однажды, ступая по острию ножа, думал: вот как разнюхают, так и пришьют в темном углу. Но игра пока удавалась. Пришел на склад, показал удостоверение. Стал проверять документы. Липа без труда выявлялась. В тот же день явился на завод - в кабинет Никулина. Его нет, уехал - надолго, спешно. Со склада сообщили, и он дал деру. Зашел к директору завода...

Две недели разматывал аферы, снимал копии документов, записывал свидетелей.

К огорчению своему заключал, что и здесь, как в случае с холодильниками, орудовали евреи. Стояли они, как правило, в сторонке, дирижировали из-за укрытий. Подписей не ставили, лиц не показывали. Везли фондовые материалы - пиленный лес, брус, кровельное железо, кирпич, цемент - вагонами, чуть ли не составами,- в адрес важного военного завода, а потом гнали «налево». И всюду свои люди: агенты, отправители, получатели...

Голова шла кругом от такого размаха. Ночью не спалось, думал: что же будет с нашим государством, если механизм хищений принимает такие масштабы, а лихоимцы так опытные и изощрены...

Написал фельетон «Никулинские жернова». Принес Гребне-ву. Как и обыкновенно, он долго меня не замечал, потом оторвался от гранок:

- А-а... Явился - не замочился. И что? Зачем я тебе понадобился? Входишь без стука,

словно в конюшню...

- Я стучал.

- Да, и что же?

- Фельетон принес.

- А я-то при чем? Он фельетоны пишет, а я их должен читать. У меня этого читыва - вон сколько.

Ворчал, а сам косил глаз на листы, положенные на стол, взял их и тут же стал читать.

- Ну и ну! Накатал! Кто это печатать будет?

- Так вы же давали задание.

- Задание-то давал, а печатают пусть другие. Я за тебя отвечать не стану.

Подвинул листы на край стола.

- Разве так пишут! - продолжал ворчать. - Я думал, он там хороших людей найдет, а он... опять муравейник разворошил. Их всех-то в тюрьму не упрячешь, а кто на свободе останется, подкараулят нас и по шапке дадут.

- Не дадут, Алексей Васильевич, а если дадут - мне, а не вам.

- Тебе - ладно, тебе - ничего, а вот если меня зацепят? Не желаю. У меня внуки, скоро пенсия. Пожить хочу.

- Да не беспокойтесь, Алексей Васильевич. У вас кабинет, вас на большой машине возят - на «зиме». Вас не достанут. Ну, а если меня... - на то драка. Сами же говорили.

Сидел я еще несколько минут, ждал решения. Но Гребнев продолжал читать гранки. Никогда не поймешь этого человека! Что носит он за личиной шутовства и напускной строгости, какие мысли теснятся в этой мудрой голове, какие чувства кипят в его благороднейшем сердце? Поднимаюсь с кресла, тяну руку за фельетоном.

- Куда? - спохватывается Гребнев.

- Так не понравился же.

- Оставь, посмотрим.

Сказал тихо, почти неслышно.

Фельетон был послан в номер - досылком. И на следующий день напечатан без малейших купюр и исправлений.

И вслед за фельетоном на завод выехала группа следователей Прокуратуры СССР.

И вновь я поражаюсь мужеству и отваге Алексея Васильевича Гребнева. И страшно было мне его огорчить хотя бы малейшей ошибкой или неточностью. Много дней после выхода каждой статьи, и этой в особенности, я дрожал, как пескарь: не обнаружится ли какой промах? Но, слава Богу, проносило. И так все десять лет моей работы в «Известиях». Слава Богу!

Евреи за фельетон не обиделись, видно, муравейник этот сочли интернациональным.

В редакции все меньше оставалось закутков, куда бы я мог заглянуть, где бы меня ждали или желали видеть. В комнате с Еленой Дмитриевной Розановой мне было тягостно, - тут был проходной двор, да еще такой шумливый, такой беспокойный. И чем больше я проникал в суть дел и бесед наших дамочек, тем больше они меня раздражали - до того, что иногда хотелось крикнуть: «Прекратите свой гнусный базар!»

Елена Дмитриевна, подобно своим подружкам, звонила, писала, подбирала документы, и все больше это были дела евреев, хлопоты о них же, - как московских, так и тех, кто подавал сигналы из разных городов и весей. А сигналов этих становилось все больше: число писем в день, получаемых редакцией, перевалило за тысячу. Расширяли штаты: отдел писем стал уже самым большим в редакции.

Два фактора влияли на поток писем: первый - газета становилась боевой и задиристой, и второй - евреи быстро учуяли своих: для этого им достаточно было взглянуть на подбор авторов, на имена тех, кого газета защищает.

Газета все больше уподоблялась нашим дамочкам: оберегала, перевозносила своих, громила «антисемитов». В категорию последних немедленно попадал каждый, кто вольно или невольно вставал на пути евреев.

Не думал я, не гадал, что и меня вскоре станут втягивать в необъявленную войну с «антисемитами».

Однажды на летучке Ошеверов, второй заместитель главного, зачитал письмо из Рязани. Автор не жалел красок, изображая директора института, кажется, радиотехнического. Форменным чудовищем выглядел этот директор - кого-то теснил, изгонял, причем грубо, жестоко.

- Поручим письмо Дроздову,- неожиданно заключил Ошеверов.- Поезжайте, разберитесь. Надо гнать таких директоров! А еще лучше - под суд!

Вручил мне письмо, а вместе с ним - готовую фабулу для статьи или фельетона.

Признаться, и я был настроен сердито. Наполеончик какой-то! Распоясался! С таким настроением ехал в Рязань. Уже в вагоне еще раз перечитал письмо: фамилии в нем русские, но неестественные, деланные - вроде бы у цирковых артистов. Автор письма, Рудольф Земной, защищает Огнева, Ветрова, Владленова.

Был такой писатель или поэт - Земной. Кто-то из наших институтских профессоров рассказывал: прислал этот Земной свое произведение Горькому. Тот ему отвечает: рассказ слабый, сырой, но больше всего не понравился псевдоним. Вы, мол, как бы говорите читателю: я хотя существо и высшее, но, как видите, человек вполне земной.

В Рязани в институт сразу не пошел, а дня два кружил вокруг да около. У меня таков метод изучения материала - начинать со стороны, издалека. В отделе науки обкома КПСС рассказали об институте: это очень большое учебное заведение, в нем несколько тысяч студентов, много профессоров, хорошо развита учебно-производственная, экспериментальная база. Институт выпускает нужнейших народному хозяйству специалистов, есть факультеты секретные, работающие на космос, оборонную промышленность.

Ректор, молодой ученый, ему около сорока лет - крупный теоретик, изобретатель. Имя его широко известно и почитается не только в нашей стране, но и за рубежом. О его «художествах», как писал Земной, «диких выходках» говорили разное: одни с сочувствием, без осуждения, другие - злобно, с пеной у рта. Заметил: негодовали евреи. И главная его «дикость» связана опять же с ними.

Провалились на экзамене два еврея - братья-близнецы. В институт явилась целая делегация их родственников, устроили скандал. Ректор сорвался, накричал на них. У него вырвалась фраза: «Я не хочу готовить специалистов для Израиля!»

Сам ректор встретил меня настороженно, сказал:

- Я слышал, что вы приехали по мою душу.

- Да, знакомился с городом. Рязань от Москвы недалеко, а я в ней первый раз.

- У вас, наверное, ко мне много вопросов, а я хочу есть. Поедьте ко мне домой, поужинаем.

По дороге ректор заговорил о рязанских улицах:

- Рязань помнит много героев, сынов и дочерей Отечества, а названия... Вон, видите: Калинина, Луначарского, Свердлова... Отняли у нас первородные имена.

Показывал дома, места, где бывал Есенин. О великом рязанце ректор говорил с нежностью. И вообще я скоро почувствовал в нем патриота, по духу близкого мне и родного.

В квартире за столом выпили вина. Тогда еще я позволял себе «культурно» выпить рюмку-другую. Такой же коварной и, как теперь убежден, вредоносной философии придерживался и мой собеседник. Но выпил он совсем мало - несколько десятков граммов. Был настороже и ждал от меня подвоха.

Была у меня раньше, остается и теперь одна слабость: если человек мне нравится, я скоро раскрываю перед ним все свои карты, говорю даже и о том, о чем бы следовало и помолчать. Однако главную профессиональную тайну - имя автора письма в редакцию - я, конечно, скрываю. Ректор сказал:

- Знаю: жалуются на меня евреи. Я ограничил их прием в институт и считаю, что поступаю правильно. Их в нашем государстве меньше одного процента к общему числу

населения, а загляните в любое учебное заведение: студенты, аспиранты, профессора... У нас, к примеру, преподавательского состава процентов двадцать - евреи. И если уж профессор набирает аспирантов - русского не возьмет. Да что же это происходит? Почему русские должны гнуться на полях, стоять у станков, а они все сплошь получают высшее образование?

- Да, конечно. Я с вами согласен. Это и меня возмущает.

- А скажите,- продолжал он,- что за человек ваш Аджубей? Когда его поставили на «Известия», наши евреи вздыбили шерсть, ликовали, хором повторяли: Аджубей, Аджубей. Умный, хороший. И предрекали ему скорое возвышение - дескать, членом Политбюро станет. А я уж знаю: если евреи хвалят, значит, это их кадр.

Слушал его и дивился открытости этого человека, какой-то детской бесхитростности и незащищенности. Мне доверился. Ну, хорошо - мне, а случись на моем месте другой?

Когда расставались, крепко жал ему руку, давал понять, что и мне созвучны его тревоги. Сказал на прощание:

- Работайте спокойно. Писать о вас не стану - ни хорошего, ни плохого, но Аджубей... он может прислать другого корреспондента. Не надо откровенничать. Наш брат всякий бывает.

- Спасибо на добром слове, но только я не так уж прост, как вам могло показаться. Я вам в глаза смотрел - понял, с кем имею дело.

Мы обнялись с ним, и я сказал:

- Хороший вы человек! Такие-то и всегда на Рязанской земле были, иначе Москве не выжить.

Немного мы с ним общались, но расстались друзьями.

В редакции я зашел к Гребневу. Рассказал, что за человек этот ректор, и что писать о нем не стану.

- Тебя кто послал?

- Ошеверов.

- К нему и иди.

Пошел к Ошеверову. И тоже рассказал, что ректор - крупный ученый, делает важные дела для государства. Нельзя по пустякам трепать ему нервы.

Ошеверов смерил меня недобрым презрительным взглядом. Как раз в эту минуту вошел Аджубей. Я и ему рассказал.

- Ладно. Закроем дело,- сказал он и склонился над столом Ошеверова.

Я вышел и был доволен таким исходом дела. Поздним вечером позвонил в Рязань, сообщил ректору, что дело их закрыто. Пожелал спокойной ночи и еще сказал, что рад буду видеть его у себя в гостях. Он потом много раз бывал у меня и на квартире, и на даче. Я полюбил этого человека и был рад, что у меня появился новый друг.

Понял я, конечно, что рязанский эпизод был мне брошен как испытание. После этого заданий по избиению «антисемитов» мне уже не давали. А между тем, операции эти все больше раскручивались на страницах нашей газеты.

«Известия» становились рупором еврейских забот, их антирусской, античеловеческой идеологии, их больного мироощущения и духа.

И когда теперь, тридцать лет спустя, изредка беру в руки эту газету, я вижу, как из-за каждой строки выглядывают физиономии «рыцарей» аджубеевской фаланги, по всем статьям и даже маленьким заметкам разлита их вселенская страсть к разрушению основ морали, к хаосу и беспорядкам, к растлению всего святого, чем живет человечество, что составляет святыне понятия: память, честь, верность, семья, государство.

Но, может быть, я увлекся и впал в критиканство?

Читаю в «Литературной России» «Предвыборную платформу блока общественно-патриотических движений России»: «Средства массовой информации сейчас активно воздействуют на сознание современников, прежде всего, молодежи. Идет популяризация "маскульта", безудержная пропаганда аморализма и индивидуализма,

порнографии и насилия».

Почему нас одолевают евреи?

Русский философ и писатель Василий Розанов объясняет это принципиальной разницей наших основных взглядов на мир, наших психологии. Он пишет:

«...У христиан все "неприличное",-и по мере того, как "неприличие" увеличивается - уходит в "грех", в "дурное", в "скверну", "гадкое": так что уже само собою и без комментариев, указаний и доказательств, без теории, сфера половой жизни и половых органов,- это отдел мировой застенчивости, мировой скрываемости...»

У евреев мысль приучена к тому, что «неприличное» (для речи, глаза и мысли) вовсе не оценивает внутренних качеств вещи, ничего не говорит о содержании ее, так как есть одно, вечно «под руками», всем известное, ритуальное, еженедельное, что, будучи «верхом неприличия» в названии, никогда вслух не произносится - в то же время «свято».

Это не объясняется, на это не указывается; это просто есть, и об этом все знают.

Через это евреям ничего еще не сказано, но дана нить, держась за которую и идя по которой всякий сам может прийти к мысли, заключению, что «вот это» (органы и функции), хотя и никому не показывается и произнесение вслух этих имен - неприличие, тем не менее это свято.

Отсюда уже прямой вывод о «тайном святом», что есть в мире; «о святом, что надо скрывать» и «чего никогда не надо называть...»

Отсюда главное у израильтян - «Бог есть Миква».

Что такое Миква?

Василий Розанов вспоминает свой разговор с «покрасневшей и насупившейся барышней, очень развитой московской курсисткой лет 26 - по ее ответам видно, что она еврейка.

- У нас же никогда этого названия вслух не произносят... название это считается неприличным; но называемая неприличным именем вещь - самая святая».

Василий Розанов пишет о Микве, конечно же, по иудейским религиозным источникам, которые в советское время были глубоко упрятаны и были доступны, может быть, одним раввинам. Он в подробностях описывает и сам этот ритуал евреев - Микву, но я бы не хотел перегрузить свои записки этим жутковатым для русского сознания натурализмом, сделаю лишь из этого описания свои выводы.

Философ, размышляя о судьбе России, полагал, что еврейство сыграет с ней злую шутку, что оно в конце концов погубит Русское государство. В одном месте своих философских записок он говорит, что мы Россию должны любить и тогда, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. «Именно, именно, когда наша "мать" пьяна, лжет и вся запуталась в грехе,- мы не должны отходить от нее... Но и это еще не последнее: когда она, наконец, умрет, и обглоданная евреями будет являть одни кости - тот будет "русский", кто будет плакать около этого остова, никому не нужного, и всеми плюнутого».

Розанов был противником революции, не принимал насилия, разрушений. Будучи журналистом, печатаясь в газетах и журналах, он хорошо знал природу «бродильных дрожжей» в обществе, знал национальный срез «революционеров-профессионалов», тех, кто призывал разрушить старый мир «до основания» и обещал для угнетенных светлый рай коммунизма. Может быть, отсюда идет его максимализм в оценке евреев.

Пытался Розанов дать и научное обоснование силе еврейства, их способности подчинять себе энергию гоев.

Он пишет:

«В поле - сила, пол есть сила. И евреи - соединены с этой силою, а христиане с нею разделены. Вот отчего евреи одолевают христиан.

Тут борьба в зерне, а не на поверхности,- и в такой глубине, что голова кружится.

Дальнейший отказ христианства от пола будет иметь последствием увеличение триумфов еврейства. Вот отчего так "вовремя" я начал проповедовать пол. Христианство

должно хотя бы отчасти стать фаллическим (дети, развод, т. е. упорядочение семьи и утолщение ее пласта, увеличение множества семей).

Увы: ...образованным христианам "до всего этого дела нет"».

Не люблю цитат, не хочу эксплуатировать заемные мысли: просто в данном случае хочу провести параллель между философическими идеями, высказанными в начале века, и той практикой жизни, которую я наблюдал полвека и даже более спустя. Могу свидетельствовать: прогнозы русского философа, одно имя которого наводило страх на отцов советской, коммунистической идеологии, оказались пророческими и удивительно точно вплелись в ткань нашего времени.

«...Увеличение триумфов еврейства» пророчил нам русский мудрец. А я своими глазами видел, как складывались эти «триумфы».

В одном месте маршал Жуков наносил сокрушительный - но не смертельный! - удар по еврейству: рушил обосновавшийся с 1917 года каганат в Кремле во главе с Кагановичем, а в другом, заполняя в семью коммунистического лидера, молодой и ловкий иудей, скрывшийся за мудрено-восточную фамилию Аджубей, начинал исподволь прибирать к рукам печать, которую Наполеон гениально назвал «шестой монархией».

И кто больше сделал для своего народа: великий полководец Георгий Жуков для русских или неудавшийся трубач военного оркестра Алексей Аджубей для евреев - об этом еще скажут историки. Кремль на глазах нашего поколения не был очищен от злой воли, а «шестая держава» пала под натиском еврейства.

Иные могут сказать: «Ну, это уж слишком! Печать - это не только "Известия", "Огонек", "Аргументы и факты"». Это верно, но только для тех, кто не знает подоплеку дела. «Известия» моего времени имели тираж 10-12 миллионов экземпляров; почти в два раза меньший был тираж «Правды». Журнал «Молодая гвардия», чудом находящийся у русских, печатался тиражом 500-600 тысяч, а «Юность», цепко удерживаемая еврейством со дня основания, - 3-4 миллиона, «Огонек» во главе с «демократом» Коротичем - и того больше.

А что «шестая монархия» уплыла в чужие руки, говорю не только я, а и многие профессиональные журналисты, литераторы. Михаил Горбачев, незадолго до своего позорного ухода с поста Президента СССР, собрал в Кремле деятелей культуры, попросил их откровенно высказать свои взгляды на перестройку. И вот что сказал Юрий Бондарев, несколько десятилетий возглавлявший Союз писателей России.

«Наша гласность разрушила прошлое, разрушила фундамент. Дом в воздухе не построишь. Меня долго упрекали за то, что я против разрушения фундамента. Но фундамент - это наша история, это наши истоки, это наша духовность, это наша культура, это наша экономика. Если хотите, только потому, что до сих пор существуют еще такие образования, как совхозы и колхозы, может быть, мы с вами еще не умираем от голода.

Наша печать - это сплошная ненависть к своей земле, к своим людям и к своей стране, на ненависти добро не создашь, не построишь добро».

Но, может быть, и Бондарев «увлекся», заехал не туда? Послушаем, что сказал о печати Валентин Распутин: «Хватит разрушать, хватит заниматься "чернухой"! Наступил момент, когда переелись такой правдой. Да что там говорить о правде, когда столько неправды, выдумок, столько грязи, лжи, ненависти вообще к этой стране выливается на страницах наших газет! Не то, что читать, иной раз подальше сбежать просто хочется, и все».

Привожу здесь чужие слова с единственной целью - чтобы не обвинили меня в пристрастии, а чего доброго, и в «шовинизме».

Всю жизнь в журналистике и в литературе я шел под чужими знаменами, меня вели командиры чужой армии. Я играл роль простака, легковверного, глупого Иванушки, который может поймать Сивку-бурку, но зачем он это делает - и знать не желает. Тем и хорош он и, может быть, полезен. Однако глупый, глупый, но знал, где и какая стережет его опасность, что будет, если он влево ступит или вправо свернет. При Сталине живота лишится, при Хрущеве с должности сгонят, при миротворце Брежневе голодом выморят.

Но это все между прочим. Строгая же дама Логика зовет нас вернуться к теме: в чем

сила еврейства? Как могло случиться, что великий русский полководец, не знавший, как Суворов, поражений, приведший нас к Победе над Германией, нанес удар по кремлевскому каганату, но развить своего успеха не сумел. Не смог одолеть еврейства, а лишь изрядно попугал их. А вот посредственный журналист, не умевший толком написать заметку в газету, приступом взял «шестую державу», которой сам Наполеон страшился. И сделал это без единого солдата и без единого выстрела! И меня, коренного русского, фронтовика, прошедшего почти всю войну и не знавшего страха и сомнений, превратил в Последнего Ивана и лишил гражданства в «Известиях». И сделал это легко, с улыбочкой и так, будто посылал меня из газеты на повышение.

Отчего же все-таки «евреи одолевают христиан»?

Я часто наблюдал эти нескончаемые, беспрерывные победы иудеев над нами, православными. Иногда до слез было обидно видеть, как полуграмотные неумехи, липовые кандидаты наук, не ладившие с буквой «р», с каким-то шиком и изяществом выкидывали за борт мастеров высшего класса, талантливых и во всем достойнейших христиан.

Наш брат открыт, он идет по жизни смело и широко, напевая песни, и думает, что земля, по которой он шагает, - его, и весь мир принадлежит ему, - и ничто ни ему, ни детям его не угрожает. Не подозревает, что идет война и что он - цель, которую постоянно держат в прорезе прицела. Вон куст, а за ним стрелок, да еще с кривым ружьем. Хлоп! - и нет тебя. И нет детей твоих и внуков, которые могли бы родиться и - не родились.

Так случается на войне. Идут солдаты по зеленому полю, по траве шелковистой. Вдруг - взрыв. И все они летят вверх ногами. Поле-то оказалось заминированным!

В бесшумной схватке со злыми силами наш брат ни защищаться, ни тем более нападать не умеет, да и по природе своей не хочет. По-христиански жалеет людей, стремится для каждого сделать лучше, а не хуже, идет к человеку не с камнем, а с хлебом, в том числе и к еврею.

Розанов, объясняя будущие триумфы евреев, указывает на силу крови иудея, на то, что кровь их более старая, она укреплялась и полировалась в течение веков, набирала стойкость и силу, - он имеет в виду сторону биологическую.

Но оставим процессы биологические; они обыкновенно бывают заметны через специальные приборы людям, умудренным в естественных науках. Мы же здесь коснемся стороны психологической. Тут кроется наше с ними коренное различие: русский смотрит далеко, старается обнять взором весь мир, еврей же только называет себя гражданином мира, на самом же деле смотрит себе под нос и видит только себя и своих близких. В этом плане у него есть сходство с другими малыми народами. Чем меньше народ, тем он больше думает о судьбе своего племени - как бы не пропасть совсем! Оттого-то национализм еврея принимает такие навязчивые болезненные формы. И эта доминанта его психологии доходит до того, что каждого нееврея он воспринимает как врага. Из этого явления вытекает закон взаимодействия этносов в обществе. Я бы этот закон назвал великим! А именно: чем меньше народ, тем реакционнее его национализм. И наоборот, чем больше народ, тем благотворнее его национализм. Недаром мы теперь все чаще слышим: что полезно в России русским, то полезно всем народам, живущим с ним рядом.

В сущности, тот же закон, но выражен другими словами.

Еще с древних времен евреи поняли, что заботиться только о себе, о своих - нехорошо, нечестно, неблагородно. Отсюда развилась вторая черта их психологии - скрытность, стремление прятать свою душу и помыслы. Тайна во всем, тайна для того, чтобы не раскрыть свои истинные побуждения и не научить гоев пользоваться их же оружием. Мы во время войны пуще глаза берегли секрет «катюш» - наших реактивных минометов. Вот так же берегут евреи свои обычаи, ритуалы, свои взгляды на мир. Отсюда пошла развиваться третья главнейшая черта евреев - их лживость. А уж от лживости поползли все другие отвратительные черты их характера: коварство, злобность, жестокость.

Отсюда такое разительное несоответствие между тем, что они проповедуют, и тем, что на самом деле несут народам.

Во время революции, руководствуясь рецептами Маркса о верховенстве всего материального, ретивые глашатаи «новой веры» крушили храмы, топили в ледяных прорубях священников. Народ, занятый тяжким трудом у станка и на поле, мало чего знал: он походил на стадо, из которого волки таскали то одного, то двух, а то и трех барашков сразу. Кто-то вскрикнул, ойкнул - стадо вздрогнет, и снова тишина. На Урале, в подвале небольшого дома, убили царскую семью. Потом куда-то погнали «кулаков». Затем уничтожили почти весь культурный слой русского народа. А уж потом и в самом народе стали выискивать врагов,- и находили миллионы, гнали в Сибирь, тайгу, морили голодом, стреляли. Огнем и мечом насаждалась «новая вера».

В коридорах редакции или в буфете я иногда встречал рослого, атлетически сложенного парня, будто бы залетевшего к нам случайно. Ни с кем особенно он не общался, немногих приветствовал слабым кивком головы. Как-то он посмотрел на меня пристально, кивнул и дружески улыбнулся.

Кто-то о нем сказал: «Искусствовед в штатском».

Я, впрочем, пропустил мимо ушей это замечание, и таинственным незнакомцем не интересовался. Но однажды он встретил меня у выхода из лифта.

- Вы домой? - спросил он.

- Да.

- Можно я пройду с вами?

- Пожалуйста.

Шли по улице Горького к центру.

- Я бы хотел,- начал незнакомец,- поговорить с вами приватно. И чтобы никто об этом не знал.

- Да, да - конечно.

Я уже догадывался, с кем имею дело, и решил ни о чем его не спрашивать. Приготовился слушать.

- Вы спецкор, это элитная должность.

- В газете, как в бане, все равны - корреспонденты.

- Оно, конечно... - засмеялся мой собеседник,- но и не совсем так. Должность спецкора многим нужна.

- Похоже... Охотники найдутся.

Спутник снова засмеялся, на этот раз откровеннее и смелее.

- Зайдемте в бар - по мороженому,- предложил он.

- С удовольствием.

Уединились в уголке. Спутник продолжал:

- Вы слышали, что произошло с писателем С.?

- Слышал. А что?

- Боюсь, как бы и с вами не случилось подобное.

После минутного раздумья я сказал:

- Все может быть.

Вспомнил рассказы об С. Он будто бы ехал на дачу, а его у шлагбаума избили, а потом написали в газету, что он в пьяном виде набросился на прохожих и стал их избивать.

С. исключили из Союза писателей.

- Тогда уж для вас все редакции будут закрыты,- проговорил мой собеседник таким тоном, будто дело это уже решенное. Я же размышлял: неужели наш противник так детально и расчетливо планирует свои операции? И неужели я и мой пост не дают им покоя?

- Спасибо,- проговорил я.

Собеседник протянул мне руку и произнес горячо:

- Не выдавайте нашего разговора. Я не имел права...

- Не беспокойтесь. Сердечное вам спасибо!

Расставался с ним, как со старым другом. Знал он, как и я, что идет война и, рискуя собственной судьбой, заслонял меня от удара.

А скоро Аджубей, позвав меня в кабинет и крепко стиснув руку, сказал:

- Донбасс открылся, собкор уходит на пенсию,- поезжай туда.

Сборы были недолги и через три дня я был уже в Донецке.

Дивный край! Удивительные люди! Чудное было время...

Но не задержу читателя на этом отрезке своей жизни. Здесь я проработал три года. И снова вернулся в редакцию. На этот раз мне дали самую высокую корреспондентскую должность - экономического обозревателя. Наградили орденом «Знак почета».

Но все это уже после того, как Аджубея объявили политическим авантюристом и сняли с должности.

Проходит еще шесть лет. И снова я покидаю редакцию. Теперь уже - навсегда.

У меня была дача. Радонежский лес. И - воля.

Часть Вторая

Глава первая

В сорок шесть лет я выпал из седла: ушел из журналистики. Ни постоянного места работы, ни зарплаты. Сидел на даче, разводил пчел.

Сколько журналистов мечтает до срока уйти из газеты, журнала, стать вольной птицей и - писать! Писать не то, что от тебя требуют, не так, как хочет редактор, цензор,- писать по велению сердца. Творить!

Но еще в редакции, когда ты мечтал о свободной жизни, являлись и сомнения: есть ли у тебя способности?.. Сумеешь ли подчинить себя строгому распорядку, хватит ли характера без принуждения часами сидеть за столом, писать и писать без твердой надежды на то, что опубликуют, признают. А вдруг все усилия пойдут в корзину? А тебе надо есть, покупать одежду-у тебя семья!..

Думал обо всем об этом и я,- и, признаться, страшился воли, не был уверен в своих силах. Несколько книг было напечатано, кое-что публиковал в журналах, сборниках. Деньги, полученные за книги, не тратил, обходились с женой зарплатой. Она работала в университете. Вместе с нами жили дочь, студентка пединститута, и престарелая мать жены. На гонорар за роман «Покоренный атаман» купил дачу вблизи Троице-Сергиевой лавры и Абрамцево, где к тому времени обосновались двадцать писателей, и все русские.

О даче я никогда не думал, но однажды мне в «Известия» позвонил Иван Шевцов, сказал:

- Прочел вашу повесть «Радуга просится в дом». Поздравляю! Это же вторая «Тля»!

Сравнивая мою повесть со своим знаменитым романом, он давал мне высшую оценку. Пригласил в ресторан - «Метрополь».

Звонок и приглашение обрадовали. Шевцов был у всех на устах: русские называли это имя с восхищением, евреи - с нескрываемым негодованием: «антисемит!» Но я в его романе «Тля» ничего крамольного не заметил. Он показал мир столичных художников, шарлатанов-модернистов. Еврейские акценты угадывались, ну и что?..

Шел по улице Горького и вспоминал, как в Донецке, где я был собкором «Известий», мне позвонил местный писатель.

- В нашей библиотеке не дают роман «Тля» - безобразие! Его же никто не запрещал.

Зашел в областную библиотеку, спросил книги Ивана Шевцова. Роман «Тля» не дали.

- Почему?

Библиотекарша пожала плечами:

- Вроде бы запрещен.

Прошел к директору. Сидит старый еврей. Я спросил, почему не дают роман «Тля».

- Не дают... Кто не дает? Я скажу, и вам дадут. Пожалуйста.

Я продолжал, и уже строже:

- Но почему отказывают читателям? Мне звонил писатель...

- Вам звонил? Но я вас не знаю. Пожалуйста, ваши документы - и я вам все объясню.

Разговор был долгий, неприятный. Из него я понял: евреи эту книгу не любят, в библиотеках прячут и распространяют слух, что ее запретили. «Значит, крепко он им подсыпал», - думал я об авторе. Взял книгу. Читал днем и читал ночью... Роман мне понравился, Шевцов казался мужественным, благородным писателем. И вот он позвонил. И такая оценка моей повести!

В пору учебы в Литературном институте я видел многих писателей, но все они проходили перед нами, как на экране кино. Знакомства были бесплотными, и каких-то личных отношений не возникало, разве что в редких случаях.

В ресторане за сдвоенными столами сидело человек семь и во главе - Шевцов. Невысокого роста, лет сорока пяти, живой, улыбчивый. Показал на стул:

- Вот еще один Иван. Прочтите его повесть - он там вывел Гангнуса, то бишь Евтушенко, и еще кое-что. Уверяю, не пожалеете.

Тут были известные в литературном мире ученые: профессор Московского университета, заведующий кафедрой русской литературы Владимир Александрович Архипов, ректор столичного областного Пединститута имени Крупской, признанный леоновед Федор Харитонович Власов, автор нашумевшей книги «Неистовые ревнители» Степан Михайлович Шешуков и профессор из Ленинграда, фронтовик Петр Сазонтович Выходцев.

Впервые я попал в компанию маститых литераторов.

С Шевцовым у нас завязалась большая дружба, длившаяся два десятилетия. Он пригласил меня на дачу, уговорил купить и себе домик у них в поселке.

С Украины доносился гул газетных баталий - меня, мои книги там рвали в клочья. Критики-евреи состязались в ругани: и язык-то в книгах не русский, и персонажи надуманы и таких в жизни нет.

Им особенно не нравились образы ученых, режиссеров, литераторов. Автор вторгался в их пределы - в еврейские заповедные зоны. Появился опасный литератор: ату его!..

Братья-писатели из Донецка присылали мне некоторые газеты, я читал статьи о моих книгах и с грустью думал: скоро за меня возьмется и столичные критики. Перекроют все шланги.

Невеселые это были мысли. Лучше бы не читать статей о своих книгах. Для литературного творчества нужны хорошее настроение, уравновешенная спокойная психика.

С первых же дней завел правило: ложиться рано, в десять часов, вставать в четыре часа утра. На украинский лад мог сказать: «Уси сплять, а я працюю».

Писал я в те первые дни свободной жизни роман о горняках «Подземный меридиан». Но уже с первых страниц видел, что пишу-то я о горняках, а с большой охотой выписываю образы местных и столичных ученых, мир театра, редакций, министерств...

Утром, позавтракав и поработав, брал палку, шел в лес, а лесом - на дачу к Шевцову. Там рядом жили Игорь Кобзев, Виктор Чалмаев, Владимир Фирсов, Николай Владимирович Талызин, заместитель министра связи, большой друг семхозовских писателей.

Но шел я к Шевцову.

Двухэтажная его дача с балконом и широкой верандой стояла у самого леса. Углубись в него на три-четыре сотни шагов, и тут тебе монастырский пруд, и святейшее на Руси место - чуть заметный холмик, на котором вроде бы стоял скит Отца Отечества - Сергия Радонежского.

- А-а, тезка! Привет!

Так обыкновенно встречал меня Иван Шевцов. Он был всегда при деле: хлопотал во времянке - она располагалась в глубине сада, на веранде или сидел в доме у окна и писал. Строгого распорядка, как я заметил, у него не было, но писал он много,- редкий день выдавался пустым. Писал в больших общих тетрадях почерком ровным, ясным и красивым. Рука его безостановочно бежала по строчкам. По опыту журналистскому я знал: так писать

могут лишь редкие и весьма одаренные люди. А писал-то Шевцов не газетные статьи - прозу, и писал «набело», хоть бери его «горячие» страницы и закладывай в наборную машину. И стиль, и орфография, и синтаксис - все на месте! И логика мысли, и каждый эпизод, а затем и все целое выткано по строгому рисунку.

Шевцов раз написанный текст почти не правил. Отсюда, между прочим, идут многие слабые страницы в его книгах - благодатный материал для его зубастых критиков. Сколько я ни читал о нем статей, всюду авторы «топчут» слабые страницы, будто бы и нет у писателя сильных сторон, и уж, конечно, не замечают и превратно истолковывают саму суть в его книгах: критику разрушительных сил и защиту национального духа.

Я был уверен тогда, уверен и сейчас: придет время, и о Шевцове скажут, что он первым в отечественной литературе указал на опасность сионистского засилья.

Дача была для него убежищем. Отсюда он делал короткие набегі в Москву, посещал редакции, издательства; почти непрерывно звонил друзьям, а их у него было множество. Изрядно уставал от столичной суеты, и снова с радостью летел на дачу.

Машины не имел, сумку с колесиками не любил. Набивал продуктами рюкзак, прилаживал за спиной и бежал на Ярославский вокзал.

Летом чаще всего я заставлял его за уборкой веранды. Здесь у него была летняя гостиная, приемный зал. Он любовно прибирал его и украшал добытыми в лесу на засохших деревьях фигурками птиц, зверей, забавных человечков. Тут он был неистощим на выдумку, и палки с отшлифованными ручками-фигурками были у многих его друзей. Я же за два десятка лет нашей дружбы собрал целую коллекцию таких палок.

Иван Михайлович, написавший роман о художниках, друживший с Герасимовым, Судаковым, со скульптором Томским, и сам имел великолепный художественный вкус, высоко ценимый его друзьями.

Приходил я к нему в первом, во втором часу дня, закончив свои утренние занятия. Он в эти часы также не работал и если приходил ко мне, то также в поддень. Иногда мы встречались на дороге, и, сговорившись, шли ко мне или к нему обедать.

- Чисть картошку, а я буду жарить лук, мясо.

Шевцов к обеду доставал водку или коньяк, вино...

Я пил немного: если водки - одну рюмку, вина - две-три. Иван Михайлович поначалу тоже пил мало.

Модус винопития обязывал и меня держать дома вино, особенно нравилась всем настойка из черной смородины. Бывало, выпью самую малость, а голова уж не та. Надо бы еще два-три часа работать, а мне неохота. Завалюсь на диван и усну.

Образ жизни такой начинал тревожить. В то время я не знал еще алкогольной проблемы, не видел в «умеренном» винопитии большой беды. Потом я займусь этой проблемой серьезно и напишу об этом не одну книгу, но тогда...

За очередной трапезой говорю Шевцову:

- Вот так... каждый день. Не привык я.

- Работал собкором и - не пил?

- Пил, конечно, но лишь тогда, когда нельзя было отвертеться, а чтобы каждый день и по своей воле...

- Ну, ты тогда не мужчина! Какой же это обед, если с товарищем да без рюмки хорошего вина!..

«Хорошего вина...», - думал я, шагая домой по лесу и слушая назойливый, неприятный шум в голове, будто там улей и волнуются пчелы. - Хорошее вино или плохое, а действует одинаково - замутняет сознание, отнимает охоту писать». А если я все-таки и садился за письменный стол, то работа подвигалась медленно и мысли являлись вялые, слабые. Очень скоро понял: алкоголь и творчество несовместимы. «Под градусом» можно починить забор, отстрогать доску, но создавать художественные образы, творить словом можно лишь на трезвую голову. Кто пренебрегает этим, тот рождает слабые, увечные произведения.

Делал перерывы, - иногда не ходил к Шевцову. Вечером он приходил ко мне, и -

навеселе. Невольно возникал вопрос: «Пьет каждый день или почти каждый, а как же пишет?»

К тому времени Шевцов был не только одним из самых знаменитых писателей, но он уже сложился как литератор: имел свой художественный метод, свою тему, свой мир образов и персонажей. В библиотеках не залеживалась его книга о Сергееве-Ценском - «Орел смотрит на солнце», кстати, вскрывшая многие тлетворные тенденции в литературном процессе, впервые давшая верный анализ нашей критике и литературоведению, указавшая на тот поразительный неизвестный народу факт, что наша критика не национальна, она почти полностью захвачена представителями одной малой народности, которая и по строю психического склада, и по образу мышления глубоко чужда русскому характеру.

Кстати, уже с этой книгой Шевцов прямо и отважно вышел навстречу «неистовым» ревнителям нашей литературы. А уж когда появился его роман «Тля», критики вдруг спохватились: «Ах, как же мы не растерзали его после первых публикаций о Сергееве-Ценском?..» Один маститый русский писатель, патриот нашей литературы, тогда сказал о Шевцове: «Он один выскочил из окопа и, размахивая сабелькой, ринулся на целую армию противника».

Ко времени нашей встречи Иван Михайлович опубликовал, кроме названных книг, романы «Любовь и ненависть», «Свет не без добрых людей», «Среди долины ровныя...» и другие произведения. «Он состоялся, ему можно...»-думал я, тревожась по поводу наших постоянных возлияний. И все больше во мне крепла мысль: с этим надо кончать.

Много и упорно работал. И скоро закончил роман «Подземный меридиан». Отнес в издательство «Московский рабочий». Скоро мне сообщили: «Роман принят. Готовим к изданию».

Редактором моей рукописи был назначен Борис Орлов - поэт, прозаик и очень умный редактор, тонкий ценитель слова. Но главным достоинством Орлова было то, что он - патриот, хорошо понимает суть литературных баталий, процессов, происходящих в духовной жизни русского народа. Я был очень доволен, что роман попал именно к этому человеку.

Мне выплатили аванс. Будущее не казалось столь зыбким.

Первые месяцы жизни на свободе - в мире литературном - приводили меня к переоценке многих прежних представлений. Я как бы попадал из страны лилипутов в страну гуливеров. Там, в мире журналистики, мы писали статьи, очерки, принимали за корифеев мотыльков, которые, как и мы, ловили на лету факты повседневной жизни и полагали, что делают важное дело; собирались по два раза в день на совещания, играли в каких-то значительных государственных людей. А между тем статьи наши, и даже лучшие очерки и фельетоны, жили не дольше, чем бабочки-однодневки. И сама вышедшая газета на следующий день забывалась напрочь. Проваливалась в вечность времени. Может быть, потому я не собирал газет со своими статьями и рассказами. У меня нет даже вырезок.

Здесь же, в среде литераторов, я вижу титанов. Как и все большие люди, они несуетны, неторопливы, говорят на темы отвлеченные, много шутят, остроумно балагурят. А затем, уединясь, пишут. И по издательствам ходят доверенные лица. Например, жены. Кобзев не знает дороги ни в одно издательство; книги его туда относит жена Светлана Сергеевна. Алексей Марков бывает и в журналах, и в издательствах, но дела его тоже устраивает супруга Августа.

Проходя мимо дачи Игоря Кобзева, вспоминаю его стихи, слышанные мною еще в Литературном институте:

Вышли мы все из народа,
Как нам вернуться в него.

Или такие:

Ты не сделай, милая, промашку,

Дорогих подарков не дари,
Подари мне русскую рубашку
Цвета алой утренней зари.
Гуляет по литературному миру его эпиграмма на Евтушенко:
Залив вином глаза косые,
Он рек, тщеславием томим:
Моя фамилия - "Россия",
А Евтушенко - псевдоним.
Тут явно виден лишний градус -
Давай всерьез поговорим.
Твоя фамилия, брат,- Гангнус,
А Евтушенко - псевдоним.

С Евтушенко мы учились в одном потоке. Кобзев этими остроумными строками сорвал с него маску, сбросил с небес. После кобзевской эпиграммы при его появлении в Доме литераторов, в редакциях люди улыбались.

Нет большего унижения, если твое появление вызывает на лицах снисходительную улыбку.

Прохожу мимо дачи Фирсова. И с ним мы учились в одном потоке. Он моложе меня, а написал много. И стихи у него замечательные. Шолохов охотно принимает его дома, считает одним из лучших современных поэтов.

А там дальше, около «Загорского моря», живет Сергей Александрович Поделков. О нем пишут и говорят мало, он из старшего поколения русских поэтов, среди которых Николай Асеев, Павел Васильев, Василий Казин... Некоторые ученые-литературоведы числят Поделкова в классиках.

Это Семхоз, вторая после Переделкино мекка писателей. Но если в Переделкино живут разные писатели, преимущественно евреи, в Семхозе - все русские. Переделкинцы о семхозовцах говорят: «На том берегу».

Неспешный, философичный, ироничный дух, царящий в Семхозе, успокаивает, настривает на новый, размеренный и возвышенный лад.

Постепенно проникаюсь духом не «горячих» сиюминутных мыслей, а проблем более общих, основательных, преображаюсь из журналиста, где мне все время не хватало «высоты государственного мышления», в литератора, призванного распознавать, изучать и затем обобщать проблемы и темы вечные: любовь, дружба, семья, честь, долг...

Все это ново для меня, значительно и - волнует. Сумею ли? Поднимусь ли? Напишу ли книги, нужные людям?..

«На том берегу» - а для меня на нашем - жили своей жизнью, совершенно не похожей на переделкинскую.

В Переделкино дачи большие, с обширными усадьбами и высокими заборами, преимущественно государственные. Выдавались они по какому-то особому, высокому повелению секретарям Союза писателей, редакторам журналов, корифеям. Литинститут имел там свои дачи. В одной из них у меня, студента, была койка. Мы стаями ходили по поселку и видели, как хозяева дач, их домработницы и садовники при нашем приближении захлопывали калитки, щелкали замками.

Там же, в поселке, стоял небольшой Дом творчества писателей. Его обитатели - преимущественно тучные, неопрятные старики и старушки - родственники околелитературных жучков и прилипал, конечно же, и сами жучки, наглые розовощекие господа и дамы - весь этот люд с какой-то огневой ненавистью оглядывал нас, голодных, плохо одетых студентов, и суетно прибавлял шаг, стараясь удалиться от греха подальше.

Был среди нас Суковский, студент с Украины. Он жил в Одессе, по каким-то особенным признакам отличал еврея, полуеврея, умел великолепно копировать их речь, включая интонацию.

У какого-то студента-казака, кажется у Цыбина, он нашел под матрацем привезенную с Дона старую заржавевшую саблю. И когда обитатели Дома творчества после сытного ужина, где, как нам рассказывали, подавали черную икру, балык и жидкий шоколад, выбирались на балкон, Суковский брал саблю, вскидывал ее по-боевому на плечо и подходил к большому камню, лежавшему напротив балкона. Начинал точить: вжик, вжик... Точил долго, сосредоточенно.

На балконе начинали нервничать. Кто-то кричал:

- Что ты там делаешь?

Суковский поднимал над головой саблю:

- А вот... хочу наточить! - кричал громко.

Волнения на балконе усиливались. Спускались мужчины.

- Что это у тебя?

- Это?..- Суковский вертел у них под носом саблей.- А так, планка.

- Какая же это планка, если это сабля - холодное оружие. Прекрати точить!

- Почему?

- Ты мешаешь нам отдыхать.

- Я мешаю? Да чем же?.. Вы шутите.

К Суковскому подходили студенты - человек тридцать-сорок, а «писатели» удалялись. Для отдыхающих это была трепка нервов, а для нас веселый спектакль.

Суковский проделывал и другие штуки - и все на грани дозволенного. Когда, например, он видел двух-трех писателей-евреев, прогуливающих собак, он сгибался в низком поклоне, сладеньким голосом пел:

- Здравствуйте, господа русские писатели!..

Так будто бы приветствовал своих коллег Михаил Булгаков, работавший дворником в Литинституте.

Вечером за высокими заборами, на ярко освещенных верандах, в залах, на балконах собирались большими группами хозяева и их гости. Там кипела жизнь, сокрытая от народа, здесь много произносилось слов, вершились планы, рисовались картины будущей жизни - той самой, которая настала теперь.

В России с начала нынешнего века стало распространяться много тайных кружков, собраний. Сторонники крутых мер, внезапных сокрушительных потрясений - все больше люди пришлые, из чужих краев заезжие, загадывали и решали, как жить русскому народу, как ему пахать, сеять и растить детей.

Вот такой он, русский народ! Вроде бы и умный, и землю свою любит, и постоять за нее умеет, а осмотреться как следует по сторонам, вовремя врага разглядеть не может. И сколько же крови и слез пролилось на отчей земле из-за этой беспечности!..

В Переделкино свои нравы, «на том берегу», то бишь на нашем - свои. Думы под сердцем здесь носят великие, о народе думы, о будущем славян и Российского государства.

И нравы, и детали жизни - все у нас другое. Здесь в сравнении с Переделкино живут просто и бедно. Двери в домах открыты, садовников у нас нет и пугаться нам некого. Свои дома - не казенные, своя земля - отчая, родимая.

Видимо, остался еще в нас дух великого печальника земли русской Сергия Радонежского, открытого для каждого из нас и для целого света, целителя и наставника, строителя духовной культуры.

Недаром же в дни праздников престольных здесь явственно слышатся звоны соборных колоколов Сергиево-Троицкой лавры. В пяти километрах она от нас - лавра Сергеева. Как же тут не услышать звоны?..

Весна выдалась теплая, тихая. Я, как и прежде, вставал в четыре часа, включал большой, в полстены, уральский электрический камин и подходил к растворенному настежь окну. Отсюда, со второго этажа, мне открывался Радонежский лес - он тянулся в стороны северо-запада и северо-востока, в земли костромские, вологодские, к берегам студеного моря Белого. Нежной сине-серебряной кисеей висели над кроной деревьев еще хранившие ночную

сырость туманы, розоватая голубизна затекала с востока на небо. И чудилось, что вот-вот над лесом поднимется богатырская фигура отца Сергия Радонежского и рука его благословит любезных соотечественников на очередной трудовой день.

Куда-то в вечность, небытие отлетели вседневные заботы города, в душу вливались покой и умиротворение - то счастливое состояние, при котором только и возможно творчество. Садился за стол и до восьми часов писал. Потом спускался на кухню, готовил завтрак.

Жена моя жила в Москве, приезжала на дачу в среду и в пятницу. В летние месяцы на отдых приезжали дочь, внук Денис и зять Дмитрий. И хотя тут начиналась веселая праздничная колгота, но я свой трудовой ритм не нарушал. И даже в выходные, кроме утренних часов, выкраивал для работы и часы дневные. В среднем же я сидел за письменным столом десять-двенадцать часов, восемь из них писал, два или четыре тратил на чтение, подготовку материала. Если для иной статьи я исписывал два-три блокнота, то для романа набрасывал разные варианты сцен, эпизодов, разговоров.

Много приходилось читать.

Вначале пробовал читать ведущих современных писателей, пытался уловить пульс современной литературы, особенно меня занимала поэзия. Я покупал книги, выстраивал на полках по степени таланта и важности поднимаемых тем и проблем.

Очень скоро отсеялись те книги, которые мне активно не нравились ни по языку, ни по содержанию. В разряд пустых и неинтересных попали Чаковский и Гранин, Светлов и Слуцкий, о которых, не жалея высоких слов и красок, кричала печать. Впрочем, я понимал, что мыльные эти пузыри надувают критики с чувством национального сепаратизма, признающие только «своих да наших». Я, конечно, и раньше знал природу этого явления, но книги Шевцова и вся литература семхозовского братства уже в то время указывала на остроту проблемы, открывала глаза на тайны еврейского литературного мессианства.

В «Подземном меридиане» я пытался вскрыть те же процессы, - только персонажи моего романа действуют в науке, в театре, министерствах.

Роман сдали в типографию. А я все сомневался. Ночью часами лежал с открытыми глазами, думал: «За то ли я дело взялся? Поучать людей, вещать истины! - сколько знаний для этого нужно!»

Усиленно читал древних авторов, философов средневековья, переводную прозу, поэзию... Читал и перечитывал русскую классику.

В это время я, кажется, открыл для себя и как-то особенно полюбил Салтыкова-Щедрина. Ни в одной литературе - ни в английской, ни в немецкой, ни во французской не видел такого мудреца и тонкого художника. Салтыков-Щедрин, Лесков и Бунин были моей слабостью, я упивался ими, однако они меня, как ни странно, не воодушевляли, а словно бы ударяли по рукам. Являлись укоряющие мысли: «Вон как надо ворочать словом!»

Много раз всерьез подумывал бросить перо и в журналистику не возвращаться - чувствовал пресыщение газетно-журнальной работой. Будто бы ел-ел, а потом кусок застрял в горле, и меня тошнит.

Завел пчел - на случай, если брошу всякие писания.

Особенно много читал мемуарной литературы, эпистолярной. Дневники и письма Толстого, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского, Мусоргского, Репина, Чайковского, Мечникова... И Боже мой! Какая это радость, заглянуть в самую глубь души гения!

Находил у них общие черты: талант, данный провидением, правдолюбие, безоглядную смелость, и непременно у каждого почти сверхъестественное трудолюбие.

И вот еще что важно: не было среди них ни сребролюбцев, ни эгоистов. Думы о других, о вечном - стремление одарить всех людей мира - вот крылья великих талантов!..

Продолжал писать. И уж очередной роман «Горячая верста» подходил к концу.

Утром, позавтракав, шел гулять. Углублялся в лес километров на пять-шесть, а затем,

находившись, возвращался домой и снова садился писать.

Роман о металлургах «Горячая верста» написал за год. Отвез его в «Профиздат». Принял меня главный редактор издательства Андрей Дмитриевич Блинов. Знал меня как журналиста, книг моих не читал, - «Подземный меридиан» еще лежал в типографии. Листал страницы рукописи, задавал вопросы и, как мне казалось, воспринимал меня скептически. Даже как будто бы обронил: «Сразу и роман! Лихо!..»

Я знал Блинова как хорошего писателя, автора интересных повестей, рассказов. С одной стороны, был рад, что рукопись попала к нему в руки, с другой - было боязно попадать на суд серьезному писателю.

Разговорились. Оказалось, что дача его в Абрамцево - с нами по соседству. Я пригласил его, дал адрес - без надежды, конечно, что он к нам приедет. Но Блинов приехал. И скоро - дня через три. Смотрю: у ворот зеленая «Волга», за рулем милая, совсем юная девушка - его дочь. Вышел и он - с палочкой, прихрамывая. Блинов - фронтовик, был тяжело ранен. На лице - улыбка:

- Вот вы где! Слышал про ваше братство, а бывать не приводилось.

На веранде, усаживаясь в кресло, сказал:

- Роман прочитал. Будем печатать.

Я задохнулся от радости. «И этот роман принят. Буду писать. Теперь уже без оглядки».

Так произошла моя встреча с Блиновым. Скоро этот человек круто развернет всю мою жизнь, направив ее в русло, где я вплотную столкнусь с литературным процессом, увижу и познаю грани жизни, доселе мне неведомой.

После обеда, ближе к вечеру, отправился к друзьям. По дороге к Шевцову зашел к Фирсову. У крыльца дома на лавочке сидел дядя Ваня - брат отца Фирсова, русский крестьянин, приехавший в гости к именитому племяннику.

Я любил его общество и не упускал случая побеседовать. Присел рядом, показал на недавно построенную в глубине сада времянку, где находился кабинет поэта. Оттуда доносился громкий разговор, из приоткрытой двери шел табачный дым.

- О чем они там? - спросил дядю Ваню.

- А-а... - махнул рукой. - О них толкуют... Ну, как их?... Синасти.

- Что это, дядя Ваня?

- Ну, эти... как они... синасти!

И уже подходя к двери, я вдруг понял: «сионисты!» Рассказал Фирсову, Шевцову, Чалмаеву. Они долго и громко смеялись. С тех пор надолго в лексикон семхозовской братии вошло это дяди Ванино слово.

Едва я вошел во времянку, хозяин схватил со стола свежий номер «Известий», швырнул на пол:

- На, читай свою газету! Кого печатают?... Кого хвалят?... Тель-Авив сплошной!

В этот момент по радио упомянули Антуана Сент-Экзюпери. Фирсов выдернул шнур.

- Вот еще! Сент-Экзюпери!.. Хороший человек и сказку про принца написал. Но пощадили бы мои уши - с утра до вечера талдычат: Экзюпери, Хемингуэй, Ремарк... Если о наших поднимут гвалт - Евтух, Робот Рождественский, Майя Кристалинская, Кобзон. А уж если об ученых, о великих мудрецах загалдят - Энштейна не забудут! Ты, Иван, в газете работал, скажи на милость: кончится это когда-нибудь или нет?

Плюхнулся на диван, заломил руки за голову, смотрел в потолок. Гнев его святой мы понимали. Тут, среди гостей Фирсова, не было человека, который бы на собственной шкуре не испытал засилья в газетах и журналах сионистов, которое к тому времени, на рубеже 60-70-х годов, становилось не только ощутимым, но уже принимало повсеместный характер. И если раньше мы не имели серьезных печатных трудов, разоблачающих сионизм, то тогда уже у каждого из нас на столе лежала книга Юрия Иванова «Осторожно: сионизм!» - книга, произведшая в умах русской интеллигенции эффект разорвавшейся бомбы. Правда, Юрий Иванов исследовал сионистское движение как явление планетарное. Эта расистская идеология будто бы была где-то, не у нас, но каждый читавший книгу невольно и как бы

автоматически проецировал события и сведения, в ней содержащиеся, на нашу жизнь, - слишком знакомы были каждому из нас взгляды, действия, образ поведения заокеанских и всех прочих господ, претендующих на мировое владычество.

Это было время, характерное для всего послесталинского периода: за вольные разговоры не сажали, за «нелюбовь к евреям» не расстреливали, но говорить громко обо всем люди еще опасались. Зато же и давали волю языкам в кружках дружеских - подобных тому, который невольно составил в семхозовском писательском братстве.

Можно понять горячность, с которой витийствовал Фирсов: он, хотя только начинал свой путь в поэзии, но уже был изрядно искусан критиками. Он бы мог о них сказать словами Чехова: «Критика меня мало интересует, она у нас не национальна».

Придет время, и оно теперь недалеко, когда эта самая «не национальная» критика примется и меня утешить; я бы тоже мог повторить слова Чехова, но могу свидетельствовать: от ударов и укусов этой самой критики бока так же долго болят, как и от всякой другой.

Били Фирсова и свои - те, кто охотно подпевал «неистовым ревнителям», выслуживался перед властью имущими и тем обеспечивал себе право печатать статьи, книги.

Союз «швондеров и шариковых» набирал силу. Недаром его больше всего боялся Михаил Булгаков. В 80-х он уже в образе мафии тугой петлей затянет всю русскую национально-патриотическую литературу.

Молодой Фирсов еще в начале 60-х напишет:

В цене предатели народа,

Что говорить, в большой цене.

Да, господа Шариковы, обнявшись со Швондерами, получая от них щедрые подачки, оказались сущей бедой для русской литературы в канун третьего тысячелетия. Ныне всякая попытка литератора сказать доброе слово о России, русском характере, даже само слово «русский» воспринимаются как опасная форма национализма, шовинизма, и слово «русский» многими понимается как синоним «антисемита».

В кабинете Фирсова в тот раз собрались близкие товарищи и не было среди них не битого, не искусанного критиками, о которых каждый бы мог сказать словами Маяковского: «все мои критики коганы».

«Литературную газету» в то время возглавлял Александр Борисович Чаковский, «Литературную Россию» - беспринципный Вася Позднеев, в «Известиях», как я уже писал, весь отдел литературы и искусства состоял из евреев... Начиналась хорошо спланированная травля русских писателей - изгнание из всех сфер искусства русского духа.

И первые удары из тяжелой артиллерии - со страниц центральных газет - уже были нанесены по Шевцову, Кобзеву и Фирсову. Притулившийся тут же в кресле у камина критик Виктор Чалмаев напечатал две-три статьи в защиту патриотического духа и как раз в эти дни подвергался за них дружному остракизму. Его и критика Михаила Лобанова, напечатавшего в «Молодой гвардии» статью «Просвещенное мещанство», предавали анафеме даже радиоголоса из-за кордона.

Я и сам, не зная броду, сунулся в эту «воду» - написал две статьи на литературные темы: «Закат бездуховного слова» напечатали в «Журналисте», а «С самой пристрастной любовью» - в «Огоньке». Последняя статья о журнале «Юность».

Отступая, мы огрызались, отстреливались - иногда наносили удары, но... отступали. Однако силы были неравны. Родная партия, членами которой мы состояли, отдавала самое грозное оружие - печать - в руки противника, множила тиражи его газет и журналов. Русские люди в пьяном усердии рубили русский лес, и русские же люди в том же пьяном бреду и слепом забвении набирали, печатали эти газеты и журналы, - и вся эта отечественная родимая силушка сваливалась на голову русских патриотов, стремившихся из последних сил прокричать слова тревоги, отрезвить, образумить замутненное сознание своих соплеменников.

Но адская машина одурманивания, оглушения и ослепления, запущенная родной

партией, набирала обороты. У руля стояли великие «кормчие»: вначале Сталин, затем Хрущев, а уж потом пьяница с опадающей челюстью Брежнев. Они туго знали свое дело: мяли, крушили, давили все святое на Руси, и в жернова этой адской машины попадала прежде всего наша родная русская литература.

Все собравшиеся тогда в кабинете Фирсова уже были втянуты в закипевшую в канун семидесятых годов литературную баталию и, как потом мы все убедились, приведшую нас к полному и бескомпромиссному размежеванию. Призывы к консолидации, раздающиеся ныне из конъюнктурных соображений, не возродят русского искусства, оно может подняться только на национальной почве.

Однажды, ближе к вечеру, я вот так же зашел к Фирсову. В кабинете не было привычных лиц, но у камина в кресле сидел невысокий, кареглазый, начинающий сидеть человек. Фирсов назвал его:

- Свиридов Николай Васильевич.

Мы познакомились. Я сел от него поодаль, слушал их беседу. Я знал: Свиридов - председатель Госкомиздата РСФСР, недавно он был в ЦК заместителем заведующего отделом пропаганды.

Словом, к Фирсову залетел глава всех издательств России.

Он был строг, сдержан, но скоро мы разговорились.

- Напрасно вы ушли из журналистики,- сказал он.

- Почему? - удивился я.

- У вас был серьезный пост. Они на ваше место быстро подтянут своего бойца. Я-то уж их знаю.

Свиридов обозначал свою позицию. Это уже была откровенность. Он начинал мне нравиться.

Между тем Людмила, жена Володи - женщина сколь яркая и обаятельная, столь и остроумная - накрывала стол. Выставила вино, коньяк. После первых выпитых рюмок языки развязались. Фирсов, обращаясь к высокому гостю, сказал:

- Вот Дроздов, выпал из гнезда - нашли бы ему должность.

Свиридов, набычившись, склонился над столом, не отвечал. Я каждой клеткой ощущал неловкость своего положения, допил вино, решительно поднялся.

- Извините, мне нужно на станцию жену встречать.

Свиридов встал, протянул руку, Прощаясь, сказал:

- Заходите в Комитет. Поговорим.

На следующий день утром с измятым лицом ко мне пришел Фирсов:

- Людмила не дает выпить. Дай чего-нибудь.

Я выставил графин самодельного вина - из черной смородины. Володя «поправил голову», сверкнул карими глазами.

- Иди к Свиридову - должность даст. Министр!.. Должности у него, как пятаки у нас в кармане.

Наливал стакан за стаканом - пил.

- Иди, говорю. Не мешкай. Завтра же!

- Я сотрудничаю в журнале «Человек и закон», судебные очерки печатаю. Там и редактор - милый человек - Сергей Высоцкий.

- Нашел милого человека,- «шнобель»!

- Никакой он не еврей! - вступился я за Высоцкого.- Я его здесь, в Семхозе, хочу поселить. Вполне приличный человек!

- «Шнобель»! - вновь отрезал Фирсов.- А если «шнобель», значит такой же, как все эти...

Язык у него начинал заплетаться. Я решил не спорить. Сказал:

- Хорошо, Володя. К Свиридову я зайду. Спасибо за рекомендацию.

- Да, старик, иди, проси должность. В издательствах прорва «шнобелей», трудно дышать. Меня не печатают, а если возьмут, то все лучшие стихи выбрасывают, оставляют

безделки. Может, в издательстве редакцию тебе даст, а то и того выше - заместителем главного назначит. Он же министр! Все может.

Фирсов пил, пока не увидел дно графина. Вновь и вновь меня тревожило это обстоятельство: пьют наши ребята! Природа такой большой талант парню отвалила, а он его заливает спиртным. И вот ведь что страшно: никто из них, зашибающих уже сильно, не видит опасности в своем пристрастии. Пробовал я говорить и с Шевцовым, и с Фирсовым - отмахиваются, как от назойливой мухи: «Ах, пустяки! Брось нагнетать страхи!»

Проводил Володю до дома. Людмила и ее мать, завидев нас, всплеснули руками.

Я чувствовал себя виноватым.

Госкомиздат России помещался вблизи Никитских ворот, на улице Качалова, тут же рядом церковь Святого Вознесения, где венчался с Натальей Гончаровой Пушкин.

В кабинет председателя вели дворцовые двухстворчатые двери, украшенные золотыми вензелями, старинными сияющими ручками.

Кабинет был огромный, как и у всякого министра,- хозяин его при появлении посетителя не поднимал головы, а ждал, когда тот приблизится к его столу. Еще при встрече у Фирсова заметил, что Свиридов туговат на левое ухо и потому предусмотрительно зашел с правой стороны, сдержанно поздоровался.

- Садитесь,- сказал Свиридов, не подавая руки.

Приземист, сутуловат, с красивой шевелюрой волнистых волос. Выглядел молодо. Отстранил на столе бумаги, откинулся на спинку кресла.

- Ну, как на свободе? Не скучновато?

- Поэт Алексей Марков, никогда нигде не служивший, говорит: самый несвободный человек - это свободный человек.

- Марков скажет. Горазд на хлесткое словечко.

Хозяин кабинета помолчал, тронул для порядка бумаги. Неожиданно сказал:

- Вы в Литературном институте учились, наверное, знаете многих литераторов?

- Не сказал бы, что многих, но кое-кого...

- Мы сейчас новое издательство создаем - «Современник». Важно подобрать туда серьезных людей. Вот... Юрий Панкратов. На курсе с Фирсовым учился, вы должны знать его.

- Давно мы учились, люди меняются. Раньше его «Литературка» до небес возносила, потом бросила. Чем-то не потрафил.

- Когда поднимали его, во времена Кочетова?

- Да нет, уж при Чаковском.

- Чем же он не угодил Чаковскому?

- Панкратов Пастернаку молился, на даче у него дневал и ночевал - тогда его поднимали, а тут вдруг бросил учителя, разошелся с ним. Ну, тут его и кинули в колодезь. Ни слова доброго о нем.

- Да, похоже на то. Он, говорят, поначалу все черным цветом мазал.

- Было такое. Вот как он Россию в то время представлял:

Трава зеленая,

Небо синее,

На воротах надпись:

«Страна-керосиния».

- Вот, вот... Такой-то Чаковскому подходил.

Говорит басовитым, нутряным голосом. В глаза собеседнику долго не смотрит. Я во время своей корреспондентской службы вырабатывал способность смотреть в глаза собеседнику. Ценил и завидовал тем, кто способностью этой обладает в высокой степени. Свиридов долго в глаза не смотрел и в одной позе не сидел - то отклонится в угол кресла, то подвинется к столу. Однако говорил умно и дело свое, видимо, знал хорошо.

- Ну, так как - станете рекомендовать его в новое издательство на редакцию поэзии?

- С ходу так - не могу. Если позволите, спрошу у верных людей, тогда и вам доложу.

- Да, да, я вас попрошу об этом. И вот еще - Валентин Сорокин. Этот нас особенно интересует.

- Сорокина я знал еще по Челябинску,- тогда он на металлургическом заводе работал машинистом подъемного крана.

- Крановщиком?.. Не металлургом?

- В мартеновском цехе крановщик - тоже будто бы металлург.

- Именно: будто бы - буркнул Свиридов, видимо, недовольный теми, кто неточно ему доложил.- Я вот тоже... артиллеристом мог бы назваться, а я был химиком в дивизионе «катюш».

Свиридов после нашей продолжительной и вполне доверительной беседы предложил мне зайти к Карелину.

- Побеседуйте еще с ним,- сказал Николай Васильевич.

Со второго этажа я спустился на первый. Здесь, в конце правого крыла здания, располагался издательский главк - Рос-издат. В небольшом кабинете сидел главный редактор всех издательств России Петр Александрович Карелин или ПАК,- так его сокращенно называли в Комитете.

Петр Александрович, завидев меня, не удивился - видимо, Свиридов его предупредил. Только сказал:

- И тебя скушали в «Известиях»?..

- И да и нет. Сам ушел, но, конечно, припекло.

- Понимаю,- крепко пожимал мне руку Петр Александрович.- Я с ними всю жизнь работаю, заметил: у них, как в атомной физике,- критическая масса есть. Как только количество евреев в редакции достигло критической массы - тогда беги. Русскому там делать нечего.

- А сколько же это - критическая масса?

- Тридцать процентов. Они при этом числе быстренько занимают все ключевые позиции, настраивают свои дела, и если ты соглашаешься плясать под их дудочку, тогда еще поддержат немного, а не то сам уйдешь. Тошно станет.

Петр Александрович меня знал еще с Литературного института. Он тогда в «Литературной газете» с В. Кочетовым работал и был вторым человеком в редакции - ответственным секретарем. В то время Кочетов был популярным писателем, мы все знали его роман «Журбины»; с Карелиным они работали еще в Ленинграде, в дни блокады, во фронтовой газете «На страже Родины». Мы приходили к Карелину - он любезно принимал нас и, если нам удавалось написать что-нибудь дельное, печатал.

Потом вместе с Кочетовым они перешли в журнал «Октябрь» - Карелин и там играл первую скрипку. Но у Кочетова жена была еврейка, она все время поставляла мужу кадры. Эти-то «кадры» ссорили фронтовых друзей, и наконец та самая «критическая масса», о которой говорил Карелин, вытолкнула его и из «Октября».

Нам вместе привелось работать в «Известиях». Он был заместителем редактора по разделу литературы и искусства, заказывал мне статьи, охотно их печатал. Мне нравился этот высокий интеллигентный человек с легким и веселым характером - он много знал и умел о любом пустячном случае забавно рассказывать.

Посылая меня в Комитет, Фирсов сказал:

- Там Карелин... Имей в виду, это первый у Свиридова человек.

Узнав, что я на свободе, Карелин без дальних предисловий предложил мне должность своего заместителя. При этом сказал:

- Я скоро пойду на пенсию. Вот мне достойная замена.

И рассказал: Комитет только что получил решение правительства о создании нового мощного издательства «Современник». В нем будет печататься в основном художественная литература - проза и поэзия. И будет небольшая редакция критико-публицистической литературы. Строго определена пропорция регионов и столицы: 80 процентов - книги писателей российской периферии, 20 процентов - москвичей. В год будет издаваться 350

книг. Почти каждый день - книга.

Свиридов поручил мне подобрать редакторский состав. Строго наказал: «Ни одного еврея!» Условились, что я свое решение сообщу на днях по телефону.

Первый день работы в Комитете напомнил мне тракторный завод в Сталинграде, где двенадцатилетним мальчиком начал я трудовой путь. Принимали с четырнадцати лет, - пришлось прибавить себе два года. Учился я на токаря, но скоро мастер подвел меня к строгальному станку, показал, как на нем работать, и велел отстрогать планку. На другой день мне уже пришлось работать на двух станках - токарном и строгальном, а очень скоро заболел рабочий, и меня тут же научили долбить фаски, канавки на станке долбежном. Прошло три-четыре месяца, мастер попросил меня остаться во вторую смену. Так четырнадцать часов я беспрерывно переходил от станка к станку - долбил, строгал, точил детали. И помню, как однажды, когда выпал особенно жаркий день и меня оставили во вторую смену - в десятом или одиннадцатом часу вечера я в изнеможении присел на штабель деталей и подумал: «Неужели всю жизнь... вот так, от станка к станку?..»

В Комитете не было станков, тут ничего не надо было строгать, точить - тут надо было сидеть. С десяти утра до шести вечера. Каждый день. Безотрывно, безотлучно - сидеть и... не делать глупостей. Боже упаси, если в беседе с посетителем или сотрудником что-нибудь не так скажешь, не так оценишь бумагу, не то ей дашь направление.

Тут надо было быть умным. Или изображать из себя умного. Если же ты не был ни тем, ни другим, надо было больше молчать. И покачивать головой, не очень сильно, но так, чтобы и посетитель, и сотрудник, общающийся с тобой, не могли понять истинный ход твоих мыслей. И тогда им нечего будет о тебе говорить.

Карелин был вечно в отсуствии. Он обыкновенно вечером звонил мне на квартиру, говорил, что завтра будет писать для председателя доклад или речь на какой-нибудь книжной выставке, на приеме или на банкете. «Запрусь где-нибудь в свободной комнате - ты меня не ищи».

Я принимал на себя поток посетителей. Нельзя сказать, что это был сплошной поток, что народ валил к нам в кабинеты. Нет, народ в наших коридорах не толкался. Да, в сущности, здесь и не было народа - были писатели, ученые-литераторы, а из наших, ведомственных, - директора издательств и главные редакторы.

Помню, в первый же день появился Илья Бессонов - наш известинский журналист, собкор по Ставропольскому краю.

- Ты здесь? - удивился он. - И меня съели. Я теперь директор Ставропольского книжного издательства. И вот - написал роман.

Вытащил из портфеля объемистую рукопись, положил на стол.

- И что же? Хочешь, чтобы я почитал?

- Конечно! И дал бы добро на публикацию в нашем издательстве.

- А я... разве имею такое право?

- А кто же? Здесь порядок таков: директора издательства или главного редактора могут напечатать только с разрешения Карелина. Ну, а ты - его заместитель. Тут до тебя был Николай Иванович Камбулов. Он все такие дела прокручивал.

- Если так... оставляй.

Бессонов рассказал о бедах своего издательства. Бумаги мало, писатели стонут. По пять лет ждут своей очереди.

- А ты тиражами маневрируй. Уменьшишь тиражи - больше имен выпустишь.

Бессонов выпучил на меня глаза. «Не шутишь ли?» - говорил его взгляд. Популярно мне объяснил, что большие тиражи выгодны издательству и типографии. Рукопись подготовили, завели на поток и - шлепай. Отсюда премии, прибыли. Кажется, я сморозил первую глупость. Хорошо, что на своего напал.

Позже мне станет ясен главный механизм, угнетающий наше книгоиздательское дело. Громадные тиражи: сто, двести, триста тысяч! А то и больше. На бумаге, которую мы тратили на одного писателя, можно было издать десять, двадцать авторов.

Бессонов раскрывал передо мной дверь, ведущую в одну из самых важных тайн партийной политики, точнее - политики серых мышей и их полководца красного кардинала Суслова: переключить бумагу и всю полиграфическую мощь страны на авторов, живущих в столицах. Соответственно пошли закрывать издательства в российских городах, их все больше сосредоточивали в Москве и центрах республик.

При царе было несколько сотен издательств - точной цифры никто не знает, теперь пятьдесят два, и главные, бумагоемкие - в Москве.

Серые мыши подбирали вожжи - налаживали жесткий механизм контроля над мыслью, и прежде всего русской мыслью.

Госкомиздат РСФСР - главное колесо в этом механизме.

Бессонов достал из портфеля прекрасно изданный толстенный том. Подавая его мне, сказал:

- Не подумай, что это Лев Толстой,- нет, это Фрида Вигдорович. Поучает наших детей, как им надо жить, кого любить, а кого и не очень.

Я листал книгу в голубой обложке. Не рассказы, не повести - какие-то статьи, записки, документы. Все из области педагогики. Бессонов доверительно сообщил: с мадам Брежневой знакома. Бойся ее! Посмотрел внимательно на Бессонова, заметил хмель в глазах. Сказал строго:

- В Комитет навеселе не показывайся больше. И Карелин, и, паче чаяния, Свиридов чтобы тебя не видели.

- Ладно, старик, за меня не волнуйся, а лучше взгляни, каким тиражом эту Вигдорович тиснули.

Я посмотрел и ахнул: триста тысяч!

- А теперь гляди на сроки,- тыкал пальцем Бессонов в справочные сведения книги.

Я смотрел: сдали в набор, подписали к печати... Раньше я не обращал внимания на эти цифры и не очень-то хорошо представлял, что они означали. Бессонов все объяснил. И в заключение помахал у меня перед носом томом:

- На этот «шедевр» вы истратили столько бумаги, сколько выдается мне за год на издательство. А писателей на Ставрополье больше полусотни. Их-то вы на голодном пайке держите. Вот она... ваша служба на ниве народного просвещения.

Прощаясь, я показал на его рукопись:

- И здесь кое-что отразил?

- Самую малость. А стоит мне зачерпнуть поглубже - ты первый и хлопнешь меня по башке. Система!

Я проводил Бессонова до церкви Святого Вознесения, усадил в такси и еще раз предупредил: под хмельком у нас не появляйся.

- Спасибо, Иван. Надеюсь, мою рукопись не зарубишь. Я писал ее слезами.

В тот день я принял еще четырех писателей - двух москвичей и двух с периферии - и, беседуя с ними, открыл для себя еще одну дверь, ведущую к тайнам нашей системы. «Маститый» автор из Москвы просил оставить его «позиции», то есть рукописи, в четырех или пяти издательствах.

- Ваш отдел координации оставляет только три «позиции», а две выбрасывает из планов.

Отдел координации был для того и создан: не допускать дублирования одних и тех же имен в разных издательствах, разрешать любому автору в течение года издавать только одну рукопись. Здесь же автору разрешалось издать одну и ту же книгу, и давно написанную, сразу в трех издательствах, а он недоволен.

Слушаю внимательно, и это поощряет автора к откровенности. Он раскрывает свою лабораторию: пишет он быстро, много и все издает. Многое проходит у него через радио, телевидение - его любят театральные режиссеры. Я его знаю. Он один из тех, кто пишет стертым как медный пятак языком, русской жизни не знает и русских изображает пьяницами, бездельниками, дурными людьми.

- Три позиции у вас оставлены,- пытаюсь возражать.

- Зачем эти запреты, рогатки, препоны! Издатели хотят выпустить книги - значит, их требует читатель. И пусть издают! Зачем же бить по рукам?

- Хорошо, мы здесь подумаем. Учтем вашу просьбу.

Другой москвич, тоже «маститый», принес кучу хвalebных статей о своих книгах. И так же требует открыть ему семафор в издательствах.

- Если хотят - пусть печатают! - пытается меня учить.- Вы сами видите, какие я пишу книги. Вот рецензии: «Литературка» хвалит, «Советская культура», «Учительская газета» - требует мои книги в каждую школу.

Заходит писатель периферийный. Он и выглядит, и держится по-иному: скромный, сдержанный, и тон его речи просительный.

- Накладка вышла,- говорит, словно извиняясь.- Пять лет не печатался, залез в долги, жить не на что, а тут вдруг повезло - сразу в двух издательствах. Рукописи, правда, новые и разные, но все равно... Нельзя ведь. Так я прошу, чтобы рукопись поменьше объемом - у нас, в местном издательстве, сняли бы, а побольше - ту, что здесь, в Москве, запланирована, - оставили. И гонорар побольше, и чести, престижности... Все-таки - Москва, как бы признание...

- Но в чем же проблема? Я в толк не возьму.

- Да ваш отдел координации выбрасывает московскую позицию. Вы уж, пожалуйста, скажите им...

- А если обе позиции оставить? Ведь вы пять лет не печатались.

- Да разве можно? - удивленно смотрит на меня писатель.- Вроде бы закон есть,- запрещает.

- Да, да,- спохватываюсь я, забыв, что представляю официальное учреждение и обязан блюсти законы. И чуть было не сказал, что только что был писатель, которому разрешили три позиции, но вовремя смирив порыв откровения. Сказал:

- Вы напишите нам заявление, все растолкуйте хорошенько, а мы тут посмотрим. Постараемся вам помочь.

Второй писатель из дальнего российского города,- кажется, из Иркутска,- изложил примерно такую же историю. И его я попросил написать заявление.

Он уходит в другую комнату писать заявление, а я звоню директорам издательств, объясняю положение, прошу оставить обе позиции. Зашел в отдел координации и тоже объяснил и попросил...

Не знал я и этого тайного механизма, при котором одним писателям, москвичам, разрешалось одновременно издаваться во многих издательствах, другим - такого права не давалось.

Вечером мы с Карелиным шли пешком до «Краснопресненской». Он посвящал меня в тайны явлений, с которыми в первый же день столкнула меня служба в Комитете.

- Что за люди сидят в отделе координации? - спрашивал я Карелина. - Я сегодня почувствовал, что строгости свои они распространяют не на всех литераторов.

- Дело не столько в людях, сколько в обстоятельствах, в которые они поставлены. Есть в этом отделе и честные работники - их, пожалуй, там большинство, но, попробуй они отказать Вознесенскому или Ахмадулиной, Симонову или Гранину,- тут такой гвалт поднимется,- за океан покатится. «Голоса» на защиту встанут, по всему миру возвестят: «шовинисты», «антисемиты»!.. Права человека ущемляют, рот зажимают! А тот, из Воронежа или из Орла писатель,-он шума не поднимет, «голосам» он не нужен. Так его и поприжать можно, а если пять лет не печатают - тоже ведь никому от этого ни жарко, ни холодно. Деньги на прокорм займет, а если уж совсем припечет, на завод пойдет или в поле: русскому человеку физический труд привычен.

- Ну нет, Петр Александрович, я, наверное, так рядить и судить не смогу. Если уж есть закон, так пусть для всякого, исключений делать не стану.

Карелин помолчал с минуту - видно, я его озадачил,- но потом так же тихо и ровно, как

он и говорил обо всем, заметил:

- В «Известиях» мы с вами тоже не все принимали, а жизнь знай себе гнет нашу спину. Где-то я читал, что будто бы в Америке перед входом в конгресс долгое время надпись висела: «Умей не выходить из себя по поводу вещей, которых ты не сможешь изменить». Вот эти «вещи», которых мы не можем изменить. У нас их, к сожалению, много.

- Мне такая надпись не очень по душе, капитулянтским душком отдает, трусостью, окопным настроением. Сиди себе в окопе и не рыпайся. У нас же с вами есть права, власть, наконец, воля. И Свиридов будто бы человек правильный. Вот и вам он команду дал: в новое издательство евреев не пускать.

Я горячился. И уже подумывал: «Черт меня занес в это болото! Мало того, что писать не смогу, торчать тут буду с утра до вечера и на дачу дорогу забуду, - тут еще и ловчить, подличать надо! Своих ребят обкрадывать, русской литературе кислород перекрывать, а этих... чужебесов с их пустопорожней писаниной выпускать, да еще и подталкивать, машины, рабочих загружать, леса русские на них изводить. Нет, не смогу я в этой конторе! И заявить об этом надо как можно раньше. Нечего ни им, ни себе голову морочить».

Но тут заговорил Карелин:

- Николай Васильевич - человек честный, принципиальный, но он, к тому же, еще и человек умный. Понимает: если перед ним стена - лбом переть не надо, лучше обойти ее, уклониться от лобовой встречи. Он в такие условия поставлен - врагу не позавидуешь. Он, словно волк, со всех сторон красными флажками обложен. Куда ни метнись - охотник с трехствольным ружьем. И каждый в сердце метит или в голову. На Старой площади главный охотник сидит - Яковлев Александр Николаевич, заведующий отделом пропаганды; в Совете Министров РСФСР - второй охотник, Качемасов, заместитель председателя Совета Министров по культуре; в Союзе писателей - большом, союзном, - Георгий Марков, сын Маркуши; в Союзе писателей российском - Сережа Михалков - у этого столько масок на лице, что и сам черт не поймет, какому он богу молится. А если уж правду говорить: все эти молодцы одним миром мазаны - от каждого из них чесночком отдает. А уж о Яковлеве и говорить нечего: этот на все русское буром прет.

В метро мы доехали до станции «Профсоюзная». Отсюда Карелин к себе на Ломоносовский проспект на автобусе поехал, я на свою Ново-Черемушкинскую улицу пошел пешком.

Первый день работы в Комитете набил в голову столько «гвоздей», что ни о чем другом я уже и не мог думать, как только о положении русских писателей и русской литературы.

И ночью долго не мог заснуть. Видя, как я ворочаюсь на койке, Надежда спросила:

- У тебя что, неприятности по службе?

- Как тебе сказать? Во всяком случае приятностей никаких не было. Я, кажется, зря подставил шею под этот хомут. Боюсь, что не смогу тут работать - душа изболится. А у тебя как?

- У меня ничего. Назначили ученым секретарем биологического факультета, зарплату прибавили.

- Поздравляю. Я рад за тебя.

Несколько минут лежали молча. Надежда спросила:

- Блинов из «Профиздата» тебе не звонил? Он мне звонил и сказал, что тебе аванс за новый роман выписали. Через неделю можно получить.

- О! Это хорошая новость. Спасибо.

Теперь уже мне подумалось: и финансовые дела идут неплохо, а я, дурак, впрягся в эту повозку. В голове уже готов был план нового романа из жизни 30-х годов, и название готово: «Ледяная купель», - сидел бы на даче, писал бы, да писал. Недобрым словом поминал Фирсова. Ах, Володя! Втравил в историю!

После собкоровской, а затем спецкоровской вольницы, почти непрерывных и нелегких, но всегда волновавших новизной поездок по стране, конторская жизнь показалась сущим адом. Утром вскакивал по звонку будильника, наскоро умывался, завтракал и бежал в

метро. Почти час добирался до работы, да час обратно. С рабочим временем - десять часов ежедневно, минута в минуту.

Жизнь на даче, вольный литературный труд казались далекой сказкой. Однако же мысли вернуться к письменному столу являлись все реже. Наоборот, все больше думалось: если не я, то кто же? Кто будет помогать писателям? Кто выполнит эту черную, невидимую, но такую нужную работу?

И с этой мыслью прибавлялись силы, я все больше втягивался в поток повседневных дел, находил для себя занятия, где я больше всего мог принести пользу.

Сразу оговорюсь: я, хотя и значился заместителем главного редактора всех издательств России, но влияние мое на ход издательских дел было невелико. Я был далек от процесса редактирования книг, от механизма отбора и подготовки рукописей к печати, и от людей, работавших в этой сфере. Очевидно, такова участь всех министерских работников, и я не был исключением.

Мы с Карелиным могли что-то притормозить, что-то подтолкнуть, что-то подсказать председателю, его заместителям, но сами мало что решали. Я понял это по тому, как мы создавали новое издательство «Современник».

На первом этапе жаркие споры, диспуты закипели вокруг основных кандидатур: директора издательства и главного редактора. Кстати, я тут своими глазами увидел и механизм назначения таких важных персон.

На ту и другую должность назывались именитые писатели: Николай Родичев, Иван Стаднюк, Николай Камбулов, Егор Исаев... Многие звонят, спрашивают, не преминут сообщить и свое мнение: одного поддержат, другого опалят сомнением, а то и подозрением.

Большинство сходилось на том, что главным редактором должен стать большой, всеми уважаемый писатель, принципиальный человек, а директором - комитетский чиновник, компетентный в типографских делах. «И пусть он не лезет в процесс отбора и редактирования рукописей».

Уже тогда многие при встречах и в телефонных разговорах прозрачно намекали на главное условие: и директор, и главный редактор, и заведующие редакциями должны быть русскими и крепкими в своих убеждениях. «Не дай Бог левак затешется!»

И вдруг новость: директором издательства предлагается Прокушев Юрий Львович - кандидат филологических наук, преподаватель Высшей партийной школы. Зазвонили комитетские телефоны: «Прокушев,- это верно? Но кто такой Прокушев? Почему тянут темную лошадку? Наверняка с левой стороны. Куда же вы там смотрите?»

Но, конечно, главные, решающие разговоры происходили в кабинете председателя. Туда я не был вхож, но Карелин стоял у плеча Свиридова неотступно. Я из деликатности ни о чем не спрашивал, тем более что видел: Карелин на эту тему говорит неохотно.

Позже узнал: Карелин возражал против Прокушева, уверял, что он «чемодан с двойным дном», и Свиридов колебался, ездил в инстанции, убеждал, доказывал, что директор должен знать издательское и типографское дело, он должен быть известен в кругу литераторов или хотя бы работников Комитета, а Прокушев?.. Кто такой Прокушев?

Обозначился претендент на должность главного редактора - Блинов Андрей Дмитриевич, главный редактор «Профиздата». Карелин сообщил об этом с радостью. О Блинове не надо было наводить справок: в Москву он приехал из Кирова - Вятки, там был редактором «Кировской правды», в Москве работал в «Труде». Это был порядочный человек, крупный писатель, его кандидатуру никто не отводил.

Карелин в тот день к Свиридову не поднимался, сидел в своем кабинете усталый, с лицом серым, нездоровым.

- Жмет сердце. Я, пожалуй, поеду домой, отлежусь.

Вызвали машину, он уехал. Все звонки и посетители переключились на меня. Кстати, из евреев никто не приходил, разве что знакомые по литинституту и «Известиям».

Неожиданно зашел Блинов и с ним незнакомый чернявый человек лет пятидесяти с нетвердым взглядом коричневых выпуклых глаз и едва заметным трясением головы. Ростом

он был высокий, громоздкий.

- Прокушев Юрий Львович, директор издательства «Современник», - представил его Блинов.

Внутренне я ахнул: уже назначен!

Прокушев сиял от волнения, от распиравших его чувств, конечно же, радостных. Не мог найти себе места: то присаживался на стул рядом с Блиновым, то вставал, подходил к окну, задавал какие-то малозначащие вопросы. Черты лица его, взгляд, жесты и манера говорить - все было подвижно, текуче, куда-то ускользало. Голос тонкий, почти женский. И мысли его были отрывочны, не собраны, очевидно, от волнения.

- Как с помещением? - спрашивал я.

- Вот он, Юрий Львович - нашел!

- Да, нашел, - сказал Прокушев, - и уже навлек на себя разговоры - дескать, обосновался рядом со своим домом. Вот - ловкач! Хотя, признаться, издательство не так уж и близко от квартиры. Здание предназначалось для детского сада - райисполком и отдал его.

Со словами «Я сейчас приду» он вышел. Я сказал Блинову:

- Очень рад, что именно вас назначили главным редактором, но вот рукопись моя в «Профиздате» осталась сиротой. Кто-то придет на ваше место?

Вошел Прокушев и слышал, как Блинов ответил мне:

- А рукопись вашего романа вот здесь, в портфеле. Я из «Профиздата» пять рукописей забрал, - будем издавать в «Современнике».

- Да, да, - подтвердил Прокушев, - вы теперь наш автор, так что старайтесь, помогайте нам.

Меня поначалу обрадовал такой оборот, но затем я подумал: «Современник» в нашем подчинении - удобно ли мне издаваться в нем? Поделился с Блиновым своим сомнением. Прокушев быстро уловил суть моей тревоги, сказал:

- Договорюсь со Свиридовым, редактуру возьму на себя - под личную ответственность.

И оба они просили меня подыскивать редакторов - их для нового издательства понадобится много.

Новые владыки нового и самого большого издательства России ушли, а я остался сидеть со своими тревожными думами. «Что за человек этот Прокушев? Кому доверили такое важное, святое дело?»

Волновала меня и рукопись собственного романа. Как-то теперь сложится ее судьба?

Вечером того же дня мне домой позвонил Карелин. Сказал, что наглотался всяких пилуль, но сердце не отпускает. Не проходит боль и тревога за судьбу издательства. Рассказал подробности баталии, развернувшейся вокруг кандидатуры директора. Он вместе со Свиридовым стоял насмерть, не желая назначать Прокушева, но на председателя шел постоянный и упорный нажим с трех главных сторон - со Старой площади, там был Яковлев, давили также Качемасов и Михалков. Свиридов отбивался: «Не могу доверить такое большое дело несведущему человеку». Но нажим продолжался. И последней каплей явилась делегация пяти ведущих писателей. Среди них были: Михаил Алексеев, Егор Исаев, Василий Федоров... Они вели в Храм русской литературы Швондера.

И Свиридов сдался.

Карелин помолчал, он тяжело дышал в трубку, о чем-то думал. Я стал его успокаивать:

- Прокушев статьи о Есенине пишет. Может, и не станет вредить русским писателям?

- Дай-то Бог! - сказал Карелин. И шумно вздохнув, пожелал мне спокойной ночи.

Петр Александрович Карелин имел много достоинств. Он прекрасно владел пером и еще до войны был собственным корреспондентом «Известий» по Дальнему Востоку. Литературная одаренность и превосходные знания общественных процессов, в особенности же издательских дел, помогали ему быстро, толково писать всевозможные отчеты, доклады, речи и т. д. О председателе же говорили, что он ворчлив, привередлив и угодить ему мог только Карелин. Приближенные председателя - помощник, заместители, начальники главков в отсутствии Карелина чувствовали себя неудобно. Бумаги им возвращали на доработку по

несколько раз,- всех трясло и лихорадило.

Я не мог заменить Карелина; ко мне заходили, спрашивали, когда будет Петр Александрович, и - уходили. Всерьез меня не воспринимали.

До меня на этом месте работал Николай Иванович Камбу-лов - бывший корреспондент «Красной звезды», крупный военный писатель, лауреат высшей военной литературной премии. Он, конечно, был дока - и умен, и отличный стилист, но и о нем втихомолку говорили: «Против Карелина слабоват».

Мне в этих условиях работать было и тревожно, и неудобно. Благо что первое время ко мне и не обращались с серьезными делами.

Карелин, заболев, оставил недописанным какой-то сверхважный доклад. Для доработки его была составлена группа сотрудников во главе с заместителем председателя.

Через два-три дня по коридорам нашего главка забежали,- Свиридов недоволен работой группы. К вечеру тревога усилилась. Я к тому времени уже со многими перепознакомился, и приятели мне доверительно сообщили:

- Председатель лютует, все не так и не этак, а через неделю у него доклад.

Заклучали:

- Капризный, как девица! Если уж делал не Карелин, так всех замучает.

За десять минут до конца работы по внутреннему телефону позвонил Свиридов:

- Чем занимаетесь?

- Да вот... собираюсь домой.

- Зайдите на минуточку.

Шел наверх и думал: хорошо, что не ушел домой раньше времени.

Кабинет за золотыми вензелями казался пустым и бесприютным. Ковровая дорожка, как тропа на Голгофу, вела к столу, за которым одиноко сидел сутуловатый человек с облитой серебром шевелюрой.

- Садитесь. Тут вот дело есть.

Стал поспешно перебирать листки, на которых значились цифры, сведения, нужные для завершающей части его доклада. В промежутках между объяснениями недовольно, басовитым голосом ворчал:

- Все тут ясно, и нужна-то самая малость, а они пишут какие-то безликие, шаблонные фразы. Повторяют газетные передовицы как попугаи.- И когда все объяснил, сказал: - Поняли?.. Все это нужно изложить на двух-трех страницах.

- Понял, Николай Васильевич, но боюсь, не совпадут стили. Я не горазд подлаживаться, пишу по-своему.

- А так и надо - по-своему. Зачем же вот, как они, - копируют черт знает что. Надоела газетная трескотня, а они ее в доклад суют.

Я взял папку с бумагами и простился.

К тому времени вышел из печати мой роман «Подземный меридиан», и, как мне рассказывал Фирсов, Свиридов его читал.

- И что сказал?

- А ничего не сказал. Он и всегда так: мнение о книгах высказывать не торопится. Мои вот все сборники читал и знает, что Шолохов меня первым поэтом числит, а сам - молчок.

- Ты бы спросил.

- Однажды по пьяному делу к горлу подступился: что думаете о моих стихах! Только и вытряс: «Время найдет тебе место на полке». Такой он, Свиридов. Бирюк!

- И то сказать: похвали нашего брата, собрание сочинений затребуем.

Придя домой, сразу после ужина сел за машинку. Написал окончание доклада. В трех экземплярах, по всем правилам машинописи. Утром принес Свиридову. Он тут же при мне прочел. Потом полистал страницы и вновь прочел. Спросил:

- Сам печатал?

- Сам.

Сунул доклад в папку, внимательно оглядел меня, словно к чему-то примеривался.

Подвинул к себе другую папку, сказал:

- Вот здесь приветствие Георгию Маркову. У него юбилей, круглая дата - надо бы потеплее.

Я молчал.

- А? Что скажете?

- Попробую.

Уходить не торопился, хотелось узнать, что же думает председатель по поводу доклада. Но он молчал. Не поднимая головы, буркнул:

- Можете идти.

Написал поздравление Маркову - председателю Союза писателей СССР. Машинистка отпечатала на комитетском бланке.

Вечером, за десять минут до конца работы, председатель позвонил:

- Чем занимаетесь?

- Да вот... собираюсь домой.

- Поздравление написали?

- Написал.

- Несите.

Свиридов прочел поздравление, но и на этот раз ничего не сказал. Склонился над стопкой бумаг, читал, подписывал. Или на углу писал резолюции.

Я сидел и чувствовал себя неловко. Я был почти уверен, что и доклад, и поздравление Свиридову не понравились и он уже жалел, что пригласил меня на работу, и, наверное, он хотел бы мне об этом сказать, но деликатно ждет, что я сам запрошусь обратно на свободу. Признаться, догадка такая меня не обескуражила, не огорчила, наоборот: я внутренне возликовал, вновь увидел себя на даче, под солнцем,- в Радонежском лесу, которого один вид до краев наполнял меня восторгом. Вот выйдет Карелин, и я скажу, возьму документы, и будто бы здесь и не работал. Уйду, уйду. И сегодня же объявлю об этом Надежде.

- Ну, я пойду, Николай Васильевич.

- Погоди.

И продолжал читать, подписывать.

Двойственное отношение было у меня к этому человеку. Он мне imponировал какой-то мужской крепостью, славянской основательностью и в то же время раздражал сухостью, чиновным снобизмом и высокомерием. Ну, министр, важный человек,- может, не случайно поднялся на эту высоту, но никакая должность не дает права относиться к человеку вот так,- небрежно, словно перед ним стол или тумбочка. Такого права я ни за кем не признавал. Еще на фронте, будучи командиром взвода, а затем командиром батареи, и в очень молодом возрасте - мне было девятнадцать лет - я самой боевой жизнью, смертельно опасными обстоятельствами был приучен уважать человека-бойца, творившего на глазах у каждого свой великий подвиг. И уже позже, на журналистских дорогах, встречал негодяев и людей красивых,- конечно же, красивых неизмеримо больше! - вникал в их судьбы и стремился им помочь, и за многих вступался в драку... Я в своей непростой, неровной и многоцветной жизни научился слушать, думать, сочувствовать - искать в человеке человека. Приглядывался к Свиридову и, может быть, впервые так сильно затруднялся в разгадке тайны человеческой природы.

«Бирюк... капризный»,- говорили о нем в Комитете, а иные острословы называли Зверидовым, намекая на его суровость. А и в самом деле: выполнил для него работу, сидел дома, отдыхал, но был неспокоен. Ну, сделал плохо - так и скажи: не получилось, не так надо... И это поздравление Маркову. Себя насиловал, заставлял писать то, чего сам о нем не думаю,- хвалил, славословил, а он, Марков, ничем этого не заслужил. И я писал не то, что хотел, а то, что был должен сказать председатель Комитета.

Сильный, большой человек - он непременно и щедрый, душевный. По-царски и одарить может, и поднять человека, воодушевить.

Как же без этого!

Не понимает моих тайных тревог и мучений и не думает ни о чем таком, а изображает из себя мудреца, всезнайку.

Пытался анализировать его как писатель,- как бы Достоевский изобразил его внутренний мир, Тургенев, Толстой?.. Наверное бы, представили в неприглядном виде. Маску мудреца накинул - оракула, ментора, провидца. Все люди для него на одно лицо, слились в одно серое пятно - коллектив, аппарат. Мол, поманю пальцем - подойдешь, махну рукой - удалишься. И нет ни у кого ума, характера, взгляда собственного, своеобразного.

Да ведь это же верх примитивизма, верхоглядства,- да он сам такой, какими других представляет! Неужели?

Являлись, впрочем, и другие мысли. Дитя своей среды, сын правящего партийно-государственного аппарата. Долгое время в ЦК работал, а там негласный запрет на свой взгляд, свое мнение. Приехал в командировку: умеи слушать и... молчать. Не дай Бог вольное слово выскочит - за мнение ЦК примут, указание, устную директиву. Вот и научились молчать, и производят такое странное впечатление: вроде бы и ничего мужик, а слова душевного не жди, похвалы не добьешься. И кажется людям, что умерло у него все внутри, машина там, а не ум и сердце!

Невольно вспомнился рассказ Фирсова о том, как во время войны молодой лейтенант Свиридов, бывший начальником химслужбы дивизиона гвардейских минометов - «Катюш», спас боевую технику от верной гибели. Попал дивизион в ловушку - со всех сторон немцы, а отступить не может: горючего в машинах нет. Нависла угроза плена - надо уничтожить секретное оружие, на то особый приказ есть. Но как же лишить войска такой мощи? И Свиридов пошел на отчаянный шаг: переоделся в форму немецкого офицера и ночью заполз в расположение вражеских войск. Здесь он облюбовал бензовоз, прикончил в кабине спящего водителя и включил двигатель. Разогрел его, а затем выехал на дорогу и - к своим. Немцы и сообразить не успели, как бензовоз был уже среди «катюш». Наши быстренько заправили машины и под покровом ночи выбрались в безопасное место.

Наутро дивизион ударил по расположению войск противника.

Вот ведь и таким был он - Свиридов!

Утешал себя мыслью: человек он большой, несет на плечах груз государственных забот - к нему обычные мерки не подходят. «Ну, не подходят - и ладно, и Бог с ним, и нечего мне ломать голову»...

- Я просил навести справки - о Панкратове, Сорокине. Кто из них больше подходит на редакцию поэзии?

- Узнавал, Николай Васильевич, но рекомендовать не решаюсь. Панкратов с леваками расплевался, будто бы тверд против них, а Сорокин... Ему культуры нехватает. В журнале «Молодая гвардия» поэзию ведет, но... неровен, горяч. Взбал мощный. Не знаешь, куда шарахнется. На леваков бочку катит. Сионистов напролет несет, в выражениях не стесняется.

Свиридов слушал внимательно, в карих глазах его сверкал огонек одобрения - молодого азарта и задора. Покачивал головой, улыбался.

Я ему эпизод рассказал - сам от кого-то слышал.

Ехали с какой-то встречи в микроавтобусе шесть или семь важных литературных персон. Известные поэты, маститый прозаик и два секретаря Союза писателей. Один из секретарей держал в руках небольшую, подаренную рабочими скульптуру «Мать-Россия». Пытался куда-то ее положить, зубоскалил:

- Ах, мать-Россия, мать-Россия!.. Куда же тебя сунуть?

И когда нелепый каламбур повторил два-три раза, из угла салона раздался металлический, звенящий голос Сорокина:

- Ты, хмырь болотный, прекрати глумиться над святыней, не то я сверну тебе шею!

Всем стало неловко, заулыбались, а кто-то сказал:

- Ну ладно, ладно, Валя. Уймись.

Свиридов в этом месте даже привстал от возбуждения. И тихо, но явственно произнес: «Молодец, Сорокин!..» Я понял: лучшей характеристики Сорокину я и дать не мог.

Свиридов поднялся:

- Вы где живете?

- В Черемушках. У метро «Профсоюзная».

- Пошли, подвезу вас.

Во дворе у машины Николай Васильевич задержался, посмотрел на небо. Оно было ясным и чистым, в воздухе разлилась теплынь.

- Может, пройдемся до Никитской? - предложил Свиридов.

Вышли на улицу Качалова, направились к Садовому кольцу.

Свиридов заговорил о своем помощнике, еврее Морозове. Он терял бумаги, но главное - не умел писать. Хотел бы заменить его, но не видел подходящей кандидатуры.

Я думал, он сейчас попросит подыскать нового человека, но председатель стал говорить о том, что хорошему помощнику он бы и кремлевское снабжение устроил, закрытое ателье, лечение в системе Четвертого управления, и была бы машина, и даже квартиру в хорошем доме мог бы дать.

Помолчав, продолжал:

- У него и дел-то - сидеть в дубовом кабинете. У меня заместитель так не устроен, как помощник. А дел? Самая малость: разберет депутатские письма, чего надо доложит, соорудит ответы.

Я знал: у министров, с которыми я встречался, их депутатскими делами занимались помощники. Читали письма, определяли, какое куда отправить для принятия решений.

Проходили мимо Дома литераторов. Свиридов предложил:

- Зайдем.

Зашли, но вахтер нас не пускал.

- Только для членов Союза писателей.

Свиридов - ко мне:

- У вас есть членский билет!

- Нет, Николай Васильевич.

Подошли знакомые писатели. Провели нас.

Заказали ужин, вино, коньяк. Николай Васильевич пил охотно, но немного - он точно знал свою меру. Однако мне было ясно: пьет он давно, регулярно - у него уже развилась зловещая потребность к спиртному. Все чаще и чаще задумывался я об этом коварном, мало кому известном явлении: «культурном» винопитии. Это такая «приятная» особа, которая подкрадывается к человеку незаметно, является с манящей, обаятельной улыбкой, мягко захватывает в объятия и ведет... к пропасти. Люди эту коварную особу как бы не замечают. Даже такие высокие персоны, как министр, депутат, подобно слепым котяткам, ступают на эту скользкую дорожку...

Пройдет двадцать лет с того дня, и Свиридов окажется у самого края пропасти. Но это произойдет потом, через два десятка лет, сейчас же... попробуй, скажи ему об этой неминуемой опасности. Скажи Фирсову, Шевцову, Чалмаеву и многим-многим моим товарищам, которые вот так же, как Свиридов, пьют «умеренно», «культурно».

Многочисленные мои знакомства, встречи на журналистских дорогах, - наконец, знание литературной среды привели меня к печальному выводу: интеллигенция больше других слоев общества подвержена алкоголю, быстрее спивается.

По всей журналистской лестнице провела меня судьба: от младшего литсотрудника армейской дивизионки до обозревателя «Известий». И чем выше я поднимался по ступеням этой лестницы, тем чаще приходилось пить, особенно в своей профессиональной среде. Тут пили почти каждый день и, попробуй, откажись от рюмки!

Писательская среда - очередная, более высокая ступень, но и пьют тут и чаще, и больше. Ленинградский писатель Борис Четвериков рассказывал, как он, вернувшись из заключения, приехал в Москву устраивать свои издательские дела. В Доме литераторов его угощают, а он: «Я не пью, вы уж без меня...» На него смотрели с недоумением. Кто-то доверительно посоветовал: «Смотри, не скажи об этом в Союзе писателей».

Но, может быть, это только в среде журналистов и литераторов так дружно служат Бахусу? Близкое знакомство с академиком Угловым, совместная работа с ним над созданием книг свела меня с миром медицинским, и все больше с профессорами, академиками. Они так же дружно и без особых сомнений потребляют спиртное. Федор Григорьевич Углов мне рассказывал, как он однажды разделил трапезу с товарищами по академии,- и за столом, рядом, сидел известный хирург - академик Вишневский. Видя, как Углов уклоняется от рюмки, Вишневский сказал: «Ты, Федя, зря ее не жалуешь, бутылочку. Если бы ты пил, как все, давно был бы членом Большой академии и был бы отмечен многими лауреатскими медалями».

Среда элитных деловых людей и творческая богема с большой легкостью и даже с каким-то бесшабашным шиком соскальзывает к спиртным застольям и отравляет свой просвещенный ум, а зачастую и талант. Тут с давних времен в среде господ, людей именитых и грамотных тянется традиция обильных трапез и спиртных возлияний. К тому же, и времени свободного в этой среде больше, и вино доступнее. Так складывалось исторически,- формировалась психология людей, более склонных к винопитию, чем это принято в среде простого народа.

Впрочем, таким-то умным и я тогда не был, просто понимал, что на дне рюмки живут большие беды, но вот то... как теперь... Нет, конечно, таких осознанных убеждений в необходимости абсолютной трезвости у меня не было. Тихонечко, культурненько попивал вместе с другими. Ну а если уж случай выпал разделить трапезу с самим министром - тут, казалось мне, и Бог велел.

Боясь показаться ломакой, пил наравне со Свиридовым. И после первых же двух-трех рюмок коньяка с ужасом ощутил, что слабею. Голова кружилась, подташнивало - видимо, сказывалась усталость, пустой желудок. Нервное напряжение, неловкость от близости высокого, малознамого человека усугубляли состояние. Склонился над тарелкой, поспешно ел.

Николай Васильевич выпил еще одну-две рюмки и тоже расслабился. Речь его как бы сошла с тормозов, стала раскованной.

- А мы земляки,- заговорил он,- я тоже пензяк - из Сердобского района, а вы - из Бековского. Вы - с одной стороны Хопра, мы - с другой. Бывало, в детстве, заплывем далеко, а вы нам рукава на рубашках узлом завяжете. Мне кто-то так затягивал, зубами не разодрать. Может, и вы там были, на той стороне.

- Нет, не был. Наша деревня далеко от Хопра. Мы не купались. А если бы я, так что ж, вы бы теперь по службе меня прижали?

- Я не злопамятен. Можете не беспокоиться.

И снова перешел на занимавшую его тему:

- Помощник мне нужен. Вот если бы такой, чтоб и умный был - умнее начальников главков, и писать умел. Очень это важно - уметь писать. Так, чтобы прочел и ничего править не надо. Бумага с колес должна идти, а у нас десять раз завернешь, пока что-нибудь выжмешь.

Я и на этот раз ожидал, что он попросит найти подходящего человека и уж прикидывал, кого бы предложить, но Свиридов ничего не говорил.

Домой он подвез меня на машине, но зайти ко мне отказался. Поехал к себе на Кропоткинскую, где он жил в особо охраняемом доме, в хорошей четырехкомнатной квартире. Детей у него не было - жили они вдвоем с супругой Ларисой Николаевной. Она работала в отделе кадров ТАСС.

Часа через два я позвонил Карелину, справился о здоровье. Он стал жаловаться на Блинова:

- Многое Андрей уже упустил: пришел в издательство, а там принят на работу первый редактор - Геллерштейн. И возле нее уже крутятся два молодца - Петров и Маркус. И заместитель директора назначен - Евгений Михайлович Дрожжев,- тоже еврей, и главный художник - из Перми подтянули, фамилия - Вагин. Говорят, уральский казак. Но я уж

чувствую, какой это казак. Станут они так спешно из Перми художника вызывать, будто их в Москве мало. Словом, беда с издательством: не успели чернила просохнуть на решении правительства о его создании, а туда уж ломехузы заползли.

- Что это - ломехузы?

- Ах, есть в природе жучок такой. Как-нибудь расскажу.

- А вы, Петр Александрович, лежали бы, а телефон бы отключили. С больным сердцем и - волноваться.

- Пробовал, отключал. Да только покоя нет. Все думаю: как там, да чего там. Большую это глупость сделали - назначили Прокушева. Пустили козла в огород.

- Свиридов меня приглашал, о помощнике говорил.

- Тебе не предлагал?

- Нет, мне не предлагал.

- Ну, вот... суров мужик, а и деликатен. Хотел бы тебя в помощниках иметь, а предложить стесняется. Боится оскорбить таким предложением. Но и то верно: не для тебя эта должность. Слишком жирно писателей в референтах иметь. Он мне только что звонил, советовался. Я сказал: «И думать забудьте! Его впору первым заместителем к вам, а не холуем на побегушках!»

Я слушал, а сам думал: «Знает ли Карелин, что мы со Свиридовым в Доме литераторов были?.. Нет, не знает. И хорошо». Еще раз посоветовал Карелину не думать о делах - отдохнуть, отлежаться. Сердце его, уставшее от житейских невзгод, от трудных журналистских дорог, от ленинградской блокады, трудилось из последних сил. Карелин после того проживет еще несколько лет и умрет, кажется, в один день со своим давним приятелем - большим и мужественным русским писателем Михаилом Бубенновым.

О смерти Бубеннова, автора «Белой березы», скупко сообщит какая-то заштатная газета, факт ухода из жизни Карелина газеты вообще не заметят.

Глава вторая

Сто дней я просидел в Комитете и окончательно решил: не по мне конторская работа, уйду на вольные хлеба. И уж хотел заявить об этом Карелину, но тут вдруг зашел ко мне вечером Блинов, предложил стать его заместителем по прозе.

Я не раздумывал, тут же согласился и через неделю был в кабинете директора издательства «Современник».

За длинным столом, приставленным к столу хозяина кабинета, сидели Блинов и Сорокин - Валентин недавно был назначен заместителем главного редактора по поэзии.

Я доложил Прокушеву по-военному: прибыл к новому месту службы. Сел рядом с Блиновым.

Прокушев с воодушевлением развивал планы работы издательства. Предлагал серии книг: «Библиотека русского романа», «Первая книга в Москве», «Новинка современника». Говорил так, будто он только и делал в своей жизни, что издавал книги. Голос у него был высокий, речь правильная и гладкая - чувствовался опыт преподавателя. Он с молодых лет подвизался в воспитателях. Во время войны работал в Московском горкоме комсомола и будто бы даже поднялся до секретаря горкома. Речь увлекался как искусством, даже будто бы и забывал о слушателях: опускал голову, прищуривал темно-кирпичные глаза и говорил, говорил...

Мы слушали час, два и неизвестно, сколько бы он говорил еще, если бы Сорокин, нетерпеливо теребивший на лбу реденький клочок волос, не перебил его.

- Ясно, Юрий Львович. Меня ждут авторы.

- Да, да, пожалуйста, мы еще соберемся. Нам надо многое обсудить. Надо решить с первой книгой «Современника». Факт для нас исторический - первая книга издательства. Наша визитная карточка. И оформление, и обложка, и печать - все самое-самое. Я уже говорил с Михалковым, Бондаревым... Мы решили: это будет роман Анатолия Рыбакова

«Записки Кроша», - вы, конечно, читали... И вы, Валентин Васильевич? - обратился к Сорокину.

- Нет, Рыбакова не читал. У меня на серьезных писателей времени не хватает.

- Ну вот... не читали, а судите. Братцы, так не годится. Давайте условимся: чего не знаем, того не знаем. Как говорят французы: если нет, так нет. Или вот мудрость философа: истина конкретна. И наше суждение должно быть конкретно, подкреплено...

- Юрий Львович, - поднялся Сорокин, - меня ждут авторы.

- Хорошо, хорошо, но первая книга. Надо же решить. В Союзе писателей я советовался.

Директора перебил Блинов:

- Сегодня вечером мы соберемся в главной редакции и решим.

Его лицо от волнения побагровело. Он потвердевшим голосом заключил:

- А вообще-то, Юрий Львович, договоримся сразу: отбор рукописей и подготовка их к печати - дело редакций и главной редакции. Что же касается первого издания, я буду предлагать книгу Михаила Александровича Шолохова. Может быть, нам следует включить в нее его военные рассказы.

Это была первая акция Блинова против Прокушева, Михалкова, Качемасова и Яковлева - иудейских божков, стремившихся начать деятельность издательства, созданного для русских писателей, изданием книги автора-еврея, кстати гнусной и клеветнической по своему содержанию. Этим своим мужественным поступком Андрей Дмитриевич в отношениях с директором резко обозначил трещину, которая вскоре превратится для него и да и для нас, его заместителей, в глубокий непреодолимый ров.

К счастью, мы еще имели время, и блиновской команде удалось выпустить не одну сотню книг русских и российских писателей и вдвое-втрое больше завести в перспективные планы.

Рождение книги для меня с детства было окутано почти сказочной тайной. И уже будучи взрослым, когда я писал и печатал вначале стихи, а затем - очерки и рассказы и мечтал о своей первой книге, для меня мир, в котором книга подготавливается и затем печатается на машинах, казался призрачным и неземным. Кто может сказать: эту рукопись можно напечатать, а эту нельзя, этого автора можно назвать писателем, а этот такого звания не достоин? Иногда мне казалось, что где-то в стальных сейфах и в большом секрете хранится чудодейственная линейка... Ее стоит лишь приложить к рукописи, и станет ясно, какой меры перед вами талант. И вообще: есть ли тут талант или одна претензия?.. Впрочем, понимал: линейки такой нет, а есть люди... Много знающие, многоопытные и очень честные люди! Ведь им дано право присваивать самое высокое в мире звание - писателя! И такое уж это высокое звание, что, раз получив его, человек становится и уважаемым, и богатым, и знаменитым. Человек - икона, человек - памятник. Кого чаще всего можно встретить на полотне художника, на гранитном пьедестале? Писателя! Он и пророк, и учитель, и наставник - он лидер, за ним идет народ!

Вот такие или примерно такие представления о писателях почерпнул я еще из чтения первых книг, из букваря, в котором впервые в жизни увидел красочные портреты Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова... Что-то еще и теперь осталось от этих чудных представлений, когда жизнь клонится к закату, и я, вслед за мудрецом средневековья, могу сказать: я бывал во многих странах и видел обычаи многих людей. Я и сам не просто наблюдателем прошел через мастерские, где книги пишутся и где они издаются; я сам многие годы работал в этой почти волшебной мастерской.

Рабочий день начинался с совещаний в кабинете директора. Вначале туда приглашали Блинова. Два первых лица издательства говорили наедине - час, два... Потом звали заместителя директора по производству Евгения Михайловича Дрожжева. И еще говорили час. Затем приглашали Вагина - главного художника. Еще говорили. Мы с Сорокиным принимали авторов, знакомились с редакторами, заведующими редакций, их заместителями. К обеду ближе освобождался Блинов, и мы втроем - главный, я и Сорокин - шли обедать. Андрей Дмитриевич был возбужден, взволнован - тер ладонью затылок. Это он делал

каждый раз после длительных совещаний у директора.

- Проклятое давление! - говорил с досадой.- Жмет затылок. И массировал ладонью заднюю часть головы.

Украдкой я кидал на него настороженный взгляд: лицо его было розовым, почти малиновым, в глазах угадывался огонек тревоги.

- Странный он, ей-богу! - говорил Блинов о директоре. - Все непременно хочет делать сам: принимать писателей, составлять планы, подбирать кадры редакторов - все сам, сам...

- Ну, нет! - возражал Сорокин.- В редакцию поэзии и в редакцию по работе с молодыми пусть не суется, я будусам искать редакторов. Панкратов тоже не позволит, он заведующий, ему работать.

Юрий Иванович Панкратов - мой однокашник по Литинституту - был назначен заведующим редакции поэзии. Он уже подобрал себе двух редакторов - Игоря Ляпина и Менькова - молодых честных ребят, очень талантливых поэтов. Игорь Иванович потом станет наступать на пятки ведущим поэтам, закончит Академию общественных наук и будет назначен главным редактором «Детгиза». Он станет отваживать от детской литературы халтурщиков и прилипал, но как раз это-то и не понравится людям, присвоившим право руководить литературой для детей. Из «Детгиза» ему придется уйти. Впрочем, потом Ляпин сильно переменится: он будет работать в секретариате Союза писателей России. Но тут уже я о нем ничего хорошего не слышал.

Я тоже сказал Блинову:

- Вы поручили мне три редакции: прозы, критики и национальных литератур,- готов отвечать за их работу, но при условии, если буду сам подбирать редакторов, руководить процессом отбора, рецензирования и редактирования рукописей. Я такое условие вам ставил и раньше, до прихода в издательство, и вы согласились со мной. Но теперь, когда я увидел, как директор стремится узурпировать обязанности главной редакции, в том числе и мои, я вынужден повторить свое требование.

- Да, да - конечно, все так и будет, но вы смелее выходите из-за моей спины, бейтесь с этим чертом,- я уже устаю от него, он мне начинает надоедать.

Минуту шли молча. В столовой Андрей Дмитриевич продолжал:

- Вот и первая книга. Уже решили, и в Комитете согласны,- издаем рассказы Шолохова, а он ныне снова: «Давайте заводите "Записки Кроша"». Я вспылil: «Да сколько можно! Уже решили, и все согласны, и уже редактор работает, с Шолоховым договорились. Наваждение какое-то!»

И ко мне:

- Теперь проза - твоя забота, подключайся быстрее. Я с ним один не совладаю.

После обеда Блинов подошел ко мне, сказал:

- Иван, у меня голова разболелась. Поеду-ка я домой, а ты планами занимайся. В этом году, может, издадим сотню книг, а потом на триста пятьдесят будем выходить. Свиридов нам все выделяет - бумагу, полиграфические мощности. Нам верят, мы должны марку свою и честь беречь смолоду.

В тот день мне звонили из Союза российских писателей - от Михалкова. Звонил институтский знакомый, человек в Союзе небольшой, но, видимо, по чьей-то подсказке.

- Поздравляю с назначением. Через твои руки теперь пойдет вся новая проза российских писателей. С кого начать-то решил? Чья будет первая книга?

- Судьбу первой книги мы тут решали сообща: будем издавать Шолохова. И уже готовится оформление, определена типография...

- Все так, но ты, старик, заместитель главного и за все там отвечаешь.

- Да за что отвечать? За Шолохова? Он наш первый писатель, кого же издавать, как не его?

- Первый-то первый, да только издательство ваше «Современник» - это ведь тоже о чем-то говорит. Современную ли литературу должны издавать. А Шолохов - хорошо, конечно, но это ведь гражданская война.

- Да ты куда клонишь? За Натана Рыбакова что ли адвокатствуешь? Говорю тебе, что вопрос решен. Карелин добро дал.

- Ну, ладно, старик... Плохо ты слышишь конъюнктуру. Повыше посмотреть надо - не на Карелина. Ты теперь на открытое место вышел. Тут тебя сквознячок со всех сторон доставать будет. Смотри, не продуло бы. Я тебе по-дружески говорю. И если хочешь, чтобы и впредь тебя информировал о том, что здесь на Олимпе думают, какие ветры дуют,- молчок о нашем разговоре. Держи в тайне, пригожусь.

- Ладно. Спасибо. За тайну разговора не тревожся. Спи спокойно.

После работы ехал в электричке на дачу - то была пятница,- и голова шумела от издательской суматохи, телефонных разговоров, встреч с писателями, рецензентами, консультантами. Все службы сложного издательского механизма только создавались,- в главную редакцию шли с вопросами, многое приходилось решать заново, на ходу и не так, как в других издательствах. Но, как потом оказалось, эти наши новые решения и пробивная способность вездесущего и всезнающего Дрожжева, его типографские связи, и широко разветвленная, во все поры проникающая сеть прокушевских агентов и старателей, наконец, завидная энергия самого Прокушева - позволили нам поначалу бить многие рекорды издательского дела и главный из них - сроки изданий. Если в среднем в центральных издательствах книга от ее одобрения рождалась за год, а то и полтора, то у нас одобренная рукопись превращалась в книгу за три-четыре месяца. Потом этот срок удлинился, но все-таки не выходил за пределы шести месяцев.

Блинов болел все чаще и удалялся на дачу. Он, как и все мы, пил, но пил умно, незаметно и так же, как и мы, не видел ничего дурного в так называемом умеренном винопитии. Вроде бы не искал случая выпить, но если приводилось, то две-три рюмки выпивал и не думал о своей гипертонии, которая, как я теперь понимаю, от спиртного усугубляется. Болел он все чаще, на работу не приходил, а я, как его заместитель, приезжал к нему на дачу, и там мы решали неотложные дела. Благо, что дачи наши располагались по одной дороге.

На Ярославском вокзале садился в электричку и - на волю. В вагоне толчея, удастся сесть - сидишь, не удастся - стоишь. Все равно хорошо, все равно ощущаешь близость лесов и лесного духа, тишину полей и дачного поселка. Вот уже лет пятнадцать из газеты, из журнала, а теперь вот из издательства я по выходным, и зимой и летом, еду в ставший мне родным Радонежский лес и отдыхаю тут и душой, и телом.

После Мытищ - Пушкино, за Пушкино несколько станций и - знаменитое Абрамцево, приют и мекка российских писателей, дом Мамонтова, ставший затем домом Аксаковых. Сюда любили приезжать Гоголь и Тургенев, здесь в тесный кружок сходились могучие деятели русской культуры.

Здесь жил художник Герасимов, здесь живет и Блинов. Вот открылась ровная как стол зеленая полянка, в глубине ее, у самого леса, большой двухэтажный с тремя подъездами дом. Андрей Дмитриевич купил его у сестры Молотова. Здесь некоторое время жил и низвергнутый Вячеслав Михайлович. Рассказывают, что Хрущев, задумавший поднимать целину, приехал к Молотову и уговаривал его занять пост министра сельского хозяйства. И Молотов будто бы соглашался, но ставил условие: в местах освоения целины вначале построить дороги, а уж затем распахивать миллионы гектаров. Хрущев стал ругаться, подхватился и выбежал из дома. На крыльце споткнулся и упал, чуть не сломав ногу.

Блинова застал в глубине усадьбы, в тире, устроенном между вековыми соснами. Он сидит на раскладном стульчике, заряжает малокалиберный пистолет и стреляет в мишень.

- К дуэли готовитесь? - приветствовал я Блинова.

- Помогает от давления. С полчаса постреляю, и головная боль стихает.

Дал мне пистолет, коробочку патронов.

- На, постреляй. Может, еще пригодится.

Потом мы пошли в дом, там сестра Блинова наварила картошки. Из погреба достала капусты, соленых огурцов, помидор, моченых яблок. Все это приготовлено по-вятски, по

старинным русским рецептам,- пахло травами, смородинным, вишневым листом; каждый огурец или помидор были твердыми и ядреными, будто их только что сорвали.

И на столе, как по волшебству, появились нарядные, сверкавшие золотом этикеток бутылки - вино, коньяк. «Давление, а все равно пьет»,- думал я, глядя, как Андрей Дмитриевич разливает спиртное.

То было время, когда я все больше и больше задумывался о роли этого зелья в нашей жизни. Работая на Урале, а затем в Донбассе собкором «Известий», я видел, как все больше и больше пьют рабочие, интеллигенция, как много бед и потерь несет нам алкоголь. Еще там я заметил одну особенность, о которой уже писал, и она мне показалась страшной: алкоголь скорее всего и больше всего поражает культурный слой народа - его интеллигенцию. В Челябинске было сорок писателей и поэтов, не пьющего из них я не знал; причем, сильно пьющих среди них было куда больше, чем среди того же числа рабочих или колхозников. В Донбассе было пятьдесят писателей: сорок два в Донецке и восемь в Луганске,- сильно пьющих из них было даже больше, чем в Челябинске. Утром я приходил в Донецке в Дом писателей, мы играли в бильярд, а потом стайка из десяти-двенадцати человек, не сговариваясь, направлялась в погребок, где продавалось дешевое вино. Денег у многих не было, собирали рублики и каждый старался выпить свой заветный стакан... Меня, как человека, получающего регулярно зарплату, да еще имеющего небольшие гонорары, стремились затянуть в компанию непременно и выкачать трешку-другую в общий котел.

Миротворец Брежнев из года в год наращивал производство спиртного, закупал за границей гигантские линии по изготовлению вина и пива... И за двадцать лет своего чудовищного правления увеличил в стране продажу спиртного на семьсот процентов.

Недавно, в 1988 году, академик Углов попросил меня помочь ему написать «Обращение к народам страны Советов». Мы с ним написали:

«В 1990 году в школы пойдет миллион шестьсот тысяч умственно отсталых детей. И это при наличии самого большого количества врачей и ученых в мире!

Ежегодно в нашей стране прибавляется 550 тысяч новых алкоголиков - и это только те, кто берется на учет. В вытрезвители попадает в год восемь миллионов человек. Каждый третий умерший - жертва алкоголя, это почти миллион людей ежегодно! В какую же пропасть нам отступать дальше?!»

Вчера по телевидению выступал генерал милиции, он привел новые цифры: «В 1990 году по вине пьяных водителей искалечено 73 тысячи человек и 13 тысяч убито». Вот она, конкретная жертва тех, кто в 1988-м пошел на свертывание начавшейся было в нашей стране всенародной борьбы за трезвость. Суд над этими людьми впереди, и это будет самый страшный суд - суд истории.

Постижение пагубности алкоголя придет ко мне позже, спустя примерно десяток лет. Тогда же и я, и Блинов искренне и простодушно полагали, что без вина нет встречи друзей,- не выставь на стол спиртного, и ты прослывешь жадным, мелочным. И лишь немногие мудрецы способны были и в то время понимать ложность этих моральных ценностей, пагубность утверждавшихся всюду нравов винопития.

Наш знаменитый хирург-онколог академик Николай Николаевич Петров, когда ему во время застолья сказали: «Выпейте за наше здоровье», ответил: «Зачем же за ваше здоровье я буду отравлять свое здоровье?»

Мы, к сожалению, таких примеров не знали.

Андрей Дмитриевич Блинов, которого я считал и считаю культурнейшим человеком и большим русским писателем, и совсем, по-моему, не задумывался над этими проблемами. Он даже не знал,- не верил! - что при его гипертонической болезни алкоголь не только вреден, но и опасен. Впрочем, пил он немного, и я никогда вне дома не видел его даже слегка выпившим.

Показал мне свою любимую комнату. Она находилась на первом этаже в углу дома. Из двух ее окон открывались чудесные абрамцевские виды.

- Вон те пригорки,- показал мне Андрей Дмитриевич,- и тот дальний лес любил во все

времена года наблюдать наш замечательный художник Александр Герасимов.

И еще сказал:

- Понимаю Молотова,- он тоже обосновался в этой комнате и жил здесь несколько лет.

- А у него что же, не было своей дачи?

- Видимо, не было. А государственную отняли вместе с партийным билетом.

- Куда же он потом выехал?

- Не знаю. Говорят, по вечерам он гуляет по Тверскому бульвару. Ты там учился в институте, может, видел его?

- Да, мы как-то шли с профессором по Тверскому бульвару и увидели его. Прибавили шаг, нагнали. Профессор с ним заговорил: «Как здоровье, Вячеслав Михайлович?» - «Ничего. Сносно».- «Говорят, палачи живут долго». Молотов повернулся к нему, жестко проговорил: «Я, молодой человек, палачом не был, однако жизнь люблю и хотел бы жить долго».- «Палачом - не были,- продолжал профессор,- но руки ваши по локоть в крови. А русский народ пока этого не знает, но когда мы, историки, откроем глаза...»

Молотов прибавил шагу и быстро от нас оторвался. Я тогда сказал профессору:

- Не очень это вежливо с нашей стороны.

На что он мне ответил:

- Вы, дорогой, мало информированы, но когда узнаете... Жалости и у вас поубудет.

Андрей Дмитриевич проводил меня на станцию. Поздно вечером я приехал домой. Поднялся к себе наверх и там, на диване, лег спать. Однако сон ко мне не шел. То ли алкоголь, то ли издательские сюжеты не давали сомкнуть глаз. Много тревог и волнений было у меня в газете - бился за каждую статью, затем писал новые, мучился и страдал от обилия в нашей жизни хамства, несправедливостей, от вторгавшейся уже тогда во все поры общества хищной и разбойной коррупции, но и тогда, кажется, меньше напрягалась моя психика, чем в эти первые дни работы в издательстве.

При лунном свете смотрел на свой осиротевший великолепный финский письменный стол,- являлось желание все бросить, вновь сесть в это вот кресло и - писать. Но тут же приходила мысль о бегстве с поля боя. Блинову тоже трудно, ему и вовсе служба может сократить жизнь. Он обеспечен, у него вышло много книг, но ему и на миг не является мысль о бегстве. Нет-нет, об отступлении не может быть и речи. Призывай на помощь весь опыт жизни, всю волю,- борись, но борись спокойно, с достоинством, как боролись на фронте. Там ведь не было истерики и не было, конечно, мыслей о бегстве. Ты же тоже был на войне.

О минутных своих слабостях забудь. И никому о них не говори, даже дома, даже Надежде. Нельзя демонстрировать слабость духа. Нельзя ныть и хныкать, собирай силы и - в дорогу. Издательство «Современник» - это твоя новая дорога, это новая ситуация - почти фронтовая, твой новый плацдарм. Хорошенько окапывайся, налаживай круговое наблюдение, боевые дозоры - готовься к любому обороту дел.

А где-то стороной в сознании шли мысли: «Интересно, можно ли писать и в этой обстановке? Сорокин, кажется, написал поэму о палестинцах. Панкратов - тоже пишет. Им, конечно, легче. Все-таки - стихи. А Блинов? Он все время работает - в «Литгазете», в «Труде», в «Профиздате». И сколько написал! Значит, можно.

И с этой мыслью я наконец засыпаю.

Приступы болезни Блинова длились недолго: два-три дня отдохнет, и вновь на работе. Его глубокие знания современного литературного процесса, опыт газетной и издательской работы сильно нам в то времягодились. Мы составляли первые планы, на ходу рождали серии книг, принципы отбора рукописей, механизм рецензирования, консультаций, согласований.

Прокушев являлся в издательство в поддень, а то и к концу дня. Он каждый раз привозил новые идеи и рукопись. Идеи нередко разумные, он черпал их в общении с руководителями других издательств,-такими, как Николай Есильев, Евгений Петров, Валерий Ганичев,- со знающими книжное дело людьми из Союза писателей, Госкомиздата.

Вынимал из портфеля рукопись. Передавая ее Блинову или мне, обыкновенно говорил:

- Почитайте сами. И поскорее.

Рукопись приходилось читать вечерами или ночью за счет сна, и чаще всего я поражался пустоте и даже глупости написанного. Возвращая директору, говорил:

- Тут нечего планировать. Рукопись откровенно слабая.

- Постой, постой! - раздражался директор.- Анализировать надо по существу, разбирать элементы...

- Юрий Львович! В рукописи нет никаких элементов, и нечего ее разбирать.

- Как это нет элементов? Хе! Это что-то новое.

- А так: нет и все! Идеи или какой-нибудь важной сквозной мысли тут нет; разговор бессистемный, по поводу бог весть чего. Сюжета тоже никакого - не поймешь, где начало, где конец и как развивается тема, которая, впрочем, тоже неясно очерчена. О композиции и говорить нечего, она бывает там, где есть идея, и тема, и сюжет. Язык беден, фразы шаблонные, будто надерганы из расхожих газетных статей. О чем же еще говорить, Юрий Львович? А вообще-то я не намерен в следующий раз отнимать у вас драгоценное время подробным анализом рукописей. Такой анализ даст вам рецензент или редактор - я же занимаю такую должность, которая предполагает между нами доверие. Не хотел бы, чтобы каждый подобный разговор носил характер экзамена. И чтобы нам выработать общий взгляд, просил бы вас прочесть эту рукопись.

Прокушев брал рукопись, наверное, ее прочитывал, но мне о ней больше ничего не говорил. И с течением времени наши разговоры о рукописях были короче. Если я говорил, что рукопись сырая, автор для нас неинтересен, Прокушев не просил анализировать ее подробнее. Поскольку поток рукописей у нас нарастал, в первый же год мы получили их около двух тысяч, такой анализ превратился бы для нас в бесконечное говорение.

Не уменьшалось и количество рукописей, приносимых нам по особым просьбам и рекомендациям. Я стал замечать, что они какими-то окольными путями попадали в план редакционной подготовки, то есть не в торговый план, куда заносятся уже одобренные рукописи, а в план перспективный.

Не всегда удобно было затевать следствие по таким рукописям - тут непременно бы наткнулся на руку директора,- но я отмечал их для себя в особой тетради, усиливал за ними контроль. Заметил, что работа над ними поручается редакторам-евреям, а те посылают своим рецензентам, своим же людям на консультации в научные учреждения, и рукопись затем обрастает мнением важных авторитетов. Нужны были серьезные усилия главной редакции, чтобы во время зацепить ее, как клещами, и выдрать из технологической цепи.

Немалых денег стоили нам такие рукописи, немалых усилий и рабочего времени.

Постепенно выяснялся еврейский пласт нашего издательства - кадры, заброшенные Прокушевым в первые же дни после своего назначения. Не было еще Блинова, не появились мы с Сорокиным, а директор с какой-то непостижимой быстротой подобрал удобную ему команду. Первым редактором стала Геллерштейн, заместителем по производству - Евгений Михайлович Дрожжев, человек пожилой, с постоянной улыбкой на лице и бульдожьей хваткой в делах. Он много лет работал директором одной из столичных типографий, знал полиграфических деятелей, умел быстро находить ходы и выходы, и вскоре обнаружилось, что с ним легко работалось только евреям, все же русские, попадавшие под его начало, оказывались и ленивцами и неумехами. Иные из них приходили ко мне, жаловались и просились в другие подразделения.

Дрожжев был евреем и не скрывал этого, как делали у нас многие, например главный художник издательства Вагин. «Я уральский казак, а этих... не люблю»,- говорил он обыкновенно, не уточняя, кого имел в виду под словом «этих». В его отделе было два сотрудника - русский и еврей: русский был талантливым художником, оформлял особо ценные книги, заказывал, давал задания, советы другим художникам. Еврей подбирал художников, формировал наш оформительский корпус.

Художники напрямую подчинялись директору, мы же в главной редакции лишь окончательно определяли качество оформления и ставили свои подписи.

Вагин так подгадывал, чтобы из трех членов главной редакции в издательстве оставался один. Тут он, точно карты, раскидывал на столе свои картинки, просил посмотреть и подписать.

Картинки эти поражали меня примитивизмом и безобразием: человечки походили на Буратино: палочки потоньше - руки, палочки потолще - ноги, они куда-то валились и падали, на уродливых лицах ошалело таращились глаза. Если то были животные, то не поймешь: лев это или собака, тигр или овца. Звезды раздавлены, расплющены и куда-то летят. Рядом с большой пятиконечной звездой - звезды маленькие, шестиконечные. Впрочем, шестой лучик чаще всего не выражен, как бы не развит, только еще растет. В другом месте художник, видимо, увлечется и начнет уж откровенно лепить эти символы израильского государства, и, конечно же, лепит другие знаки и символы, смысл которых надо разгадывать, но которые понятны почти каждому еврею.

Над рисунками склонились Прокушев, Дрожжев и заведующий редакцией прозы Владлен Анчишкин. Он вынырнул в издательстве как-то неожиданно,- оказалось, что о его назначении уж давно есть приказ директора. Блинов о нем говорил:

- Владлен - русский, тут у нас все в порядке будет. Владлену нравятся рисунки художников, Прокушев и Дрожжев тоже довольны и готовы подписать, но я молчу.

- А вы что скажете? - обращается ко мне директор.

- Рисунки не отражают содержания книг: вот в этой книге показаны хлебобобы, доярки - люди красивые, характеры высокие, а здесь, извините, какие-то карикатуры на них. И звезда, как символ, не имеет ясных очертаний - то ли краб, то ли медуза.

- Ну, если так судить! - вскидывается Вагин, и голос его начинает дрожать, он выражает крайнее беспокойство.

- Ну хорошо, это ведь мое мнение. Я могу и ошибаться, подождем Блинова, подойдет Сорокин...

- Волокиту разводим! - продолжает Вагин.- Типографии ждут, там план, а мы...

- Но я такие картинки подписывать не могу. Как хотите,- рука не поднимается.

Придет Блинов - на него насядут. Он в первые месяцы тоже отбивался, не подписывал,- они тогда, в его отсутствие, вновь ко мне придут, к Сорокину. Что-то подпишем, а что-то «завернем». Главный бухгалтер потом говорила:

- Приняли вы оформление, не приняли, а денюжки художникам я отсчитываю. И немалые. Вот вчера вы завернули три заказа. Одному я три тысячи заплатила, другому- две... Вагин им новые варианты заказал, и за новую мазню они сполна получат.

- Как же это? Почему?

- Таков закон: творческая неудача! А раз ты заказывал, то и плати.

Так наша принципиальность убытками оборачивалась.

Заходил иногда в отдел оформления, смотрел, какие художники там толпились. Это были сплошь евреи. И каждый свою продукцию за верх оформительского искусства выдавал. Нас же они считали безнадежно отставшими людьми, тормозившими развитие «русского авангарда» в оформлении книг. Все достижения русского книжного дела, начиная с Ивана Федорова, картинки Билибина и графическую роскошь сытинских изданий они и знать не хотели,- лепили своих человечков, сеяли звезды и звездочки и хотели бы только одного: чтобы им не мешали.

Скоро мы поняли: и Владлен Анчишкин - заведующий редакцией русской прозы - ориентируется на авторов-москвичей, на евреев.

И бригада младших редакторов во главе с Петровым и Маркусом бойко натаскивает рукописи москвичей, зорко следит, чью рукопись и кому отправить на рецензию, с кем из авторов и как поговорить, кого привечать, а кого и «пугнуть» строгостями головного столичного издательства: «Вы уж там на месте свою рукопись постарайтесь устроить, у нас трудно, почти невозможно...»

Однажды я зашел в редакцию русской прозы, сел где-то в уголке, беседовал с редактором. В это время к младшему редактору А. Маркусу подошел автор, хотел сдать

рукопись. Маркус принимать не торопился. Спрашивал, давно ли пишет, какие книги имеет. Автор робко объяснял, что пишет он давно, кое-что печатал в журналах, но отдельной книги не имеет. Маркус листал рукопись, говорил: у нас в издательстве тесно, планы все забиты, вам бы лучше обратиться в другое издательство. И тот согласился, положил рукопись в портфель и стал вежливо прощаться, кланяться - весь вид его говорил о признательности за умный совет, за то, что ему уделили внимание.

Я попросил автора задержаться и пригласил его к себе. Стал расспрашивать. Это был писатель Михаил Рябых, заведующий канцелярией ВЦСПС. Он долгое время жил на Севере, писал рассказы о людях Заполярья, о суровой, романтической жизни в тех краях. Скромный и доверчивый, как большинство русских людей, он воспринял беседу Маркуса как вежливый отказ, нежелание принимать рукопись малоизвестного автора. Я взял его рукопись домой и увидел, что рассказы его написаны добротным русским языком, люди обрисованы колоритно, характеры сильные, самобытные. Рукопись мы поставили в план на следующий год, а в редакции русской прозы я провел совещание, рассказал этот эпизод, предупредил, что рукописи следует принимать без всяких оговорок, авторов нужно встречать приветливо и каждому обещать, что рукопись его будет изучена самым тщательным образом.

Потом я беседовал с Анчишкиным, недвусмысленно дал ему понять, что такие нравы в самой большой нашей редакции я терпеть не намерен.

И еще предупредил, чтобы его редакторы строго выдерживали установленные правительством пропорции издания книг москвичей и авторов с периферии.

Анчишкин ничего не сказал, но по выражению лица я видел: разговор ему не нравится. Я как бы сыпал песок в ту систему, которую он с благословения Прокушева у себя в редакции налаживал. А редакция была большая. Чтобы представить ее мощь, приведем такие сравнения: «Профиздат» в то время издавал в год двадцать художественных книг, «Московский рабочий» - пятьдесят, а наша одна только редакция русской прозы - сто сорок. Редакций у нас было пять.

Становилось ясно, что редакция эта попала в нечистые руки.

Темно и тревожно становилось от этих мыслей на душе. Я в это время не только писать, но даже думать о каких-нибудь сюжетах, образах перестал; вспоминал Пушкина: нужен душевный покой для творчества.

Блинов молчал, но казалось мне, что страдал он еще более, чем я. И когда Сорокин ему говорил:

- Андрей Дмитриевич! Вы кого приняли на работу? Снова еврея?

- Нет, нет, ребята. Эта женщина, которую Прокушев мне предложил в национальную редакцию, не еврейка. Она осетинка.

- Она такая же осетинка, как Вагин уральский казак! Нужно наконец соблюдать конституцию - равное представительство всех национальностей.

Однако процесс «оккупации» издательства людьми одной малой народности продолжался. Надо было его приостановить.

На обед ходили троицей. Сорокин все больше сатанел, проявлял горячность, нетерпение. Говорил не стесняясь, резал по-рабочему. В очередной раз, когда мы пошли на обед, заговорил:

- Вы, Андрей Дмитриевич, большой либерал, сдаете этому черту, Прокушеву, одну позицию за другой. Скоро и «Современник» станет типично московским издательством. Российским писателям и здесь кислород перекроют.

Блинов молчал. Лицо его становилось розовым. Я поддержал Сорокина:

- Да, Андрей Дмитриевич, мы за последние два месяца приняли двадцать человек. Трех «проглядели» - оказались леваками, тянут в план одних евреев. Процентное соотношение резко сползает в сторону москвичей, - боюсь, как бы в следующем году их не оказалось в плане половина. Но ведь Свиридов строго требует держать процент двадцать на восемьдесят. Издательство создано для российских писателей, а не для москвичей. К тому же, вы знаете, что такое проза большинства столичных писателей. Ее в достатке выпускает «Советский

писатель», а где книги, которые бы хотелось почитать?.. Они умирают раньше, чем появляются в свет.

Блинов это все лучше нас знал и понимал также правоту насчет прокушевских кадров. Не поставь мы перед ними прочной преграды, уйдет издательство, тихо, незаметно сползет в московское литературное болото, где власть все больше захватывают писатели с русскими фамилиями, пишущие на русском языке, но рожденные евреями или полуевреями. Брежневское правление открыло перед ними все шлюзы, и они буквально стали затоплять книжный рынок, - штурмом брали каждую газету, журнал и особенно издательства. Книга для них - это власть над умами, власть реальная и надолго. Издательство - главная мастерская, где они лепят своих божков и кумиров, лидеров и духовных вождей, - здесь создаются для наших детей иконы, проектируется мир по их разумению: один мир и одна жизнь для гоев, другая жизнь - для них, избранных.

Блинов опытнее нас, он больше знал и видел и как писатель, исследовавший современную жизнь, мог бы и нас многому научить. Видимо, считал себя виноватым. Обращаясь ко мне, сказал:

- Ты, Иван, иди в отпуск, а я обещаю за время твоего отсутствия никого не брать на работу. Вот сегодня познакомьтесь с двумя моими земляками. Хотелось бы их назначить редакторами. Если не будете возражать, завтра же и назначим. Ну, а когда придешь из отпуска, я поеду. И уж тогда, после отдыха, спланируем нашу работу. Одним словом, больше не будем пятиться. Ни шагу назад!

В тот день я знакомился с двумя молодцами, уроженцами вятской земли. Это были Крупин Владимир Николаевич и Филев Борис Аркадьевич. Крупина мы назначили старшим редактором в русскую прозу, Филева временно допустили к исполнению обязанностей заведующего молодежной редакцией.

Итак, мы с женой поехали на отдых в Кисловодск. И там, в санатории, на третий или четвертый день композитор Табачников, с которым мы познакомились, радостно размахивая «Литературной газетой», кричал:

- Тут статья о тебе. Ты слышишь, большая статья! «Жанр мещанского романа».
- Как понять - мещанский роман? Я что, такой роман написал?
- Ну да, мещанским романом нас угостил. Надо почитать. Где достать его?
- Я вижу, вы обрадовались?
- А как же! Ругань в наше время лучшая похвала. Критикам никто не верит. Если хвалят, значит, плохо, а как ругать зачнут - считай, книга стоящая. Я вот и не думал о твоих книгах, а теперь читать начну.

Статью написал Феликс Кузнецов, в ней я изображался не только плохим литератором, но и еще каким-то отпетым злодеем. Мещанин с ног до головы, а к тому же и перессорить все наше общество вознамерился. И там, где обитают сплошь прекрасные люди, - в науке, например, или в театрах режиссеры, - я все черной краской перепачкал...

Критик с автором не церемонился. Даже и о том писал, чего в романе сроду не было.

Вот об этих передержках, об откровенном вранье критика я написал в «Литературную газету». Письмо мое тут же было напечатано, но на газетной полосе рядом с письмом появилась вторая статья, куда более ругательная: «Еще раз о романе И. Дроздова "Подземный меридиан"».

Иван Шевцов прислал мне в санаторий письмо.

«Здравствуй, Тезка!

Спасибо за праздничное поздравление. Взаимно поздравляю. И, главное, с Днем Победы, потому что в этот день невольно вспоминается девиз незабываемых военных лет: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!.." Но... тогда враг дошел только до Москвы. Сегодня он оккупировал всю страну - от Бреста до Курил. И этот враг, Сион, сильнее и коварнее своего меньшего брата - фашизма. Потому-то и нет уверенности, что "победа будет за нами". Боюсь, что на этот раз страна наша, народ наш - такой доверчивый и младенчески беспечный - не выстоит.

Ты, конечно, читал в "Литературке" от 26 апреля 1972 года. Звереют цинично. И, как всегда, подло. Но на это не следует обращать внимания. Просто надо посмеиваться. Свыше двадцати подобных статей было опубликовано против меня. К этому нужно привыкнуть и принимать, как должное. Гитлеровцы вешали партизан-патриотов. Сегодня сионисты расправляются с патриотами доступными им средствами и методами. В первую очередь используют такое оружие, как пресса. Это их оружие. У нас его нет, мы лишены его.

Но ни в коем случае нельзя отчаиваться. У одного из апостолов есть такой афоризм: "Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся".

Ты стал фигурой, и это должно тебя радовать. И не обращай внимания на "доброжелательных" умников, которые сегодня бегают по коридорам и любовно упрекают тебя: ах, какой он... не мог посоветоваться, прежде чем послать в "Литгадину" свое беспомощное письмо.

Будь письмо иным, злым и резким, они бы его не напечатали.

И Кобзев в ответ на последний выпад "ЛГ" написал им открытое письмо, а копию послал в Политбюро. В нем Игорь превзошел самого себя: письмо (статья), убийственное по своей партийной убежденности. Образец гражданской публицистики. Я восхищен им. Это в десять раз сильнее, чем его статья в "Сов. России" обо мне. Битва продолжается и, кажется, достигла накала, того самого предела, за которым следует какая-то разрядка.

Какая? - вот вопрос.

Будем надеяться. Я на работу не иду, отпала необходимость. (К Первомаю меня порадовали. Но молчу. По крайней мере, заключили авансовый договор). А это, братец, симптом. В Май я выпил сто граммов за здоровье Человека, перед которым преклоняюсь и которым нельзя не восхищаться. Есть же на свете настоящие ленинцы!

Напиши Игорю (Калинина, 16). Наде привет и поздравление. Выше голову. Помни, что ты стоишь на переднем крае самой жестокой Великой Отечественной Идеологической войны.

1972 май И. Шевцов»

(Настоящим ленинцем Шевцов называет Дмитрия Степановича Полянского, члена Политбюро ЦК КПСС).

Вернулся на работу, отпустил на отдых Блинова.

Из планового отдела принесли на подпись тематический план будущего года. В нем уже было больше трехсот позиций. Под ним стояли все подписи, кроме главного редактора и директора.

- Оставьте, я посмотрю.

- Сегодня надо везти в Комитет. Директор просит подписать немедленно.

- Оставьте. Такой документ мне не хотелось бы подписывать вслепую.

В плане была заложена вопиющая несправедливость: процент москвичей приближался к сорока - в два раза больше нормы, определенной правительством. Это - по количеству позиций, но есть еще количество листов-оттисков - полиграфический термин, который следует разъяснить. Если коротко и популярно, то секрет тут в следующем: объем книги бывает разный: семь авторских листов, а бывает и сорок семь. Книгу и авторские листы можно отпечатать тиражом в пятнадцать тысяч, а можно его довести и до ста пятидесяти тысяч и больше. Поэтому в издательском и типографском мире принята единица измерения: листы-оттиски. Тут уж ошибки не будет. Сразу понятны и количество бумаги, и все другие материальные затраты, и машинное время, и ресурсы, и человеко-часы... Если говорить проще, то книги москвичей планировались объемные, материалы для них отпускались дорогие, прочные, красивые, тиражи им назначались большие - втрое, вчетверо больше среднеиздательских. И если сложить все эти показатели по книгам столичных и провинциальных писателей, расшифровать все хитрости Прокушева, Дрожжева, Вагина, Анчишкина и всех редакторов-евреев, то получалась примерно следующая картина: фифти-фифти, половина-наполовину. Российских писателей безбожно обкрадывали.

Через час-другой зашел Прокушев. Смотрел куда-то поверх меня, голова дергалась, в голосе - нетерпение.

- Подписал? Давай, повезу в Комитет. И в Совмин РСФСР, и в Союз писателей... Надоели! А что делать? Ото всех надо добро получить. Три полиграфические фабрики на нас работают, теперь еще Калининский комбинат надо выбить, а Дрожжев в Харьков поехал, и там для нас мощности выделяют.

- Это все хорошо, Юрий Львович, но тематический план года - такой важный документ, что его главный редактор должен подписывать. Тут ведь вся наша стратегия и все понимание задач, поставленных перед нами правительством.

- Иван Владимирович! Вы что-то стали выражаться длинно и высокими словами. Не замечал раньше за вами. План как план, рукописи отбирали, одобряли в редакциях - там сидят ваши подчиненные, вы их воспитываете, ими руководите...

- Вы, Юрий Львович, тоже говорите высокими словами: да, в редакциях сидят мои подчиненные, но там немало и редакторов, которых вы приняли без моего ведома и без ведома главного редактора. Они, эти ваши кадры, по-видимому, очень любят Москву, московских авторов,- вот им-то мы и обязаны тем, что план составлен в нарушение норм Конституции и постановления правительства о нашем издательстве.

- Позвольте! Уж и Конституция нарушена!

- Да, представьте себе. Москва - столица России и Советского государства - город русский, а давайте-ка разберем наших авторов-москвичей по национальному признаку. Фамилии - да, русские, а на самом деле...

- Ну, знаете!.. Может, еще кровь на исследование возьмем?

- Юрий Львович! Мы с вами не на собрании - разговор ведем начистоту. Я не желаю участвовать в обмане. И вы мне ярлыки не вешайте. Я ведь тоже могу научно квалифицировать ваши действия. Вы слишком быстро обозначили свою позицию и потащили издательство в болото московской литературной богемы. Очень жаль, что я раньше не знал вашу двойную игру - не пошел бы работать в издательство. Но если уж согласился - извольте знать мою позицию: для меня в литературе есть только литература, есть только талантливые книги, только талантливые писатели. Я сам реалист и признаю только реалистическую литературу. Никакого авангарда, никакого модерна, никаких поделок и авантюризма. А вы, между прочим, в оформлении книг эту мерзость уже пустили на страницы почти всех наших книг. Я намерен бороться не только за качество книг и интересы российских писателей, но и за качество оформления. Намерен потребовать квалифицированную комиссию и поставить этот вопрос на коллегии Комитета.

Прокушев всю эту мою тираду выслушал спокойно. Он как бы был оглушен моим натиском и только дробно покачивал головой и постреливал глазами. И после того, как я закончил, несколько минут сидел молча, нервическим подрагиванием пальцев двигал то в одну сторону, то в другую лежавший на столе план. И потом, проворчав что-то невнятное, сгреб план и вылетел из кабинета.

Я тотчас же пошел к Сорокину, рассказал ему о нашем разговоре с директором. В конце сказал:

- Ты, конечно, волен поступать как угодно, но имей в виду: если подпишешь план за главного редактора, я буду писать докладную Свиридову. А если и Свиридов возьмет вашу сторону, подниму шум на всех уровнях.

Сорокин ничего не сказал.

В тот же день Прокушев предложил ему подписать план за главного редактора, но он отказался.

Между тем из Комитета звонил заместитель председателя по издательским делам Звягин. Требовал немедленно доставить план в Комитет. Но Прокушев уехал домой. Его не могли найти и в этот день, и на завтра, и на третий день. Где он был, с кем советовался, какие планы вынашивал - неизвестно.

Впрочем, скоро его тактика обнаружилась. Он временно отступил, собрался с силами и

нанес по своим противникам удар внезапный и сильнейший.

Наши ряды дрогнули, но - устояли.

Что же это был за удар?

Андрей Дмитриевич, вернувшийся из отпуска, ничего нам не говорил, но мы знали: тематический план и он не подписал.

Прокушев вносил в план коррективы. С утра приглашал к себе Анчишкина,- кстати, как потом выяснилось, тоже сторонника москвичей,- и они втроем «выравнивали» положение в плане. Процент москвичей довели примерно до двадцати пяти, и Блинов поставил свою подпись.

У меня за спиной между тем стали возникать разговоры: может ли быть среди руководителей головного российского издательства писатель, творчество которого подвергается столь интенсивному разгрому? Как он может оценивать рукописи, учить редакторов, если сам не умеет писать и идеи его книг вредоносны?

Стороной до меня доходили слухи, что такие сомнения возникли в Союзе писателей и в Совете Министров РСФСР,- там будто бы высказывает мне недоверие сам Качемасов,- но, главное, мною, как писателем, весьма недовольны в ЦК партии, и недовольство это высказывают первые лица из идеологического аппарата - Яковлев, Зимянин, Беляев.

Говорили также, что Свиридов и особенно Карелин меня защищают.

Незадолго до этого критической атаке были подвергнуты произведения Михаила Алексева,- он был главным редактором журнала «Москва». Целенаправленно разносили других редакторов - тех, кто держал оборону против леваков. Свиридов, отстаивая нас, говорил: систематической травле подвергались и Горький, и Алексей Толстой, и Шолохов, а уж о Есенине и Маяковском и говорить нечего. Стихи Безыменского, Багрицкого, Светлова «Правда» печатала беспрерывно, а Есенина при его жизни не опубликовала ни строчки. Так что же из этого следует? Да если статья критика - повод для снятия с работы главного редактора, где же мы их наберем, главных редакторов?

Атака постепенно захлебнулась, меня оставили в покое, но вдруг в ЦК вызвали Блинова. Прокушев поставил вопрос перед самой высокой инстанцией таким образом: «Я не могу доверять Блинову, он болен, не может читать каждую выходящую в свет книгу,- прошу отстранить его от должности».

На короткое совещание собрались высшие чины идеологического аппарата, пригласили Свиридова, Прокушева, Блинова. И там Прокушев демонстрировал какие-то серьезные ошибки, которые при подписании к печати не заметил Блинов. «Значит, он не читает того, что подписывает. Может ли директор доверять Блинову? Или я, или он».

Так нам рассказывали об этом совещании, говорили о благородной позиции Свиридова,- он будто бы защищал Блинова и нападал на Прокушева, но... Чины знали, чего они хотели. Прокушев им был нужен.

Блинов из ЦК поехал на дачу.

Я в тот же день по пути в Семхоз заехал в Абрамцево. Блинов как-то смущенно и грустно улыбался, он еще не верил в реальность происшедшего. И действительно, человек, который был отцом большого коллектива, создателем издательства и многих замечательных серий, который всех научил и поставил на ноги - обучил и самого Прокушева, один доподлинно знавший издательское дело и безошибочно судивший о любой рукописи, о любом писателе, знавший изнутри живой литературный процесс и не только российский,- этот-то человек вдруг одним ударом выбивается из седла.

Всем стало ясно: за Прокушевым стоят влиятельные силы. За ним Качемасов, Михалков, Яковлев, Зимянин... Его поддерживают в Союзе писателей Марков, Бондарев. Он, Прокушев, опирается на Брежнева, Суслова. И как-то вдруг прояснились все они сами, столпы нашего Отечества. Стало вдруг понятно, что «Литературную газету» редактирует еврей Чаковский, «Юность» - еврей Полевой, во главе Союза писателей СССР - Георгий Марков - человек незаметный, ничем себя не проявивший, а в Российском союзе - Сергей Михалков, Юрий Бондарев. На словах кричат о русском, а поддерживают евреев.

Книг Михалкова мы не знали, но зато слышали о нем анекдот:

- Сережа,- говорят ему,- а ведь гимн-то вы с Эль Регистаном написали неважный. Одна риторика в нем, да лозунги.

- А это не ва-а-а-жно. Когда его и-и-исполнять будут, вы встанете и ша-ша-шапки снимете.

Одним словом, осиротев, мы вдруг повзрослели на целую голову. Ко мне стали чаще заходить редакторы, заведующие редакциями, их замы. Я лучше узнавал их, видел, кто и чем дышит. Многие недвусмысленно предлагали поддержку, просили крепиться - не поддаваться Прокушеву, Михалкову, Бондареву, Качемасову.

Сильно повзрослели и закипели стремлением ужесточить русскую патриотическую позицию Валентин Сорокин и Юрий Панкратов. Панкратова мы подтягивали в главную редакцию, потому что вдвоем с Сорокиным с потоком рукописей и многообразных дел не справлялись.

Интересная метаморфоза произошла у меня во взглядах на Прокушева. Я перестал воспринимать его как обыкновенного человека, коллегу, товарища, и перестал возмущаться его действиями. Мне стало легче с ним. Он меня теперь не волновал и не раздражал. «Он - боец,- подумал я,- леваки, авангардисты, москвичи, просионистские круги - это его среда, они его заслали в издательство, и он им служит. Вот он нанес удар - выбил из нашей стаи главного бойца. Сумел, значит, изловчился, нашел силы. А мы - нет, не можем. Вон Анчишкин - он мой подчиненный, а я его терплю, даю волю, свободу - рохля я и кисель! А ведь на фронте был, на самолетах летал, потом батареей командовал. И вроде бы неплохо воевал. Наша батарея больше всех в полку вражеской техники уничтожила, ордена за то мне дали. А Прокушев?... В горькоме комсомола сидел, порошу не нюхал! А вот поди ж ты - в этой войне бьет нас. И Блинов - фронтовик, и писатель какой! Чета ли ему Прокушев? А и с Блиновым сладил».

Думы эти были теперь беспрерывными, и - странное дело! - ни голова от них не болела, ни сердце, а силы прибавлялись. Крепло желание драться, побеждать и, наконец, положить на лопатки яковлево-михалковскую шайку.

Успехи противника распаляли ярость, я желал теперь одного - Победы, пусть на одном, нашем участке, но - победы.

В дни отдыха приходил к Фирсову, Шевцову, Кобзеву,- здесь всюду живо обсуждали драматический эпизод в «Современнике», задавали вопросы, что за человек Прокушев, как он смог так скоро, без видимого повода добиться смещения Андрея Блинова.

И всякий разговор кончался словами: «Очередь за тобой, они теперь на тебя поведут атаку».

Кто-нибудь, бывало, скажет:

- Иван! Не сдавайся! Ты же на фронте летчиком был.

Летчиком-то я был немного, а вот в артиллерии...

И невольно вспоминал, как ночами, в дождь, метель - в любую непогоду - шел я и ехал с батареей по дорогам войны - от Валуек до Будапешта; и как в любой час, ночью, днем ли - мы попадали под огонь самолетов, или танков, а то и пехоты, и как пушкари наши с непостижимой скоростью разворачивали орудия, и так мы палили, так бились, аж небу было жарко. И ни разу не дрогнули, не отступили. А здесь...

Так думал я, возвращаясь домой и вспоминая напутствия друзей: «Не сдавайся, держись!»

В Семхозе между тем по-прежнему писали и как-то ухитрялись еще печататься, хотя и жаловались, что в издательствах все больше теперь евреев и русским писателям перекрывают кислород.

Как раз в то время в издательстве «Молодая гвардия» директор Валерий Ганичев выпустил книгу белорусского ученого Владимира Бегуна «Ползучая контрреволюция» - о том, как сионисты во всем мире рвутся к власти, осуществляя свою библейскую мечту к 2000-му году завоевать весь мир. Прозрачные намеки делались в этой книге и на положение

в нашей стране: Россию сионисты избрали своей главной целью.

Ганичев издал книгу большим тиражом, затем переиздал ее еще большим. За эту свою патриотическую акцию он поплатился креслом директора: его вначале, будто повышая, назначили главным редактором «Комсомольской правды», а вскоре столкнули в «Гослитиздат» чуть ли не на рядовую должность - редактором «Роман-газеты». Силы, свалившие Блинова, не дремали!

Были в Семхозе и перемены: Фирсова назначили главным редактором советско-болгарского журнала «Дружба», по соседству со мной купил дачу Валентин Сорокин и почти в то же время поблизости от нас поселился Иван Акулов. Теперь в нашем крыле обосновалась целая семья,- не скажу, что дружная,- литераторов: еще раньше Сорокина и тоже поблизости от меня приобрел дом военный писатель, мой давний товарищ Николай Камбулов, а на задах поселился Сергей Высоцкий, бывший тогда заместителем главного редактора «Огонька».

И еще усиливалась старая тенденция - пили в Семхозе все больше и больше. Пили так же дружно и упорно, как писатели в Челябинске и Донецке, только с каким-то иным вдохновенным пристрастием, с самодовольным и агрессивным убеждением в правоте этого ведущего в пропасть занятия.

Камбулов пил вместе с женой Мариной, и, если я случайно заглядывал к ним в час обеда, у них на столе стояла неизменная бутылка водки. Предлагали мне стаканчик, обижались на мой отказ, называли ханжой, ломакой и утверждали, что я пью больше, чем они, но только втайне ото всех и даже от своей жены.

Им вторил Фирсов: «Да, он тихо всасывает... под одеялом».

Фирсов, Шевцов, Сорокин, Акулов, Камбулов пили все больше и писали все меньше. Обыкновенно писатели, если они ведут здоровый образ жизни - Лев Толстой, Гончаров, Достоевский, Бернард Шоу, Гёте - с возрастом писали все лучше. Толстой на склоне лет хлопнул дверью, как сказал Куприн, то есть создал супергениальную повесть «Хаджи Мурат». И это естественно, потому что знания и опыт жизни прибавляются, профессиональное мастерство крепнет... И совсем иначе обстоит дело с пьющими писателями. Талант их слабеет пропорционально выпитому. Перо как бы валится из рук - язык становится вялым и многословным, мысли тускнеют, блеска в описаниях природы, в обрисовке лиц, характеров уже как не бывало. Все это я заметил и у Шевцова, и у Фирсова - особенно в поэме о Шолохове; у Сорокина - в поэме о Пушкине и затем - о Жукове. Камбулов и Акулов незадолго до смерти - кстати, преждевременной - и совсем выронили перо из рук.

Если сабля в руке бойца должна с легкостью взлетать над головой врага и со свистом рассекал воздух, то и перо литератора должно бегать по листам с неменьшей резвостью и силой. Алкоголь, как мы теперь знаем, поражает, прежде всего, мозг, потому и следует считать его самым коварным и опасным врагом творческого человека. Кстати, на протяжении столетий алкоголь предметно и убедительно демонстрирует нам это свое ужасное свойство.

Начинавшаяся для меня особо ответственная полоса жизни вынуждала соблюдать постоянную трезвость. Я в это время уже почти совсем не пил спиртного и, если все-таки случалось приложиться к рюмке, то выпивал самую малость.

Позже я сделаю для себя вывод, и это будет моим несомненным достижением и самым красивым жизненным актом. Я установлю для себя сухой закон, стану абсолютным трезвенником и приложу немало усилий к развернувшейся в 80-х годах борьбе за трезвость.

Я напишу большой очерк «Тайны трезвого человека», и его опубликует журнал «Наш современник». Это рассказ о ленинградском ученом Геннадии Андреевиче Шичко и его методе отрезвления людей, ставшем ныне могучим оружием в руках русского и иных народов. А в 1991 году в Петербурге выйдет моя книга о Геннадии Шичко.

Сейчас в стране по методу Г. Шичко работают тысячи инструкторов-отрезвителей, созданы кооперативы, методические центры, ассоциации... Спасительное для народа

движение растет и ширится. Появилась реальная надежда, что народ вырвется из этой самой главной, коварно подкравшейся к нему катастрофы. То, что должны были сделать Коммунистическая партия и наше правительство, сделает сам народ при помощи удивительно простого и гениального метода безлекарственного отрезвления людей, разработанного ленинградским ученым.

Однако в то время у меня были свои задачи: как бы удержать «Современник» от сползания в сторону от русской литературы, от российских писателей.

К тому времени мы выходили на полную мощность - планировали на очередной год больше трехсот позиций и более тысячи рукописей отобрали для изданий в ближайшие годы. Мы с Сорокиным, не сговариваясь, стали «туже» завязывать узлы отношений с авторами: рассылали письма с уведомлением об одобрении их рукописей, выплачивали авансы. Делали мы это на случай, если и нас одного за другим постигнет судьба Блинова.

Прокушев все время где-то пропадал. Я работал главным редактором, и на то был приказ председателя Госкомиздата, но в ЦК сидел Яковлев - он меня не утверждал.

Доходили слухи, что директор ищет главного редактора, назывались даже имена претендентов - все с левого берега, из-под крылышка Михалкова, Чаковского. В издательстве тотчас же накалялись страсти - коллектив напоминал улей, к которому близко подходил пьяный человек; пчелы очень не любят этого.

Приезжал Прокушев, и его обступали редакторы - из русских, конечно, которых в издательстве было процентов восемьдесят. Спрашивали, недоумевали, возмущались. Директор поднимал руки:

- Да что вы в самом деле! Я эту фамилию первый раз слышу.

Видимо, понимал, что непросто будет притащить своего человека. Нужен был серьезный писатель и непременно русский. Я же в своем новом положении выбрал три главных направления: первое - читать все выходящие из типографии рукописи на стадии верстки, когда книга еще не отпечатана; второе - кадры и третье - перспективные планы.

Занялся и финансами.

Пригласил начальника планового отдела, милую женщину, попросил дать мне отчет о состоянии финансов: что планировалось и что мы имеем.

Эти же вопросы задал главному бухгалтеру. И попросил коротко дать мне письменный отчет.

Зашел к заместителю директора издательства, показал оформление одной небольшой книги, сказал:

- Евгений Михайлович, вы работали директором типографии, сколько платили за такое вот оформление?

- Двести восемьдесят рублей.

- А сколько мы платим?

- Не знаю.

- Так я вам доложу: три тысячи. - И при всех заметил: - Я намерен пригласить экспертов из других издательств и из Госкомиздата, чтобы проверить правильность оплаты нашей оформительской продукции.

В тот же день из планового отдела поступила записка. В ней значилось, что от издательства ожидали больших доходов, мы уже должны были построить дом-башню первой категории на сто восемьдесят квартир, фирменный книжный магазин «Современник» и расширять само издательство, но доходов у нас нет. Почти все денежки уходят в карман художников. Мы в последнее время стали экономить на гонорарах авторам книг, то есть обкрадывали и без того бедствующих российских писателей.

На следующий день с утра я увидел в издательстве Прокушева, Вагина и Анчишкина, хотя обыкновенно они редко навещали на работу и бывали на ней по два-три часа. Тут же явились с утра - сидят в кабинете директора, совещаются.

Я понял: сунул палку в их муравейник. Заволновались. Рассказал Сорокину, Панкратову. Они обрадовались: будем жать на эту мозоль. С практическим исполнением

своих замыслов не торопился. Сказал директору:

- Завтра не приду, буду читать верстку.

Доложил Карелину: дома читаю верстку. И так каждый раз: читал внимательно, чтобы ни на чем не подловили. Работаю дома. И вдруг звонок: Свиридов! Никогда он мне не звонил - ни домой, ни в издательство. С чего бы это?

- Что делаете? - буркнул в трубку.

- Читаю верстку.

- И как?... Хорошая книга?

- Да так - средняя.

- А что значит средняя?

- Это значит, что все в ней верно, и люди хорошие, и показаны они неплохо, вполне приличный язык и даже есть места удачные, яркие, но в целом - книга «проходная». Думаю, что в литературе погоды не делает. Одним словом - средняя.

- Зачем же такие печатаете?

- А из таких книг и состоит литературный поток. Это еще хорошо, что не глупая книга, не вредная. А то ведь и такие бывают.

- Неужели у вас и такие проскакивают?

- Стараемся не давать таким хода, но в потоке рукописей всякие есть: московские писатели, как вам известно, частенько такими читателя угощают.

Свиридов помолчал с минуту, а затем спросил:

- Завтра суббота - вы где будете?

- На даче, наверное. Поеду, отдохну.

- Ну, хорошо. До свидания.

Назавтра в полдень, когда я на даче перед обедом прилег отдохнуть и крепко уснул, жена растолкала меня:

- Там, у калитки, черная «Волга», - тебя спрашивают.

Я вышел и увидел Свиридова. Пригласил в дом, но он прошел на усадьбу. Кивнув на улья, спросил:

- Живут пчелы?

- Живут, но меда дают немного. По двадцать килограммов с улья. Зато мед хороший - цветочный. Хотите, угощу?

Зашли во времянку, где у меня был оборудован небольшой летний кабинет. Николай Васильевич сел в кресло у письменного стола. Два растворенных окна - прямо перед столом и справа, в них заглядывала сирень. Из сада шел густой запах майского буйного разноцветья. Свиридов глубоко вздохнул и с тихой грустью проговорил:

- Кажется, вот здесь бы всю жизнь и прожил!

- Но у вас же есть дача?

- Есть - казенная.

Слово «казенная» произнес глухо, с едва скрытым недовольством.

Свиридов оглядел времянку.

- У тебя кто на даче?

- Жена и я - вдвоем мы.

Гость пересел на диван.

- Прилягу на часок-другой, а? Не возражаешь?

- Да что вы, Николай Васильевич.

Кинул в угол дивана подушку.

- Располагайтесь, вам никто не помешает.

Хотел закрыть окна, но Свиридов остановил:

- Не надо! Это же прекрасно - сад смотрит в окна.

Я закрыл дверь и ушел. Жена спросила:

- Кто это... приехал?

Я сказал, что это наш председатель Комитета; я с ним будто бы и не в таких

отношениях, а он... приехал.

Жена, хотя и понимала чиновную важность гостя, значения его визиту не придавала. Она лишь сказала:

- Хорошо здесь, но кормить же вас надо.

И пошла в дом накрывать стол.

Признаться, я не мог сообразить, по какой такой причине приехал ко мне председатель?

От Карелина слышал, что Николай Васильевич очень разборчив в знакомствах, что друзей у него нет, кроме художника Павла Судакова, с которым он общается по причине увлечения живописью. Карелин рассказывал, как жена Свиридова Лариса Николаевна однажды показала ему писанные маслом этюды мужа,- это были очень хорошие работы. А еще Карелин говорил, что Свиридов давно и серьезно пишет воспоминания о своем дивизионе «Катюш», но даже ему их никогда не показывал. Однажды только признался, что Много лет ломает голову над заголовком, придумал несколько, но ни один ему не нравится. Одно из названий было такое: «Залпы на рассвете». Гвардейские минометы, как правило, пускали в дело на рассвете,- грянут неожиданно по врагу, и «отбой-поход», чтобы не засекли, не накрыли ответным огнем.

И вроде бы неплохой заголовок, но ему не нравится. Я еще подумал: «Строгий автор, такой может хорошо написать». Я тоже думал над заголовком, перебрал несколько вариантов, но ни в одном не было чувства, лиричности. А теперь меня осенило: «Катюши поют на рассвете». Обрадовался, но тут же подумал: «А как же скажу ему? Мне-то он ничего не говорил о своих записках. Если сошлюсь на Карелина, выйдет, что он разболтал их секрет».

Стороной сознания бежали мысли: «Уж не хочет ли посоветоваться по поводу своих записок?» Вполне возможно, что поэтому он и жался ко мне. Он в душе литератор, и ему для общения нужен человек, близкий по делу и по духу. Дружит же он с художником Судаковым. Сам рисует и к художнику тянется.

Являлись и другие догадки. Мы с ним земляки. Смотрел мое личное дело и увидел: земляки! Почти соседи. К тому же одноклассники, и на фронте были примерно в одном положении,- наконец, он просто одинокий, ищет общения с человеком, который ничего у него не просит.

Вспомнил, как однажды зимой, в метель, он позвал меня и предложил погулять пешком. «Мало хожу,- говорил, словно оправдываясь.- На работе с восьми до восьми, сижу не разгибаясь». Шли по заснеженным улицам, пряча лицо в воротники пальто. Хотели зайти в Дом литераторов, но там у подъезда толпилось много писателей. Свиридов не хотел попадаться им на глаза. У ресторана «Арбат» нас свирепо оглядел сверкавший золотыми галунами швейцар. «Мест нет». Я предложил:

- А зайдём к Блинову. Он тут недалеко живет.

Свиридов нехотя согласился. Видно, очень хотелось выпить. Позвонили. Дверь открыл Андрей Дмитриевич.

- А-А... Иван. Проходите.

В коридоре мы разделись, прошли в указанную хозяином комнату. Дворцовая мебель, в шкафу светилась позолотой редкая, дорогая посуда. Тут Блинов узнал Свиридова.

- Николай Васильевич! Вы ли?

- Ну! А кто же?

- Вот хорошо! Я очень рад! Вы подождите, я сейчас...

И он метнулся на кухню.

На столе вмиг появилась батарея бутылок. Тут и египетский ром, и французский коньяк... А скоро и фирменная блиновская картошка подоспела. Выпили по рюмке, по второй... Блинов подступился к гостю:

- Николай Васильевич! Нам бы картона на твердые обложки прибавить, качество набора улучшить. В Туле неважно нас набирают.

Я дергаю его за штанину: «Дескать, о делах-то не надо бы...» Но Блинов тронул меня

за плечо - ты, мол, не беспокойся. И продолжал свои служебные, деловые просьбы.

Любопытно, что, когда мы очутились на улице, Свиридов ничего не сказал о назойливых просьбах Блинова.

Андрей Дмитриевич потом у меня спрашивал:

- Вы с ним приятели?

- Да нет, случайно выходили из Комитета и вот - решили зайти.

- Ладно, ладно, Иван. Молодец, что не рекламируешь дружбу свою с председателем. Но я все вижу. Я мужик вятский и всякий нужный мне предмет под землей разгляжу. Председатель - это, брат, не шутка. Я к нему только вчера на прием ходил - так меня в очередь поставили, через неделю обещали к нему пустить, а тут смотрю - сам пожаловал. Нет, это великолепно! Пусть больше дает материалов, лучшие машины...

- Но я против того, чтобы вот так, дома, за столом...

- Ах ты, наивный человек! Да за рюмкой вина все дела и делаются. На Урале работал, в Донбассе, а простых вещей не понимаешь.

Как-то мы со Свиридовым снова шли по улицам зимней Москвы, и я снова предложил зайти к Блинову. Николай Васильевич не пошел. Видимо, представил, как бы нас встретил Блинов: «Во,- скажет,- повадились!...»

И прост бывал Свиридов, и строг, и деликатен.

На этот раз он крепко спал во времянке. И проспал часа три, а когда проснулся, мы пригласили его на веранду обедать.

Обычно молчаливый и с виду нелюдимый, на этот раз был он весел, оглядывал сад, говорил:

- Раскулачивать вас надо. И Фирсова, и Шевцова! Живете как господа.- Но тут же теплел: - А вообще-то бедненько живет русский писатель. От книг Шевцова, Блинова,- а теперь и ваши книги пошли...- миллионы прибылей имеем, авторам же платим гроши. Несправедливый закон оплаты творческого труда,- по-моему, самый несправедливый в мире.

Я что-то сказал о Суслове,- он, мол, там всем заправляет.

- Суслов - да, наш Ришелье,- заметил Свиридов.- Но Брежнев... Этот еще себя покажет.- И затем тихо добавил: - Мы еще хлебнем от них.

Меня поразила степень откровенности Свиридова. Он долгое время работал в ЦК, многое знал о партийных лидерах.

Спустя год или два я сказал об этом Свиридову,- посоветовал быть осторожным.

- Не беспокойся,- ответил он.- Я вижу людей. Кажется, еще ни разу не ошибся.

Мне очень хотелось быть ему полезным. Я сказал:

- Вы служили в первом дивизионе гвардейских минометов. Хорошо бы воспоминания написать,- вроде того, как Верши-гора написал о партизанах или Медведев.

- Думал над этим. И кое-что набросал, но заголовок хорошего нет. А заголовок - первое дело для книги, можно сказать, это полкниги, а то и больше.

- Ну, какой-то nibудь есть заголовок?

- Нет, хорошего нет.

- «Катюши», кажется, били на рассвете?

- В основном - да.

- Так, может, такой подойдет заголовок: «Катюши поют на рассвете».

Свиридов задумался. Взгляд его оживился, он сказал:

- О! Это интересно. Это, кажется, то, что надо.- И дважды повторил: - «Катюши поют на рассвете». И образно, и поэтично. Спасибо. И как он мне не пришелся? Много лет ломал голову, а тут... За одну минуту.

- Заголовок - дело случайное, мне это тоже трудно дается.

На ночь Свиридов не остался. Вечером уехал. Я же, проводив его, невольно думал: «Наверное, прослышал про мои затеи в издательстве и, может быть, хотел поговорить о них, но из деликатности не стал заводить служебных бесед».

Впрочем, может быть, это и не так,- им скорее всего руководят мотивы иного толка -

желания вполне земные. Человек, как и все живое, ищет общения с себе подобными.

Проводив Свиридова, взял палку, пошел в лес. Две-три рюмки смородиновой настойки, выпитой с Николаем Васильевичем, голову не замутили, хотя слабый шум и слышался, ощущался характерный после спиртного дискомфорт. И снова возникла давно тревожившая, раздражавшая мысль о невозможности окончательно покончить с винопитием - о неодолимости заведенных в обществе нравов, которые с рождения предписывают человеку потреблять вино, этот красиво названный и наряженный в золотые одежды яд, отнимающий у человека способность ясно мыслить, творить.

К тому времени у меня уже сложился в голове роман из жизни тридцатых годов, когда я двенадцатилетним подростком пришел на Сталинградский тракторный завод, начал у станка свою трудовую жизнь, которую с тех пор не прерывал ни на один день, а если и ушел из газеты, то лишь для того, чтобы одеть хомут «вольной творческой жизни», то есть работать еще упорнее, без уверенности, что получишь за свой тяжелый литературный труд хотя бы копейку.

Двенадцатилетних на завод не принимали, но у меня была справка из сельсовета, где работал мой дядя Андрей, - он всем моим братьям и сестрам, уезжавшим на заработки в город, приписывал по два года. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, не сотвори он этого святого обмана.

Идею моего нового романа мне подал Иван Михайлович Шевцов. Я как-то рассказал ему о своем детстве, о том, как в преддверии голодного 1933 года отец велел сестре Анне - ей было семнадцать лет - и брату Федору - ему пятнадцать, ехать в Сталинград и взять с собой меня, восьмилетнего мальчика. Провожая нас в город, сказал: «В городе не дадут пропасть».

Приехали в Сталинград. Мы с братом устроились в мужском бараке, Анна - в женском. Брата приняли учеником электрика, а несколько дней спустя его ударило электрическим током высокого напряжения. В тяжелейшем состоянии он был отправлен в больницу, а меня комендант барачного поселка как щенка выбросил на улицу.

Мороз в тот день был жестокий - около сорока градусов. Я побежал вниз по улице и увидел, как прямо передо мной проваливаются куда-то мальчишки. Подбежал к ним: они ныряли в люк туннеля, по которому были проложены трубы, кабели - артерии подземных коммуникаций.

Так началась моя бездомная жизнь, из которой четыре года спустя я приду на завод.

Шевцов любил слушать мои рассказы из жизни сталинградской шпаны и как-то с завистью проговорил:

- Эх, ты! Каким материалом владеешь. Садись немедленно и пиши роман. И поменьше выдумок. Пиши о том, что видел, что хорошо знаешь.

И я стал обдумывать план нового романа. И название уже пришло - «Ледяная купель», и многие главы обрисовались. Я таскал в кармане толстые записные книжки и писал всюду, где выпадала свободная минута. Особенно много писал в электричках. Тут был и кабинет, и письменный стол, а величаво плывшие за окном картины Подмосковья да мерный стук вагонных колес создавали настроение покоя, глубокой внутренней созерцательности.

И в тот вечер пошел в лес, придумывал главы, ходы, переходы, вытягивал из дымки прошлого эпизоды, встречи, лица, картины, разговоры. Полностью сосредоточиться я все-таки не мог. Являлись мысли и о визите Свиридова. Большая это была неожиданность. Что-то он, наверное, хотел мне сказать?

На следующий день, как обычно, в десять часов я пришел на работу. В коридоре встретил Вагина и Анчишкина. Они поздоровались со мной преувеличенно вежливо. Секретарша, завидев меня, пригласила к директору,

- Ты где сидишь? - поднялся навстречу Прокушев.

- У себя, а где же мне сидеть?

Вышел из-за стола, взял за руку, повел в кабинет главного редактора.

- Сиди здесь.

- Не люблю в чужом кресле и в чужом кабинете. Нехорошая примета.
- Ты назначен. Сиди по праву. И мне будет удобнее. Звонки разные, начальство высокое - они все больше главному звонят.
- Сейчас на меня переключились.
- Ну, хорошо. Я прошу. Я, наконец, настаиваю. Назначен же! Есть приказ председателя.
- Хорошо. Переберусь.

Сел в кресло главного редактора, но знал: меня Прокушев не хотел бы видеть в этой роли. С прохладцей относились ко мне и его покровители. Иные при встречах не подавали руки, демонстрировали откровенную враждебность.

Знал я и главный тактический прием Михалковых-качемасовых: всех «постылых», не прирученных, держать в неопределенном, подвешенном состоянии. Всякому редактору, которого мы приглашали на работу, директор в приказе назначал испытательный срок, затем надолго продлевал его. Так он поступил и с заведующим редакцией критики Вячеславом Горбачевым. Когда я в свое время требовал утвердить его в этой должности, Прокушев согласно кивал, но с приказом не торопился.

Я для себя не хотел какого-то ложного, двойственного положения, - обязанности главного редактора на мне лежали и по закону, и я хотел бы оставаться в своем кабинете, тем более что там были многие мои служебные связи, туда же звонили друзья, близкие люди, - однако уступил просьбам директора.

Он со мной ни о чем не заговаривал, тут же ушел в свой кабинет, но по лицу его и по особенно беспокойным глазам уловил сильную тревогу. Молнией пронзила мысль: «Не был ли связан приезд Свиридова на дачу с моим нажимом на художников?» Позвонил Карелину.

- Прокушев пересадил меня в кабинет главного, звоните сюда. А еще спросил о здоровье, о настроении - нет ли в Комитете какого неудовольствия нами?

Карелин заверил, что «неудовольствий» нет, все бумаги от нас поступают вовремя, и план на следующий год утвердили. Слова говорил хорошие, но в его голосе я уловил едва скрытые тревожные нотки.

- Что там у вас с художниками? - спросил Карелин.

- Пока ничего не могу сказать определенного, но меня смущает отсутствие прибылей в издательстве. Вы ведь знаете, издание книг - одно из самых прибыльных дел в нашем государстве. Мы по всем расчетам должны были уж построить дом-башню для работников издательства, Комитета, Союза писателей... И фирменный магазин «Современник» тоже за нами. А где они?... Мы и одного миллиона не можем выделить на эти стройки. На литературных гонорарах стали экономить, в карман писателей лезем. А писатель российский по нашим расчетам имеет в среднем сто тридцать рублей в месяц - меньше уборщицы. Вот какие пироги, дорогой Петр Александрович!

Хитрый, как лис, и всезнающий ПАК некоторое время молчал. Затем доверительно, тоном назидания и плохо скрытой укоризны заметил:

- Художники - это болото, их трудно схватить за руку. Боюсь, что кроме ненужного шума из этого ничего не выйдет.

- Но Михайлова, главный художник Комитета, наконец, Звягин, заместитель председателя - они, надеюсь, люди государственные...

- Да, да,- перебил Карелин,- люди они важные, оба они Вагина председателю предлагали. Недавно коллегия была. И Михайлова, и Звягин сильно хвалили постановку оформительского дела в «Современнике», Вагина к премии представляют.

Я молчал. Молчал и Карелин. Наконец он сказал:

- Ты, конечно, поступай согласно совести и законам, но будь осторожен и каждый шаг взвешивай.

Из этого разговора я понял, что все то же мне мог сказать и Свиридов, что в Комитете не хотят большого шума вокруг «Современника». Им хватило волнения в кругах литераторов, возникшего от смещения с должности Блинова, а если еще вскроются финансовые злоупотребления - шум, как девятый вал, вздыбится еще выше. Люди, которые

еще вчера смотрели на меня с уважением и даже дружеской симпатией, теперь насторожены и воспринимают меня как человека незрелого, способного выкинуть какой-нибудь рискованный номер.

Напряженная тишина царила в издательстве: все уже знали, что издательство сидит на финансовой мели, что я намерен вызвать комиссию, навожу справки о законности выплат художникам-оформителям. Их у нас сто пятьдесят, гонорары получают многотысячные.

Никаких других действий я пока не предпринимал, но и этих оказалось довольно, чтобы ввергнуть весь коллектив, особенно лиц, ответственных за финансы, в состояние шока.

В полдень в издательстве появился Сорокин - с видом растерянным, с нездоровыми складками под глазами. «Вчера сильно выпил!» - подумал я, но сделал вид, что ни о чем не догадываюсь.

Пошли на обед,- теперь мы ходили с ним вдвоем. И у нас не было друг от друга секретов.

- Что с художниками? Ты вызываешь комиссию?

- Пока еще не решил, а надо бы.

- Не решил, а они в панике. Один уж подал заявление. Вагин бледный, дрожит как осиновый лист. И Прокушева как подменили. Сидит, словно истукан восточный, улыбается, а чему - неизвестно.

- Неужели и Прокушев - замешан?

- Не думаю, конечно, но ведь каша-то какая заварится! Трясти начнут, а там везде его подписи.

- Трясти вряд ли будут.

- Как? Ты же комиссию вызовешь. Нет, ты назад не пьтсья. Замахнулся - так бей! Ты отступишься, я эту кучу разворошу. Сегодня же Чукрееву скажу. Он у нас председатель народного контроля. Мы и свою комиссию назначим.

Вечером ко мне зашел Сорокин - мрачный.

- Ты чего? Недоволен чем?

- Ванцетий-то Чукреев каков?.. Ты, говорит, Валя, в эту историю меня не путай. Я не хочу. Вы без меня как-нибудь.

- Успокойся, Валентин, такую позицию займет не один только Чукреев. У нас теперь много таких. Для них своя рубашка ближе к телу. Давно заметил: таких-то становится все больше. Характер наш знаменитый, русский, испытание на прочность проходит. У многих дает трещину.

- Чукреев - не русский.

- Это неважно. Ты только завари кашу с художниками - многие русские от нас отвернутся.

- Меня ничто не остановит! Это чудовищно - перекачать все деньги в карман прохиндеев. Вон по моей редакции Есенин в подарочном виде издан. Рисунки - мерзость какая-то! Братя Траугот оформляли. Гонорар им выписан - семь тысяч рублей! Да я семь тысяч-то за два поэтических сборника получаю. А у меня их через год, а то и через два печатают. Не буду я этого терпеть. Позову экспертов.

- Ладно, Валентин, уймись. Операцию с художниками мы, конечно, проведем с тобой, но горячку пороть не следует. Надо хорошенько изучить дело. Голыми руками их не возьмешь.

Домой мы шли втроем - с нами был Юрий Панкратов. Он, как и Сорокин, горячо поддерживал идею навести порядок с оплатой труда художников.

Ванцетий Иванович Чукреев заведовал редакцией национальных литератур, выпускавшей примерно тридцать процентов от всех наших книг. Человек пожилой, молчаливый, он порядочно вел дела, был тих и скромен.

В связи с проблемой художников он зашел ко мне, стал отговаривать от каких-либо решительных действий.

- По крайней мере,- говорил он,- меня от этих дел увольте. Я хотя и председатель группы народного контроля и во всяком другом деле готов оказать помощь, но художники...

Я спросил:

- А почему вы боитесь художников?

Чукреев долго и внимательно разглядывал меня, и взгляд его прищуренных хитроватых глаз говорил: «Ты что, мил человек, не понимаешь, чем тут пахнет? За ними - сила! Шевельнет эта сила пальцем, и от тебя мокрого места не останется».

Этот восточный человек долгое время работал в аппарате Союза писателей, знал многие тайные пружины, скрытые ходы и выходы и сейчас взглядом своим, мимикой высмеивал мою наивность. Но мне-то казалось тогда, и я не разуверился в своих убеждениях и теперь, что самая выгодная позиция - это позиция бойца, самая безопасная тактика - тактика наступления и даже атаки, штурма. Во время войны я не был большим командиром, не знал ни штабов, ни генералов - там, может быть, немало встречалось умников, подобных Чукрееву. У нас же на батарее умничать не приходилось. Нам надо было вовремя развернуться и как можно быстрее ударить первыми. В ходу была поговорка: побеждает тот, кто наступает.

А в жизни? Не те ли законы управляют нашими судьбами?

Очень скоро я доподлинно знал: новой бузы в «Современнике» никто из моих начальников - ни Карелин, ни Свиридов - не хотел. Я очень дорожил их добрым ко мне отношением. Свиридов, кроме того, начинал мне нравиться. Нравился его сильный, глубокий ум, мудрость государственного человека, какая-то врожденная интеллигентность. Он был прост и деликатен,- казалось мне, во всех деталях понимал ситуацию с художниками, знал, как она может ему повредить, но в то же время не позволял себе побуждать меня идти против совести.

- Вы, может быть, не знаете, под кем мы ходим? - спросил меня Чукреев.

- Да, конечно, я в литературных сферах человек новый,- прозрачно намекал я на осведомленность собеседника.- Но я знаю, что единственно правильная политика - принципиальная политика. И не хотел бы для себя душевного дискомфорта; ведь если я вижу преступление и пройду мимо, даже не подав людям сигнала тревоги, я потеряю покой. Меня будут терзать угрызения совести. Вы же знаете классическую мудрость: бойся равнодушных. При их молчаливом согласии тебя и обманут, и предадут, и убьют.

- Да, я эту мудрость знаю, но она не подходит к нашему обществу. Нас уже давно и обманули, и предали. Осталось последнее - лишиться жизни. Представляю человека, который в сорок пять лет вздумает пойти против заведенных порядков. Ему укажут на дверь, и тогда с ним случится третье действие: он останется без хлеба.

- Да, Ванцетий Иванович, ваша философия мрачновата. Спасибо за урок. Вразумили. И хорошо, что вы не встретились мне в пору, когда я работал в газете. Проникшись вашей мудростью, спрятал бы перо подальше. А я-то, неразумный, лез в драку, корчевал лиходеев - лишь чудом не свернул себе шею. Ну, ладно, еще раз спасибо за совет.

И когда Чукреев выходил из кабинета и уже взялся за ручку двери, я остановил его:

- К сожалению, не читал ваших книг. Принесли бы что-нибудь.

Мудрый человек с таким многозначительным именем - очевидно, от Сакко и Ванцетти - постоял у двери, потом улыбнулся и вышел.

Книг своих он не принес, а я не удосужился поискать их в библиотеках, но и сейчас меня занимает вопрос: о чем он писал в своих книгах? И вообще: какие мысли и чувства несут людям такие писатели? А ведь их много было в нашей литературе и, конечно же, еще больше развелось теперь, таких мудрых, всезнающих мужичков, которых трудно обмануть, предать и еще труднее оставить без куска хлеба.

В тот же день после обеда зашел я в редакцию русской прозы. Спросил Анчишкина - у него тоже имечко: тут тебе сразу и Владимир, и Ленин. Это как у нас в «Известиях» был Мэлор Стурау, у того в имени еще больше значений: и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Октябрьская революция. Но человек был на редкость пустой и ненадежный.

Владлена Анчишкина в редакции не было.

- Он дома. Читает.

Кто-то сказал:

- Его с полмесяца не видно.

Позвонил ему домой.

- Его нет дома. Давно уж нет, недели две.

Табель в редакции вел младший редактор Маркус. Я попросил его взять табель и прийти ко мне.

С Маркусом произошел такой разговор:

- Сколько дней не было в редакции Анчишкина?

- Четырнадцать.

- А почему в табеле вы ставите отметку «был»?

Маркус замялся.

- Он так просил.

- Но вы же обманываете - меня, бухгалтерию, государство.

Позвонил в бухгалтерию.

- Вы начислили зарплату Анчишкину за последние полмесяца?

- Да, конечно. Он уже получил. Приходила какая-то женщина с доверенностью, и мы выплатили.

- А знаете ли вы, что он полмесяца не был на работе?

- Нет, этого мы не знаем.

Я положил трубку, сказал Маркусу:

- Вот видите - вы обманули и бухгалтерию.

- Я виноват. Что же мне делать?

- Садитесь. И коротко напишите мне докладную.

Я положил ее в портфель и никому ничего не сказал. Назавтра утром пригласил главного бухгалтера, спросил, как же это такой точный и строгий финансовый орган, как наша бухгалтерия, платит человеку зарплату, которую тот не заработал?

- Его отпускал директор.

- Директор? Вам так сказал Юрий Львович?

- Да, сказал.

- Но у Анчишкина есть непосредственный начальник - это заместитель главного редактора, и есть прямой начальник - главный редактор. Я сейчас в двух этих лицах и, представьте, о причинах отсутствия Анчишкина ничего не знаю. Но если бы и я, и директор отпустили Анчишкина, то не на две же недели! Вы в таком случае, как я понимаю, должны потребовать приказ, распоряжение.

- Да, Иван Владимирович, вы правы. Тут явное нарушение.

- Поправьте.

- А как?

- Не знаю. Дела денежные, деликатные. Вам лучше знать, как их вести.

Я отпустил главного бухгалтера, а через два часа она мне позвонила:

- Анчишкин сдал деньги. Все в порядке.

И тут же зашел Анчишкин.

В минуту я передумал все: Анчишкин - главное колесо в прокушевской машине. Работник никакой, по несколько дней не бывает в редакции. Знает одно: натаскивать в план москвичей. И, как правило, только еврейской национальности. Таких людей на пушечный выстрел нельзя допускать к книжному делу, а он руководит огромной редакцией - полтора ста книг в год!

И еще подумал: «Они не пожалели Блинова, фронтовика, командира пехотного батальона, инвалида войны, а во мне копошится жалость. Такие мы, русские люди!»

- Вас не было в редакции четырнадцать дней.

- Читал верстки, рукописи.

- Я вас не отпускал.

- Меня отпускал директор.

Посмотрел Анчишкину в глаза, он дрогнул, опустил голову.

- Пишите заявление с просьбой освободить вас по собственному желанию.

- Да вы что?.. Кто вам дал право решать такие вопросы без директора?

Анчишкин встал. Высокий, сутулый - оступил на несколько шагов, точно уклоняясь от удара; растерянно стоял, не зная, что делать.

- Пишите заявление, иначе доложу в Комитет, добьюсь увольнения за прогул и запишу в трудовую книжку.

- Иван, ты что, серьезно? Какая тебя муха укусила?.. Кто же так поступает со своими товарищами?

- Вы прогуляли четырнадцать дней. Вот докладная Маркуса. И вы сдали в бухгалтерию деньги, признав тем самым факт своего прогула. Пишите заявление или я вас уволю за прогул.

- Но главный редактор не пишет приказов.

- Главный редактор пишет распоряжения. Наконец, я вправе лишить вас доверия, и тогда ваши подписи ничего не будут значить.

Анчишкин раскрыл рот от изумления, глотнул воздух и выбежал из кабинета.

Директора не было, Анчишкин пожаловался Сорокину, и тот вместе с Панкратовым зашел ко мне.

- Что с Анчишкиным?

- Прогулял. Четырнадцать дней.

- И что?

- А что бы ты сделал?

- Уволил бы... в два счета.

- Ну, положим, в два счета, может, не удастся, а уволить по собственному желанию - попробую.

- М-да-а...-тянул Сорокин.- Вот если бы удалось вытолкнуть такого удава.

Вошел Прокушев. Бросил портфель на приставной стол, развел руками:

- Не понимаю, что тут происходит?

И тотчас же, вслед за ним, без стука и разрешения, влетел Анчишкин.

Прокушев визгливым, почти женским голосом велел секретарше позвать Горбачева. Он был секретарем партийного бюро.

- Братцы! - взмахнул руками директор. - Что происходит?.. Нет, вы посмотрите, Анчишкина увольняет. Да Анчишкина, если бы мы захотели все вместе, и тогда бы уволить не могли. Да он же в номенклатуре! Да его только председатель Комитета, и то с согласия коллегии, отстранить может.

- А я его и не отстраняю - он сам уходит.

- Я ухожу! - вскочил Анчишкин.- Ну уж извините - я вам этого подарка не сделаю.

- А как быть с прогулами? Четырнадцать дней все-таки. Вы сами расписались - сдали деньги в бухгалтерию. Наконец, вон... докладная Маркуса у меня - две недели не был на работе, а его заставил отмечать в табеле.

- Меня отпускали.

- Я вас не отпускал, а директор... Он, во-первых, должен был меня уведомить, а во-вторых, на день, на два может отпустить. Если же все-таки вам предоставили отпуск, моя резолюция должна быть.

Анчишкин сел в угол дивана и то пожимал плечами, то руками всплескивал. Прокушев не знал, куда себя деть: он то присаживался к краю стола, то принимался ходить по комнате. Горбачев вышел, а Сорокин и Панкратов то выходили из кабинета, то приходили. Они были взволнованы, втайне, конечно, держали мою сторону, но молчали. Директор приблизился ко мне:

- Иван Владимирович, ты что - серьезно что ли?

- Вполне серьезно.
- Как понимать - месть за Блинова?
- Как хотите, так и понимайте.
- Да это антисемитизм! Он же юдофоб! - вскричал Анчишкин.
- Вы человек русский, я - русский. Где же вы нашли тут антисемитизм?
- Да нет, что с ним говорить! - обращался Анчишкин к директору.- Он же из старой гвардии. Так при Сталине людей ломали.

- Почему при Сталине? Совсем недавно вот из этого кресла вы Блинова выкинули. Уж какой человек - не вам чета! На фронте батальоном командовал, кучу орденов заслужил и ногу потерял, а вы его... вон как крутанули. И никто никого не обвинил в русофобии. И директора нашего сталинистом не обзывали,- Юрий Львович вполне современный человек!

Потом мы с директором вдвоем остались. Потряхивая головой и поправляя воротник, будто он давил шею, Прокушев проговорил:

- Месть за Блинова все-таки?
- Не месть, а четырнадцать дней прогула.

После паузы я сказал:

- Юрий Львович, давно хотел спросить: зачем вам Анчишкин? Работник он никакой и человек нечестный: одних своячков в план тащит. Ну, если бы мы их не отваживали, не вышибали из плана - какие бы книги вы выпускали? Скажите по совести: неужели вам не жалко русского леса, труда типографских рабочих? Ведь в этих книгах ничего нет. Я каждую рукопись читаю. И вижу ваших молодцов - и его, и ваших.

- Моих? Ну-ну,- договорились. Да я о Есенине пишу, я его от рапповцев, от тех же сионистов отстоял. Не будь моих работ, вы и теперь не знали бы Есенина. Говорите, да не - заговаривайтесь. Я человек государственный, мне книга нужна, а не своячки, как вы выражаетесь.

- А дайте ваш портфель, вынимайте рукопись.

Прокушев нехотя раскрыл портфель, извлек объемистую рукопись. Это был сборник произведений известного автора, секретаря Союза писателей, еврея. И сборник состоял из всякой мелочи. В пору своей работы в какой-то городской газете этот автор писал антирелигиозные заметки, крушил попов, храмы, русских православных людей. Теперь он собрал эти заметки в отдельный том и предлагал к изданию.

- Вот она - секретарская литература. Скоро пойдет завотдельская и еще какая-нибудь. А куда же бедному российскому писателю податься? Раньше Циолковский в Калуге издавался. Теперь там издательства нет. Прикрыли. А в Москве да в Питере вот эти... ваши подопечные издаются. Так, может быть, нам и совсем прихлопнуть русскую литературу?

Вошел Анчишкин, и снова возобновилась баталия. Я сказал:

- Хорошо. Если вы не хотите кончить дело миром, я всю эту историю выношу на обсуждение коллегии Комитета. И там буду стоять насмерть. А если и там меня не поддержат, подключу органы правосудия. До Верховного суда дойду. Там, кстати, подниму и всю историю с оплатой труда художников. Все. Я свое сказал.

Поднялся и пошел домой.

На следующее утро Анчишкин принес заявление. Прокушев на работу не пришел. И мы еще долго не видели его в издательстве.

Жизнь подтверждала мое давнее наблюдение: наш противник в разгоревшейся идеологической войне прямой атаки не выдерживает.

Глава третья

Дней восемь после того директор на работе не появлялся. Рассказывали, что на квартиру к нему каждый день приезжает врач - профессор Баженов, он будто бы дает сеансы психотерапии - воспитывает волю, характер, готовит пациента к большим нервным перегрузкам. Так тренеры натаскивают спортсменов, сержанты и офицеры отрабатывают

приемы предстоящего боя.

Профессор этот, кроме того,- главный врач одной из кремлевских больниц, известный в медицинском мире человек. Вот на таком уровне шла подготовка нашего директора к будущим баталиям, которые, как я мог понять, ими заведомо планировались.

Однажды Баженов появился в издательстве, зашел ко мне. Мужчина лет пятидесяти, интеллигентный на вид, вел себя скромно, даже будто бы чего-то стеснялся. И цветом лица, глаз, волос походил на нашего директора, и так же был неспокоен, будто сзади к нему кто-то подкрадывался.

- Хотел бы вас и Валентина Сорокина видеть у себя дома,- неожиданно предложил он.- У меня маленькое торжество, был бы рад...

Я отнекивался, ссылаясь на занятость. Профессор настаивал. Несколько раз, как бы мимоходом, повторил, что он главный врач кремлевской больницы, у него связи. И если надо будет кого-нибудь из сотрудников полечить, устроить в клинику, к светилам... Я к вашим услугам.

Такая надобность в большом коллективе случается; мы недавно устраивали в больницу малолетнего сына Сорокина,- мальчика соглашались положить, а мать с ним - ни в какую! Пришлось похлопотать. А тут... «к вашим услугам».

Я согласился.

- Ну ладно, мы с Сорокиным заедем.

Записал адрес, и мы расстались.

Вечером после работы приехали по адресу. Дверь открыла молодая полнотелая девушка в необычайно короткой юбке и невообразимых клетчатых чулках. Прошли в тесный коридор, и я слышал, как за спиной звонко щелкнули замки - сразу два или три.

Прошли в комнату,- она оказалась единственной. И, кроме хозяйки, никого не было. Стол был накрыт. Стояли бутылки вина, соки.

- Садитесь, пожалуйста. Вы - здесь, а вы...

- Не беспокойтесь. Спасибо. Но где же хозяин?

- Ах, не ждите его! Он задержался на службе, просил его извинить.

Все было странно в этой квартире и никак не похоже, что здесь жил профессор. Даже не было ни одной книжной полки.

И как-то неприятно резануло это... «он задержался на службе».

Мы были голодны, и Сорокин уж взялся за графин, но я надавил под столом на его ногу, взглядом показал: «Не торопись!» А хозяйке сказал:

- Подождем хозяина.

Мне вспомнилась история, случившаяся недавно с моим приятелем, профессором Педагогического института М. Его уговорили возглавить одну очень большую киностудию. Десятки и даже сотни киносъёмочных бригад разъезжались отсюда ежегодно по городам и весям страны, по близким и дальним странам мира. Здесь находился громадный денежный пирог, из которого ловкие люди выхватывали солидные куши на свое прокормление, а точнее сказать, на обогащение. Но главными, конечно, были идеология, политика. Через объективы темных дельцов, хитроумных политиканов доверчивый славянский люд - и не только славянский! - смотрел на мир, формировал свои понятия о происходящих событиях. Здесь обделывала свои дела плотно сросшаяся, густо и широко разветвившаяся сионистская рать - на манер того, как она работает в средствах телевидения, в музыкальных и театральных центрах, на радио и телевидении всего мира.

Профессора М. направили на киностудию с задачей: запустить сюда свежие патриотические силы. И он уже приступил к делу. Назначил ревизию финансам, сам отсматривал фильмы - и те, что уже вышли на экран, и те, что предлагались к сдаче.

Проработал несколько дней. С рассвета приступал к делам, затемно уезжал домой. Однажды, выйдя из подъезда студии, увидел падающую девушку. «Мне плохо», - проговорила она. Профессор затащил ее к себе в машину, повез в ближайший медицинский пункт. Она спросила: «Куда вы меня везете?» - «К врачу», - ответил профессор. «Не надо.

Пожалуйста, отвезите меня домой. Это недалеко». Профессор привез ее домой, помог войти в квартиру. Девушка жила одна. Сказала, что работает в студии ассистентом режиссера. Очень рада, что М. стал у них директором.

Все это она рассказала потом сотрудникам студии. И дальше сказала, что в квартире «оклемалась», накрыла стол. Оба изрядно выпили, - ну, и потом...

Она вызвала скорую помощь. Профессора нашли в постели мертвым.

Я хорошо знал М. У него училась моя дочь Светлана. Ему было сорок пять лет. Его никогда не видели пьяным. Не жаловался он и на здоровье.

Вспомнилась и другая история. От нее еще не успели остыть москвичи - то ли быть, то ли легенда.

В то время в техническом мире вдруг засияла звезда первой величины - молодой ученый, делавший большие успехи в разработке лазерного оружия. Его назначили директором института. Жена стала опасаться за его жизнь - всюду, где можно было, сопровождала его. Однажды они поехали в Министерство. Муж вошел в здание, жена с шофером остались в автомобиле. Муж вскоре вернулся, сел в машину, и в этот момент из дверей Министерства выбежал парень, замахал пакетом.

- Вам забыла передать секретарь министра.

Ученый взял пакет, и они поехали. На ходу стал раскрывать его - раздался взрыв. Муж и жена были убиты, шофер тяжело ранен, но и он скончался в больнице.

Истории страшные, они и теперь не выходят из головы, и тогда вдруг мне припомнились. Не могу сказать, что и нам готовилось нечто подобное, но и хозяйка квартиры, и поведение хозяина, пригласившего нас к себе на торжество, и сама квартира мне казались подозрительными: я видел тут какую-то плохо замаскированную операцию.

Чтобы не возбуждать подозрений, откупорил бутылку минеральной воды, разорвал пакет с печеньем, кивнул Сорокину: «Мол, это ешь, это можно».

Сорокин сидел недовольный, его тонкие ноздри нервно раздувались, он в большом беспокойстве трогал пальцами свой реденький чуб на лбу. Он, конечно, тоже видел неладное и едва сдерживал себя. Впрочем, молодая особа, угощавшая нас, пыталась разговорить гостей, много смеялась, рассказывала истории, которые ей самой казались забавными.

На вид ей было лет двадцать пять - двадцать шесть. Черты лица еврейские или армянские, волосы черные, прямые - хорошо расчесанной волной закрывали с боков часть лица, покоились на полных и сильных, как у спортсменки, плечах.

Когда она отлучилась на кухню, Сорокин, большой ценитель женской красоты, сказал:

- Секс-бомба!

- Ну уж! - возразил я.- Не преувеличивай ее женских чар. Лучше подумай, кем она доводится нашему новому приятелю.

Мне было совестно и неловко за такую нелепую ситуацию, в которую я так опрометчиво и беспечно втравил своего молодого друга. Просил его ничего не есть, кроме печенья, и не пить, кроме минеральной воды, которую я сам же и открыл.

- Неужели?..- шепнул Сорокин.

- Чем черт не шутит.

Мы собрались уходить и уже встали, но хозяйка стала отговаривать.

- Сейчас придет...- она назвала профессора по имени-отчеству,- а, кроме того, я не могу открыть дверь. Запоры с секретами, я их еще не знаю.

- А как же выходите из квартиры?

- А так... Мучаюсь час-два. Да вы подождите. Он сейчас.

И, действительно,- Баженов пришел и стал извиняться,- говорил несвязно, бестолково, смотрел по сторонам, крутил головой,- ну, точно, как наш Прокушев.

Стал наливать рюмки, но я сказал, что люблю вот это вино - показал на бутылку с заводской сургучной упаковкой.

И Сорокин попросил того же вина. Баженов наливал коньяк, уговаривал «выпить как следует», но я жал под столом ногу Валентина, и мы оба отказывались от коньяка и водки.

Потом я встал, вышел в коридор. Вслед за мной профессор, схватил за локоть, зашептал:

- Ну, как девочка? Хороша чертовка! Вы ей понравились, она мне сделала знак.

- Хорошо! - сказал я.- Мне она тоже приглянулась.

- К ней можно похаживать. Нам, мужичкам, знаете, нужна отдушина, как врач вам говорю. Такая пташка способна скрасить «серых дней течение».

- Спасибо. Вы настоящий друг. За такой подарок надо дорого платить.- И, подойдя к двери: - У нас там машина. Откройте, я отпущу шофера.

Баженов защелкал замками, дверь растворилась. Ступив за порог, я кликнул Сорокина.

Через минуту мы были на дворе. Тут стояла черная «Волга» с желтыми подфарниками. Не наша, конечно. Спросили у водителя:

- Баженова ждете?

- Да.

- Передайте ему привет,- сказал Сорокин.

И мы пошли.

Я взял Сорокина за руку:

- Ты меня прости, Валя. Я, кажется, чуть не втравил тебя в историю. Надо же... клюнуть на такую глупую приманку.

- Ничего. Я ему этого не прощу.

- Кому?

- Прокушеву. Баженов - его дружок, я познакомился с ним на квартире Прокушева. Они как летучие мыши. Кружатся над головой, свистят крыльями, а чего хотят - не знаешь. Ну, ладно!

Я чувствовал, как мой молодой друг сжимает кулаки.

«Чего хотят - не знаешь», - сказал Сорокин. Однако, думаю, что и ему, в прошлом рабочему парню, открывалась дьявольская прокушевская лаборатория, где кипела одна-единственная его страсть - жажда безраздельной власти над процессом издания книг; власти, которую он не хотел делить и которую пытался направить в одно русло - в ту самую литературную среду, где царил дух торгашества, наживы, циничного политиканства, где раздувались до небес ложные авторитеты, которые затем ловко использовались в интересах политики.

Если поле нашей деятельности можно было сравнить с шахматной доской, то Прокушев едва ли не каждый день двигал свою фигуру: то вытащит из старого замшелого портфеля рукопись, попросит поскорее прочесть и заключить договор, то приведет человека на должность редактора или младшего редактора - все из той же своей кошелки.

Беседуешь и выясняется: любит этот новый кадр журналы «Новый мир», «Юность», авторов - Евтушенко, Вознесенского, Слуцкого.

Назовешь другого автора, из русских - морщится, как от зубной боли. Нет, этого не знает и знать не желает. Говорит:

- Читаю современных талантливых авторов.

- А как же вы определяете меру таланта, ведь других-то вы не читали. А вдруг они окажутся талантливее ваших кумиров?

Такой возможности он не допускает.

Наводим справки: он и там, на старом месте, работал только со своими авторами.

Любопытная деталь: те, кто громче всех кричат о широте взглядов, сами на дух не выносят "чужаков".

Вселенский гвалт о правах человека подняли в наше время дети и внуки тех, кто в первые годы после революции требовал массовых репрессий, у кого не дрогнула рука подписать резолюции об истреблении всего мужского населения Дона, кто столкнул лбами русских людей и вверг их в гражданскую войну, кто рассказывал, раскрестьянивал, раскулачивал, миллионами уничтожал в двадцатые годы, тридцатые, сороковые. И чем больше они творили преступлений, тем громче кричали о правах человека. Но теперь лишь

младенец поверит, что этих людей может интересовать судьба русского, англичанина, калмыка, канадца или эфиопа. Еще в молодости я услышал присловье: «Что во мне, то мое». Ныне многим стало понятно, кому принадлежит философия слепого эгоизма.

Отвергая кандидатуру редактора, я говорил:

- Этот человек слишком узко смотрит на литературу - не могу доверить ему отбор и анализ рукописей.

И если случалось настроение, спрашивал:

- Зачем вам надо подбирать редакторов через голову заведующих редакциями?

Прокушев мог бы говорить со мной как директор, прибегнуть к логике, но меня всегда удивляла нецельность, несобранность этого человека,- он в подобных разговорах терялся, сильнее обыкновенного тряс головой и произносил пустячные, несвязные фразы. Я недоумевал: то ли у него характер такой слабый, то ли с логикой не в ладах. Но тут же мне приходила мысль: а как он сильно нажал на все педали и выбил из седла Блинова! Нужны ведь тут были и логика, и сила характера.

Свиридов как-то мне сказал: люди, подобные Прокушеву, мастера узлы завязывать.

Я заметил: они сильны своим стадным напором. Когда же надо один на один идти в рукопашную - тут из них дух вон. Пересвета или Александра Матросова они миру не явят. И как Иван Шевцов, в одиночку, налететь на целую рать противника не могут. Этим, кстати, можно объяснить и тот замечательный феномен, что мы с Блиновым, а затем с Сорокиным, не имея той поддержки, которую наш директор получал извне, в особенности со Старой площади, мы все-таки завершили в основном национально-русское формирование редакторских кадров, наладили весь процесс выпуска книг по принципам законов и нашей совести.

Но, конечно же, все это достигалось в упорной, а подчас и ожесточенной борьбе всех русских сил с дружиной Прокушева, которая у нас хотя и была малочисленной, но в опыте интриг и тайных сделок заметно нас превосходила.

Чаще стал бывать в издательстве директор, вышел на работу долго где-то пропадавший главный художник Вагин. У нас на стадии оформления шла книга Ивана Шевцова. Несмотря на истерический гвалт, поднятый просионистской прессой по поводу его романов, я поставил ее на поток и довел до стадии набора. Вагин самолично занялся оформлением этой книги. Демонстративно требовал для нее хороших материалов, большого тиража, скорейшей сдачи в типографию. С чего бы такая забота? - ломал я голову.

Оформительские дела мы не оставляли в покое, но занимались ими исподволь, без нажима. Сорокин торопил, требовал быстрее «всех пустить на распыл», но я предпочитал набрать больше материала. Оформление книг в это время как-то само собой подтянулось, Вагин не тащил нам на утверждение откровенное безобразие, и плата художникам пришла в относительную норму,-денежные дела в издательстве поправлялись. Дамоклов меч, повешенный над ними, смирил их нрав и алчность, и сам директор реже выкладывал из портфеля «рождественские подарки» москвичам, не вмешивался, как прежде, к дела редакций. Все заведующие редакциями и их заместители как бы восстановили свои права, работали спокойнее. Анчишкинского заместителя Аксенова я отстранил от подбора кадров, выдвинул на первый план второго заместителя, Бориса Аркадьевича Филёва - вятского литератора, приглашенного Блиновым,- и дела в самой большой редакции русской прозы тоже выправлялись.

Сорокин, как я уже писал, курировал две редакции - поэзии и молодежную. Тут с самого начала царил деловой и принципиальный дух, в отборе книг я не знал каких-либо серьезных нарушений, несправедливостей. Мы к тому времени уже выпустили больше сотни поэтических книг - многим российским поэтам открыли дверь в литературу, создав им имя и авторитет. Многих узнала Москва, любители поэзии в России. И тут не могу не сказать доброго слова о моем институтском однокашнике Юрии Панкратове, заведовавшем много лет в «Современнике» редакцией поэзии. Он, как говорили поэты, хотя и бывал излишне строг, случалось, и придирался чрезмерно, но «баловства» не любил и хода крикливой

диссидентской стае не давал.

Наступала спокойная деловая полоса, и я уж не жалел, что впрягся в издательский хомут.

Прокушев, как человек и как администратор, был демократичен в отношениях с людьми, не теснил сотрудников, не терзал по мелочам, проявлял смелость в делах. В издательстве работали прозаики, поэты, критики - им надо было печататься, а у себя это было делать неудобно. Они шли в главную редакцию, а мы связывались с Карелиным и просили содействия в устройстве рукописей наших сотрудников в других издательствах. Прокушев говорил: «Наши заведут рукописи в другие издательства, оттуда взамен потянут авторов к нам - получится беспринципный междусобойчик. Давайте-ка мы издадим своих у себя. Я лично возьму под контроль рукописи и буду за них отвечать».

Хорошо и красиво издали Сорокина, Панкратова, Целищева, многих других наших сотрудников, и в этом не было никаких нарушений; талант этих авторов никем не оспаривался, они имели все права на издание своих произведений.

Прокушев, как и прежде, приходил в издательство на два-три часа, проводил совещания и надолго исчезал. Может, потому он и не придирался к сотрудникам, и некоторым казалось, что с ним легко работать, но в то же время все видели, что он совершал поступки неожиданные, никакой логикой и здравым смыслом не оправданные, даже - невероятные.

Обычный рабочий день. Вдруг с утра в приемной начинается движение. Спрашиваю у секретаря:

- Что там затевается?

- Директор собирает партийное бюро.

Невольно качаю головой: «Его ли это дело?»

Меня не зовут. Тоже странно. Ко мне заходят члены партбюро: Крупин, Филёв, Попов из национальной редакции, недоумевают:

- Вопрос о вас. Будто бы нарушаете принципы подбора кадров.

Пожимают плечами, уходят в кабинет директора. Там будет бюро.

Заходит ко мне Вячеслав Горбачев - секретарь партийной организации. Виновато опускает глаза: «Я ничего не знаю - вопрос поставил директор».

Все это напоминает какой-то нелепый спектакль, похоже на дурной сон. Какие кадры? Как это я нарушаю принципы? Может быть, имеется в виду Анчишкин?... Да, я добился его увольнения, но мы поступили по закону. И никто ничего мне не сказал - ни сам Прокушев, подписавший приказ, ни комитетские чины! И даже в Союзе писателей все промолчали. Дело тут слишком очевидное.

Начинают заседать. Не было раньше такого! Ну ладно, они могут обойтись без главного редактора, но решать-то будут мою судьбу! Очевидно, должны меня выслушать и, если обвинять будут, я должен знать их обвинения.

Нелепость какая-то!

Сидят час, второй - без меня. Грубо нарушаются все нормы приличия, не говоря уже о служебной и партийной этике. Прокушев демонстрирует нежелание знать меня, работать со мной.

Словом, тут уже не просто нанесенная обида, но и дерзкая атака, попрание всех моих прав и обязанностей.

Часа через два ко мне входит Горбачев. Обычно спокойный, веселый, он сейчас возбужден, говорит сбивчиво:

- Подумайте только: он требует от нас, чтобы мы проголосовали за исключение вас из партии. Черт знает, что происходит!

Во мне закипает гнев. «Исключить из партии? За что? Да уж не сумасшедший ли он?»

Однако стараюсь успокоиться. В кабинет заходит Крупин. Тоже изумлен. И говорит: «Да за что? Как я могу голосовать?»

Заходят другие члены партбюро. Накалены до предела. Прокушев все эти два-три часа

выкручивал им руки, требовал исключить меня из партии - ни больше ни меньше!

Покурив, выговорившись, ребята вновь идут в кабинет директора. Пока никто из членов бюро не соглашается с директором, не идет на подлость. Оставшись один, я пытаюсь собраться с мыслями, даю себе команду успокоиться, сохранять достоинство. «Не наделяй глупостей», - говорю себе, как обычно в трудных, неожиданных обстоятельствах.

Сажу за столом, принимаю людей, отвечаю на звонки, но в голове все та же мысль: пошли в лобовую! Видно, в ЦК подсказали, или Михалков с Качемасовым.

Как всегда в подобных случаях, вспоминаю войну: каких только не было там переделок, я всегда встречал их без особых волнений, а тут сердце колотится, как авиационный двигатель на форсированном режиме. И в висках стучит кровь, и щеки пылают.

Объясняется все просто: там, на войне, в моих руках самолет или автомат, а то и вся батарея - ринулся в бой и - круши, ломай, сколько сил хватит. А здесь? Ну, что я могу тут предпринять? Позвонить Карелину, Свиридову, а они подумают: если разбирают, значит есть за что. Дыма без огня не бывает.

Новый наш противник в новой войне и приемы применяет новые. У нас против этих приемов оружия нет. Да, как я полагаю, и не будет. Мы иначе сотворены природой. И это всем своим творчеством доказали Достоевский и вся наша русская литература: мы, русские, имеем совесть! Мы совестливы - вот в чем дело! А совестливый человек во всем старается быть справедливым и добрым, и снисходительным. Мы жалостливы! И это, пожалуй, наше главное генетическое свойство. Мой друг Борис Иванович Протасов, профессор биолог, всю жизнь исследующий строение мозга, говорит: «Таков у нас гипоталамус». Вот оно, оказывается, в чем дело - гипоталамус! И новый противник это хорошо знает. Он умнее Гитлера, и свои приемы борьбы с нами построил с учетом гипоталамуса - своего и нашего.

Вспоминаю, как в последние дни Прокушев зачастил в райком партии - инстанцию для нас не очень важную и нужную. «Ах, вот оно что!» - осеняет догадка. «Решил зайти отсюда, проверить дело в партбюро, а затем в райкоме!»

Ход становится ясным, но все равно: дело хотя и верно спланировано, но подготовлена операция слабо, нет ни фактов, ни мотивов.

«Неужели Прокушев так неумен?» - снова и снова задаю себе вопрос. И тут наступает облегчение, даже будто бы радостное: противник-то слабоват, с такими-то наскоками только собственный нос расквасишь.

Так оно и вышло: пятичасовые прения не сломили ни одного члена партийного бюро. Они не только не исключили меня из партии, но отказались дать мне вообще какое-либо взыскание.

Прокушев уехал домой.

Я, между тем, думал, как же мы теперь будем работать? Он по отношению ко мне совершил подлость, гнусный поступок - как после этого он будет смотреть мне в глаза? Может быть, он повинится, попросит прощения?

Но это были мои понятия о чести и этике - мои, но не его. Оказалось, что он в отношениях с людьми руководствуется иными правилами. На следующий день явился как ни в чем не бывало. Зашел ко мне, поздоровался, заговорил о делах. В глаза не смотрел, но говорил так, будто и не затевал против меня никаких историй. Открывалась еще одна важнейшая черта людей, подобных ему: совесть, как регулятор поведения, для них вовсе не существует. Насколько сильно действовал на него страх, настолько же ничтожно было влияние совести.

Вспомнил, как во время войны мы, молодые летчики, дотошно изучали тактику противника, выискивали его слабости. Был у нас принцип: первыми обнаружить врага и атаковать. Жаль, что в этой, непривычной для нас, непонятной, а потому и особенно опасной идеологической войне, мы не изучаем своих противников, не знаем их тактики, приемов, не нащупываем слабых мест, не наносим первыми ударов и потому все время оказываемся в обороне, считаем свои потери и почти не знаем побед.

Многие слышат удары, ощущают боль в одном боку, подставляют другой, и удары

сыплются один за другим, а откуда они, эти удары, кто бьет нас, за что и почему - никак сообразить не можем.

Русский человек в этой войне напоминает спящего в берлоге медведя: в полусне он слышит грозный шум над головой, просыпается, открывает глаза - шум нарастает. И вот уже языки пламени достают его в берлоге, жгут, припекают... Выбирается наружу, а кругом пожар, лес горит, земля обуглилась. Медведь грозно поводит глазами, рычит, но еще не понимает, что происходит.

Но вот - когда он во всем разберется? Не опоздает ли? Не превратится ли до того времени его родной лес в безжизненную пустыню?

Одно можно сказать наверняка: если нашим недругам удастся превратить славянские земли в пепелище, то и им не уцелеть, даже за океаном. А уж что до малых народов, принявшихся уже сегодня, подобно чеченцам, кусать русских,- они потеряют все и, может быть, никогда не поднимутся.

Сорокин открыл одну слабость Прокушева: он от похвал в его адрес теряет всякую волю.

Я сказал:

- Мне сейчас надо назначить заведующего редакцией русской прозы.

Сорокин предложил своего близкого друга, старшего редактора Александра Целищева. В прошлом агроном, талантливый поэт, честный, порядочный, но... поэт, а нужен писатель-прозаик. Сорокин настаивал, заверял, божился, что потянет,- подберем ему заместителей, организуем помощь.

Я согласился, а Прокушева Валентин взял на себя.

Торчал у него в кабинете, заводил разговоры о профессорах - специалистах по Есенину, подчеркивал превосходство над ними прокушевских статей. Директор слушал, теплел душой, улыбался - и в свою очередь хвалил Сорокина, обещал напечатать его стихи подарочным изданием.

Валентин стал ходить к нему домой, обедать. Приглашали и меня. Я тоже пришел раз-другой. Супруга Прокушева любезно нас принимала. Вера Георгиевна - замечательная певица, в свое время была популярной, знаменитой. Она великолепно пела и в те дни, когда мы с нею встречались. Женщина русская, остроумная, она как-то незаметно и ловко сглаживала не всегда скромные, подчас не деликатные суждения мужа о его противниках в литературоведении, и Юрочка при ней преображался.

От общения с Верой Георгиевной, с их сыном у меня и сейчас осталось приятное воспоминание.

Сорокин говорил, что он уже закинул удочку насчет Целищева и будто бы директор клюнул, но Валентин просил меня на каком-нибудь совещании нелестно отозваться о Целищеве и о редакции поэзии в целом.

- Это возвысит Целищева в глазах Прокушева,- сказал Сорокин, воображая себя стратегом. Я эти игры отверг, но Сорокин продолжал обрабатывать директора.

Тот спросил:

- А как Дроздов?

- Ну, конечно же, будет против. Он ищет прозаика, а тут - поэт.

- И что же - поэт? - вскинулся Прокушев.- Нам важен хороший организатор, уважаемый человек.

Теперь они уже вдвоем предлагали Целищева на роль заведующего самой крупной редакции. Я не сразу и будто бы неохотно «дал себя уговорить».

Целищев пробыл на этой должности лет восемь. Сотни русских писателей обязаны ему своим рождением, многим он помог утвердиться, многих обогрел, окрылил и поставил на ноги. Честность его и принципиальность была удивительной. С его назначением у меня совсем перестала болеть голова за редакцию русской прозы. Работать стало легче. Теперь во главе всех редакций стояли верные и крепкие люди. Бориса Аркадьевича Филёва мы назначили заведовать молодежной редакцией. На критику временно был допущен Владимир

Дробышев - молодой, талантливый, хорошо знавший мир критики и литературного процесса.

С ним, между прочим, произошел случай, едва не стоивший ему свободы. Он жил в коммунальной квартире и однажды, придя домой, застал ужасную сцену: здоровенный детина в пьяном виде избивал старушку-мать. И в тот момент, когда он чем-то на нее замахнулся, Володя схватил его и так тиснул в своих объятиях, что тот обмяк и стал валиться из рук Дробышева. Сбежались соседи, - и так повернут пьянчугу, и этак, - но он не шевелился. Приехавшая скорая помощь зафиксировала смерть. Но от чего?

Началось следствие. Дробышеву грозила большая неприятность. Хотя не было ни ушибов, ни членовредительства, Володе могли приписать статью за убийство. Вступились соседи, наши товарищи... Прокушев развил бурную деятельность. Добился медицинской экспертизы - она показала смерть естественную, от сильного возлияния спиртного и стрессовой ситуации. Не знаю уж точно всех медицинских тонкостей, но Володю нашего, к общей радости всего издательского коллектива, оставили в покое. Мы тоже освободили его от всяких подозрений, и он долго работал на своем важном посту, - помог многим критикам выйти с отдельной книгой и занять подобающее место в рядах ценителей и толкователей литературы.

О Панкратове и говорить нечего: в поэтическом цехе, где он был начальником, на протяжении девяти-десяти лет царила обстановка деловой дружбы и высокого принципиального профессионализма.

Я имел больше времени для отдыха, собрал материал к роману о тридцатых годах и стал потихоньку работать над ним. Между прочим, в эти апрельские дни 1990 года, когда я пишу свои воспоминания, мне принесли верстку первой части «Ледяной купели». Называется она «Желтая роза». Я вычитал верстку и отправил в типографию.

Накануне 1988 года умерла Надежда - жена и верный друг, удивительно красивый человек.

Вот запись из дневника: «28 декабря 1987 г. С утра сидел у Надежды, она в беспамятстве, вот уже месяц. Сегодня совсем плоха. Сейчас пообедаю и пойду к ней.

Звонок. Надежда в 14 часов 20 минут умерла.

Похоронил ее на Введенском кладбище (бывшем Немецком), рядом с Леночкой».

Годом раньше умер мой товарищ Геннадий Андреевич Шичко, подаривший миру безлекарственный метод отвращения людей от пьянства.

В 1988 году я женюсь на его вдове - Люции Павловне. Во второй раз мне повезло в жизни. Мою новую супругу можно также назвать удивительной женщиной, способной полностью растворяться в муже, в его делах и даже в его характере. Впрочем, может, я растворился в ее характере. Одно нам ясно обоим: нам хорошо и лучшего в жизни я бы ничего не хотел.

Но вернусь к своим героям, к людям, о которых мог бы сказать словами поэта: «Иных уж нет, а те далече...» Или: «...Друзей теряя с каждым годом, встречал врагов все больше на пути...»

В выходные делал обход друзей: заходил к Шевцову, Фирсову, Чалмаеву, Кобзеву, Кочеткову. Теперь по соседству, через два дома от меня, жил Валентин Сорокин. Дружба с ним становилась все теснее. Между прочим, скажу: тому, что мы наладили хорошую работу в издательстве, мы во многом были обязаны нашей крепкой мужской дружбе. И, конечно же, тому, что теплые отношения у нас были со всеми заведующими редакций и со многими редакторами, среди которых было немало серьезных прозаиков и поэтов. В Москве я не знал ни одного издательства, где бы трудилось так много творческих людей. Назову лишь немногих: Андрей Блинов, Юрий Панкратов, Валентин Сорокин, Игорь Ляпин, Владимир Крупин, Иван Краснобрыжий, Сергей Лисицкий, Владимир Дробышев, Алексей Миньков, Вячеслав Горбачев.

Раз-другой привел Сорокина к Шевцову. Их отношения поначалу не складывались.

- Песен-то на его стихи нет, - говорил Шевцов.

- Ну, ты знаешь, кто у нас композиторы.

- Есть и русские. Если стихи просят на музыку, всякий возьмет. Вон Фатьянов... И потом: зачем он так много рассказывает эпизодов из истории, будто мы школьники?

- Он сейчас пишет поэму о Пушкине. Читает много исторических книг.

Иногда спрашивал:

- Как дела в издательстве?

- Нормально. Пока все спокойно.

- А как у тебя с Прокушевым?

- Отношения деловые.

- С Прокушевым надо поладить. Без него не утвердят на Старой площади. Он, пожалуй, посильнее Свиридова будет. У нас ведь как,- вся сила в связях.

У Шевцова была затаенная мечта: издать в «Современнике» двухтомник своих произведений. И не как-нибудь, а в подарочном оформлении. Он сейчас в тесный рядок классиков решил протиснуться, а классикам при издании избранного платили повышенный гонорар: по тысяче рублей за лист. Сто листов войдет в двухтомник - сто тысяч рублей положи на стол. Так недавно Бубеннова издали, Первенцева, поэта Федорова. Шевцов знал: я один не могу ему поднести такой подарок, нужна поддержка Прокушева.

С болью в сердце я замечал, что пьет Шевцов все больше. Редкий день выдавался без возлияний. А уж сухого воскресенья нельзя было и представить. Популярность его к тому времени достигла апогея. У него всегда были гости: то из Загорска власть имущие приедут - секретари горкома, председатель исполкома, начальники милиции, КГБ. Эти особенно часто навещали: думаю, на них возложили ответственность за его безопасность. Однажды секретарь обкома Василий Иванович Конотоп к нему завернул, пригласил поехать с ним на машине по Загорскому району.

Большие артисты, писатели, профессора-литераторы, и не только москвичи, считали за честь познакомиться с Шевцовым, заезжали к нему на дачу. И с каждым приходилось пить. Страсть к вину становилось привычкой, организм уже требовал зелья. Бывало, придешь, у Михалыча никого нет, а он с радостью достает бутылку.

Отговаривать его перестал. Стоило слово молвить - закипал обидой: «Ах, брось ты свои нравоучения!» Алкоголь как металлический обруч все туже затягивал свою жертву. У древнегреческого поэта Асклепиада есть стихи:

Снегом и градом осыпь меня Зевс! Окружи темнотою

Молнией жги, отряхай с неба все тучи свои!

Если убьешь, усмирюсь я, но если ты жить мне позволишь,

Бражничать стану опять, как бы ни гневался ты.

Больше стали пить и Фирсов, и Чалмаев, и Камбулов. Пил и Сорокин. Позже у него на задах поселится Иван Акулов - земляк Сорокина, уралец. Этот серьезный прозаик - один из самых значительных уральских писателей - в последнее время пил особенно много и упорно. Водка рано сведет его в могилу, но тогда, поселившись у нас, он не давал «просыхать» и Сорокину, лишая его и без того редких часов для творчества.

Вначале я не понимал, за что меня недолюбливает Акулов. Придем к нему с Сорокиным, он начинает суетиться и на меня не смотрит, со мной не говорит. Знаю, что ничего плохого ему не делал и что, как и всем писателям, нужен ему, а вот... сам не свой Акулов. Потом понял: им надо было пить с Сорокиным - вволю, без оглядок, с радостью и вдохновением. И тут была совсем некстати моя постная трезвая физиономия.

Я перестал ходить к Акулову.

Со временем замечал: моя трезвенническая позиция, непримиримость к винопитию отдаляет от меня друзей, вносит в их круг сумятицу, какой-то нежилой, неуютный дух. Как бесчестные люди не любят честных, грязные - чистых, так пьяница с трудом переносит общество трезвого, особенно если перед ним замаячит бутылка. Тут для них трезвый, как красная тряпка для быка,- раздражает, приводит в бешенство.

И я все реже заходил к сильно пьющим литераторам. Не порывал уз тесной дружбы с Шевцовым и все чаще заходил к Игорю Кобзеву. Меня как магнитом тянул к себе этот

умный, образованный человек, большой поэт, блестящий публицист и ученый-литератор. Игорь, сверх того, еще и рисовал. Его страстью были церквушки, соборы, виды окрестной природы. Рисовал он много, увлеченно - мог хорошо, как заправский художник, написать портрет. Его дача и квартира в Москве были сплошь увешаны картинами. Богатство его фантазии, широта интересов поражали.

Наши отношения наполнялись все большей сердечностью и вскоре переросли в большую дружбу.

Как-то вечером позвонил на квартиру Шевцов:

- У меня тут сидит Борзенко, передает тебе привет. Мы оба бьем тебе челом: помоги ленинградскому хирургу Углову издать воспоминания.

- К сожалению, вряд ли удастся. Мы издаем только художественную литературу.

- Но ты прими его, сделай все возможное.

Назавтра утром ко мне явились супруги Угловы: Федор Григорьевич и Эмилия Викторовна. Пара необычная. Он был в годах, на вид под шестьдесят, она же казалась совсем молодой женщиной. Впрочем, как потом выяснилось, ей было чуть за тридцать; свежее и чистое лицо, на щеках - алый румянец, девически яркий блеск серых лучистых глаз. И, что удивительно, мне показалось, что мы с ней где-то встречались. Я еще подумал: «Эта Афродита во второй раз поражает меня красотой».

Федор Григорьевич рассказывал:

- Не хочу таиться, говорю честно: воспоминания я написал давно и уже побывал с ними едва ли ни во всех журналах и издательствах Москвы. В журнале «Новый мир» их читал, как мне сказали, большой авторитет в литературе - Видрашку. Он заявил: «Здесь нет ни одной страницы, годной для печати».

На лацкане пиджака Углова эффектно светила медаль лауреата Ленинской премии. Шевцов ничего не сказал о звании, заслугах ленинградского хирурга, но я давно слышал его фамилию и знал, что это крупная величина в медицине.

- За что вы получили медаль лауреата? - спросил я.

- За монографию «Рак легкого». Я разработал хирургические методы лечения этой болезни. Но я много также оперировал на сердце, сосудах и в этих разделах имею свои разработки.

- Вы, кажется, писали статьи о борьбе с алкоголизмом, печатали их в «Известиях»?

- Да, в то самое время, когда и вы там работали. Мы, подписчики этой газеты, читали ваши статьи и очерки.

Теперь я вспомнил: передо мной был академик Углов, один из самых знаменитых русских хирургов, большой авторитет в мировой медицине. У меня появилась надежда на то, что его мемуары могут быть интересными, но как быть с жанром предлагаемой работы? Ведь мы воспоминаний не печатаем.

Свои сомнения высказал автору.

- Мы вашу рукопись можем напечатать в случае, если она будет отвечать требованиям высокой публицистики, тогда бы мы ее подвели к разряду того самого жанра очерка, которому Глеб Успенский дал право жительства в храме художественной литературы.

Я думал, Углова испугают такие требования, но он нимало не смутился. Вынул из портфеля толстенную, страниц на тысячу рукопись и со словами: «Я бы очень вас просил прочесть ее лично», положил на стол.

Я вспомнил, как иногда сидишь в поликлинике, ждешь приема у врача и затем с тайным трепетом садишься перед ним... А тут ко мне с просьбой обращается человек, спасший тысячи людей, подаривший миру важные открытия, способы лечения страшных болезней.

Не повернулся язык сказать: «Сдайте рукопись в редакцию русской прозы». Подвинул к себе фолиант, пообещал прочесть.

До конца выяснили отношения с Эмилией Викторовной.

- Не хотелось бы задавать банального вопроса, но что же делать, если мне кажется, что

я вас где-то встречал. Вы не из Донбасса ли?

- Да, я жила в Горловке, там училась и затем работала на шахте.

- Теперь вспомнил: в роли корреспондента «Известий» приезжал к вам на шахту и директор показывал мне образцовый медпункт. Нас встречала доктор настолько молодая, что я не поверил, что она...

- Вы не ошиблись. У вас хорошая память. Я сейчас тоже вспомнила этот эпизод.

Мы расстались почти друзьями. Принимаясь читать рукопись, я боялся ее слабости, некудышности, но записки Углова с первых страниц поразили меня свежестью и силой. Я прочел их в несколько дней и написал автору письмо. Коротко суть письма сводилась к следующему: «Вы написали прекрасную книгу, своеобразную энциклопедию медицинских знаний, и каждый, кто ее прочтет, станет вашим другом. Меня особенно поразили страницы, где вы описываете работу хирургов в годы войны, в блокадном Ленинграде, и места, где вы с необычайной силой и убедительностью говорите о вреде алкоголя и курения, о необходимости установления в нашей стране сухого закона».

Книгу Федора Углова «Сердце хирурга» мы напечатали и получили на нее больше благодарственных откликов, чем на сотню других книг. «Сердце хирурга» с тех пор много раз переиздавалась, переведена на многие языки в нашей стране и за границей.

С Угловыми у меня возникла и укрепилась большая дружба, которая сохраняется и теперь.

Встреча с Угловым и моя дальнейшая многолетняя с ним работа, о которой я буду еще говорить, открыла мне глаза на проблему алкоголизма. Я давно начал задумываться о великом вреде спиртного, но увидеть проблему во всей полноте - в цифрах и научных анализах - осознать всю пагубность этой страшной экологической катастрофы помог мне Федор Григорьевич Углов.

Когда Федор Григорьевич приезжал в Москву, мы непременно встречались. Я ему рассказывал о пьянстве, поразившем братство семхозовских писателей, сообщил одно любопытное наблюдение: у нас, в поселке, писатели больше подвержены спиртному, чем люди физического труда: заводские рабочие, плотники, слесари. Среди этого простого люда встречаются, конечно, сильно пьющие, но процент их все-таки не так велик, как в нашем кругу. Тут я не могу назвать и одного трезвого человека, и пьют литераторы часто и помногу. Говорят, из писателей только Леонид Леонов не пьет. На это Федор Григорьевич сказал:

- Я тоже заметил: быстрее других социальных слоев спивается интеллигенция. Среди моих коллег в академии я не могу встретить соратника по борьбе за трезвость - отмахиваются, улыбаются, считают все это неважным, а все потому, что пьют сами. Бываю в застольях - пьют по-черному, теряют человеческий облик. Нуте-ка, Павлов, Сеченов, Бехтерев или Боткин увлекались бы пьянством!

- Но почему интеллигенция быстрее сдается этому дьяволу?

- Алкоголь быстрее всего поражает мозг, угнетает творческую потенцию. Лев Николаевич Толстой сказал: «Самое ужасное последствие пьяных напитков - то, что вино затемняет разум и совесть людей: люди от употребления вина становятся грубее, глупее и злее».

Да, тут действует прямая зависимость: человек становится «глупее и злее», писателю же или академику для его творчества нужен ум, необходимо высечь из него высшие достижения, а он от вина глупеет, и чем больше пьет, тем больше глупеет, и оттого злится, а для творчества нужен покой, психическая уравновешенность.

Плотник свою доску отстрогает и, хоть криво, но прибьет куда нужно, а писатель, поэт?.. Как он напишет главу романа, строфу поэмы?

Вот и получается: у плотника, кроме ума и чувства, есть еще рубанок, стамеска, а у писателя, кроме головы, нет другого инструмента. А голова отравлена.

По-иному я смотрел теперь на семхозовских братьев-писателей. Со времени, как я у них поселился, прошло пять-шесть лет, а как все изменились?.. Вот Николай Иванович

Камбулов. Не было у нас с ним и малейшего повода для охлаждения дружеских привязанностей, а при встречах глаза прячет, голову к земле клонит.

Пришел однажды ко мне в сад, сели в нем в беседке.

- Что ты невесел, Николай, какие думы тебя тревожат?

- А, нет, ничего. С чего ты взял?

- Да разве таким ты был в «Сталинском соколе», где мы с тобой карьеру журналистскую начинали? Бывало, засмеешься, историю какую расскажешь. А теперь ходишь, ровно потерял что.

- Да нет, ничего. Работа не идет на ум. Сяду за стол, а слова под перо не ложатся. Будто вылетели из головы. Чертовщина какая-то!

- Может, водочка мозги туманит? Вчера-то выпил, небось? Да и нынче под ложечкой сосет. Я ведь по глазам вижу.

- Нынче?.. Я что ж, я, пожалуй... если у тебя найдется.

И подтвердившим голосом, словно боясь, что я откажу, заговорил:

- Скажи Надежде, пусть смородиновой принесет. Больно хороша у вас смородиновая.

Надежда принесла, мы все втроем выпили. Я с мыслью, что это уж последняя, больше не притронусь, ну ее к лешему!

Разговорились.

Камбулов распрямился, глаза повеселели:

- Вот ты, Иван, и не пьешь, а дела-то и твои не назовешь блестящими; вот ты сколько уж за главного, а в должности тебя не утверждают и не утвердят - это уж как пить дать. Я нравы комитетские знаю, сам там работал. А не утвердят потому, что рано себя обнаружил, голову высунул. Э-э... Таких-то, резвых да бойких, у нас не любят. Михалков, Качемасов, Яковлев... Им смирененьких подавай, да тихоньких, да сереньких. Чтоб не перечили, на хвост не наступали.

Надежда на него налетела.

- Ты, Николай, на Ивана не нападай. Не умеет тихонько, как пескарь в норе сидеть! У тебя это получается, а у него нет. Ты бы поучил его.

- Ах, Надежда! Шпильки любишь подпускать. Я тоже не робкого десятка, однако на рожон без нужды не полезу.

- Да уж... верно. Мужичок ты тактичный, дипломат великий. В «Сталинском соколе» никого не задирал, в «Красной звезде» все гладенько шло. И в журнале «Советский воин», по слухам, все тобой довольны были. Ты и в книгах умудрился никого не зацепить. Все у тебя тишь, да гладь, да божья благодать.

- М-да-а... - тянет Камбулов. - Ты налей еще, налей.

Надежда наливает, а Николай Иванович, вылив стакан - другой, пучит на Надежду покрасневшие глаза.

- Погоди... Ты, Надежда, язва, я давно знаю. Тебе палец в рот не клади. Какую это тишь ты в книгах моих нашла? Ты на что намекаешь?

- А что там у тебя, в книгах твоих? Офицер передовой, офицер с отсталыми взглядами, солдат дисциплину нарушил. Служба. Чего там еще?

- Служба - да, и я говорю. Я писатель военный и как-никак - лауреат.

- А скажи, Николай,- продолжает Надежда,- откуда слово такое вынырнуло: «камбулизм»?

- «Камбулизм»?.. Не слышал, не знаю.

И смотрит на меня: проясни, мол, что это значит. Но я, будто не слышал ничего, толкаю Надежду локтем,- дескать, прекрати, знай меру. Но Надежде очень бы хотелось уколоть его больнее - за меня отомстить, за то, что я, как она не раз уж говорила, за них же, русских писателей, копы ломаю, а они - вишь как... - в неразумности обвиняют.

Жена безоглядно принимает сторону мужа, а может, и в самом деле есть какая-то поспешность, опрометчивость в моих действиях... С Камбуловым мы дружим давно, с 1949 года. Вместе мыкались по квартирам в Москве, жили в углах, коридорах, в бывших

кладовках. За двадцать с лишним лет, прошедших с того времени, многие мои друзья поднялись высоко: кто работает в ЦК, кто редактор газеты, журнала, а кто, как Николай Камбулов, стал маститым писателем, лауреатом. Он попал в обойму, критики его не трогают, издательства печатают. В типографии уже набирают собрание его сочинений. Все они, - преуспевающие, спроворившие себе должность, умеющие на ней закрепиться, - за глаза меня поругивают. И за романы, в которых «что-то не так», и за слишком резкие статьи в «Известиях», а теперь вот, мол, что-то не ладится у него в «Современнике». «Не утверждают и не утверждают».

Один мой близкий товарищ, ставший главным редактором центральной газеты, встретив мою дочь Светлану, прогуливаясь с ней по Москве, говорил:

- Твой отец - ортодокс, не гибкий он, не может окинуть взором все обстоятельства и вовремя на них отреагировать. Говоря проще, не умеет смотреть вперед, разглядеть все мелочи. Вот меня возьми: я строго учитываю расстановку сил, веду дело так, чтобы никто меня не обвинил в субъективизме, в какой-то отсебятине.

- Но вы же личность, должны проводить свою линию и отстаивать свою позицию, - говорила Светлана.

- Э-э, милая, личность - это хорошо для человека рядового, который где-то там, внизу, в средних сферах. На высоте действуют законы иные, тут ветер, качка... Чуть не так повернулся - и слетел. Вот чего и не понимает твой отец. Нет еще в нем государственной жилки, он может быть хорошим тактиком - то есть ротой командовать, батальоном, а фронт ему доверить, армию - нельзя. Стратегией не овладел.

- Да уж, верно, - съязвила моя дочь, - отец наш такой стратегией не овладел и никогда не овладеет. Да она, может быть, и не нужна ему. Как бы с такой стратегией душу не потерять.

Между прочим, редактор этот был известен в журналистских кругах своей безликостью, мастером «плыть по течению», стоять перед начальством на полусогнутых. Где бы он ни работал, он не оставлял доброго следа.

Дочь пересказывала мне беседу с моим товарищем, и я удивлялся происшедшей с ним метаморфозе. Мы вместе воевали, потом несколько лет работали. Он отличался смелостью - почти безрассудной. Что же с ним приключилось теперь? Откуда такая откровенная обывательская философия?

«Стратег» этот любил выпить. И пил он много лет и почти ежедневно. Правда, пил не по-черному, а «знал меру», но алкоголь и в малых дозах производит в мозгу свою разрушительную работу. Ну ладно, угнетал бы только свой мозг, терял бы день ото дня важнейшие человеческие качества - чувство долга, бойцовский дух, честь и достоинство, но этот «тихий» пьяница действовал развращающе на окружающий мир, подавал дурной пример молодежи.

Полное глубокого смысла высказывание имеется на этот счет у Льва Николаевича Толстого: «...Обыкновенно считают достойными осуждения, презренными людьми тех пьяниц, которые по кабакам и трактирам напиваются... Те же люди, которые покупают на дом вино, пьют ежедневно и умеренно и угощают вином своих гостей... - такие люди считаются людьми хорошими и почтенными и не делающими ничего дурного. А между тем эти-то люди более пьяниц достойны осуждения.

Пьяницы стали пьяницами только оттого, что непьяницы, не делая себе вреда, научили их пить вино, соблазнили их своим примером. Пьяницы никогда не стали бы пьяницами, если бы не видели почтенных уважаемых всеми людей, пьющих вино и угощающих им. Молодой человек, никогда не пивший вина, узнает вкус и действие вина на празднике, на свадьбе этих почтенных людей, не пьяниц...

И потому тот, кто пьет вино, как бы он умеренно ни пил его, в каких бы особенных случаях ни угощал им, делает великий грех. Он соблазняет тех, кого не велено соблазнять.

...И потому, кто бы ни был читатель... тебе уже нельзя оставаться посредине, между двумя лагерями, ты неизбежно должен избрать одно из двух: противодействовать пьянству или содействовать ему...»

Проблема пьянства для людей, родившихся при советской власти, была скрыта густой пеленой официально насаждаемой лжи и собственных ложных представлений.

До восьми лет я жил в доме родителей, в деревне Слепцовкс на Пензенской земле - недалеко от лермонтовских Тархан. Уже тогда я видел пьяных. В доме нашем по праздникам собирались мужики и пили самогон. Отец мой, Владимир Иванович, смирный, работающий, выпивал стакан синеватой жидкости, некоторое время сидел молча, в закипевшей беседе не участвовал и потом начинал петь:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Пили только по праздникам. И не в каждом доме. Женщины и молодежь не пили совсем. Занятие это считалось нечистым и даже позорным.

В рабочие дни не пили. В страдные месяцы - тоже. Да и в остальное время случалось, что целый месяц в деревне не видели пьяного, зато песни по вечерам раздавались почти в каждой избе.

Позже узнал, что в те годы, в начале тридцатых, в России производилось в год на человека около двух литров чистого спирта. Примерно столько же гналось самогона, браги, самодельного вина и пива. Итого - четыре литра в год. Если из числа пьющих исключить женщин, молодежь, стариков и больных, то выходило примерно восемь-десять литров на мужчину в цветущем рабочем возрасте. В переводе на водку - двадцать литров или пятьдесят-шестьдесят граммов водки в сутки.

Много это или мало?

Наверное, уже немало. При последнем царе Николае, который, как говорят, от своей нелегкой беспокойной жизни тихо попивал, в стране производилось примерно столько же алкогольного зелья. И русская интеллигенция - Толстой, Достоевский, Горький, Павлов, Бехтерев, Сикорский - забили в колокола: народ, опомнись, над тобой нависла опасность! Писали статьи, произносили речи... И Николай Второй, испугавшись суда истории и гнева народного, а еще в целях усиленной мобилизации новобранцев на войну с Германией, в 1914 году издал декрет о введении в России сухого закона. Ленин, придя к власти, сказал: «В отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они ни были выгодны для торговли, но они поведут нас назад, к капитализму, а не вперед, к коммунизму...»

Уже несколько лет во всем мире, и в нашей стране тоже, ведутся дискуссии о роли Ленина в истории России. Авторы всех мастей обвиняют Ленина в том, что все наркомы его правительства были евреи, что Ленин и его ближайшие соратники развязали массовые репрессии, учинили геноцид русского народа, физически уничтожили царскую семью. История начала свое следствие и, конечно же, произнесет свой суд за эти чудовищные преступления, но вот парадокс: Ленин, пожалуй, единственный в ряду своих соратников, возвысил голос против пьянства, и суд истории, каким бы он ни был, зачтет ему этот благородный порыв.

Голод, репрессии, войны этого столетия унесли в могилу пятьдесят-шестьдесят миллионов человек.

Половодье спиртного, хлынувшее на страну с 1925 года, поглотило не меньше человеческих жизней. Оставшиеся в живых пожинаят все «прелести» льющегося нам на голову наркотического яда.

Роман «Горячая верста» шел трудно. Отредактированный Крупинным, он затем попал в пухлый портфель Прокушева, и тот таскал его, не имея времени прочесть. Иногда он говорил мне, что читает, замечаний нет, но в типографию не сдавал. Я не однажды просил Карелина передать рукопись в другое издательство, но тот не советовал этого делать. Но вот Прокушев затеял новое рецензирование - снова пустил его по кругу специалистов, литературоведов. Я решил поговорить с директором начистоту.

- Хочу передать рукопись романа в другое издательство, дайте ее мне.

Директор выразил крайнее изумление:

- Как это так? Наше издательство затратило деньги на редактирование, рецензирование. Наконец, я читал.

- Затраты я готов возместить из своей зарплаты, а рукопись решил забрать. Мне, наконец, неудобно печатать роман в своем издательстве.

- Ну, нет. Решение о его издании принимал Блинов, он получил добро у Карелина, Свиридова, - рукопись вы не получите.

- Но я автор, имею право.

- Я ее вам не могу вернуть. Она в Саратове.

- В Саратове?

- Я послал ее Коновалову, пусть напишет отзыв.

Мне оставалось смириться. Я, к тому же, хотел узнать мнение уважаемого мною писателя Григория Ивановича Коновалова - человека старой закалки, предельно честного мастера эпической прозы. В то время мы все знали его роман «Университет», он был в большой моде.

Видно, Прокушев рассчитывал на отрицательную рецензию. Тогда бы он показал ее Карелину, Свиридову и роман не стали бы печатать. Но Григорий Иванович - сердечное ему спасибо - дал хороший отзыв о романе. Прокушев немедленно заслал рукопись в типографию.

Вскоре роман вышел из печати. «Комсомольская правда» напала на него, рвала в клочья, но «Социалистическая индустрия» дала рецензию положительную, а Союз писателей СССР и ВЦСПС, рекомендуя его рабочим библиотекам, назвал «Горячую версту» в ряду лучших произведений о рабочем классе.

На этот раз просионистским критикам не удалось скомпрометировать постылого для них автора.

Жизнь в издательстве протекала относительно спокойно, но я знал: тишина обманчива. Директор отступил на время, чтобы зайти с какой-то новой стороны. Я помнил фразу мудреца: евреи любят шум и смятение. И сам уже знал: Прокушев не останавливается в борьбе за власть и деньги, сколько у него хватает сил, столько он и борется. Раньше Блинов после каждой беседы с ним выходил из кабинета красным. А теперь директор тиранил Панкратова, Целищева, Сорокина. Валентин и без того нервный, быстро теряющий равновесие, вылетал из его кабинета как ошпаренный. Вбегал ко мне, хватался за голову:

- О-о!.. Не могу больше!

- Да что с тобой?

- Ты будто не знаешь этого коробейника! Того сует в план, другого. Но все его протеже - шпана литературная! Им бы шнурками торговать, а они лезут в поэзию.

Мне свои рукописи директор не навязывал. Но они каким-то таинственным образом попадали вначале в предварительные, а затем и основные планы. Эти левые операции Прокушев обделывал за моей спиной, - внедрял блатные рукописи через редакторов, заведующих редакциями, а то и их заместителей. Мы с Сорокиным устанавливали климат доверия среди редакторов, укрепляли их роль, повышали самостоятельность. На совещании говорили: «Редактор ищет рукопись, он ее редактирует и издает». Такая философия исходила из давних традиций русского книгоиздательства, наполняла редакторскую работу большим смыслом и содержанием. Редактор чувствовал себя личностью. Однако не все из них были людьми принципиальными. Прокушевские же кадры руководствовались в отборе книг одним-единственным правилом: «печатать своих да наших». Через них-то, в основном, и действовал директор. Активность его нарастала. И напряжение в наших отношениях усиливалось.

Сорокин после стычек с ним сникал, его лицо становилось землистым.

- Что с тобой? - спрашивал я его.

- Живот болит. Язва у меня.

Если были на даче, то говорил:

- У тебя картошки нет?

- Зачем картошка?

- От нее боль стихает. Давно заметил.

Чистили картошку, варили.

Постепенно для меня раскрылся и механизм действий Дрожжева. Он, как известно, занимался производством и в процесс отбора и редактирования рукописей не вмешивался, но, как мне открылось со временем, имел много средств влияния на состояние рукописи и положение автора.

Дрожжев был старше нас, часто жаловался на усталость, говорил:

- Не дождусь, когда пойду на пенсию. Дня лишнего служить не стану. Вот как выйдет срок - только меня и видели.

Насколько он был мягок, покладист с нами, настолько высокомерен и даже груб с подчиненными. Чуть не до слез доводил начальника производства Валентину Виноградову. Она часто мне на это жаловалась, и я улаживал их конфликты. Просила меня похлопать за нее в Полиграфическом институте, где работали наши авторы. При содействии одного из них мы помогли Валентине устроиться туда преподавателем.

Иногда Дрожжев заходил ко мне с блокнотом, начинал извлекать из него цифры: где что печатаем, сколько выдали листов-оттисков, как следует маневрировать тиражами.

- Да зачем маневрировать? Тиражи соответствуют содержанию книг, они у нас продуманы.

- Ах, вы не можете понять! Все дело в сроках и в отношениях с типографскими чинами. Этому нужен план, у того горит премия. Книга у них на потоке, просят удвоить тираж, а там - сократить. Набросим тираж на пятьдесят тысяч - они план выполняют по листам-оттискам, мы - по наименованиям... И так далее.

И сыплет, сыплет цифрами. И вот ты уже запуган, в голове сумятица. Махнешь рукой: ах, ладно, не возражаю.

Потом к тебе на стол ложатся книги: та, что имела тираж пятьдесят тысяч, выпущена тиражом в сто тысяч, а та, которой был определен тираж в семьдесят пять тысяч, имеет сто пятьдесят. И так получается, что книги москвичей увеличиваются в тиражах, а провинциалов - уменьшаются. Соответственно меняются и гонорары. Москвичи имеют прекрасную бумагу, красивые переплеты и в типографии почти не лежат. Авторам русским - и бумагу поплоче, и обложки мягкие, и в типографии они лежат в два-три раза дольше.

Все меньше доверял я этому «приятному во всех отношениях человеку», отвергал его маневры с тиражами. Интересная деталь: Прокушев, Дрожжев, Вагин не могли установить для себя какую-то ограничительную черту - аппетиты их росли во время «еды», им все было мало, и они все больше и больше расширяли сферу своих влияний. Кажется, дай им волю, и они скоренько перекроют все краны для русских авторов, но растворят настежь шлюзы для авторов любезных и родных их сердцу.

Эту особенность в еврейском характере - не довольствоваться достигнутым - подмечали многие их авторы, в том числе Шолом Алейхем, Лион Фейхтвангер, Отто Винингер. А польский президент Лех Валенса, будучи в Америке, сказал: «Самая большая наша ошибка это то, что мы взяли власть».

Касса издательская снова начала таять. Я уж было успокоился, полагал, одумаются Прокушев и Вагин, сократят поток средств в карманы художников, но нет - аппетиты их вновь стали распалаться.

Пробовал говорить с директором:

- Уймите Вагина, он за детские рисунки платит по высшим ставкам, разоряет издательство,- нам уж ни дом не построить, ни магазин, а скоро и на гонорар писателям наскрести не сумеем. Зарплату сотрудникам платить нечем будет.

- Денежные дела - моя область. Не беспокойтесь. Финансы наши скоро пойдут в гору.

Однажды вытащил из портфеля фолиант на тысячу страниц, подавая мне, сказал:

- Вы Углова нашли, а я... вот. Читайте и как можно скорее.

- Да почему я должен читать машинопись? Я и без того прочитываю едва ли не каждый

день по книге. Сдавайте в редакцию, пусть отправят на рецензию.

- Рукопись особая. Я уже прочел. Читайте вы. Через неделю должны сообщить решение. Туда сообщить.

Он ткнул пальцем в потолок.

Взял рукопись. Стал читать. Автор армянин, ему девяносто лет. Воспоминания о революции. Какие-то малозначащие факты, множество фамилий, бледных эпизодов. Ни языка, ни стиля. Со середины рукописи - разговор о Ленине. И все больше о его родословной, о том, что мать его еврейка, и отец Ленина не русский. Ну, сказал бы об этом вскользь, кстати, а то разворачивает доказательства на сотни страниц! - будто кто-то это положение оспаривает, а он доказывает. Сказал Прокушеву:

- Думаю, нам не стоит печатать эту рукопись. Во-первых, она неинтересна, в ней нет ничего нового, значительного, а во-вторых, и это самое главное: зачем нам копаться в родословной Ленина?

- Хорошо! - неожиданно согласился Прокушев.- Но только ты и будешь со всеми объясняться.

- С кем - со всеми?

- А ты вот посмотришь. Через неделю тебе будут звонить.

Через неделю мне позвонил Карелин:

- Как воспоминания революционера? Читали?

- Читал, Петр Александрович, но мне кажется, они не по адресу - их бы в «Политиздат» нужно. Мы ведь воспоминаний не печатаем. А кроме того, нужны серьезные консультации, согласования. Там много страниц посвящено Ленину, причем таким деталям его биографии, о которых раньше нигде не писалось. А мы все материалы, касающиеся жизни Ленина, отправляем в Институт Маркса-Энгельса-Ленина. Так нас ориентирует цензура.

- Важное лицо облюбовало ваше издательство, там, говорит, сидят свежие люди, не так перепуганы.

- Автор хочет нас убедить, что Ленин - еврей. Наверху что ли этого хотят?

- Ну, мать-то его, действительно, из них. В мировой прессе об этом много написано, - может быть, и нам пришло время правду сказать?

- Помнится, такую попытку предпринимала Шагинян, так ей будто в ЦК сказали: хватит нам одного Маркса. А теперь передумали что ли? Ну, если вы настаиваете, назначу редактора, включу в план, но все равно пошлем в институт для согласования.

- Я не настаиваю. Рукопись у нас на особом контроле. Мы уже доложили, что ее читает главный редактор «Современника».

- Ладно, Петр Александрович. Если у вас спросят, скажите, что я прочел, нашел в ней много интересного, но что над рукописью предстоит большая работа. Пошлем ее в ИМЭЛ, и, если не будет серьезных возражений, подключу писателя, будем ее тщательно литературно обрабатывать. И, конечно, значительно, сократим.

- Хорошо,- сказал Карелин.- Вы так и отвечайте на все звонки.

Звонили из ЦК, Совмина, дважды звонил Свиридов - всем отвечал примерно так, как решили с Карелиным. Позвонил помощник Суслова. Долго и с ним объяснялся. Понял, что в рукописи сильно заинтересован Михаил Андреевич Суслов. И, кажется, хотел бы, чтобы все главы о родословной Ленина бережно сохранялись. Впрочем, от прямого нажима и помощник Суслова уклонился.

Потом снова позвонил Карелин. Сказал, что автору сообщили о моем решении печатать рукопись. Он очень обрадовался, но на второй день умер.

От радости тоже умирают.

Потом был звонок от Суслова. Рукопись советовали не печатать.

В начале зимы, после первого обильного снегопада, мне позвонил Свиридов. Как всегда спросил:

- Что делаете?

- А вот, пришел домой. Буду ужинать.

- Завтра суббота. Вы как отдыхаете?
- Иногда ездим на дачу, но чаще всей семье ездим за город на лыжах.
- Может, съездим в лес?
- На лыжах?
- На машине,- буркнул Свиридов.
- Это заманчиво. Я - пожалуй.
- В десять утра я к тебе заеду.

Назавтра утром из окна увидел у подъезда черную «Волгу». Надел шубу, сунул ноги в валенки, вышел. У машины меня ждали трое: Николай Васильевич, его жена Лариса Николаевна, ныне покойная, и художник Павел Судаков. Свиридов и Судаков сели в машину, а Лариса Николаевна осталась. Я спросил ее:

- А вы?
- Я в магазин «Москва» - до него пешком дойду.
- Может, к нам зайдете. Я вас с женой познакомлю.
- Нет, спасибо. Пойду в магазин.

Ехали по Калужской дороге, в сторону известинской Пахры. Свиридов сидел рядом с шофером, а мы в заднем салоне. Изредка Николай Васильевич поворачивался и то Судакову, то мне задавал короткие вопросы. Я отвечал сдержанно, неловко было пускаться в пространные разговоры при малознакомых людях. В сущности, и Свиридова я плохо знал. В свободной обстановке встречался с ним несколько раз. Чувствовал себя и тогда скованно, теперь же, обремененный грузом издательских забот и всякими историями, катившимися эхом по литературным кругам и, уж конечно, долетавшими до председателя, я чувствовал себя более скованно, чем прежде. А тут еще Судаков - бука, и отвечает на вопросы коротко, и на меня не смотрит, не заговорит, ничего не спросит. Впрочем, может, и он тут человек не близкий и не свой.

Иван Шевцов, хорошо знавший мир художников, говорил, что Судаков дружит со Свиридовым. Паша рисовал его портрет, ну... и с тех пор они иногда встречаются. Говорил также, что Свиридов тоже рисует, но никому своих работ не показывает.

Так или иначе, но меня удивляла какая-то напряженность, царившая в нашем тесном, вдруг возникшем сообществе. Раза два Свиридов пытался разговорить нас. Повернулся к Судакову:

- Над чем сейчас работаете?
- Из Индии приехал. Там много рисовал. Сейчас привожу в порядок эскизы, портреты.

На обратном пути заедем, посмотрите.

И молчок. Ответил на вопросы как школьник. И - сидит. Странные они, ей-Богу! Дружат, и будто бы давно, а поговорить не о чем. И шофер молчит. Крутит свою баранку и даже головы не повернет. Я тоже лет пятнадцать ездил на служебной машине,- мои шоферы говоруны были. Столько историй расскажут!

Меня Свиридов спросил:

- А у вас что нового?
- Да все новое. Каждый день новую книгу выпускаем.
- И как? Встречаются таланты? Ну, хоть один, как Есенин?

Ответил не сразу.

- Есенин и Пушкин не в каждое столетие рождаются. А есть народы, у которых таких талантов и вовсе нет.

- Ну, Есенин, Пушкин - гении, а талант, равный Тургеневу, Герцену, Чехову,-таких-то почему у нас нет? Смотрю, читаю - с лупой ищу! Нет - и все тут! Ну, хоть шаром покати! Вы мне можете ответить - почему?

- Вопрос этот сильно занимает Николая Васильевича, он и раньше задавал его мне, да ведь не простой он, вопрос этот. Как ответить на него? Однако Свиридов ждет. И Судаков с интересом смотрит на меня. У них ведь тоже нет ни Репина, ни Шишкина. В чем же дело? Почему земля русская перестала рождать титанов? Начинаю издалека:

- Все мы с вами рождены уже при новой системе - социализме. Много хорошего заложено в этой системе, она, пожалуй, и в далеком будущем в России закрепится, потому как русские по своей природе артельны, они дела свои собором решать любят, но есть в этой системе и такие свойства, которые мешают гению развиваться. С детства нас в интернациональном котле вываривают: забудь, мол, о своих и полюби других. Национальный дух из человека словно ветром выдувают, приучают русского к беспамятству, к забвению всего собственного, родного. У нас в книгах слово «русский» все реже встречается. Ну, а если так, то и любви к русскому нет, и боли за его страдания не видно. И постепенно, - мы даже не заметили, как это произошло, - подменили основные понятия: злого писателя гуманистом называли, а доброго, щедрого душой - анафеме предали. Вы же сами, Николай Васильевич, недавно Юрия Бондарева к награде очередной представили. А давайте-ка посмотрим внимательно на весь строй его произведений. Чем они нашпигованы, чем пропитаны? Я недавно телепередачу смотрел - Бондарев с читателями встречался. Так один офицер спросил у него: вы о войне пишете, и почти на каждой странице ваших произведений то генерал неумный, то офицер - пьяница, а то сержант-насильник. Но помилюте: а кто же войну-то выиграл? Неужели такие вот... дурные люди?

Я же вам к этому добавлю: Лев Толстой эпопею о войне двенадцатого года написал, в ней сотни персонажей на страницы вывел. И из простых людей - ни одного отрицательного! А вы в своем дивизионе «катюш» знали хоть одного дурного солдата? В моей батарее таких не было. А Тургенев возьмите. Посчитайте, сколько он лиц из крестьянского мира показал, - и все они - красивые люди! И дело ведь не в том, что не было в народе плохих людей, а в том, что Толстой и Тургенев любили свой народ такой сильной любовью, что она из души у них высекала и восторг, и радость, и осознание величия. А гений, он только и вырастает на народной почве. Был бы Есенин таким гениальным, если бы он не любил пронзительной любовью и своих земляков, и Россию, и свою Константиновку?..

Я замолчал, и мы долго свой разговор не возобновляли.

Нарушил молчание Судаков. Он заметил:

- Вы в самую суть заглянули. Читатель, как и зритель наших картин, любви хочет, а не ненависти.

- Думаю, не в одном только этом дело, - сказал Свиридов. - Наверное, есть и нечто другое, что мешает таланту развиваться в гения.

Как умный человек, он знал, что это такое «нечто другое», но пускаться в дальнейшие рассуждения не решился. Что-то ему мешало полностью раскрывать перед нами свою душу.

Он сказал:

- Вам надо классиков больше издавать.

- Но в отношении профиля издательства значится указание выпуске исключительно новой литературы.

- Ну и пусть значится. А если нет ее, этой новой литературы? Не издавать же шелуху разную!

- Вчера Некрасов в торговлю пошел. В подарочном оформлении.

- Видел Некрасова. Книжка неплохая, а предисловие Эттов написал. Кто такой Эттов? Что за фамилия дурацкая - придумать же надо... - Эттов. Курам на смех! Встал бы из могилы Николай Алексеевич, да взглянул бы, кто его поэзию русским людям объясняет!.. Где и раскопали такого!..

- Доктор филологических наук, специалист по Некрасову.

- Знаю, что доктор. А только думать надо, кому и что поручаете. Эттов!.. Найдут же ведь!..

Видимая мне часть лица его покраснела, он качал головой, не мог успокоиться. «Отдыхаем, называется, - думал я, не зная, куда себя деть от нелепого положения. - И зачем он меня пригласил - отчитывать, что ли? Да этак он себе же весь выходной испортит!» В полоборота повернулся ко мне:

- Вы что ли предисловие заказывали?

- Нет, Николай Васильевич. Я не заказывал.

- А кто же?

- Не знаю.

- Вы должны все знать. А Прокушев в такие дела пусть не лезет. А если Сорокин?.. Растолкуйте ему, где фамилии настоящие, а где крученые - вроде этой вот: Эттов!.. Надо же! Некрасов - глубоко русский, наш, национальный. В каждой строке, в каждом звуке боль души русской слышится, плач сыновний, а они... Эттов! Да я, как увидел... у меня печень заболела.

- Сегодня мы поправим ее,- подал голос Судаков.- Я бутылку столичной захватил.

Ехали по Калужскому шоссе долго. Справа и слева был лес и лес. Но вот открылась поляна и на ней небольшая «умирающая» деревушка. Свиридов показал дорогу, ведущую в деревню, и шофер свернул на нее. Подъехали к колодцу, шофер достал из багажника канистры, два бидона -стал набирать воду.

Скоро приехали на место. По тому, как Свиридов нашел проселочную дорогу, ведущую в глубь леса, как он высмотрел площадку для стоянки автомобиля и уверенно устремился в чащобу, я понял, тут они бывали не раз.

И вправду, у толстой сосны, лежащей поперек поляны, Свиридов разгреб снег, вывернул не сгоревшие головешки, кирпичи и палки, из которых складывался треугольник для подвязки котла или другой посуды. Шофер тем временем тащил котелок литра на четыре, миски, ложки, вилки - все из нержавеющей стали, добротное, красивое - видно, давно подобранное, одно к другому прилаженное, и банки для хранения крупы, соль, мясо, консервы, коньяк, водку.

Свиридов засыпал пшено в котел, начал мыть. Я было взялся ему помогать, но Судаков потянул меня за рукав:

- Эту процедуру Николай Васильевич не доверяет никому.

Художник наладил этюдник, двинулся в лес. Я пошел собирать сушняк. Нашел засохший орешник, наломал палок, наладил костер.

Но вот готов кулеш, раскрыты банки консервов, разложены пирожки и булочки, шоколадные конфеты, нарезаны свежие огурцы, помидоры, лимоны...

Начался пир на снегу, стоя, под открытым небом. Наливали по полстакана водки. Выпили раз, потом второй... Доза для меня необычная. Никогда прежде не переходил за полстакана водки. Знал: выпью больше, глаза покраснеют, язык развяжется - захочется говорить, спорить. На корреспондентской работе нельзя было переступать черту, здесь же... приходилось.

Третья порция шла трудно. Свиридов, пивший легко и лихо, сказал:

- Вы как-то пьете... не по-людски.

- Как?

- А так. Будто лягушек глотаете.

Судаков засмеялся, а мне стало не по себе. Меня и так мутило, голова начинала кружиться, но я крепился. Свиридов все замечал.

- У вас, наверное, своя норма? Поменьше пьете. Ну ладно. От очередной вас уволим.

Стал наливать.

- Меня тоже,- отстранил стакан Судаков.- Кисть в руках дрожит и краски не те кладу.

- Слабаки.

И Свиридов выпил один. Мне подложил кулеша.

- Ешьте, как следует.- И, помолчав: - С писателями пьете? Они, небось, с гонаров приглашают?

- Приглашают, конечно, но у нас в издательстве правило: с писателями не пить. Мы не бригадиры, а они не рабочие.

- Это хорошо. Так и надо. Ну, а если большой писатель, живой классик в гости пригласит? Бубеннов, например.

- С Михаилом Семеновичем у нас давняя дружба.

- Хороший он писатель и человек хороший. Его «Белая береза», пожалуй, лучшая книга о войне. Я ее недавно перечитывал. Слово бы снова по дорогам войны прошел. И людей, и природу, и бои - все верно изобразил!

Мы в это время в серии «Библиотека российского романа» начинали печатать в подарочном варианте «Белую березу» - очевидно, Свиридов выражал одобрение этому нашему намерению.

- Вы «Русский лес» Леонова издаете - это хорошо, надо больше печатать настоящих современных писателей.

Слово «настоящих» Свиридов произнес с нажимом, как бы желая подчеркнуть, что сейчас горе-критики и литературоведы, выющиеся плотным роем возле Чаковского и его «Литгазеты», в разряд «классиков» возвели писателей, чуждых русскому духу.

- Настоящих надо печатать! - повторил Николай Васильевич. И не слушать «Литгазету», она вам насовует. А что касается предисловия к тому Некрасова, - ну, кто там нашел его... - Эттова?.. - Выясните и доложите мне.

- Хорошо, Николай Васильевич, сделаю.

Похоже, на этом разговор о делах будет окончен. Свиридов, видимо, слишком болезненно переживал атаку темных сил на наши духовные основы, его разум и психика в течение трудовой недели напрягались, натягивались, как пружина, и теперь в атмосфере вольной дружеской беседы он расслаблялся, выпускал пар. «Интересно, - думал я, - знает ли он о том, как Прокушев хотел исключить меня из партии, как я добился увольнения Анчишкина?.. Что ему известно о моем давлении на художников и поддержит ли он меня, если я это давление усилю?»

Все это меня волновало, но я не отваживался сам заводить деловые разговоры. Мнение Блинова, что за рюмкой водки и решаются все вопросы, я не разделял.

Свиридов затих. Сказав шоферу, чтобы тот вымыл как следует и прибрал посуду, предложил мне пройти в лес:

- Пойдем поищем нашего Рембрандта.

Нашли Судакова. Смелыми, уверенными мазками он писал снежную поляну и на заднем плане три молодых сосны. Я впервые видел за работой настоящего большого художника, меня поразила размашистость, с которой он орудовал кистью, набрасывал краски. Буквально на глазах на полотне переходил кусочек видимого нами зимнего леса.

На обратном пути заехали в мастерскую Судакова. Он показал нам множество эскизов, рисунков, штриховых набросков городов и деревень Индии - плод его недавней поездки в дружественную страну.

Утром ко мне заходила Нина Гавриловна, главный бухгалтер, попросила умерить щедрость в выплате гонорара авторам книг.

- Снова финансовые затруднения?

- Не сказала бы... Однако - режим экономии.

Было видно, эта аккуратная в служебных делах женщина не хочет участвовать в возможной конфликтной ситуации, которую и не каждый мужчина-то способен выдержать. Да, кроме того, ей уже, наверное, не раз доставалось за ее честность и открытость и от директора, и от Дрожжева, которому она подчинялась.

Не стал напрягать ее, отпустил. И тотчас зашла работница производственной службы - она была у нас вроде заводского диспетчера.

- Увольняюсь я, зашла проститься.

- Вот новость!.. Я бы не хотел вас отпускать.

Женщина благодарно улыбалась. У нас были хорошие отношения, она даже поверяла мне некоторые семейные секреты.

- Признавайтесь, чем мы вам не понравились?

- Скажу вам, как на духу, да только не выдавайте меня. С Дрожжевым не могу работать, со свету сживает. Видно, боится меня, знать много стала.

- И хорошо это, если знаете много, - знающий-то работник делу нужен.

- Да нет, не те это знания.

«Неужели и он, как Вагин?..» - мелькнула мысль. Раньше я как-то не представлял, как может еще и Дрожжев перекачивать куда-то наши денежки. А тут мне намекают - «не те это знания».

Поделился с ней своей тревогой. Финансы у нас все время хромают. Вынуждены экономить на авторском гонораре, а у нас писатели за свой каторжный труд и без того гроши получают. Не знаю, где деньги искать. Женщина загадочно улыбалась, но карты раскрывать не торопилась. Боялась Дрожжева: он ведь и на краю света достанет. Но желание уязвить ненавистного начальника взяло верх. Сказал:

- Вагинские махинации у всех на виду, и то вам трудно распутать! А уж дела-то Дрожжева таким мраком окутаны - там черт голову сломит. Дрожжев ворочает миллионами, у него сотни тонн бумаги, отделочные материалы - валютные, сверхдефицитные. Он, как жонглер, манипулирует тоннами и рулонами: туда нарядить и перенарядить, оттуда взять, туда направить, тому дать в долг, а тому накинуть и прибавить,- и все это в разных городах, на разных печатных фабриках и комбинатах. Там дружок, там своячок... Господи! Да тут и Шерлок Холмс не разберется. Мрак сплошной - одно слово! Кто же знает, в какой колодец наши деньги валяются!

- Да уж... верно. Никто этого не знает.

В тот день Сорокин мне пожаловался, что в «Московском рабочем» подготовили к изданию его сборник стихов, но тираж дают небольшой и денег он получит мало. А он вступил в жилищный кооператив, хочет купить трехкомнатную квартиру.

Я позвонил главному редактору «Московского рабочего» Ивану Семеновичу Мамонтову, попросил увеличить тираж Сорокину. Тот обещал это сделать и проронил:

- Зашел бы к нам. Давно не виделись.

Через несколько дней я зашел в издательство, где еще недавно был напечатан мой роман «Подземный меридиан», на который так яростно навалилась «Литературная газета».

Зашел к директору,- тут же оказался и Мамонтов.

- Простите меня, Николай Хрисанфович, за то, что подвел вас под монастырь,- обратился я к Есилеву.

- Когда уйду на пенсию,- сказал Есилев,- буду вспоминать о таких книгах, как ваша. Спокойные, благополучные книги пролетают, как бабочки, а такие-то «меридианы» застревают в голове, как гвозди.

Есилев был старым опытным издателем, мы все ценили его за ум, честность и принципиальность.

Косил на меня:

- Ты что это за сынов Израиля хлопчешь?

- О ком вы? - не понял я.

- Сорокин от тебя приходил. Тираж ему увеличили, а только в другой раз евреев нам не посылай. У нас своих хватает.

Я стал уверять, что Сорокин - в прошлом рабочий парень, уральский казак. Они не верили. Есилев говорил:

- Дерганый он, будто под рубашку ему елочных иголок насыпали. Я таким не доверяю, не знаешь, куда он завтра шархнется.

Потом я спрашивал о делах финансовых. У них они тоже были не блестящими, но все-таки прибыль оставалась солидная. Мамонтов мне сказал:

- Финансы - дело его вот, директора. У вас Прокушев - он себя сейчас называет критиком, писателем и выдающимся экономистом. Я, говорит, быстро в денежных делах разобрался.

Есилев просветил меня. Книга в нашей стране, хотя и стоит дешево, в несколько раз дешевле, чем в других странах, но, если она хорошая, раскупается быстро и доход приносит большой. Положим, книга оценена в два рубля. Тираж - сто тысяч экземпляров! На ее производство ушло сто тысяч рублей, а сто-то тысяч - прибыль!..

- Сто тысяч! - восклицал Есилев.- Живая деньга! Вы сколько книг выпускаете? И все художественные, солидные. Да на ваши-то деньги сколько домов можно построить, магазины, типографии. Машины печатные, наборные покупай, бумагу в Финляндии, материал переплетный - балакрон, ледерин, коленкор разноцветный!

Мамонтов внушал:

- Ты, тезка, в дела материальные нос не суй. Прокушев - опасный человек, он наш автор, мы его знаем. Если уж во что вцепится, держаться будет крепко. А у него там Вагин, Дрожжев... Ниточки от них далеко тянутся. Остерегись.

Мудрый и всезнающий Есилев обрисовал портрет Дрожжева.

- Старая лиса, двадцать лет директором типографии был, его всякая собака знает. А сейчас в типографиях, как и в редакциях, у него сродственничков много, то есть братьев-иудеев. Да он с ними-то любое дельце обернет и в узелочек затянет!

Есилев добродушно улыбался, довольный, что к нему приехали за советом.

Я чувствовал отеческое ко мне расположение, но сердце не принимало философию смирения. Ехал от них с твердым намерением еще раз сунуть нос в муравейник.

Глава четвертая

Вот уж истинно говорят: на ловца и зверь бежит.

Я только начал задумываться над тем, как бы половчее подобраться к Вагину, а затем и Дрожжеву, как мне на стол ложится документ... Подробнейший анализ вагинского механизма распыления наших денег. И анализ этот делал не кто иной, как один из наших художников; его внешность обманула Вагина,- пария приняли за своего и стали давать заказы. Постепенно этот Штирлиц - так назовем его - внедрялся в вагинское братство. Ему все больше доверяли, но затем вдруг узнали: он - родной брат Саши Целищева. И добровольно, с некоторым даже спортивным азартом он расписал все махинации с оплатой труда художников.

Итак, у меня на столе новый документ,- на этот раз самый важный, почти вещественное доказательство.

Я показал его Сорокину и Панкратову. Они дружно заявили:

- Будем раскручивать!

Перед обедом, точно ужаленный, ко мне влетел Прокушев:

- Опять свара!.. Опять шантажировать меня этими проклятыми художниками! Да сколько можно? Дайте мне спокойно работать, наконец!

- А и работайте. Вы-то при чем?

Достал из кармана блокнот, искал нужную страницу.

- Мы с вами, Юрий Львович, издатели молодые, многого еще не знаем, а я вот ездил в наш родной «Московский рабочий», так умные люди меня вразумили.

- Какие там, к черту, умные люди! Вы что дурака ломаете? Я же сказал, что финансами занимаюсь я и Дрожжев. Где бумага, которую вам подал какой-то идиот! Дайте мне ее!

Прокушев протянул руку. Она дрожала. И сам он был бледен, нижняя губа дробно, чуть заметно дергалась.

Я понял: бумага его напугала. Отдай я ее, и она потонет в его пухлом портфеле. А в ней цифры, расчеты, выписки из инструкций, расценки, тарифы.

- Нет у меня бумаги,- соврал я.

- Как нет? Мне Сорокин сказал.

- Была утром, да я пригласил следователя из районного ОБХСС, отдал на экспертизу.

- О-о!.. Вы с ума сошли! Мы сами должны разобраться. Сами, здесь, у себя. А уж потом бить в колокола. Да нет, вы положительно ума лишились. Развести такую грязь!.. Я же вам говорил: финансы - моя сфера, вы готовьте к печати рукописи - отбирайте, рецензируйте, редактируйте; книги, книги - вот ваше дело! Вам что, мало? Вы еще хотите и сюда руку запустить.

- Не знаю, кто запустил руки в наши финансы, да только издательство наше - самое прибыльное и престижное - на мели сидит. Но вы, Юрий Львович, не беспокойтесь: бумага почему-то адресована мне, а не вам, видно, не все знают, что вы у нас единолично ведаете финансами. Однако ничего, я решил проконсультироваться со сведущими людьми. Следователь - мой добрый знакомый, бумагу дал ему приватно, для дружеского совета - к нашей же с вами пользе. Чего вам беспокоиться?

Неожиданная ситуация посылала мне счастливый шанс, я нечаянно занял выгодную позицию и решил использовать все преимущества своего положения. Мне нечего было волноваться и некуда торопиться: советоваться с официальными органами - мое право, никто меня не упрекнет, а если дойдет до Карелина, до самого председателя - скажу им, что бумага у меня в кармане, а Прокушева я попугал. Хотел понудить его этим серьезнее заниматься финансами и навести в этом деле порядок. И еще доложу, - если спросят, конечно, - что касса наша настолько отошла, что скоро нечем будет платить авторам за принятые к печати рукописи.

Обедать пошли втроем - мы с Сорокиным и Панкратов. Валентин, как всегда, горячился, требовал скорее «давать ход» бумаге.

- Пустим их на распыл, мерзавцев!

- Каким образом? - спрашивал я.

- Оформим дело в прокуратуру. К этой бумаге, да те, прошлые документы: материалы нашей комиссии, заключение главных художников издательств, которых ты тогда приглашал.

- Такие дела я обязан докладывать в Комитет. А ты уверен, что наш святой порыв разделят Карелин, Звягин, Свиридов? А Михалков, Качемасов, Беляев из отдела культуры ЦК? Наконец, Яковлев? Не забывай, что наша организация идеологическая, законы жизни у нас особые.

- Что же делать?

- Думать будем. Не надо пороть горячку.

На этот раз я твердо решил повесить дамоклов меч над головой мафии. Кто не виноват, тому нечего беспокоиться, а у кого рыльце в пушку - пусть поразмыслит на досуге.

Слабее всех оказался Вагин. Он пропал. Нет его ни на работе, ни дома. Я каждый раз, придя на службу, захожу в отдел оформления, спрашиваю:

- Где Вагин?

Два его сотрудника внимательно, как младенцы, смотрят на меня. Русский с любопытством, еврей - с тревогой. Отвечает еврей:

- Зачем он вам?

Я отвечать не тороплюсь, рассматриваю рисунки на столе, оглядываю комнату. Повторяю вопрос:

- Так где же Вагин?

- Не знаем! - почти в один голос восклицают художники. Через два-три дня исчез и еврей-художник. Все дела по оформлению книг теперь легли на русского.

Нет и Прокушева. Уехал куда-то и Дрожжев.

Панике они поддаются мгновенно. Приказываю разыскать Вагина, - нет его ни в Москве, ни за городом, - словно в яму провалился. Директора и его зама не ищу - без них превосходно справляемся со всеми делами.

Жду звонков из Комитета. Никто не звонит. Однажды часу в одиннадцатом секретарша говорит:

- Звонили из приемной Полянского, просили вас быть на месте. Через час вам позвонят.

У меня сидел военный писатель и мой давний товарищ еще по «Сталинскому соколу» Николай Иванович Камбулов.

- Полянский? - говорит он. - Ты что, знаком с ним?

- Нет, таких высоких персон в друзьях у меня не числится.

- Странно. Они обычно общаются только с людьми, близкими по делу.

- Кто это - они?

- Члены Политбюро. Полянский конфликтует с Брежневым, его теснят,- он был первым заместителем Председателя Совета Министров, теперь - министр сельского хозяйства. Странно! - повторил Камбулов.- За кого-то просить будет. По слухам, он покровительствует Шевцову и Стаднюку. Впрочем, сейчас узнаешь.

Через час раздался звонок.

- С вами будет говорить Дмитрий Степанович Полянский.

И тотчас включился в разговор Дмитрий Степанович:

- Давно хотел вам позвонить, да вот... только собрался. Читал статьи в «Литературной газете» - о них говорить не стану, это пишут люди, которые у меня не вызывают доверия. Впрочем, они подали сигнал: ага, зацепило, значит! Задел порядок вещей, который они нам настраивают, раскрыл их козни. Я тут же стал читать ваш роман, и верно, вы показали как раз то, что они глубоко прячут,- их интересы в науке, театре - во всех сферах жизни.

- У меня получилось это нечаянно.

- Не говорите так, не скромничайте. Вы отлично знаете природу людей, которых вывели на страницы книги. Верно, вы с ними много общались и знаете их изнутри. И можно понять критика, и редактора Чаковского, и всю редакцию - они там демонстрируют поразительное единодушие. Я их понимаю: вы сунули палку в муравейник, который они старательно оберегают. Нет, вы написали отличный роман, с чем я вас и поздравляю.

В таком роде мы говорили сорок минут. Говорил больше Полянский, я слушал - и мне, конечно, было лестно слышать похвалы такого высокого человека, поражали его проникновение в мой замысел, оценка и подробный анализ героев, особенно главного отрицательного персонажа - ученого Каирова.

- К нашему несчастью,- говорил Дмитрий Степанович,- каиравы, как тараканы, расползлись у нас повсюду, и против них мы не нашли никакого средства. И, как мне думается, еще долго не найдем. Они теперь повсюду - и в сферах управляющих, особенно же, как вы верно показали, в сферах нашей духовной жизни. Режиссер у вас получился замечательный, они теперь почти все такие... Вот ведь какое уродство пришло к нам на место Станиславского и Немировича-Данченко!

Дмитрий Степанович подробно говорил о каждом персонаже, особенно об отрицательных. Он, верно, тоже хорошо знал мир моих героев. «И его,-подумал я,-они теснят и кусают...» - Вспомнил разговоры в кругах писательских. Полянский бунтует, он в оппозиции к Брежневу, ко всей его льстивой беспринципной команде, темным людишкам, серым мышам. Молчаливый хитрован Суслов, примитивные Подгорный, Соломенцев, Воронов, тихий и жалкий на вид Косыгин, сталинский лиходеи Громыко, простачок Романов, отвратительные подхалимы Рашидов и Алиев (где только находят таких?). И на их фоне несколько честных открытых лиц: Шелепин - его тогда называли «железный Шурик», Семичастный, который всюду говорил: «Не столько шпионов нам надо бояться, сколько собственных геростратов, растлителей и разрушителей». Я это слышал собственными ушами во время встречи с ним журналистов «Известий». И еще Полянский. О последнем говорили особенно хорошо и с надеждой: он и умный и смелый, говорит на Политбюро то, что думает. Скоро ли мы получим доступ к стенограммам их заседаний, всех и за все времена? «Тогда - думал я,- станет ясно, кто и куда нас тащил, кто разрушал деревню и ратовал за "великие" стройки, которые, подобно египетским пирамидам и Китайской стене, сосали энергию многих поколений людей. Впрочем, у наших гигантов есть и еще одно свойство: они отравили воздух, землю и воду. Таких чудовищ не могли придумать ни египтяне, ни китайцы».

Впрочем, уже тогда пелена лжи и обмана спадала. Конкретные виновники наших бед стали покидать Россию. А люди, чьи предки родились на нашей земле, говорили им: «С Богом!» - и вздыхали с некоторым облегчением. Но мазутный коктейль в волжских берегах остался. И желтые пески на месте Арала, и замутненная Ладога, и опаленная жесткими лучами земля Чернобыля, и дыры в озоновом слое, и облака гари над Магнитогорском,

Нижним Тагилом, над всем Донбассом и южной Украиной, над Москвой, Ленинградом, Баку и Тбилиси - остаются.

О Полянском шли такие разговоры: он со многим не согласен, швыряет Брежневу и всей его команде в лицо слова правды. Так это или то была лишь красивая легенда? Надо же в кого-то верить!

Полянский предложил мне встретиться с ним. Я принял его приглашение и через два-три дня был в министерстве сельского хозяйства.

Полянский вышел из-за стола, протянул руку, улыбается. Глаза синие, наши, пензенские или тамбовские. Волосы прямые, темные. Ростом невелик, сбит крепко, ладно.

- Трясет вас Чаковский, а вы держитесь, не падайте духом. Помните, трясут только то дерево, на котором есть плоды.

Прошел к книжному шкафу, показал ряд книг.

- Здесь у меня наши современные авторы, которых я прочитал. Вот и ваш «Подземный меридиан».

Подал мне мою книгу в прекрасном твердом переплете.

С удивлением посмотрел я на хозяина кабинета. Он сказал:

- Переплели в нашей мастерской. Есть у нас такая.

- Хорошо одели книгу. К читателю-то она, к сожалению, явилась в ветхом платье - в мягкой обложке.

- Да, но я надеюсь, будут у нее и другие одежды. Теперь-то на многие годы ее, пожалуй, подальше засунут в библиотеках, а потом издавать будут. Книги, в которых много правды, всегда имеют трудную судьбу,- многие и совсем теряются, но многим удастся вынырнуть. Я надеюсь, вот эти...- он показал на полку, - где в прекрасных не «родных» переплетах стояли отобранные хозяином кабинета книги,- их еще не однажды напечатают.

Он читал собственные заметки, которые писал на отдельных листках и вклеивал в конце книги. Тут были три романа Ивана Шевцова: «Гля», «Во имя отца и сына», «Любовь и ненависть», романы Василия Соколова «Вторжение», Михаила Бубеннова «Стремнина», Леонида Леонова «Русский лес», книга Степана Шешукова «Неистовые ревнители», сборники стихов Бориса Ручьева, Игоря Кобзева, Владимира Фирсова, Николая Рубцова.

Были тут и другие современные авторы, имена которых я слышал.

- Интересно, среди ваших коллег все вот так же... читают современную литературу?

- К сожалению, нет, не все,- сказал он и не стал дальше развивать эту тему. Я же подумал, что вопрос задал не очень умный и решил тщательно обдумывать свои слова.

Однако тон беседы, вольность и смелость мыслей Дмитрия Степановича, его манера говорить так, будто мы с ним давно знакомы, развязали и мне язык. Я говорил о жестких рамках, которые создаются для писателей партийной идеологией, сонмом редакторов, цензоров, агрессивностью и распутством критики, которая в наше время попала в руки известной и хотя и небольшой, но очень активной группы людей.

Проговорил фразу рискованную,- посмотрел в глаза собеседнику: они вдруг потемнели. Полянский сдвинул брови, задумался. Я уж решил, что попал впросак, сболтнул лишнее и сейчас услышу упрек в несерьезности, в национальных предубеждениях, но услышал другое:

- Да, вы правы, с критикой у нас неладно, «Литературная газета» откровенно ведет линию на избиение русских, не дает поднять голову молодым, новым писателям.

Он взглянул на книжную полку.

- Я читаю и книги, и статьи о них. История с вашим «Подземным меридианом» типична,- они увидели равнодушного автора, понимающего их тайные замыслы, знающего их тактику, умеющего разгадывать хитро закрученную, коварную демагогию наших недоброхотов. Таких они бьют особенно больно и зорко следят за тем, чтобы опасный автор долго не мог поднять головы. В наши дни они так поступили с Иваном Шевцовым, а если брать двадцатые, тридцатые годы - тогда они травили Сергеева-Ценского, Максима Горького, Михаила Шолохова, Алексея Толстого... А уж что до Есенина, Маяковского - за этими шли по пятам и били изо всех стволов.

Я был покорен страстностью речи, глубиной и точностью познаний. С писателями, профессорами - знатоками истории нашей литературы - встречался я едва ли не каждый день, слышал многие, потрясавшие душу подробности литературных баталий двадцатых-тридцатых годов,- и нельзя сказать, чтобы Дмитрий Степанович говорил мне что-то новое, невероятное,- я все это знал и слышал, но его горячность и убежденность, его боль за судьбу отечественной литературы невольно вызвали глубокое уважение к этому человеку, желание сказать ему сердечное спасибо от имени русских писателей, поблагодарить за внимание, которое он нам оказывал. Ведь было совершенно ясно, что забот у него много, непросто складывается его собственная жизнь и судьба,- дружная команда брежневских льстецов и политических интриганов теснит и давит его со всех сторон,- столкнув его в министерство сельского хозяйства, они фактически удалили его от себя, наверняка, не приглашают его на все свои совещания, стремятся многие вопросы решать без строптивых коллег - Полянского, Шелепина, Семичастного - догадки об этом носились в воздухе, видны были невооруженным глазом, а мне-то уж, работавшему долго в «Известиях», это было совершенно ясно. И невольно думалось: «И сам в опале, а приглашает опального писателя, звонит по телефону. Смелый человек!»

Ничто не ценилось так высоко на фронте, как храбрость и отвага,- и как же я понимал, и как обожал в эту минуту своего высокого собеседника!

Визит к Полянскому произвел большую работу в моем мироощущении, я вдруг понял, что в моем положении нет ничего случайного, исключительного, единоличного,- попросту говоря, я попал на стремнину исторически сложившегося общественно-политического течения, в котором ныне очутились многие русские люди, особенно те, кто, как писал мне Иван Шевцов, выдвинуты судьбой на передний край идеологической войны. Полянский, Шелепин, Семичастный. Они, генералы, работают в генеральном штабе, но они состоят в той же армии, что и я, младший офицер этой армии, и их так же, как и меня, теснят и вот-вот вышибут из седла. Они бьются, как бьемся мы, русские люди, в издательстве, и наши силы крупнее, нас больше, и мы бьемся на своей земле,- казалось бы, знаем каждый бугорок местности, каждый кустик, но... отступаем. Сдаем одну позицию за другой.

Об этом периоде русской истории можно было бы сказать словами Лермонтова:

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? На зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

Почему? Где причина нашей слабости? Как и чем объяснить наши поражения?

Уже тогда я был почти уверен, что и Полянский, и Семичастный, с которым беседовал в «Известиях», и Шелепин, о котором слышал много хорошего,- все они скоро уйдут из генерального штаба, и мы, русские патриоты, останемся без генералов. Нами будут командовать люди, которых мы не знаем и о которых в народе не услышишь доброго слова. Там останутся Брежнев, Кириленко, Подгорный - герои анекдотов. В Днепродзержинске, в прокатном цехе Metallургического завода, работал инженер Брежнев. В этом же цехе трудился и мой старший брат Федор. И когда я приезжал к нему в гости, Федор говорил: «Если там у вас в Кремле наш Леня первый человек, то кто же там второй?...» А еще в Кремле обосновались много льстивых, подбострастных, беспринципных фигур - членов брежневской команды...

Эти... съедят кого угодно, им только покажи на жертву. И скоро им покажут на Полянского, Шелепина и Семичастного. И они кинутся. И растерзают.

На меня тоже кинутся, но, конечно же, не генералы. Я подвластен майорам. Но и у этих

крепкие зубы.

И все-таки почему же мы отступаем?

Я и раньше задумывался над этим. Теперь же, когда встретился с человеком из генерального штаба и увидел, что и он находится в моем положении, вопрос о причинах нашего отступления буквально сверлил мою голову. Совершенно реальной угрозой звучала для меня строчка из письма Шевцова: «Боюсь, что народ наш, такой наивный и доверчивый, на этот раз не выстоит...»

«Как не выстоит? - протестовал всем сердцем. - Мы что же - погибнуть должны?»

Но это были мои эмоции, естественный, инстинктивный протест против возможной гибели. И не одного только меня - всего народа, того самого русского, славянского народа, которым так гордились Гоголь, Пушкин, Толстой, Есенин, которым весь мир восхищался в годы войны и принадлежности к которому наполняет сердце окрыляющей радостью. Это чувство наше, такое естественное и красивое, «гости» наши, пришельцы из иных стран, сыны иных народов, со злобным присвистом называют словом «шовинизм».

Да, это все эмоции, реальная же действительность - в том, что мы отступаем!

Мысль об этом не покидала меня и в часы, когда я приезжал на дачу и пытался забыться, отдохнуть.

Беру палку, иду через лес к друзьям. Захожу к Андрею Сахарову. Он работает в ЦК КПСС в секторе журналов. Он историк, доктор наук. Недавно выпустил книгу «Степан Разин». Подарил ее мне с надписью: «В тот период, когда мы молча и трудно отступали».

Спрашиваю:

- Андрей! Почему мы отступаем?

Отвечает, не задумываясь:

- У нас бьется арьергард - горстка русской интеллигенции, у них - введена в дело вся армия.

- И долго мы будем отступать?

- Отступаем почти сто лет. Сдали Москву, Ленинград - сдали всю Россию, от моря до моря. А сколько еще будем отступать - не знаю, думаю, лет двадцать-тридцать будем еще пятиться.

- Но что же произойдет за эти двадцать лет? Ведь и так уж наши потери невосполнимы.

- Верно, потери велики. Поруган даже главный храм России - храм Христа Спасителя. Такого в истории не бывало - ни у одного народа. Русский народ велик, во всем велик - в делах высоких и в падении. Он позволил бесовским силам поругать свой главный храм, очередь за душой. А как замутят душу, очередь дойдет до земли. А земля, сам знаешь, она - мать-кормилица, из нее мы вышли, в нее и войдем. Так вот - очередь за землей.

Андрей Сахаров станет потом директором Института истории.

- Жутковато слушать тебя, Андрей, пойду-ка я к Ивану Шевцову.

Иван Шевцов тоже далек от оптимизма. Он рассуждает как военный - в прошлом-то он был начальником погранзаставы.

- Вопрос ты задаешь детский,- говорит он со своим обычным озорным подтекстом.- Ты был у Полянского, увидел, почувствовал, что его теснят. И скоро вытеснят,- это ты верно заметил,- пошлют куда-нибудь послом (его действительно вскоре отправили послом в Японию). Тебя, к примеру, вытеснят и куска хлеба не дадут, а его еще некоторое время будут кормить. Так у них заведено - на случай, что и их так же вытолкнут. Ну так вот, пошлют куда-нибудь подальше, и никто не ахнет, и глазом не моргнет. А между тем в ЦК рядом с Полянским немало и русских людей есть, то есть бойцов нашей армии, и даже в Политбюро такие есть. Хоть один или два, а есть. И все они, поджав хвосты, молча наблюдают, как у них на глазах изничтожают товарища, даже командира ихнего. А теперь ты мне скажи: могло такое быть на войне: чтобы убивали командира, а солдаты бы стояли и этак смирнехонько наблюдали? Ах, нелепость! - говоришь ты. Так вот нелепость такая стала нормой нашей жизни, мы все стоим на коленях и предаем друг друга. В нас бес вселился, и он погубит нас.

- Ну, бес... Каркаешь ты!

- Да, бес. Мы песни свои родные не поем, танцы свои забыли, в церковь не ходим, и ты еще скажешь, что нет в тебе беса!

- Я-то пою свои песни.

- Ты поешь, другие не поют. И когда тебя, как Блинова, выставят из издательства, никто и глазом не поведет. Потому как в них бес, они все чужебесам служат, то есть Прокушеву, Бондареву, Михалкову, а ты один вроде меня в литературе, выскочил вперед и размахиваешь сабелькой. И как ты ни вертись, армия за тобой не пойдет. Она не понимает, что идет война, а бойцы спят. Ты понял, прозрел, а армия не понимает. В Америке таких непонимающих оболтусами зовут, у нас - быдлом. В сказке Иванушка-дурачок, хотя вроде бы и дурак, а поступает во всякой ситуации разумно, и конец всех злоключений у него счастливый. Боюсь, что на этот раз такого конца не получится.

- Да, и ты каркаешь,- еще больше хандры нагнал. Пойду-ка к Фирсову. Поэт-пророк, провидец, у него на любой вопрос ответ сыщется.

Фирсов, выслушав мой вопрос о причинах отступления, прокашлялся и долго в платок носом гремел. У него гайморит, и он с похмелья. Однако голова ясная. Сказал коротко:

- Погоди, народ созреет, мы сионизму шею свернем.

Я не стал допытываться, как и когда это случится.

- Спасибо, друг. Ты душу мою на место поставил. Пойду-ка я, посплю перед обедом.

- Погоди. Пока Люся меня не видит и тещи в огороде нет, и я шмыгну за калитку. С тобой пойду,- у тебя, небось, еще осталась смородиновая? Я тебе душу на место поставил, а ты мне голову поправь. Вчера-то я лишнего хватил, трещит голова. Пойдем, друг, а вопросы свои ты оставь. Андрей Сахаров тебе верно сказал: мы - арьергард и, поскольку бьемся с сатанинской силой, все погибнем, сложим свои буйные головушки. А потом медведь проснется - то бишь народ русский. Страшно зарычит медведь, на дыбы встанет. Вражье-то и разбежится. Все как есть деру дадут. В драку с медведем не полезут. Кишка тонка. Это они с нами прыть показывают. Мы-то что для них? Горстка храбрецов, да еще без оружия. Оружие-то ныне - газеты, журналы, книги. А они все у них. Ты еще, правда, держишься, но ты последний. Скоро и тебя съедят. Да, старик, последний ты. Последний Иван. Я стихи напишу «Последний Иван». Но ты не горюй. У тебя два улья есть, Надежда твоя какую ни есть зарплатишку получает. С голоду не помрешь. Так, Иван. Пойдем поскорее. Голова гудит.

Верстки и сигнальные экземпляры книг я теперь домой не брал, читал в издательстве, в промежутках между другими делами. Прокушева и Вагина не было, Дрожжев уехал в Калинин, оттуда в Тулу, а потом, не заходя в издательство, отправился в Харьков. Устраивал дела на печатных фабриках, комбинатах - видимо, он «подчищал» шероховатости. Боялся проверки.

Вагин пропал. Прокушев лежал больной. На девятый день мне позвонила жена директора Вера Георгиевна.

- Иван Владимирович, голубчик, жальтесь над Юрочкой,- он вот уже девять дней не спит, лежит по ночам с открытыми глазами и смотрит в потолок. Бог с ним, с вашим издательством,- оставьте его в покое, прошу вас. Он вчера заявление написал с просьбой освободить его от должности.

- Не понимаю вас, Вера Георгиевна, мы ничего не имеем к Юрию Львовичу. И вообще у нас ничего не происходит, все тихо и мирно. Объясните мне, пожалуйста, свою тревогу.

- Ах, не надо меня успокаивать. Для нас издательство - сущее наказание. Он с тех пор, как надел на себя ярмо директора, и всю радость жизни потерял. И я-то с ним петь перестала, от вечных волнений голос пропал. Раньше он знал только свои лекции - и времени было много, и хлопот никаких,- а теперь для нас небо почернело. Боюсь, как бы Юра рассудка не лишился. Шутка ли - девять дней без сна!

- Передайте ему наш привет и скажите, что у нас все в порядке. Дрожжев ездит по фабрикам, где печатаются книги, мы успешно квартальный план выполнили, вот только Вагин... Он куда-то исчез. Не сообщить ли нам в милицию, может, розыск организовать?

- Боже упаси! Не надо никаких милиций. Он вчера звонил,- наверное, тоже будет увольняться.

- Ну ладно. Скажите Юрию Львовичу, чтобы не волновался. Дело у нас налажено, художники тоже план выполняют. Они теперь и книги оформляют лучше.

Во время разговора вошли Сорокин, Панкратов и Целищев.

- С кем это ты? - спросил Сорокин.

- Вера Георгиевна звонила. Говорит, что болен Юрий Львович и что он отправил в Комитет заявление с просьбой освободить его от должности.

Сорокин теребил свой реденький клочок волос на лбу - не знал, как расценить эту ситуацию. Неожиданно сказал:

- К этому черту приноровились, а кого пришлют - неизвестно.

Все молчали. Панкратову и Целищеву легко было поверить Сорокину: им Прокушев не особенно-то и мешал. Я, как промежуточная величина, гасил атаки, выводил их из-под удара. И кадры редакторов мы набирали сами, и поток рукописей регулировали. Пытался он, конечно, набрасывать сверх меры москвичей, но мы против этого стояли дружно, и ему редко удавалось пробить нашу стену. Вот только оформители всем не давали покоя, скверно было на душе от сознания своей беспомощности. На глазах орудовала мафия, а мы не могли ей противостоять.

Теперь к борьбе с художниками присоединился Александр Целищев. Саша близко принимал судьбу брата, выказывал нетерпение и уж склонен был обвинять меня в робости. И Сорокин наседал:

- Не горячись,- говорил я Сорокину.- Мне надо подготовить почву, заручиться поддержкой хотя бы в Комитете.

- Неужели Карелин и Свиридов не поддержат? Тут же явное преступление. И какое? Миллионами пахнет.

- Вот потому, что тут пахнет миллионами, мы и не будем торопиться.

Ребята умолкали. Я никому не говорил о своих добрых, почти товарищеских отношениях со Свиридовым,- впрочем, в этом и сам сомневался,- но они каким-то образом знали или догадывались о расположении ко мне председателя. И мне во всем доверялись. Ждали моих действий, но поторапливали. У меня же были свои расчеты.

Сорокин все больше ко мне прикипал, я тоже относился к нему с большим доверием. Нас многое объединяло, мы близки были по духу творчества: он с стихах гневно обличал расплодившихся в больших количествах хулителей всего русского, нашего родного, национального. Его стихи «Упрек смерду» многие знали наизусть. В них содержался довольно прозрачный намек на всем известного маститого поэта, бывшего в то время редактором «Нового мира», в котором все больше печаталось нападок на нашу историю, на Россию и русский народ. Редактор по-черному пил, а всеми делами в журнале заправлял серенький, ничего не сделавший в литературе Кондратович. Сорокин бросал в адрес отступника гневные строки:

От дел насущных отстранясь,
За ставней, за резным оконцем,
Ты снова тяжко запил, князь,
Не видя Родины и солнца.
В этом стихотворении есть и такие строки:
Мы, может, хмель тебе простим,
Но чем оплатишь ты измену?

Сорокин был в моде, оспаривал главенство в поэзии. Я всюду хвалил его стихи и где только можно читал их. Шевцов, Фирсов и Кобзев глубокомысленно молчали. Чувствовалось, они не разделяли моих восторгов.

Я же звонил в издательства, журналы, просил поддержать талантливого поэта из

рабочих. Хлопотал о красивых обложках, тиражах. И делал это с искренним убеждением, что из него вырабатывается превосходный поэт - надежда нашей литературы.

И он в то время, как мне казалось, был на высшей точке своего подъема. На книгах, которые он мне дарил, писал слова, звучавшие, как выстрел: «Дорогому Ивану Дроздову - на огненное творчество и вечный бой».

Печатался в журналах, каждый год выпускал книги. У него появились деньги, он стал красиво одеваться, на руке заблестел массивный золотой перстень. С моей помощью купил у нас в Семхозе, через два дома от меня, большую двухэтажную дачу.

До «Современника» Сорокин жил неустроенно, в маленькой квартирке под Москвой, в Быково. Ирина, его жена, инженер по образованию, из немцев Поволжья, не работала. Они воспитывали двух сыновей. Его зарплаты и редких случайных гонораров едва хватало на еду. Одежда у ребят, да и у него самого, была ветхая. А между тем Сорокин изрядно выпивал, любил посидеть в ресторане. Положение главы поэтического раздела в журнале «Молодая гвардия», где он работал до «Современника», обеспечивало ему почти постоянную и шумную толпу собутыльников.

Поэты пьют больше прозаиков. Очевидно, это идет у них от взрывного характера чувств и экспансивности натур.

У себя в издательстве мы завели правило: с авторами не пить!

И большинство сотрудников, в особенности Панкратов, Целищев, такое правило выдерживали строго, каждый из них имел хорошую семью, был примерным мужем и отцом. Нельзя было сказать этого о Сорокине, и это меня тревожило.

Поселив Валентина в Семхозе, я перезнакомил его со своими друзьям.

Принимали его с прохладцей, хотя, впрочем, помнили о его положении в литературном, издательском мире. Я потом у Шевцова спрашивал:

- Чем тебе не пришелся Сорокин? Он же талантливый поэт!
- Талантишко у него невелик, а как человек он просто неприятный.
- Да почему? Ну что ты о нем знаешь?
- Ненадежен он. И корчит из себя грамотея. Первый раз в дом пришел, а заводит ученые разговоры, знатока истории изображает. Не люблю таких!

Кобзев и Фирсов и вообще отказывали ему даже в малых поэтических способностях. Говорили: стихи у него слабы и темы своей нет. Пытается о рабочих писать, об Урале, но, видимо, забыл, что у нас есть Борис Ручьев - вот он певец рабочих и Урала. Людмила Татьяничева тоже хорошо пишет об этом.

- Но пусть будет еще один певец рабочих и Урала.

- Пусть. Но идущий следом должен писать лучше, сильнее - иначе он не нужен. Таковы законы искусства. Сорокин же лишь слабо повторяет впереди идущих,- он, правда, пыжится сказать сильно и красиво и кое-где у него получается,- порой выпустит руладу звонкую, но в целом... слабак.

- Он молодой,- защищал я друга,- еще успеет, еще напишет прекрасные стихи, поэмы...

- Нет! - заявлял Игорь Кобзев.- Сорокин ранний писал лучше, у него я находил больше чувств, своего, непосредственного восприятия мира; сейчас в его стихах все больше дидактики, нравучений, появились претензии и самолюбование,- а это уже для поэта закат; он раньше шел в гору, а теперь - под гору,- и покатился быстро.

Кобзев и Фирсов ревниво следили за работой ведущих современных поэтов. Их суждения были остроумны, метки, глубоки. Я знал это и любил их слушать. Дружил с Владимиром Котовым, Алексеем Марковым, Борисом Ручьевым... Общение с этим созвездием русских поэтов уточняло мое понимание современного литературного процесса и, хотя сам читал книги ведущих поэтов, имел свое собственное суждение, я знал, что поэзию верно и тонко чувствовать может только поэт - человек, который всю жизнь ищет самые сильные, самые совершенные формы выражения своих чувств и мыслей.

Меня огорчало, что ведущие поэты, мои друзья, хотя и не говорят открыто, но явно не проявляют склонности числить Сорокина в своих рядах.

Я продолжал в него верить и ждал, что вот-вот он напишет поэму, которая вознесет его имя над всеми поэтами. Но проходило время, а такой поэмы и таких стихов мой молодой друг не писал. Между тем Сорокину было уже около сорока лет - возраст, когда подлинные поэтические таланты вполне раскрывались.

Прокушев не спал. Десятый день он по ночам лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. Вера Георгиевна еще раз звонила нам, просила: сделайте что-нибудь, ему плохо. Вагин не показывался, никто не знал, куда он уехал.

И все это из-за того, что в моем портфеле мирно лежала докладная записка взбунтовавшегося художника.

Валентин приходил на работу взволнованный, возбужденный, его все больше волновал вопрос: кто станет на место Прокушева, если тому придется уйти из издательства?

Панкратов был спокойнее, он на меня не наседали, не торопил. Как и Чукреев, он долгое время работал в Союзе писателей, рядом с Михалковым, знал силу и коварство михалковского окружения, их почти родственное отношение к Вагину и Прокушеву, казалось, понимал мое положение. Я же свою ситуацию видел как на экране телевизора, мысленно представлял «Известия», аджубеевскую команду, которая способна была любого разорвать в клочья за малейшее поползновение на одного из своих братьев.

Было ясно: потяни я ниточку художников - и в движение придет вся сложная, хитросплетенная идеологическая надстройка. Люди, стоящие надо мной, потеряют покой и комфорт, и, может быть, скорчатся, как от зубной боли, люди высокие, - самые высокие, - ведь неизвестно, кому набросили на шейку бриллиантовые кольца, купленные на деньги, заработанные русскими писателями, наборщиками, печатниками типографий, лесорубами и рабочими бумагоделательных комбинатов.

Знал обо всем об этом. И медлил по соображениям тактики и расчета.

Во-первых, изматывал противника, заставлял суетиться и обнаруживать себя. Во-вторых, вынуждал нервничать силы, поддерживающие Прокушева и Вагина. И чем сильнее был наш нажим, тем глубже прятались друзья Прокушева. Иные звонили мне и как бы вскользь роняли нелестные замечания в адрес директора, давая понять, что они-то уж с ним не связаны. А в-третьих, испытывал характер своих друзей, следил за их поведением и заранее оценивал боеспособность своего лагеря.

Друзья, хотя и сохраняли видимость прежних отношений, но были насторожены, ждали неприятностей. Даже Иван Шевцов однажды мне сказал:

- Чего ты там? Какую-то кашу завариваешь?

Я молчал. Пришел к нему в выходной день, хотел отдохнуть, расслабиться, а он... с явным раздражением...

- Пост у тебя большой, ум нужен государственный. В нашей жизни много такого, что хотелось бы исправить, да зубы можно обломать. И делу не поможешь, и себя сгубишь. А каково будет нам, русским писателям, если «Современник» в чужие руки уплывет?

- Да ты не беспокойся, роман твой мы заслали в типографию, я на той неделе сигнальный экземпляр жду.

- Роман - хорошо, за него спасибо, но судьба писателя продолжается. И не только моя. Ты бы, Иван, помнил об этом. Сколько глаз на тебя с надеждой смотрят!

- Ладно, Михалыч, не беспокойся. Дел ты наших не знаешь, а совет твой - быть осторожным - пригодится. Мне многие совет этот дают. Вот Егор Исаев по вечерам звонит: ты, говорит, будь гибким, писателей и поэтов не отваживай, будь отцом для каждого, а не дядей чужим.

- Егора знаю. Хитрован большой, из деревни недавно, а деревенские мужички, если в столицу попадают, хвостом вилять начинают. Каждому встречному поклон низкий отвесят. Правда, есть и такие, как Викулов, но редко. Больше таких, как Алексеев, Можаяев, Исаев, Сорокин твой.

- Ну, Сорокина не трогай. Он смелый и честный, а кроме того, - товарищ мой.

- Смелый?.. Посмотришь, как он однажды под монастырь тебя подведет. Я лакейскую

душу за версту чувствую.

- Ну ладно, Иван, не ворчи. Какая муха тебя укусила? Сорокин - парень деревенский, но он и на заводе трудился. Рабочая у него закваска. Крепкий он, как уральская сталь.

Наступила зима. И мы со Свиридовым, одетые в шубы, валенки, уезжали далеко от Москвы, углублялись в лес, жгли костер, варили кулеш.

Художника Судакова с нами не было. Отдыхали вдвоем.

Говорили мало. Я молчал, как Герасим из «Муму», а если заговаривал, - о пустяках, не имеющих к нашей деловой жизни никакого отношения. И Свиридов, казалось, делами не интересовался, и только мир писателей его занимал, особенно их вольница, жизнь без службы и всedневных обязанностей. Наводил беседы на отношения Фирсова с Шолоховым: когда тот встречался с великим писателем, о чем говорили; на мое знакомство с Полянским. И тоже, - о чем говорили, что за человек Дмитрий Степанович, какое производит впечатление.

Я краем уха слышал, что Свиридов с большой симпатией относится к Марии Михайловне Соколовой - младшей дочери Шолохова; я рассказывал, как она работает, какая это деликатная, интеллигентная женщина и какая она красивая внешне. Каждого поражают блеск ее серо-зеленых глаз, умное, несколько ироничное выражение лица. Я в детстве жил в казачьей станице на Дону и знаю, что только там встречается в женщинах такое сочетание красоты и силы, незлого лукавства и притягательного обаяния - свойств, характерных для донской казачки. Общаясь с Марией Михайловной, я всегда думал, что отец ее, создавая образ Аксиньи, как бы списал ее со своей дочери, которой в то время не было еще на свете. Свиридов не однажды мне говорил:

- Да, да, я и раньше слышал: она хороший редактор, но вы очень-то ее не загружайте.

- Она норму редакторскую без труда выполняет.

- Ну вот, норма - хорошо, а большего не требуйте. Не надо.

Спрашивал:

- Прокушев не обижает Машу?

- Вроде бы нет, но, как мне кажется, и особой нежности к ней не питает. Зато все ее у нас уважают, - в ней нет и тени высокомерия. Она одинаково внимательна к каждому сотруднику. Видимо, простота у нее от родной стихии.

Я чувствовал: Николая Васильевича интересуют мои характеристики людей, с которыми я работал, но я от них уклонялся, и если надо было ответить на вопрос, говорил скупно и по возможности доброжелательно.

На службе у нас все было тихо. Прокушев на работу вышел, но в издательство заезжал на час-другой. Видно, обивал пороги высоких людей, готовил для нас новую ловушку. Его заявление об уходе лежало на столе председателя - он его не подписывал.

И Вагин появился в издательстве, но тоже ненадолго. Картинки нам приносили на подпись без него. Они были не так безобразны, и сионистские символы исчезли.

Многие документы приходилось подписывать за директора. Такое положение мне не нравилось, - денежные дела должны быть в одних руках, и я складывал несрочные бумаги на столе, ждал директора.

Однажды Сорокин сказал:

- Он дома, но только не берет трубку. Дай-ка бумаги, поеду к нему.

Уехал утром, а вернулся после обеда. Был возбужден, весь светился. Все бумаги директор подписал и сверх денежных подписал две сорокинских: одну - об утверждении какого-то сотрудника, другую - о внеочередном выпуске какого-то поэта, в котором был особенно заинтересован Сорокин.

- Нашел ключ к нему! - рассказывал Валентин. - Он же чокнутый, любит, чтобы его хвалили. Я как начну поднимать его над всеми есениноведами, да как запущу: вы же талант, единственный из этих профессоров писать умеете! - так он голову кверху задирает, глазами хлопает, а то и совсем их закрывает. Как глухарь на току! А я тут ему - раз! - бумагу и суну. Он - хлоп! - подпись готова.

Панкратов, Целищев, Дробышев, Горбачев смеются, а Валентин, поощренный товарищами, продолжает:

- Нам, может, и не нужно другого директора.- И ко мне: - Позвони председателю,- не надо отпускать его.- Потом принимается хвалить его жену: - Вера Георгиевна у него - чудо-женщина; красивая, обед приготовила. Хотел уйти - непустили, за стол зовут. А за столом я снова за свое. Теперь уже к ней, к хозяйке, обращаюсь. Мы, говорю, любим Юрия Львовича, мужик он отличный - издатель смелый, критик, знаток Есенина, а к тому же экономист толковый. Вот как дела наши развернул! А только художников к порядку призвать не желает. Знаем ведь, и полушки от них не имеет, а держит. И что ему за охота с таким жуликоватым человеком знаться?

- Ну, а он? Что он-то говорит? - спрашивает Володя Дробышев, который и сам не однажды бывал на квартире директора и считал, что если бы не его проеврейский душок, работать с ним можно.

- Он-то? Сидит и слушает. И улыбается. Я, между прочим, заметил, что дома он меньше башкой трясет. Мирный какой-то. Точно поп - благостный. Или валерьянки напился, или врач Баженов сеанс с ним провел.

Сорокин замолкает, но тут же продолжает рассказ.

- Во время обеда сын их пришел - большой такой и будто бы рыжий. Кандидат медицинских наук, заведует какой-то стоматологической клиникой. С ходу стал меня поддерживать: «Ты прав, Валентин, папан до евреев охоч. И что в них находит - не знаю. Я так всех в поликлинике извел, взашей повытолкал, чтобы воду не мутили. Не люблю их - и все!»

Сорокин говорил серьезно, с каким-то внутренним радостным подъемом. Ребята не перебивали, но по выражению лиц можно было судить об их недоумении. В самом деле: как понимать Прокушева? И жена, и сын - русские, да вроде бы еще евреев не жалуют. И сам будто русский, но каждый знает, кому он служит.

Уж на что Сорокин с ним суров, несговорчив, а он его словно дорогого гостя принимает! Сложна природа человеческая,- попробуй, пойми до конца...

Я в те дни в отдел оформления к художникам заходил. Вагин не было, и художник один уволился. Русский парень там сидел. Скромный такой, услужливый. В день моего рождения мой портрет нарисовал - по памяти. Да так здорово - удивился я таланту такому.

Художник встречает меня с улыбкой: дескать, хорошо, что заходите к нам. Я спрашиваю:

- Где Вагин? Почему на работу не ходит?

Молчит. Пожимает плечами. В глаза мне не смотрит.

- Как дела идут? Задержки не может быть с вашей стороны?

- Нет, мы заказы распространяем с большим опережением - заранее. У нас на полгода вперед все готово.

- Ну, хорошо. Если опасность появится, ко мне приходите. Мы меры примем. Не можем допустить такого, чтобы из-за художников задержка случилась.

Захожу к Дрожжеву.

- Боюсь, как бы не пришлось резать гонорар писателям, рецензентам, консультантам.

Евгений Михайлович почти напрямую спрашивает, что собираемся делать с художниками? Я говорю, что художников директор вывел из подчинения главной редакции, и сделал это напрасно. По имеющимся у меня документам, Вагин будто бы сильно завышает гонорары художникам,- очевидно, я передам бумаги в органы прокуратуры.

Вижу, как темнеют глаза заместителя директора. Губы его подрагивают. Он говорит:

- Не советовал бы вам делать это.

- Почему? - наивно задаю вопрос.

Дрожжев жметсЯ, воротит голову в сторону - объяснять свой совет не решается.

- Почему же, Евгений Михайлович? Вы были директором типографии - разве подобные нарушения сходят с рук?

- Да, Иван Владимирович, сходят. Еще как сходят. Бросьте вы это грязное дело. Не суйтесь в воду, не зная броду.

- Ну уж извините, Евгений Михайлович. Вы что-то заговорили загадками. Я не собираюсь покрывать преступников. Не в моих это правилах.

И выхожу из кабинета.

Я так определенно, напористо говорил с Дрожжевым умышленно. Пусть знают, что от художников я не отступлюсь. Да и для себя я окончательно решил передать дела в прокуратуру. Вот только с директором еще раз об этом поговорю. Хорошо, если бы мы с ним вместе стали наводить порядок, тогда бы не столь драматичным был процесс оздоровления обстановки. Однако мало было надежд на союз с Прокушевым.

Через несколько дней после моего объяснения с Дрожжевым я зашел в Комитет к Карелину. Почти уверен был, что мудрый ПАК уже наслышан о последнем моем прессинге и сейчас мне будет выдана очередная порция нравоучений.

Петр Александрович принял меня по-свойски, как старый товарищ. Вспомнил молодые известинские годы.

- Не знаю, как вы, а я скучаю по газете. Колготная жизнь собственного корреспондента, а скучать не приходилось. Я ведь еще до войны собкорил, не было тогда у нас ни машины, ни дачи государственной, ни приемной, а все равно - лихо жили. Бывало, размотаешь клубок жулья, да как шарахнешь статьей или фельетоном! Земля гудит!

Не было такого, чтобы он газету вспоминал, а тут... разговорился.

- Я - нет, не скучаю,- ответил я,- мне и в издательстве скучать не дают. Прокушев у нас, как вы знаете, хворал, а теперь в бегах, пропадает где-то. И Вагин исчез. Боюсь, как бы в потоке нашем сбой не случился. В газете мы рядовыми были, выйдет-не выйдет - голова не болела. А тут книга - и тоже каждый день выходит. Приду однажды на работу, а тут сюрприз: типографии деньги не перечислили, касса пуста или гонорарный фонд на мели. Страшновато как-то. Тут у вас заявление директора лежит, уж решали бы скорее.

Петр Александрович загадочно улыбнулся, качнул головой.

- А ты серьезно это - поверил директору? Ну, в то, что он уходит собрался?

- А как же! Заявление подал.

И снова Карелин улыбался, отводил взгляд в сторону, смотрел в окно. Сказал вдруг:

- Такие мы - русские, верим человеку. Что бы он ни сделал - верим. Потому как сами-то лисьих ходов не знаем. Коварства в других не видим.- Помолчал с минуту. Собрал бумаги на столе, подвинул их на угол. Заговорил в раздумье и с видимым сожалением: - Прокушев никуда не уйдет, не ждите от него такого подарка. Его, как Анчишкина, можно только прогнать, но сил, способных вытолкнуть его из кресла, нет. Обвинения в прогуле ему не предъявишь. И дело у него, благодаря вам, налажено четко. Единственное из центральных издательств, где книги выпускаются серьезные, интересные - на полках магазинов не лежат. Раньше среди издателей Еселев Николай Хрисанфович, директор «Московского рабочего», славился, теперь авторитет Прокушева до небес поднялся. И ты хочешь...

Карелин посмотрел на меня снисходительно, с сочувствием и, как мне кажется, дружески.

- Так заявление же подал! - не унимался я.- Теперь уже больше для того, чтобы побудить старшего товарища к дальнейшим откровениям. И Карелин, плотно сжав губы, сдвинув брови к переносице, проговорил:

- Скоро его уговаривать начнут - в Союзе писателей и в ЦК. Он ломаться станет, а его будут упрашивать. Потом он заберет заявление и явится к вам на белом коне. Вот видите, мол, как меня ценят, замены мне, стало быть, нет. И зачнет гайки завинчивать.

Признаться, я такого оборота в прогнозах Карелина не ожидал. И такой хитрой, далеко идущей канители в тактике Прокушева тоже не видел. Да и зачем нужны такие вензеля!.. Неужто уж мы для него представляем столь страшную силу, что в противоборстве с нами нет другого, не столь замысловатого трюка?

О моих «маневрах» с художниками Карелин молчал,- или слухи к нему не

просачивались, или он дипломатично о них умалчивал, ждал моих откровений. Но я говорить о художниках не стал - не хотел зондировать почву, искать союзников. В этом деле решил действовать на свой страх и совесть. По внутреннему телефону позвонил Свиридову.

- Николай Васильевич, здравствуйте!

- Ты где?

- У Карелина в кабинете.

- Минут через пятнадцать заходи.

Поднялся на второй этаж. Свиридов, как всегда, читал документы,- одни подписывал, на других, в углу листа, ставил резолюции.

Меня встретил обычным вопросом:

- Ну!.. Что нового?

- А ничего. Зашел к вам повидаться.

Не отрывался от бумаг. Ставил резолюции. Говорил глухо и будто недовольно:

- Повидаться. Я, чай, не барышня тебе. А?..

Я сидел слева - так, чтобы председатель не поворачивал ко мне здоровое ухо. И говорить старался погромче, впрочем, не так громко, чтобы напомнить ему о его физическом недостатке.

- Что там у вас? Директор болеет? Что с ним?

- Да, приболел Юрий Львович, а вот чем - не знаю.

- Навещал его?

- Я - нет, не навещал. Но сотрудники к нему ходили.

- Кто ходил? Сорокин, что ли, к нему ходит?

«Знает! - подумал я.- Кто-то уже доложил».

- Был у него и Сорокин.

- Не «был», а - ходит. Зачем это он зачастил к Прокушеву?

- А вы, Николай Васильевич, больше меня знаете.

- Знаю. Обязан знать.- И минутой спустя: - Он, видите ли, хворает! Я бы тоже с удовольствием повалялся дома, а дела куда денешь?.. Мастер он узлы завязывать, ваш Прокушев. Вот выйдет снова и зачнет колобродить. А Сорокину скажи - от себя скажи, не от меня,- пусть поменьше обивает порог прокушевской квартиры. Отца родного нашел!

Свиридов был недоволен и не скрывал своего настроения. Я ждал, что вот-вот заговорит о художниках, о моей активности в сборе материалов, но он молчал. И я поднялся:

- Пойду я, Николай Васильевич.

- Куда пойдешь?

- Домой. Уж время.

- Ты на машине едешь?

- Нет, на городском транспорте.

- Мы же дали вам две машины: одну - директору, другую - главному.

- Иногда мы ездим на служебной, но она больше стоит - будто бы на ремонте.

- И тут химичит,- буркнул Свиридов, имея в виду, очевидно, Прокушева.- Подожди, вместе поедем.

Не доезжая до своего дома на Кропоткинской, Свиридов простился со мной и велел шоферу везти меня на Черемушкинскую.

Настроение у председателя было плохое. Видно, многие, подобно Прокушеву, завязывали ему узлы, и так туго, что развязать их было нелегко.

Мысленно представлял его заботы, и на их фоне мои собственные проблемы казались не столь уж и серьезными.

Назавтра пришел на работу и в приемной застал директора. Посвежевший, веселый, он приветливо тянул руку и увлекал меня в свой кабинет.

- Как здоровье? - спросил я.

- А ничего. Где-то подхватил простуду, отлежался и - вот, видишь, на ногах.

И не успев сесть в кресло:

- Ты вчера был у председателя. Ну, как он?.. Доволен нашими делами?

«Ну и ну! - думал я. - Там, в Комитете, знают о каждом нашем шаге, и здесь тоже - уже доложили».

- О делах я с ним не говорил. Зашел так... по старой памяти.

- Ну ладно, Иван Владимирович, не крути. К министру так, за здорово живешь, не ходят. О художниках что ли доложил? Говори. Все равно решать будем вместе.

- Да нет, Юрий Львович, о художниках никому не докладывал, хотя материала о них скопилось много. Дела подсудные, надо решать их, и хотелось бы решать вместе с вами. Ждал я вас, хотел серьезно поговорить.

- Ну что ж, будем решать! Давай документы, где они?

- Сейчас принесу.

В моем кабинете сидели и ждали меня Сорокин и Панкратов.

- Вот, кстати, сейчас пойдем вместе к директору. Разговор о художниках. Требуется документы.

- Какие документы? - всполошился Сорокин. - Он же заберет их, и пиши пропало.

Я достал из сейфа папку с документами о художниках, пригласил Сорокина и Панкратова к директору. Юрий Иванович, нависая надо мной своей грузной фигурой, сказал:

- В самом деле - не надо выпускать из рук документы. Прокушев только того и ждет.

В кабинете расположились обычным порядком: у приставного стола - я, слева от директора - Сорокин и рядом с Сорокиным Панкратов. Передо мной - папка с документами. Я положил на нее руки, смотрю на директора. Он сегодня какой-то другой, необычный, - голову приподнял, улыбается, лицо светится, точно его озарило изнутри. Так после долгой разлуки отец смотрит на своих детей: он и рад их возвращению, и все прежние шалости и обиды простил, и верит, что теперь жизнь пойдет иная - в мире и согласии.

«Что это с ним?..- думаю невольно, ожидая, когда он заговорит и с чего начнет разговор о художниках.- Уж не доктор ли Баженов внушил ему примирение с нами или какую-нибудь другую тактику? А может быть, сорокинские льстивые пассажи так переменили директора?»

Панкратов задает неожиданный вопрос:

- Юрий Львович! Вы, говорят, заявление об уходе подали. На кого же нас оставляете? Уж не на Дрожжева ли? А может, Вагина вместо вас назначат?

Прокушев тоненьким голоском хихикнул и головой тряхнул энергично, точно кто невидимый толкнул его в спину. И отвечал несвязно, слова не договаривал:

- Так... В минуту слабости. А-а, думаю, финансы, картинки - зачем все это? Я профессор, доктор наук. Читай себе лекции и спи спокойно.

- И когда же? Уходите? - наседал Панкратов. Голос у него противоположный директорскому - грудной, трубный. Говорит просто, тоном искренним, почти детским. Повторяет: - Когда же?

Прокушев завертелся, замотал головой, - и то хмыкал, то всхлипывал. У него внутри словно бы пружины сломались. «Э-э...»- тяну я про себя невольно. И вспоминал, как, будучи корреспондентом «Известий», являлся к людям, у которых «рыльце в пушку», и наивно, будто бы ничего не подозревая, издали заводил беседы на щекотливые для них темы. И смотрел им в глаза, наблюдал игру страстей, муки, терзающие человека в преддверии разоблачений.

- Не отпускают, Юрий Иванович. Все как сговорились: стеной стоят! Дела-то у нас - вон как пошли! Книжки в магазинах не лежат. Очередь за ними. И с экономикой... - тоже ведь!

- Ну уж экономику вы, Юрий Львович, заговорил Сорокин. И тут же осекся. Не стал продолжать анализ той самой экономики, которую мы и собрались обсуждать. Обыкновенно Сорокин не церемонился - правду-матку резал плеча. Нынче же... смолк. И голову над столом повесил.

- Не пускают! - продолжал директор, постепенно обретая спокойствие.- И не пустят. Вновь придется впрягаться.- И ко мне: - Давайте ваших художников. Будем смотреть.

Я подал директору папку. Сорокин взъерошился, точно воробей от близости кошки. Панкратов привстал от волнения.

- Ну, я дома... буду смотреть,- сказал Прокушев, загребая папку и намереваясь сунуть ее в свой толстый замшелый портфель.

- Смотреть будем здесь,- сказал я твердо.- И решать все вместе.

- Да нет,- дома, мне сейчас некогда, я уезжаю в Госплан, а вечером...

И уже взял папку, достал из-под стола портфель. Мы поднялись; все трое в один миг сообразили, что Прокушев только и ждал того, чтобы захватить наши документы, что операция эта внушена Баженовым, спланирована с Вагиным, Дрожжевым. Я сказал:

- Верните папку!

И встал из-за стола, шагнул к директору. С другой стороны к нему подступились Сорокин и Панкратов.

- Дайте папку! - сказал Сорокин, но как-то нетвердо, просительно.

- Верните документы! - повторил я.- Они поданы на мое имя.

И ближе подступился к Прокушеву, который прижал папку к груди и пытался от нас к стене. Я не знал, что делать, но в этот самый момент Панкратов решительно подступился к директору, взял обеими руками папку, рванул ее и протянул мне.

- Ну вот,- заговорил Прокушев в крайнем волнении, уже не глядя ни на кого из нас, а направляя взор по сторонам: - Как же с вами работать? Нет ни уважения, ни малейших признаков интеллигентности. Я не могу, не могу... Сегодня буду у председателя. Попрошу, потребую освободить.

Мы разошлись по своим местам.

И вновь потянулись дни обычной работы. Мы принимали рукописи, ставили их на свой технологический поток, отбирали нужное нам количество, а те, которые возвращались, снабжались рецензиями, редакционными заключениями. Мы старались помочь каждому писателю нашей необъятной России, с каждым работали.

Выезжали на места, собирали писателей, выясняли что у кого есть, узнавали в лицо наших авторов.

Прокушев и Вагин после инцидента с документами появлялись на службе еще реже. Прокушев звонил, но всегда - Сорокину. С ним одним он обсуждал все дела, включая финансовые. Сорокин отработал схему разговоров с ним: все больше нажимал на лесть, похвалы. Их беседы становились все более длительными, изнурительными. Иногда Сорокин звонил Прокушеву от меня, из дома. Надо, например, подписать авансовый договор или распоряжение на выпуск книги вне очереди,- чаще всего поэтической, с которой у Сорокина вдруг связывались интересы,- он звонил директору. И начинал примерно так:

- Вас сегодня не было, а у нас дела, их не остановить, они не ждут. Но ничего, Юрий Львович, у нас все спокойно, вы на последнем совещании все прекрасно растолковали. Мы благодаря вам знаем, что и как надо делать. Теперь все признают, что у нас дела идут превосходно. И сам директор...- тут Сорокин кивал мне: де, мол, начинаю...- и критик, и ученый, но главное - экономист! Случаются сцены, но, конечно же, мы к вам относимся хорошо, ценим вас, любим.

Из кухни выходила Надежда, спрашивала:

- С кем это он?

- С директором,- говорил я. Она пожимала плечами и вновь скрывалась за дверями кухни.

Валентин продолжал:

- Вы не беспокойтесь, не волнуйтесь, мы ценим вас и любим, и никому в обиду не дадим. Ну, будьте здоровы, обнимаю, целую.

Из кухни выходит Надежда.

- Ты что, Валентин,- Прокушева целуешь?

Валентин на хозяйку не смотрит, заметно краснеет. И когда Надежда уходит, говорит мне:

- Объясни ты ей - игра у нас такая. А то, чего доброго, раззвонит везде. Я вчера двум авторам аванс вне очереди выбил. Ну, что ты, ей-богу, смотришь на меня!.. Бутылку выставь. Ты думаешь, мне-то легко?

Надежда принесла вино, поставила две рюмки.

- Коньячку бы или водочки,- просил Сорокин.

- Крепкого не держим,- говорила Надежда. И продолжала: - Прокушева целовать! - это что-то новое. И ты тоже... - обращалась ко мне,- возлюбил директора? Сказали бы мне, чем это он вас обворожил?

Сорокин выпил рюмку, сосредоточенно ел. Потом еще пил, еще... Хозяйке сказал:

- С выводами не торопись. Я ключи к директору подобрал: его, видишь ли, хвалить надо. Он тогда глаза на лоб закатывает и забывает обо всем на свете. Я тогда бумагу на подпись сую - он чего хочешь подпишет. Таким манером добьюсь, что он и на художников буром поперет. Прокушев нам и не так уж страшен. Нам бы Вагина выжить - мы бы тогда настоящих художников к делу привлекли.

После минутного молчания Сорокин ко мне повернулся:

- Да чего ты-то слова не скажешь? Или тоже... как она... не согласен? Скажи!

- Не знаю. Игра такая не в моем характере. Я привык напрямую: что думаю, то и говорю. А этак-то запутаться можно. Впрочем, ты смотри сам. Человек ты взрослый, бывалый. Только очень-то его не обнимай и обедать к нему не ходи. А то и впрямь полюбишь.

- Ну вот! - вскинулся Валентин.- Уже и подозрения. Да что я - ради себя что ли стараюсь? Плюну вот на все, а вы оставайтесь со своими принципами. Он же больной, говорю вам. Врач умалишенного по головке гладит, а ну-ка попробуй,- бешеного против шерсти! - Помолчал Сорокин. От волнения и есть перестал. Потом - снова: - Кто тебя из партии исключал? Здоровый, что ли? А к этой... толстой девке нас с тобой толкнул - тоже нормальные люди? Да завтра они потребуют выселить тебя из Москвы! Тогда посмотрим, что ты запоешь. Нет, с волками жить - по-волчьи выть. Я свою игру с этим чертом до конца доведу. С одной стороны его за ниточку Баженов дергает, а с другой - я. Посмотрим, чья перетянет.

- Смотри, Валентин, я этой игры не одобряю. У Восточного поэта стихи есть такие про жеребца:

Скакун всего лишь ночь
Потеря о бок клячи,
На утро ход не тот,
И выглядит иначе.

У меня две верстки. Я на дачу поеду - читать буду два дня, а там - выходные. Отдохну от вас. А ты, Валя, садись на мое место, правь делами.

Сорокин уходил от нас в грустном и тревожном смятении.

В тот же вечер я был на даче и пошел к Шевцову. У него в нашем издательстве вышла книга - «Лесной роман». Он на обложке красными чернилами написал: «Ивану Дроздову. С признательностью. И. Шевцов». Фамилия на обложке была факсимильным воспроизведением его росписи. Роспись оказалась и под автографом - вышло оригинально и красиво.

- Что там у вас? - спросил Шевцов, едва я вошел к нему.

- Где?

- У вас, в издательстве?

- Там много всего. Что тебя интересует?

- Ты снова оформителей прижал?

- А-а... И тебя достали. Жалуются.

- Мне, право, досадно. Дело такое у тебя в руках,- надежда всех русских писателей.

Страшно, если не усидишь там. Пойми меня правильно: я и ночью о тебе думаю. Вдруг вышибут, как Блинова. Куда пойти тогда русскому писателю, к кому голову приклонить? - И с минуту погодя: - Ну, что ты молчишь? Говори что-нибудь. Или уже червячок должностного снобизма подточил,- не считаешь нужным другу поверять служебные секреты? Если так, то напрасно. Ты мои связи знаешь. Другие вот...-он показал на бумажку, лежащую на столе,-доверяют. Из вашего издательства... Ты, говорят, их в противниках числишь, а они ко мне идут, к другу твоему. Просят беду отвести.

Снова помолчал - очевидно, ждал, что я заговорю, но я давал ему возможность до конца выговорить свои тревоги.

- Про тещу одного вашего сотрудника... слышал, наверное? Она - директор столичного универсама, следовательно к ней на грянул. Миллион в сейфе обнаружил.

- Слышал что-то, толком не знаю. Но ты-то тут при чем?

- А при том же. Вот позвоню сейчас заместителю министра внутренних дел, и следствие остановят.

Сказал с нескрываемым хвастовством, даже с оттенком угрозы. Неужели, мол, не понимаешь, как у нас в государстве дела подобные делаются. Я вспомнил, как он однажды при мне позвонил генерал-полковнику - заместителю Андропова - и говорил с ним запанибрата, как с приятелем. И тот пообещал выполнить его просьбу.

Авторитет писателя велик,- особенно такого, которого знают, любят, кто владеет умами современников. Имя Шевцова было у всех на устах. Его имя трепали, поносили официальные критики, и чем злее о нем писали, тем больше становилось у него друзей. Понимающие люди,- а их было много уже и в то время,- ему говорили:

- Крепко же вы им подсыпали, если они визжат, как поросята.

И понятно: звонок такого человека был приятен любому деятелю, даже очень большому. Юристы говорят: есть авторитет власти, а есть власть авторитета. Шевцов имел власть авторитета.

- Ну, и ты... неужели звонить будешь? - спросил я.

Шевцов посмотрел на свой желтый с красным гербом телефон. Задумался. И глухим, нетвердым голосом проговорил:

- А куда денешься. Судьба - не тетка, заставит - к черту в пасть полезешь. Еселева ты «Подземным меридианом» выбил,- уволят скоро. И его, и Мамонтова. А теперь и ты там кучу ворошишь - вот-вот вылетишь. А мне книги печатать надо. И Прокушев, и Вагин понадобятся.

И, как бы оправдываясь, заключил:

- Сами вы меня понуждаете.

- Я что-то перестаю тебя понимать: то ты за народ в драку кинулся, а то собираешься казнокрада из петли вытаскивать. У нее, тещи-то Вагина, миллион в сейфе нашли.

- Логика тебе нужна? - вскинулся Шевцов.- А там и ищи ее, где потерял. Народ, народ! Где он, твой народ? Когда меня рвали на куски, он хоть пальцем шевельнул в мою защиту? И вообще: есть ли он - тот самый народ, о котором извека пекутся русские интеллигенты и идут за него на плаху? Я тоже верил, и тоже взвалил на спину крест, понес на Голгофу. Да только народ твой, за который я муки принял, даже и не взглянул в мою сторону, и слова не проронил. И когда костер подо мной разгорелся, он, твой народ, поленья поправлял, чтобы лучше горели. Да народ - это быдло, и я не хочу о нем слушать.

- Ну уж... так ли это? - возразил я другу.- А вон в углу, на полках, сотни, тысячи благодарных писем,- они от народа. Любовь всеобщая, которой ты окружен, власть твоего имени? Вот ты звонить заместителю министра намерен - он слушать тебя будет и, чего доброго, следствие прекратит, банду мафиози прикроет. Тебе ли обижаться на людей? Вон телефон-то у тебя какой! Сам заместитель министра связи его поставил. И если представить, что народа нет, а есть покорное, бессловесное быдло, зачем книги наши? Зачем и я вслед за тобой в драку полез и нос себе расквасил? Нет, Ваня, ты круши кого хочешь, и даже заместителю министра, зятю Брежнева, звони, но народ не трогай. За народ и за землю отцов

мы с тобой всю войну прошли; ты - командиром роты, а я - батареей. И как ты писал мне в санаторий, в новой войне - третьей, идеологической - не в последних рядах плетемся. За кого же - за шкуру что ли собственную бой ведем? Да нет, мой друг, если уж война, то тут не одну свою хату защищают, - тут мы за всех идем, и за тот самый народ, который и породил нас, и кормит, и которому во все времена все лучшие люди служили.

- Ах, брось! Меня-то хоть не агитируй!

- Знаю кому говорю: писателю, мыслителю, рыцарю борьбы и духа. И готов повторять эти слова бесчисленно. И в них, кстати, и мой ответ тебе: что думаю делать в издательстве? Оставаться самим собой. И не менять форму бойца на платье шабес-гоя. Не хочу я, Ваня, стоять на коленях и покорно взирать на тех, кто грабит народ и глумится над ним. Так-то, мой друг, прости за откровенность. На твоих книгах воспитан. А теперь до свидания. Не стану мешать тебе разговаривать с министрами.

Я ушел и после того долго не приходил к Шевцову. Он, однако, сам ко мне явился. Примирительно заговорил:

- Где тут Аника-воин? Уж не обиделся ли?..

Четыре дня меня не было на работе. Я много ходил по лесу, обдумывал сюжет, главы романа о тридцатых годах. Перебирал в памяти все, что читал об этом времени, - Шолохова, Серафимовича, Гладкова, Панферова, Первенцева. Поэтов - Маяковского, Асеева, Казина, Кедрина... Большие таланты, крупные писатели. Так живо, рельефно представить время надежд и титанического труда - крылатые, романтические годы! - как это сделали писатели старшего, доживающего свой век поколения, теперь уже вряд ли кому удастся; они жили в то время, знали быт, язык, несли с собой дыхание живших с ними рядом людей. Сверх того, были щедро одарены талантом, счастливой способностью живописать словом, лепить характеры.

Являлись расслабляющие мысли: может, и не стоит писать? Ведь все равно не напишешь лучше, а писать хуже - зачем?

Вспоминал начало тридцатых годов. Восемилетним мальчонкой я приехал с братом Федором в Сталинград, и, как я уже рассказывал, его в первые же дни ударило током, - он попал в больницу на целый год. Я остался на улице, спознал с миром бездомных ребят, попрошаек и воришек.

А на дворе стоял январь, мороз около сорока градусов. Начинался голодный, 1933 год.

Что ни говори, ситуация, как теперь говорят, стрессовая.

В книгах о том времени читал и о беспризорниках, много раз жадно и самозабвенно смотрел фильмы «Путевка в жизнь», «Красные дьяволята». Но больше было книг о стройках. Строили Магнитку, ДнепрогЭС, тракторные заводы. Голод, холод, тачки, лопаты. И всюду... энтузиазм.

Нравились книги, но жизни моей в них не было. Я видел, как рушили храм Св. Александра Невского в центре Сталинграда, на моих глазах разграбляли церкви, дома репрессированных, видел, как орудовали дельцы, которых теперь обозвали бы мафией. Оказывается, они и тогда были. Сейчас говорят: для них настал золотой век. Но, может быть, и тогдашнее время было для них не из худших?

Одним словом, многое из того, что я видел в то время, авторами тех лет осталось незамеченным. Певцы тридцатых годов хорошо видели тачку, лопату, энтузиазм масс, но в тайники общества, где копошились серые мыши, заглядывали редко. Между тем они-то, грызуны, примерно за полсотню лет окончательно подточат фундамент русского государства и в одночасье обрушат великую империю. Ах, как нужно бы еще в то время увидеть этих «грызунов» и указать согражданам на грозившую им опасность!

Не увидели. А может, увидели, да не посмели, побоялись ткнуть в них пальцем. Боялись мести! Никто не ринулся с сабелькой в руках на армию мерзавцев, не хватило духа.

Большой грех взяли на душу летописцы тридцатых годов, - видели, конечно, как подкрадывается враг к нашим хатам, а тревогу забить побоялись. А враг-то оказался страшнее татар и фашистов; вывернул наизнанку он душу нашу, отравил землю, порушил

хаты. И сделалась пустыня на местах полей хлебобродных, сел и деревень певучих. Восплакала земля русская, взывает к помощи. Но кто протянет ей руку? Где теперь сыны ее?..

Ходил по лесу, набрасывал главы будущей книги.

Вновь повеяло духом свободы, прелестью творческой, вольной жизни. И захотелось все бросить, уединиться здесь, в лесу, наладить жизнь, которой живут Шевцов, Фирсов, Камбулов, Кобзев. Какое это счастье - быть независимым, не являться каждый день на службу, не участвовать в играх Прокушева, не сидеть в кресле, как в окопе, не оглядываться, не ожидать каждый день, каждый час внезапного удара.

Хорошо Шевцову - он хотя тоже на войне, но его позиция иная. Пальнул книгой, как дальноточным снарядом, и сиди себе на даче, слушай гул, производимый в стане противника его выстрелом. Газеты и журналы можно не читать, да и прочел - оставил без внимания. «Хвалу и клевету приемли равнодушно». А что ругают, так это и неплохо. Сказал же Некрасов:

Его преследуют хулы:

Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

Ах, хорошо быть человеком свободным!

Мечта мечтой, а прошли четыре моих свободных дня, и я вновь на работе. Оглядываюсь, прикидываю: откуда последует удар. А что он последует - не сомневаюсь. Нет на работе ни Прокушева, ни Вагина. Где-то они? И что замышляют?

Сорокина тоже нет. Время к обеду, а он не являлся. Случалось такое, но редко.

Пришел после обеда, с ним - ватага поэтов, человек пять. Все возбуждены, некоторые в подпитии. Сам Валентин не пьян, но лицо помято, под глазами мешки. Я сижу в своем родном кабинете. Он зашел ко мне.

- Ты чего тут?

- Буду сидеть у себя. Удобнее, да и спокойнее.

- Ну, это ты зря. Люди уж привыкли. Туда идут, да и звонки.

- Ничего. Дорогу к нам найдут.

- Прокушев же просил.

- Ничего, обойдется. Мы теперь больше должны читать верстки и отдельные, на выбор, рукописи. Здесь поспокойнее, звонков меньше.

Сорокин пожаловался:

- Желудок болит. Язва обострилась.

Он как бы оправдывал свой поздний приход и нездоровый вид. Мне хотелось ему сказать: «Пил бы поменьше», но я воздержался. Знал, как он закипает от подобных нотаций. Совет поменьше пить и Шевцов воспринимает как оскорбление, Сорокин же с его болезненным самолюбием и легко возбудимой психикой сатанеет от таких замечаний. С тех пор, как он стал применять свой «ключ воздействия на Прокушева», он пьет больше и нервничает, взрывается по пустякам, а теперь вот... жалуется на желудок. Он в эти дни переезжал из Домодедова, где жил в маленькой квартирке, в Москву, в трехкомнатную кооперативную квартиру. Было много хлопот.

Смущали меня и дружки Сорокина, поэты, с которыми он пил и которых, конечно же, будет тащить в план, да еще в ближайший. А у нас было правило: все рукописи должны идти обычным порядком. Однако я сделал вид, что ничего не замечаю. И если ко мне заходили дружки из его компании, и даже выпившие,- говорил с ними вежливо.

Среди них двое или трое были челябинские, они вспоминали мою корреспондентскую работу в их городе, называли мои статьи, передавали привет от Ручьева,- это все были молодые люди, с которыми Сорокин начинал свой путь в поэзии. Я знал, что не со всеми

уральскими литераторами Валентин ладил,- эти, несомненно, были из его «партии».

Потолкавшись в коридорах, кабинетах, поэты ушли, уводя с собой Сорокина. Скоро и мы кончили рабочий день. До метро «Молодежная» шли с Панкратовым. Я сказал:

- Полдюжины поэтов нас почтили визитом. Наверное, рукописи вам принесли.

- Каждый хотел бы целый том издать, и побыстрее, но вы ведь знаете, что план не резиновый.

- А если Сорокин потребует?

- Я стою твердо. Спорим до хрипоты.

- Дурной пример заразителен: директор у нас любит одаривать приятелей, а если еще и мы возьмем такую манеру,- куда ж тогда бедному литератору податься? Я вас очень прошу: крепко держите заведенный нами порядок. И хорошо бы еще Саша Целищев, как и вы, держал бы эти строгости.

- Александр - молодец, он очень честный. На разный шахер-махер не пойдет.

- Ну и славно. Я тогда спокойно могу отлучаться из издательства - и на день, и на два. Будем больше читать и версток и рукописей.

Неприятно поразила меня новость: Шевцов позвонил-таки заместителю министра, и прокуратура прекратила следствие по делу директора столичного универмага. Она будто бы доказала, что пачки денег, лежавшие в ее сейфе, были всего лишь выручкой, которую не успели вовремя сдать инкассатору. Вагинская рать ликовала. Она и впредь могла рассчитывать на столь могучего покровителя.

В тот же вечер я встретился с Шевцовым. Сказал ему, что звонок его сработал и он теперь укрепил свои позиции в нашем издательстве,- очевидно, сверху нам последует предложение заводить двухтомник его произведений. И, конечно же, оформлять его книги, рисовать портрет будет сам Вагин.

Шевцов выслушал мою тираду и затем сел в кресло, приготовился к серьезному разговору. Сказал:

- Ты напрасно иронизируешь. Директоршу освободили справедливо, она действительно не виновата. Что же касается моего вмешательства в это дело, то твой коллега и ближайший друг Валентин Сорокин к Вагину относится иначе, чем ты. Но дело, между прочим, не в этом. Я, может быть, никуда и не звонил. Ты ведь не будешь утверждать наверное, что я кому-то звонил и что директриса - преступница. А что говорят у вас в издательстве - мало ли что говорят, и нужно ли верить всякой болтовне?

- Это верно, я, действительно, ничего не знаю, но ты же при мне грозился позвонить заместителю министра.

- Да, грозился... и - не позвонил. И ты эту телегу в мой огород не кати. Не надо. Скажи мне лучше по дружбе: зачем тебе вникать в такие мелочи? Ну, положим, эта дамочка, а вместе с ней и ее зятек, в коем ты заинтересован, положили в карман миллион. И ты начинаешь колотиться о судьбе миллиона, директрисы, а там и ее зятя. Слома голову ринулся в эту историю. А ты хоть вспомнил о деле, которое волею судеб оказалось у тебя в руках,- о головном российском издательстве? Да ты хоть бы подумал, что в истории русского книжного дела впервые создано издательство для печатания всех книг русских писателей, то есть всего того, что они создают на данное время. Ну ты ладно, ладно - не обижайся, не лезь в амбицию. Дай договорить до конца. Ты позволяешь себе говорить мне о вреде пьянства и чуть ли не рвешь у меня изо рта рюмку - позволь и мне воспользоваться правом товарища. Не будь ортодоксом, Иван, не старайся казаться святее папы. Смотри в корень; сиди на своем месте и потихоньку делай дело. Тебе доверяют Карелин и Свиридов - они бы, конечно, хотели видеть тебя главным редактором, но ты не можешь поладить с Прокушевым, а за - ним, Прокушевым,- Михалков, Качемасов, Бондарев, за ним Совмин РСФСР, ЦК, а без этих инстанций в главные редакторы не пройдешь. Вот что я тебе советую: сиди тихо. Иначе вылетишь, а тебе еще десять лет до пенсии. На гонорары не рассчитывай, на твои два улья не проживешь. У тебя теперь так много врагов, что, очутившись на воле, ты можешь писать хоть «Войну и мир», хоть «Евгения Онегина» - печатать тебя не станут.

Шевцов поднялся и подошел к письменному столу, давая понять, что он сказал все и что больше на эту тему он говорить не хочет. Я сказал:

- Спасибо за мудрые советы. В них есть зерно истины. Может быть, для нас художники - это не так уж и важно. Конечно, нехорошо видеть в книгах детские аляповатые рисунки, скверно на душе, когда знаешь, что ты должен строить для людей чуть ли не каждый год многоквартирный дом, а денег в кассе нет - их разворовывают... Может быть, ты прав - все это мелочи в сравнении с той высокой целью, которую мы призваны выполнять. И если я дам себя скушать, как это случилось с Блиновым, и если на мое место придет прокушевский человек, я буду выглядеть предателем интересов российских писателей. Может быть, все это и так. Но, подавая мне свои мудрые советы, ты забываешь об одном: где я возьму силы жить по твоим рецептам? Каждый человек имеет свой запас совести и свою меру траты ее. Моя мера на исходе. Я уже и без того на многое закрыл глаза, потерял покой и радость жизни. Я чувствую себя трусом и мерзавцем, - до какой же степени я буду пятиться, сдавать позиции? Ведь если я уступлю художникам, мне предложат и новые пропорции в плане. Придется мне «закладывать» и писателей. И так - без конца. Герои твоих книг меры не знают. Ты же сам об этом пишешь. Вот и выходит: все ты взвесил на весах своего многоопытного разума, все вычислил и рассчитал, одной только малости не учел - про меня забыл, про мои возможности и способности. Ношу, которую ты хотел бы взвалить на меня, выдержу ли я?.. Не согнет ли она меня, не расплющит ли, как лягушку?

Шевцов не отвечал. И тогда я решил его успокоить.

- Но ты не тревожься, Иван. Я не собираюсь уходить из издательства. Буду там до конца. Ты говоришь: ортодокс! Это верно. Мне и Егор Исаев, и Вася Федоров, и Чивилихин одно говорят: больше гибкости, нам сейчас гибкость нужна. Я стараюсь, конечно, прогибаюсь по мере сил и дальше буду гнуться, но вот беда: чуть согнусь, и спина трещит, искры из глаз сыплются. Не приспособлена, значит. Природа не та.

Взял палку и направился к выходу. И уже у самой двери повернулся, сказал:

- А у тебя информация богатая.

И вышел. Сорокин к Шевцову зачастил. Выговаривал мне Шевцов, видно, не одни только свои мысли.

Зашел ко мне главный редактор столичного издательства - очень большого, старого. У него были интересы в одной из наших редакций, он решил обговорить судьбу своей рукописи. Я знал: мой коллега женат на еврейке, у него три сына - один женился на дочке французского дипломата, миллионера, уехал с женой во Францию и живет в Париже. Его папаша, то есть мой собеседник, постепенно выжил из издательства русских, набрал редакторов-евреев. Книг выпускает много, но читать нечего. Некогда знаменитое издательство заглохло, как сад, заросший сорняками. Я давно слышал, что пробиться у них русскому автору очень трудно. В Челябинске, где я представлял газету «Известия», было сорок два писателя, и лишь двоим за многие годы удалось выпустить у них книгу. За время моей работы в Донецке Москва из сорока писателей Донбасса тоже не напечатала ни одного.

Вот такой субъект сидел передо мной.

Когда мы закончили разговор о его рукописи, я спросил:

- Как ваши денежные дела? Доходы у вас большие?

- Доходы?..- главный посмотрел на меня пристально. И будто бы с изумлением - не чужак ли какой перед ним?

- А у вас что - доходы некуда девать?

- Вовсе не так. Мы только ожидаем прибылей, но дожидаться не можем.

- А мы... ждать-пождали, да устали. Теперь и не ждем даже.

- Мы недавно приступили к делу, не набрались еще опыта; никак не удастся накопить капитал. Но вы-то?.. Существоете много десятилетий...

- Да, у нас опыт. Но те, кто деньги тратит, - у них тоже с годами опыт прибавляется.

С минуту помолчал. Потом, видно, сообразил, что интерес мой не праздный, стал рассказывать:

- Я, когда пришел на эту должность, тоже удивился: почему это у нас в кассе пусто? Гонорар размечаю, а главный бухгалтер за руку держит: полегче! Денег мало. «Как? - возмущался я.- Книжное дело прибыльное. Куда деньги деваются?»

В издательстве работал мой старый приятель. Он сказал: «Денежные дела не трогай. Много врагов наживешь».- «Да почему? - Кто же тут порядок будет наводить, если не я?» Мой друг меня вразумил. Он назвал одного деятеля - сквозь его пальцы много денег течет. И сказал: «Он - племянник...- и назвал имя важной персоны.- Смекаешь?..» Назвал и других, за которыми стоят важные лица.- «Теперь-то понимаешь, какая цепь загремит, если тронешь хотя бы одно ее звено. А?..»

Крепко я тогда задумался. И для себя решил: черт с ними, финансами! Мое дело книги выпускать.

Ждал моих откровений, но я молчал. Душу перед ним распахивать не хотелось.

В тот день я был в центре города, зашел к другому главному редактору - в «Московский рабочий» к Мамонтову. Еселева - старейшего издателя - от должности отстранили, на его место назначили другого.

Мамонтову сказал, что Карелин, похоже, затребует материалы на художников в Комитет.

- Скорее всего - замотают. Будут тянуть, а там и положат под сукно. Ты на это смотри проще, не рви душу. Нынешняя война - это война хитрости, коварства и нервов. Мы коварству не обучены. Мафию одолеть может народ, а народ в войне не участвует. Он даже не чувствует, кто ползает у него по спине. Он ослеплен лозунгами, сбит с толку посулами, одурачен прессой, радио, речами официальных людей. Народ наш похож на младенца: что ни говорят ему - верит.

- Но какая же это война, если народ в ней не участвует?

- Войны разные бывают. И бои один на другой не похожи. Вон в кино ночной бой с чапаевцами показан. Одни спят, а другие под покровом ночи часовых сняли, лагерь осадили. И по сонным из пулеметов хлещут... В войне идеологической, которую ведут с нами, примерно такая же ситуация. По спящему народу со всех стволов палят. Нас-то, зрячих, совсем немного, в масштабах страны - единицы. И мы беречь себя должны. Нервы беречь, ясный ум, работоспособность. И если ты видишь стену перед собой,- отступись, выжди. Иначе шею свернешь.

- Мне это же Шевцов, другие мудрые люди советуют. Теперь и вы вот... Но где же грань того выжидания и осторожности? Не получится ли так, что проснемся однажды, а тут уж и заводы распроданы, и дома, и издательство наше Вагин с Дрожжевым купили. А ваше иностранному гражданину в залог под проценты отдали. Может ведь и так случиться!

Я сейчас живу в Питере на Светлановской площади; балкон моей квартиры выходит в Удельный парк, а по парку в двухстах метрах от дома железная дорога проходит. И по этой дороге через каждые сорок минут идет длиннющий состав - наполовину с нефтью, наполовину с березовым лесом. Стандартные кругляки плотными рядками уложены - один к одному. Вагонов не счесть.

Гуляя по парку, зашел на станцию Удельная, разговорился с железнодорожником. Спросил:

- Куда нефть и лес везут?

- Часть в Карелию, в Кондопогу, но больше в Финляндию.

- Помилуйте, Карелия - лесная сторона, а уж про Финляндию и говорить нечего.

- В Карелии лес кому-то продан, а про Финляндию ничего сказать не могу. Слух идет, что финны свой лес берегут. Вон про Канаду передачу видел: много там лесу, а нет того, чтоб за рубеж вывозили. Запрет строгий положен - и одну березку не вывезут. Потому как уважают себя и богатства свои берегут. Опять же лес,- он, говорят, кислородом нас кормит.

С писателем местным разговорился - этот знает не в пример больше. Говорит, что в проблеме этой много темного,- не знаю, мол, какие пиявки к лесу присосались, но уж больно разбой велик! Псковские, новгородские, вологодские, костромские, архангельские леса

подчистую рубят, в Финляндию гонят. Финны из нашего леса бумагу делают, за валюту продают,-делятся, конечно, а вот с кем, что за суммы, куда, в какие карманы плывут,- тут сам черт голову сломит. Одно нам ясно: не все наши бумажные комбинаты сырьем обеспечены, простаивают мощности. Наваждение какое-то!.. Будет время, схватим кого-то за руку, да на месте леса русского одни пни да гнилушки останутся.

Блажен, кто не живет вблизи дороги, идущей в Кондопогу и Хельсинки! И кто не видит «цепь», которую нельзя шевелить. Наверное, они чаще смотрят на небо, радуются лучам солнца, красоте цветов, улыбке ребенка. Но что же делать тому, кто стоит рядом с этой всемогущей цепью, видит, как она далеко тянется, как крепко сбита, как она все туже затягивается на шее народа.

Шевцов считает, что не замечать ее совсем нетрудно. И даже легко. Чаще всего, бывает даже выгодно.

Мудрый он человек, знает, конечно, как надо поступать в различных, иногда даже сложных обстоятельствах жизни, и поступает. Ну, а как быть людям, которым Бог не дал столько мудрости?

...В тот же день позвонил из Комитета кто-то из чиновников, ведавших художниками.

- У вас есть материал на художников,- сказал развязно.

- Да, есть.

- Пришлите его нам.

Назвал свою фамилию.

- Зачем, с какой целью?

- Мы разберемся, примем меры.

- То же самое делаем и мы. И тоже будем принимать меры.

- Да, но вы хотели...

Чиновник запнулся. Что мы хотели, он не знал. Но, видимо, очень хотел узнать. Я ему в этом не помог. Закончив с ним разговор, позвонил Карелину. Он попросил, чтобы все материалы о художниках я прислал ему.

- Хорошо. Я сделаю это завтра.

Вызвал машинистку и просил ее снять несколько копий с главных документов. Один экземпляр положил в сейф, другой отнес на квартиру, а оригиналы послал Карелину.

И сразу почувствовал облегчение. Пусть решают. Это ведь их дело, Комитета.

Глава пятая

Документы в Комитете залегли надолго. Я понимал Карелина, Свиридова - «цепь» шевелить нелегко. Понимал и не торопил.

Спокойно мы делали свое дело. Неспокоен был один Сорокин. Он продолжал свой эксперимент с Прокушевым: ходил к нему на квартиру, часами сидел у него в кабинете - хвалил! И потом докладывал: «пробил» одну бумагу, вторую...

- Да какие бумаги ты пробиваешь? - спрашивал я. Валентин мялся, называл имена поэтов, одного из которых надо вставить в план, а другому -до срока заплатить деньги.

- А ты не раздавай обещаний. И тогда не надо будет пробивать бумаги.

Сорокин выходил из себя, называл меня формалистом, бюрократом,- вроде бы в шутку называл, но слышалось в его словах стремление оправдать свои действия. Я настаивал:

- У нас не лавочка, есть порядок - он существует для всех.

Привел ему однажды пример, как издателю Сытину принес рукопись романа его родной брат. Сытин ему сказал: «Я печатаю хорошие книги, а твой роман печатать не стану. Неси его в другое издательство». И я заключил:

- Видишь, брату отказал, а ты за дружков хлопочешь. Но так ведь и делает Прокушев. У него что ли научился? Нет-нет, Валентин, мы не коробейники и товаров собственных не имеем. Нечего раздавать подарки.

Валентин обижался, в отношения наши вкрадывался холодок отчуждения. Случалось,

не ждал меня на обед, шел или к Прокушеву или же с Панкратовым, или Дробышевым, или Горбачевым. Они были одногодки,- он, видимо, им жаловался.

Однажды сказал:

- Три члена редколлегии «Литгазеты» приглашают нас в «Пекин» пообедать.

- Это что-то новое. Зачем же?

- Как зачем? - закипел Сорокин.- «Литературка» же! Нам нужен с ними контакт.

- Зачем? - повторил я вопрос.

- Странный ты, ей-Богу! Пока еще наши книги милуют, а ну-ка одну за другой начнут разносить - что тогда?

- А ничего. Будем работать, как работали.

- Нет, ты положительно...

- Ортодокс - хотел сказать. Говори смелее. Меня не смутят никакие эпитеты. В ресторан я с ними не пойду. Во-первых, я их не знаю, мне не о чем говорить с ними. Во-вторых, сегодня мы сходим с ними в ресторан, да еще они не дадут нам расплатиться, а завтра нам принесут рукописи. А у них ведь рукописи... сам знаешь, какие. И что ты будешь с ними делать? Опять Прокушева хвалить, подпись его выбивать?

И снова обида. На этот раз Сорокин дулся долго, с неделю. Но однажды зашел ко мне.

- Поговорить надо. Пойдем пешком.

Шли по Профсоюзной улице, поднимались вверх к метро «Новые Черемушки» - в той стороне, на краю Теплого Стана Сорокин жил в новой кооперативной квартире.

Валентин затруднялся. Начал не сразу.

- У меня, понимаешь ли, вопрос к тебе есть. Ты корреспондентом «Известий» работал - знать должен. Что могут сделать с человеком... ну, вот моего положения, если обнаружится, что когда-то, лет десять назад, он своей рукой... Ну, отметку в аттестате зрелости поставил. А? Вроде бы подделал. Чуть-чуть, конечно. Самую малость.

Не стал я добираться, как, при каких обстоятельствах и с кем это случилось,- решил его успокоить.

- Факт не из приятных, что и говорить. По-разному дело повернуть можно, но думаю, все-таки человека нашего с тобой положения трепать за это не станут. Оставят без внимания.

- Ну, Свиридов, скажем, не придаст значения, Михалков - тоже, и в ЦК... А газетчики? Могут же фельетончиком пальнуть?

- Уважающая себя газета, да еще центральная, на такой факт не клюнет. Ей серьезные материалы подавай, а это что - аттестат зрелости. Пустяк, конечно.

Дошли до его дома. Он пригласил меня к себе, и мы с ним пили чай. Он предлагал вина, но я отговорил и его. Сослался на то, что завтра у нас будет много дела.

Назавтра с утра ко мне пожаловала группа писателей и поэтов из Челябинска. Посетовали, что мы их мало печатаем. Я пригласил Сорокина, Панкратова, Целищева. Мы быстро уладили все претензии, за исключением одной - отказались печатать роман о Радищеве старейшего южноуральского журналиста и писателя Александра Андреевича Шмакова, моего доброго приятеля и коллеги. Но тут уж я не хотел ему помогать: роман по общим оценкам был слабым. Дружба дружбой, а деньги, как говорят в народе, врозь.

Один уралец задержался у меня и доверительно рассказал, что в Челябинске целый месяц жил столичный литератор - проводил какое-то «тайное следствие». Он некоторым писателям в обмен на информацию обещал устроить рукопись в «Современнике». Интересовался все больше Сорокиным, спрашивал, почему он из Челябинска переехал в Саратов, и все писал и писал в блокнот.

Я не стал допытываться о подробностях этого странного следствия, мне было ясно, кто вдохновитель этой операции, с какой целью она проводилась. Несомненно, она стояла в том же ряду, что и приглашение нас Баженовым к ночной кукушке, и маневр с исключением меня из партии, а еще раньше - внезапная атака на Блинова.

Напрасно нам казалось, что все эти эпизоды случайны, что они исходят из особенностей психики Прокушева, его капризов; нет, жизнь меня убеждала: атака на нас, да

и на все русское, патриотическое, реалистическое ведется планомерно, и тут не предвидится перемирия.

В литературной среде, издательских сферах кипели те же процессы, что и в журналистике,- только здесь, как я теперь понимал, атаки ведутся планомернее, нажим сильнее - здесь линия фронта проходит ближе к противнику, бои горячее.

«Тайный следователь», конечно, поднабрал материала о Сорокине - может быть, больше сплетен, наговоров, чем реальных фактов. Я тут не стану их муссировать, но скажу: Сорокин сник, потух, он уже был не тот боевой, уверенный в себе парень, не возмущался директором, не требовал от меня решительных действий. Несколько раз по дороге в столовую он мне говорил: «Я тебя не предаю». Я ему на это однажды заметил:

- Предателей мы на войне убивали. Ныне же в новой бесшумной войне они погибают сами. Их сжигают угрызения собственной совести и ненависть бывших друзей.- Подумал немного и добавил: - А кроме того, поэт и не может стать предателем. О чем же он тогда будет писать в своих стихах?

Сорокин мне на это ничего не сказал.

Валентин все глубже уходил в себя, он как бы отошел в тень, затаился и ждал удара.

Впрочем, в иные дни оживлялся. Снова подступался ко мне с расспросами:

- Ты был журналистом, скажи: могут они пальнуть по мне фельетоном?

Ему хотелось выложить передо мной все, что выудил тайный следователь, но он не решался, сказал только об аттестате зрелости. Я же, хотя и знал кое-что, повторяю, не верил и не верю сейчас в его юношеские «художества». Живу по Библии - «Не судите, судимы не будете». Но можно ли пройти мимо тех поистине ювелирно-химических кружев, которые плелись вокруг нас мастерами вязать, по выражению Свиридова, мокрые узлы! Уж так они изловчатся и так завяжут! Вот и в случае с Сорокиным: кому из нас с вами в голову придет послать эмиссара, следопыта? И столько навязать узлов! Один другого крепче.

«Узлы» завязывают неспроста, не ради спортивного интереса, «узлы» - это бои и атаки, минные поля и артобстрелы, это боевые средства и приемы нашего противника в третьей мировой Идеологической войне с советскими народами, прежде всего с русским. Примерно в то время Организация Объединенных Наций официально заклеимила сионизм как разновидность расизма. Ныне многими учеными доказано, что в своих захватнических чело­веко­нена­вист­ни­че­ских целях сионизм идет дальше фашизма, он злее гитлеровского рейха, он - старший брат фашизма, его идеолог и наставник.

Могут возразить: «узлы» затягивали еврейские прислужники,- не обязательно они сионисты!

Не хочу вдаваться в дебри теории. Прямых доказательств для политических аттестаций у меня нет. Скажу лишь, что все журналисты, литераторы и издатели, вязавшие против нас, русских, «узлы», были единомышленны и смыкались в одном: в отношении к евреям. Они защищали только евреев, тянули в газеты, журналы, издательства только евреев,- не знали и не хотели знать других авторов, и тем более сотрудников, кроме как «своих да наших».

В самый разгар горбачевской перестройки в Москве была создана сионистская организация; могу утверждать, что она давно существовала в нашей стране, особенно в сферах идеологии, а ныне только вышла из подполья. Для сионистов с перестройкой засветила новая заря.

После визита челябинской делегации Сорокин стал больше жаться ко мне. Во время работы подолгу сидел в моем кабинете, после работы вместе ехали, потом долго шли пешком домой. На обед ходили в соседний парк, ели белый хлеб с молоком. Валентин мало говорил, тяжелые думы одолевали его.

- Ты чего смурной такой? - спрашивал я, стараясь не подавать никакой тревоги.

- Ничего. Так. Задумался.

Несколько раз он заговаривал о журналистах из «Литературной газеты».

- Зря ты тогда не пошел в «Пекин». Посидели бы.- Потом добавлял: - Откроешь однажды газету, а там фельетон. Могут ведь, а? Как ты думаешь?

Мысль о фельетоне стала навязчивой. Я говорил, что фельетона не будет.

- Ну что про тебя напишут? Шалость юношеская, проказа рабочего парня. А хоть бы и отважились, так славы бы тебе прибавили.

Рассказал эпизод с поэтом Ж. Это было еще до войны. «Правда» напечатала о нем статью: «Враг среди нас». Поэт, боясь ареста, в тот же день уехал из Москвы, скрывался в лесах, дальних селах. В Москву вернулся в первые дни войны. Зашел в Дом литераторов, идет в буфет, а ему навстречу товарищ. «Вася, ты?» - «Я».- «Где же ты пропадал? Мы все тебя искали, хотели поздравить».- «С чем?» - «Ты стал знаменитым. "Правда" о тебе писала».- «Ругала?» - «Ругала?.. Может быть. Но какая разница! Кто помнит, ругали тебя или хвалили - важно имя твое на весь свет протрубили. А так-то, кто бы тебя знал! Слава к тебе пришла - вот что важно!»

Сорокин улыбнулся. Взгляд его карих беспокойных глаз засветился надеждой,- авось, пронесет! И тогда вновь потечет его счастливая, полная удач и вдохновений жизнь. Он, конечно же, сейчас на коне. Никогда не поднимался так высоко и по службе, и в своем творчестве. Едва войдет в издательство, его окружают поэты, к нему идут сотрудники,- у него в руках и власть, и деньги. Почти любому поэту, даже маститому, он может отказать в публикации,- найдет причины,- но может и одарить, сделать счастливым и даже знаменитым. От этого сознания силы и величия жизнь становится богатой, каждый день как праздник. Ну, а это вдруг возникшее препятствие - временный испуг. Он пройдет, от него останется лишь неприятное воспоминание. Говорит же вот Иван, мой друг, что газеты ищут важного, общественного. Он-то уж знает. Сколько лет работал в газетах!

- Отчего Шевцов меня не любит? - спрашивает вдруг Сорокин.

- С чего ты взял? Ему твои стихи нравятся.

- Не любит. Я знаю. Мы когда к нему приходим, он на меня не смотрит. И никогда не спросит, что пишу, как живу. Вижу я.

- Сердце не ошибается, Шевцов действительно недолюбливает Сорокина. Говорит мне: «В стихах его нет лирики. И любви нет. А это значит - злой, не любит никого. Таким поэзия не дается».

- А вот ты, Валя,- спрашиваю в свою очередь,- почему Кобзеву книжку хорошую не дашь? Мужу под пятьдесят, двадцать раз издали - и все книжки тощие, и обложки мягкие. Пора бы и однотомник иметь.

- Кобзев - поэт слабый.

- А Маркова Алексея? Тоже несолидно издаем. Я вчера посмотрел ваши планы - опять хилые книжонки. Одному - четыре авторских листа, другому - пять. Книжки как брошюры.

Сорокин молчит. Я продолжаю:

- Фирсова тоже. Издать бы хорошо.

- И Фирсов слабый.

- Ну вот - и Фирсов! А между тем Шолохов любит его.

- Мало ли что! Это неважно.

Я наседаю:

- Я как-то вам предложил Николая Рубцова издать красиво. В подарочном виде. А ты что сказал? «У него мало стихов». А я ведь знаю, что это не так. По-моему, тебе, Валентин, широты не хватает. Поэты, как артисты, не любят соревнователей.

Рассказал, что недавно прочел несколько не издававшихся ранее писем Л. Собинова. Он своей жене сообщает из Милана, что у него нашелся враг - певец Мазини. Этот «алчный» старец ходит везде и «ругает меня на все корки»,- жаловался жене Собинов. А в другом письме сам же уподобляется Мазини - ругает «на все корки» Шаляпина. А? Нехорошо ведь? Нет ли и в вашей поэтической среде такого «соревнования»?

Сорокин снова стих. И потух. Упреки мои больно задевали его, он чувствовал в них большую долю правды. Сказал:

- Кобзеву дадим однотомник. Фирсову - тоже, и Маркова Алешу издадим как следует. Ребята заждались. Сколько же им ходить в коротких штанишках!

Раньше, приезжая на дачу, он не любил ходить к моим друзьям, особенно к поэтам. Бывало, идем мимо Кобзева, я заворачиваю к Игорю, а он упирается. Не хочет.

- Между вами что - кошка пробежала? - спрашиваю Сорокина. Он пожимает плечами.

- Да нет, вроде бы не было между нами никакой размолвки.

- Ну так что же - зайдем?

Игорь Иванович принимает нас со своим обыкновенным радушием, проводит в комнату с печью, расписанной им в манере русских сказок, усаживает за стол и тут же принимается готовить чай, как он обыкновенно делает. Одет он в толстый темный свитер, просторные брюки, голова у него в густой шевелюре вьющихся серебряных волос, и так же почтенной изморозью отливают на свету бакенбарды, аккуратная борода.

Кобзев ведет почти отшельнический образ жизни. Ему скоро исполнится пятьдесят, и он лишь в молодости несколько лет работал в «Комсомольской правде». С начальством ладить не умел, во всем повиноваться не хотел - ушел из редакции и с тех пор нигде не работал. Впрочем, «на свободе» работает очень много. Изучает философию, историю религий, общую историю, но особенно историю нашей древней отечественной культуры. Его давний сердечный интерес - «Слово о полку Игореве». Он много лет производил изыскания новых материалов, стал большим авторитетом по части нашего главного древнерусского поэтического памятника, - возглавил народный музей «Слова о полку Игореве», недавно сделал свой перевод поэмы. Но теперь занят новым, еще более древним памятником русской литературы - «Влесовой книгой».

Есть у него и еще серьезное увлечение - он рисует. Здесь его страсть - русские храмы, особенно полуразрушенные, но еще сохранившие свой величественный вид. Кобзев боится, что они придут в окончательный упадок, и люди утратят их в памяти. Храмов нарисовал много-десятки, может быть, сотни. Любит писать портреты, пейзажи, и все больше маслом.

Человек увлеченный, живет богатой духовной жизнью. К нему очень подходят строки из стихотворения любимого им поэта Федора Ивановича Тютчева:

Пуškai служить он не умеет,
Боготворить умеет он...

Пьем чай, болтаем о разных разностях. Невольно отмечаю странное обстоятельство: Сорокин с Кобзевым не смотрят один на другого, - в то же время знаю: не было между ними никаких ссор. Я давно, еще с Литературного института, заметил: поэты ревностно относятся к своим собратьям, внимательно следят за творчеством друг друга. Могут всегда сказать, кто, что, где и когда напечатал. У них память на это особенная - знают и помнят всех, но чтобы похвалить кого из коллег, восхититься, - этого я почти не слышал. Говорят примерно так:

- Работает по-своему, есть удачные места, интересные находки, но... все это уже было. Пока он себя не нашел.

Тут главное: забота о себе самом; как бы не выглядеть ругателем, брюзгой, - и видимость объективности сохраняется, и налицо интеллигентность, даже респектабельность человека, стоящего высоко, над всеми.

Сорокин Кобзева знал, читал с интересом, но судил о нем резко, с раздражением.

- Слабая, вялая строка! Ничего нового!

Кобзев о Сорокине сам никогда не заговаривал, но если я спрашивал, говорил, хотя и не так резко, но тоже уничтожающе:

- Манерен! Он хочет сказать лучше всех - не получается.

Пытаюсь возражать:

- Помню его еще по Челябинску, он тогда писал интересные стихи. Газета печатала. Друзья рабочие его хвалили и даже гордились своим поэтом.

На это Кобзев замечал:

- Да, вначале он писал лучше. Такое бывает со многими.

Я не спорил. Приходил домой, читал Сорокина, Кобзева, Фирсова, Рубцова, Федорова, Ручьева - сравнивал, пытался разобраться. Действительно, в начальную пору Сорокин писал лучше. Вот строки из его поэмы «Оранжевый журавленок», написанной еще в молодости. Они характерны и для других его стихов того времени:

И звенят журавли,
То ликуя, то плача,
Встань пораньше, мой друг,
И любого спроси,
Кто под этот напев
Не поверит в удачу
На багряной моей,
На озерной Руси!

А вот как он стал писать почти двадцать лет спустя:

Цепи,
Кепи,
Шляпы.
Рукавицы.
- Няньчай бронированного фрица!
- Отглумился!
- Сволочь!
- Отрыгал!
- Спесь ему перекует Урал!

Это из поэмы «Огонь». Для человека, сведущего в металлургии, еще кое-как понятно: переплавляют на металл немецкие танки, а всем остальным читателям... Разгадай ребус.

Не этими стихами подкупил он всех, кто рекомендовал его руководить поэтическим разделом «Современника», а теми, ранними. Сорокину было за сорок - возраст для поэта зрелый, пора уже и встать на свою дорогу. Есенин на что был новатор, перепробовал много приемов и методов, но и тот сказал: «В последнее время я в смысле формы все больше тяготею к Пушкину».

Сорокин тяготел к авангардистам, им все больше обуревала страсть ломать, крушить старое и на обломках прошлых достижений воздвигнуть нечто такое, что бы удивило всех, поразило, огорошило.

В свое время Маяковский тоже ломал и крушил. Но талант его был настолько могуч, что и в крошечке раздробленных хореов, раскромсанных фраз, ярко светилось его дарование:

Мы
распнем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.

Или:

Это время гудит
телеграфной струной,

это
сердце
с правдой вдвоем.

К сожалению, такой силы поэтического озарения в стихах у Сорокина нет. Но что же у него есть? Почему последние его поэмы «Огонь», «Колыбель» я читаю с трудом? Куда он идет?

Я прозаик, стихов не пишу, но всегда любил поэзию.

Частенько задумываюсь: Кобзев, Фирсов, Марков, Ручьев, Котов... Мои сверстники и друзья. Их голоса звенели все громче, они набирали силы, но Сорокин?..

И снова заговаривал о нем с Кобзевым. Заметил, что говорил он на эту тему неохотно. Аттестации давал короткие. Однажды сказал:

- Душа у человека не на месте. Мрак поселился. А поэзия живет в светлых хоромаш. Она не любит ни грязи, ни темени. Смятения чувств не любит. И смуты житейской, суеты... Уходит муза из такого мира тихо и навсегда.

О другом бы подумал на досуге и забыл. Сорокин же меня волновал, тревожил. Я любил его, он был мне близким другом, но, сверх того, мы были соратники по делу, от его позиции, поведения многое зависело в издательстве. Вот он теперь с Прокушевым сдружился, - вроде бы и не дружба это, а новая тактика в борьбе за издательство, но Прокушев не прост, не «чокнутый», как говорит Валентин. Это наш враг - хитрый, коварный.

Встречал я еще в молодости поэтов, которые так ярко и красиво начинали, что их дружно зачисляли в будущие Пушкины, Лермонтовы, Некрасовы. В Литературном институте видел, как загоралась то одна звезда на поэтическом небосклоне, то другая. Быстро они сгорали. Дмитрий Блынский учился в нашем потоке. Стихи писал прекрасные. Парень был по-есенински голубоглазый, высокий, статный. Поехал куда-то - кажется, в Мурманск - а оттуда вернулся в цинковом гробу. Ему было двадцать пять лет. Потом Николай Анциферов. Из шахтерской среды. Писал остроумно, горячо. Строки плел, как кружева, затейливо и крепко. И тоже умер в двадцать шесть лет. Будто бы от опоя. Маленький ростом, а выпил много. Другие пили с ним - ничего, а для него доза оказалась смертельной.

Потом Юрий Панкратов, Иван Харабаров. О них много говорили. И Ваня Харабаров умер при загадочных обстоятельствах в том же, почти юношеском возрасте.

Так же вдруг высоко взлетели имена Фирсова, Котова, Маркова, Кобзева, Ручьева, Рубцова... Евтушенко тоже был в нашем потоке. С ним частенько приходили в институт Рождественский, Вознесенский. Эти искали новые формы, «ниспровергали». Копировали отцов всяких «измов» - Авербаха, Бриков, Мандельштама. Слава Богу, «отцам» мы уже знали цену, «сыновей» всерьез не принимали. Понадобились десятилетия дружной работы поставленной им на службу печатной, радио- и телеиндустрии, чтобы вколотить эти имена в головы новых поколений русских людей. И ныне многим кажется, что эти-то имена и олицетворяют современную русскую поэзию. Три еврея стали выразителями загадочной души славянской! Ну не диво ли!

Сыпались, увядали, пропадали русские таланты. Одни погибали, другие, как Сорокин, начинали петь фальшиво.

В чем же все-таки причина? Уж не работает ли тут хитро спланированный, давно запущенный дьявольский механизм, который выражен словами «верхних» людей: нам нужны Щедрины и Гоголи, но такие, чтобы нас не трогали.

Вспоминаю, как в Литинституте, затем в «Известиях», а уж потом в издательстве спорили на ту же тему: почему наше столетие не дает ни Пушкина, ни Чайковского, ни Репина?

Приведу расхожие суждения:

- Социализм нивелирует человека, всех стрижет под одну гребенку. Общество - казарма, все расставлено по полочкам, по ранжиру. Где же тут проявить самобытность?

- Раньше на пути писателя были редактор и цензор. И то многие задыхались под их гнетом. А ныне? Министерство культуры, творческие союзы, цензура, редакторы. Да появившись тут сам Пушкин, его задушат в колыбели.

- Верно вы все говорите, да не упомянули главного: критика у нас не национальная, она целиком в руках евреев. А еврею зачем русская литература? Ведь русская, значит, национальная, а если национальная, то ему, еврею, нечего в ней делать. Пишите вы на своем родном языке, а мы, русские, посмотрим, что из ваших произведений перевести для себя следует. А то ведь нет, на русском пишут и русскую нашу жизнь объяснить нам хотят.

Нередко услышишь: сами мы виноваты. Да, виноваты русские. Это они с их библейской многотерпимостью и безбрежной добротой расплодили в своем доме всю эту нелепую вакханалию. Не ведая и не подозревая, что младенческая беспечность славян, проявившаяся в двадцатом веке с какой-то таинственной преступностью, приведет ко всеобщему социальному коллапсу: произойдет взрыв такой силы, что волны от него и осколки достанут самые отдаленные уголки планеты. И напрасно думают те, кто нагнетает ныне давление в «русском котле», что им удастся отсидеться где-нибудь на побережье Флориды или Канарских островах. Нет, не отсидятся! Если они подпалят «русский котел», то взрыв от него сметет все живое на планете. Все эти клинтоны, олбрайты, бжезинские очень мне напоминают кротов, которые в слепом своем рвении прогрызают ход, ведущий в пекло домны.

Но что же все-таки творится с нашими талантами? Не может же быть такого, что в прошлом веке народ русский породил сотню титанов, а в нынешнем - ни одного!

Вспомнил я, как однажды меня пригласил в свою мастерскую один наш именитый живописец - член академии художеств, секретарь Союза художников России. Сказал:

- Приходите, посмотрите мою мазню.

Я этим «мою мазню» был огорошен. Можно ли так относиться к своему труду? И вот мы с женой пришли к нему в мастерскую. Она была рядом с его квартирой.

Художник показывал свои картины. И первая из них - портрет его бабушки. Он писан маслом на холсте и чем-то напоминал работы Рафаэля, Леонардо да Винчи. И мне, и жене портрет очень понравился. Я бы с удовольствием повесил его в своей квартире. Художник сказал:

- Моя первая работа. Мне было пятнадцать лет. Я жил в деревне.

- Ну и ну! - поразился я таланту художника. - В пятнадцать лет написать такое!

Потом мы смотрели другие картины. И я с чувством горечи и досады про себя отмечал, что все последующие картины хуже первой. А уж самые поздние, - те, что выходили из-под кисти академика, - и совсем неприятны. Художник писал своих односельчан-женщин, девушек, мужчин и детей - жителей его родной деревни, где он каждый год жил летом. Лица суровые, изможденные, угрюмые и даже злые. Очевидно, наш хозяин хотел выразить этим время. И фигуры женщин, даже девушек - худы, угловаты. Нет женской красоты, обаяния, нет чарующего магнетизма в глазах. В каждой картине я чувствовал заданную идею, воспитующую суть.

Да, конечно, люди в нашей деревне живут плохо, они обмануты, обобраны - подведены к черте физического вымирания. Все так!.. Но человек всегда прекрасен, он в молодости силен и гибок, девушка нежна, грациозна, в ее глазах жажда жизни, море света и обаяния. Дети излучают сияние ангельской невинности, чистоты, в их глазах любовь, преданность, надежда. Куда же все это подевалось в земляках художника? Но, может быть, прекрасного в людях он не заметил? Но если так - зачем его картины?

С чувством досады и недоумения возвращались мы домой. Свои сомнения я высказал жене:

- Не понимаю, зачем он показывает мир таким грубым и уродливым?

Надежда, как всегда, подметила сторону практическую:

- Кто бы его пропустил в академики да в секретари, если б он не рисовал таких уродов!

Как просто и точно! И глубоко - до самого дна! Конъюнктура! Потрафить критикам.

Тем, не национальным. Им ведь не нужна красота, нужна политика, и та, что на них работает. Но неужели? За чины, за жирную колбасу... пожертвовать своей сутью?

Я стал внимательно приглядываться к Сорокину. Тучи, приплывшие с Челябинского горизонта, посеяли в его душе панику - он стал нервным, подолгу в нетерпении теребил свой реденький клочок волос на лбу, много и тяжело пил. Неожиданно вспыхнул любовью к Шевцову. К месту и не к месту хвалил его, в дни отдыха, когда мы приезжали на дачу, тянул к нему. Однажды мы втроем обедали у Шевцова и крепко выпили. Сорокин сказал тост:

- Предлагаю выпить за Дроздова. Признательно благодарен ему за то, что свел меня и сдружил с вами, Иван Михайлович.

В покорности склонил голову перед Шевцовым.

Слушал я и диву давался: еще недавно Сорокин горячо убеждал меня подальше держаться от Шевцова, говорил, что Шевцов - слабый писатель, ругает евреев и только тем добивается популярности. «Он - лидер антисемитизма. Был бы ты частным лицом - дружи с ним на здоровье, но ты работаешь в издательстве - нельзя так откровенно проявлять свою позицию».

Да, так говорил. И вдруг - благодарит за то, что и его я сдружил с «лидером антисемитизма».

Бесовщина какая-то! Попробуй в ней разберись! А и в самом деле... как сказал Кобзев, - душа не на месте.

Мне кажется, такого мира в издательстве, какой наступил во второй половине 1973 года, еще не было. Главный художник Вагин присмирел, он редко появлялся на работе, где-то ходил вокруг да около - «кругами». И Прокушев стал иным, при встречах долго и крепко жал руку, ласково улыбался, словно мы вдруг все исправились и радовали его своим тихим поведением. А и в самом деле: документы о художниках у нас забрали в Госкомиздат, и в редакции стало тихо. Я же по настроению Прокушева судил: художников в Комитете решили прикрыть, и мафия получила еще одного мощного союзника. «Неужели и Свиридов?» - мелькнула у меня мысль.

Между тем со Свиридовым в дни отдыха мы продолжали ездить в лес, варили кулеш, распивали бутылку коньяка. Я чувствовал, как еженедельные возлияния угнетали мою способность писать, но на исполнение служебных обязанностей они будто бы влияния не имели. Так я на себе испытывал коварное действие алкоголя: он в первую очередь и сильнее всего угнетал творческую потенцию, те отделы мозга, которые заведуют высшей умственной деятельностью. Позже, в середине семидесятых, а затем и в восьмидесятых годах это коварство алкоголя исследует и научно обоснует ленинградский ученый Геннадий Андреевич Шичко, но тогда лишь кое-где можно было встретить замечания о том, что алкоголь угнетает мозг. Я же испытывал это влияние на себе, и не от пьянства в обычном нашем понимании, а от «культурного» и даже «культурненького» винопития, - всего лишь двести граммов коньяку в неделю.

Писать я не мог. И не писал. И не знал, почему желание писать ко мне не приходит. Лишь смутно догадывался, но не было ни уверенности, ни убеждения.

Со Свиридовым о художниках не заговаривал. Говорить на отдыхе о таких щепетильных служебных коллизиях считал верхом бестактности.

Николай Васильевич тоже делал вид, что ничего не происходит. Впрочем, изредка он все-таки нашей жизнью интересовался. Спрашивал о качестве книг, о пропорциях столичных и периферийных авторов. Занимал его вопрос о главном редакторе. Спрашивал:

- Что думает Прокушев?

Я рассказывал о последней идее Прокушева: обойтись без главного редактора, а сделать нас с Сорокиным своими заместителями: меня - по прозе, Сорокина - по поэзии.

- А вы? Как отнеслись к его идее?

- Я - против, Сорокин - молчит. Думает.

- А что тут думать? - с раздражением говорил Свиридов. - Гнусная затея! Хочет стать одновременно и директором и главным редактором. Очередной «узелок», и завязать его он

хочет потуже. Сегодня вы согласитесь стать его заместителями, а завтра скажет вам: вы меня не устраиваете. Институт заместителей - хитрый механизм нашей системы. Или будь послушным, как робот, или... Катись на все четыре стороны.

- А ваши заместители? Разве Звягин вас устраивает? - позволил я себе небольшую бесцеремонность.

- Заместители министров - дело другое. Тут тоже механизм системы, и тоже - хитрый и даже коварный. Заместителей нам присылают. И прав над ними мы почти не имеем. Пословица есть такая: министры заместителей не выбирают.- И потом, минуточку спустя: - А что Сорокин? Неужели не понимает, куда Прокушев дело клонит?

- Думаю, понимает, но молчит из дипломатических соображений. Он сейчас Прокушева укрощает, хочет миром его в нашу сторону повернуть.

- Говорят, обедать к нему ходит?

- Иногда ходит, но я Сорокину верю. Парень он - кремень, рабочей закваски. Его бы главным редактором назначить.

- Поэт. Не справится.

- Зато в убеждениях крепок. А то пришлют темную лошадку, «уральского казака» какого-нибудь.

- Что это - «уральский казак?»

- Вагин у нас уральским казаком назвался.

- А-а...

Некоторое время молчали. Но Свиридов вновь обращался к нашим делам:

- А что Сорокин, действительно, крепок?

- Думаю, да.

Месяц или два спустя после этого разговора Сорокин мне вдруг сказал:

- Близится юбилей Михалкова. Викулов просит написать статью для журнала о Михалкове.

- Викулов или Прокушев? - спросил я неосторожно.

Валентин вспылал:

- Почему Прокушев? Сказал же - Викулов!

- Но почему ты? Тут нужен критик, а ты - поэт.

- Именно поэт и нужен! Якобы Михалков так хочет.

- Чтобы ты написал?

- Не я... но поэт! Редакция вышла на меня.

И потом, в раздумье:

- Может, и Сергей Владимирович назвал меня.

За этим «назвал меня» я слышал затаенную думу Сорокина, плохо скрываемое от других его убеждение в том, что он - первый из современных поэтов, нынешний Пушкин, Маяковский, Есенин... И, конечно же, Михалков, заботясь о своем месте в истории, хотел бы, чтобы в день его юбилея о нем написал Шолохов или... Сорокин. Но Шолохов не напишет, а вот Сорокин...

- Не знаю, Валя, дело это личное. И тут советчики неуместны. Но как старый журналист тебе скажу: юбилейные статьи обыкновенно панегирические. Способен ли ты славословить поэта, которого не уважаешь ни за стихи, ни за человеческие качества? Сам недавно мне прочел эпиграмму на Михалкова. Ты ее помнишь? Повтори.

- Не помню.

- Я тоже забыл. Но помню, что эпиграмма нелестная. Наверняка ведь, ты читал ее и другим. Подумай. Совесть нельзя насиловать. Радость жизни у себя отнимешь, покой душевный потеряешь, а без душевного покоя, сам знаешь, стихи не пойдут.

Не стал я читать молодому другу им же сообщенную мне эпиграмму на Михалкова, - не хотел так уж сильно давить на самолюбие, - но читателям, очевидно, будет интересно знать фольклорную характеристику этого непотопляемого при всех владыках российского литературного начальника. В высших партийных сферах были такие скользкие молодцы,

которые обладали редчайшей способностью глубоко и самозабвенно любить власть имущих и добиваться такой же трогательной взаимности. Такими были Микоян и Алиев. Литературная среда тоже выдвигала таких мастеров, и Сергей Михалков - едва ли не самый талантливый из них. Заступил на пост генсека Брежнев, и тотчас же клеветы, заинтересованные в «плавучести» Михалкова, начинали разносить по Москве весть, что наш Сережа свой человек в семье Брежнева, он с мадам на «ты» и бывает у них в доме. Клеветов у Михалкова много, они настойчивы и повторяют свои басни до тех пор, пока им не поверят. При смене генсека сказка про всемогущего Дядю Степу повторяется, и так, с каждым годом укрепляясь, и сидит в кресле вождя российских литераторов не одно уж десятилетие Сергей Владимирович Михалков - поэт, писатель, драматург, а по убеждению многих - ни тот, ни другой и не третий.

Сейчас я оторвался от столичной жизни - не знаю последних аттестаций. Но мне и с берегов Невы виден этот высокий, улыбчивый, хотя и со стальным блеском в глазах, непотопляемый «Дядя Степа». Ныне он одряхлел, сутуловат, ходит неверным, падающим шагом, но продолжает стоять на капитанском мостике. И штурманом при нем теперь Прокушев, а на роль старшего офицера и «первого поэта России» метит Валентин Сорокин. Ну, а эпиграмма? Она, правда, непристойна, но очень уж тут к месту:

Прославляют дядю Степу
Выше прочих дядей степ.
Лижут дяде Степе...
И никто не скажет: «стоп».

Сорокин возгорелся желанием сказать и свое слово во славу главного российского литературного начальника.

На том наш разговор тогда кончился. Я впервые ощутил, как между мной и Сорокиным пробежал холодок отчуждения. Он в этот день не зашел ко мне и не позвал обедать, а я и был рад этому. В магазине купил пакет молока, булочку - пошел в тихий уголок соседнего уцелевшего каким-то чудом сада, пообедал в одиночестве. С этого дня чаще просил Сорокина оставаться в издательстве, а сам забирал две-три рукописи, уезжал на дачу, читал.

Валентин охотно оставался за главного. Ему очень нравилось командовать.

Как-то Прокушев попросил меня прочесть объемистую рукопись. Сказал:

- Приготовьтесь к серьезному разговору по ней. Отбиться будет нелегко.
- Но, может быть, и не надо отбиваться?
- Нет, надо. Автор - графоман, но за ним -о-о, черт бы их побрал, этих ходатаев.

Он, когда случалось, не прочь был и ругнуть высоких персон.

В четверг и пятницу я читал, в субботу и воскресенье отдыхал, а когда пришел в издательство, нашел тут большие волнения. В мое отсутствие явился подполковник милиции, назвал следователем по особо важным делам. Долго сидел в кабинете директора, спрашивал меня, ждал до обеда. Пришел он и во вторник, за полчаса до начала работы. Но я уже был на месте и следователь прошел ко мне. Дружески пожал руку, улыбался. На нем был китель армейского покроя, но погоны милицмейские. Я спросил:

- Наверное, в армии служили?
- Да, недавно демобилизовался. Был военным следователем, а теперь вот... на гражданке. И тоже следователь.

Раскрыл папку, достал один за другим документы о художниках. Потом достал три книги примерно одного формата и полиграфического качества. Выпущены разными издательствами.

- Вот смотрите! - разложил их на моем столе.- Какая лучше оформлена?

Я полистал книги.

- Примерно одинаково.

- А плата за художественное оформление и за печать - разная. Вы художникам

заплатили в четыре раза дороже, а полиграфистам - в один и четыре десятых, то есть почти в полтора.

- И за печать превышаем? - удивился я, впервые коснувшись дрожжевой механики.

- Да, и за печать. Не понимаю вашей щедрости, любезный Иван Владимирович. Объясните, пожалуйста.

Говорил будто бы шутя, с дружеской иронией, но слышалась мне в его голосе и серьезная претензия официального человека. Следователь вдруг спросил:

- Вы на фронте кем были?

- Войну закончил командиром батареи.

- Я тоже был комбатом, только в пехоте, командовал батальоном. Представьте на минуту, что у вас из солдатского довольствия кто-то утянул половину продуктов.

- Что вы! У нас в котел строго по весу засыпалось. Я сам иногда отмеривал, а чтобы жульничать... Да у нас за всю войну случая такого не было.

- Вот, вот... Не было такого. И у нас тоже... за всю войну. Я и обедал вместе с солдатами. И чтобы хоть сухарь лишний, кусок сахара - ни, Боже мой! Честность во всем. Порядок и справедливость. На том стояли!

Помолчали оба. Думали об одном: что же с нами случилось? Почему теперь так пышно расцветает лихоимство, казнокрадство?

Я смотрел на лежащие на столе книги. Взял две - других издательств. Спросил:

- У них оплату производят по нормам?

- Сомневаюсь. В сравнении с вами меньше махинаций, но тоже... Почти уверен. Но только копать надо. Нужно за руку схватить.

Он полистал документы о наших художниках. Улыбнулся.

- Тут, конечно, много материала,- им не отвертеться, но работа и здесь для следствия предстоит серьезная.

В кабинете главного редактора была развернута выставка книг, выпущенных «Современником» со дня его основания. Подполковник смотрел книги, что-то записывал и время от времени обращался ко мне:

- Вот за эту книгу сколько заплатили художникам?

- Такие сведения может предоставить бухгалтерия.

- А гонорар авторский, писателю?

Я смотрел выходные данные и если не точно, то примерно называл сумму гонорара.

Следователь записывал. И тут же спрашивал:

- Как думаете, вот на это оформление сколько затратил художник дней, месяцев?

- Способный художник сделает такое оформление за неделю.

- А писатель? Сколько он пишет такую книгу?

- Обыкновенно - годы. Иногда год, а то и пять, десять лет. Иной писатель отделяет свою книгу всю жизнь.

Следователь кивает и тоже записывает. Он в своих вопросах был дотошен, шел в глубину, проникал в суть творческого труда и писателя, и художника. Я не был следователем, но четверть века работал журналистом, и круг интересов у меня был широкий - от описания какого-нибудь события до запутанных проблем развития металлургии, шахтерского труда - по опыту мог судить о хватке следователя, его стремлении не только «размотать» факты, но и понять явление в своей изначальной комплексной сути. Мне нравился этот умный, симпатичный человек. Я был рад, что дело художников попало в такие руки.

Расстались мы почти друзьями.

И сразу же после следователя ко мне стали заходить все наши ведущие сотрудники: Сорокин, Панкратов, Целищев, Дробышев. Зашел и Ванцетий Чукреев. Они ни о чем не спрашивали,- знали, что художниками занялся важный следователь то ли из прокуратуры, то ли из Министерства внутренних дел.

Болтали о разном, а думали об одном: чем закончится эпопея с художниками? По

выражению лиц, словам и репликам я видел, кто и как воспринимает это событие. Все радовались, были возбуждены, и только Чукреев и Сорокин хранили молчание, тяжело обдумывали сложившееся положение.

Без стука и разрешения вошел старший редактор, писатель Иван Краснобрыжий. Этот говорил прямо:

- Прищемили хвост прохиндеем. Прокушев в Комитет метнулся, новое заявление об отставке подал. Будто бы председателю сказал: «Хватит с меня этого кошмара! В издательство не вернусь. Хоть на коленях стойте».

- Ну и что? Что сказал ему председатель?

- Не знаю. Но что он должен ему сказать? Отчитайся за художников, тогда и уходи. Я бы так сказал.

- Погодите бить в литавры,- остерег Чукреев.- Прокушев найдет управу и на следователя.

Мудрый был человек Чукреев. Запомнил я тогда это предостережение.

Весь тот день возле меня вился Сорокин. Вместе в лес мы пошли с ним обедать. Он был смущен и взволнован. Недавно отбыла домой челябинская делегация, вернулся из Челябинска «тайный следователь». Он приходил в издательство, общался с Прокушевым,- видимо, Валентина сейчас пугали всякие возможные катаклизмы. А кроме того, со дня на день должен был поступить подписчикам и в продажу журнал «Наш современник» с его статьей о Михалкове. Несомненно, Прокушев внушил Валентину какие-то надежды, связанные со статьей о Михалкове,- может быть, косвенно или прямо зажег перед Валентином надежду на должность главного редактора. Я уже представлял, в каких выражениях директор разворачивал перед Сорокиным новую перспективу, ведь директор и нам не однажды говорил о всемогуществе Михалкова, о его влиянии на все руководящие сферы вплоть до самой «мадам» - жены Брежнева, с которой у него якобы вполне свойские отношения.

Сорокин тут же подтвердил все мои догадки. Спросил:

- Как относится ко мне Свиридов?

- А как он должен к тебе относиться? - изумился я.- Поэтический раздел ты поставил хорошо, об этом мне и Карелин говорил. Надо полагать, он то же самое говорит и председателю.

- Не темни, ты и без Карелина все знаешь. Ты дружен со Свиридовым.

- Ну, это ты придумал, Валя,- искренне возразил я. - Свиридов и из своего-то круга, как мне кажется, не имеет друзей, а уж такие мелкие сошки, как мы с тобой... Зачем мы ему?

- Ладно. Ни врать, ни хитрить ты не можешь. Скажи уж прямо: не хочешь распахивать душу. И черт с тобой. Таись. Но скажи хоть мне: ты бы хотел видеть меня главным редактором?

- Еще бы! Я был бы рад такому обороту дел.

Я говорил это и не кривил душой. Искренне верил в здоровую суть Сорокина, в реализм и справедливость его взглядов. И хотя понимал, что в характере у него много мусора, что неровен он, грубоват, но в моих глазах здоровая его славянская натура искупала все недостатки. Я сказал:

- Хочешь, я поговорю со Свиридовым, постараюсь убедить его назначить тебя главным?

Я был искренен и в этом своем намерении.

Готовился к выходу в свет журнал со статьей Сорокина о Михалкове. Валентин перед выходом дал мне ее почитать. Статья была написана мудрено; автор не хвалил юбиляра напрямую, не развешивал превосходные эпитеты,- он вокруг имени маститого литератора нагромождал сложные словесные структуры, тщился выделить какую-то необыкновенность, какое-то сверхъявление, заслонившее собой едва ли ни всю современную литературу. Он не называл произведений - что можно назвать у Михалкова? - но каким-то особенным образом умудрялся представить читателю чуть ли не титана литературы. Лесть, конечно,

беспардонная, но подавалась таким образом, что ее вроде бы и не было заметно.

Не ожидал я от Сорокина такой журналистской прыти: уметь же надо! Сказывался поэтический дар находить броские незаезженные слова, лепить хлесткие фразы.

Больше об этом факте из своей биографии Сорокин со мной никогда не заговаривал и никому другому о статье не говорил,- видимо, все-таки стыдился ее, но несомненно, что в жизни его она сыграла роль не последнюю.

В дни работы следователя никого из руководства в издательстве не было, и Сорокин забегал лишь на часок,- говорил сумбурно, о пустяках и то присаживался, то принимался ходить по кабинету. И тут же исчезал.

О Прокушеве разнесся слух: пробивает себе профессорскую кафедру, теперь уж от нас уходит наверняка.

На этот раз и я поверил, что директор уйдет, что следователь по чрезвычайно важным делам шутить с Вагиным и Дрожжевым не станет и что Прокушев если и не «поплывет» с ними на скамью подсудимых, то уж и работать в издательстве не сможет.

Между тем вся черновая работа по главной редакции и по делам хозяйственным легла на меня, и я уж не имел времени читать верстки и вынужден был брать сигнальные экземпляры на ночь. Едва успевал прочесть, а иные и не успевал - подписывал «втемную». Такая рискованная игра меня очень беспокоила, хорошо знал, какая поднимется свистопляска, если пропущу в книге какой-нибудь ляп.

В субботу, отоспавшись, пошел в лес, а там знакомыми тропинками - к Шевцову. Принял он меня неласково, смотрел волком и с ходу обрушил шквал упреков:

- Странный ты, ей-Богу! Все мои разговоры с тобой - как об стену горох. Не думай, что ты такой умный и можешь никого не слушать!

- В чем дело? Что случилось?

- И ты еще спрашиваешь! Документы на художников в ОБХСС закатал!

- Этого я не делал.

- А в Комитет кто их на тарелочке отнес?

- Ну, это уж наши служебные дела. Да ты-то что печешься о художниках? Мне надоело выслушивать твои нотации. Не очень они корректны.

Шевцов закипел еще более и стал вновь разворачивать свои аргументы. Слушать их я не стал. Сказал ему:

- Ладно, Иван. Ты сегодня настроен агрессивно, а мне отдохнуть надо. Пойду-ка я к Кобзеву.

И ушел.

Игорь был на веранде, отделявал этюд, который он нынче же рисовал на берегу Монастырского озера.

- Нравится тебе этюд? - спросил Игорь.

- Да, очень.

- Хочешь, подарю тебе его?

- Еще бы! Я буду очень рад и куплю для него хорошую рамку.

- И отлично! Вот еще два-три мазка,- и забирай его. Жалко мне, а все равно - дарю от чистого сердца.

Его жена, Светлана, соорудила нам чай, и мы пили его на веранде, сидя в плетеных креслах.

- Ты в чудеса веришь? - спрашивал Игорь с детским простодушием.

- Ну как же без чудес! Они всюду, их надо только видеть.

- Я тоже так думаю. Мир полон тайн и чудес. И чем выше интеллект человека, чем развитее ум и богаче фантазия, тем больше такой человек видит чудес. В сущности, весь мир и вся наша жизнь состоят из чудес! Вот и сейчас... у нас в сарае, в темном углу за дровами, появилась тень Суворова. Хочешь, покажу!

- Да, конечно.

- Пойдем.

Выходя из-за стола, я мельком взглянул на Светлану - лукавая смешинка была у нее в глазах, она чуть заметно, снисходительно улыбалась. Но Игорь этого не замечал. Дверь сарая открывал тихо, словно там кто-то спал и он не хотел его тревожить. Войдя в сарай, показал в дальний темный угол. Шепотом спросил:

- Видишь?

Я кивнул:

- Да, вижу.

- Ну вот,- проговорил Игорь, так же тихо прикрывая дверь.- Скажи Светлане, она как сагана - ни во что не верит.

На веранде Игорь сказал Светлане:

- Иван Владимирович - серьезный человек. Спроси у него: видел он тень Суворова?

Светлана спросила. Я ответил:

- Да, конечно, видел.

Она прыснула и, чуть не выронив чашку, убежала на кухню. Игорь смотрел на меня чистыми синими глазами, и в них я читал горький упрек в адрес грубой женщины, бывшей по злой иронии судьбы его женой, и чувство признательности мне за мою с ним солидарность.

Мне тоже хотелось улыбнуться, но я держал серьезный вид. Не знал я тогда, не могу, наверное, судить и теперь: была ли то странная прихоть умнейшего человека, одареннейшего поэта и художника, или он и в самом деле настолько верил в чудеса, что вызвал в своем воображении тень великого соотечественника и старался других уверить в его реальности.

Кобзев был поэтом по своей природе, весь был устремлен в мир прекрасного. Я однажды, подходя к окнам веранды, услышал небесную, трубно звучащую музыку Вагнера, через раскрытое окно увидел многоцветие куполов. И невольно остановился, пораженный гармонией звуков и цвета, казалось, кресты золотые на зеленых, голубых, синих куполах кружились и летели вслед за музыкой,- летели и увлекали тебя.

Музыка часто звучала во всех комнатах и на усадьбе кобзевской дачи, музыка высокая: Глинка, Вагнер, Чайковский, Бородин, Моцарт...

Тень Суворова. Может быть, и это...- потребность души, образ, волновавший ум поэта.

Игорь был на редкость интересным собеседником,- он легко и свободно, а главное, оригинально судил о чем бы мы ни заговорили. И я душой отдыхал в их доме. Одно, впрочем, мне не очень нравилось; всякое чаепитие, ужин или беседа кончались обыкновенно картами. Игорь в один миг расчищал стол, подкидывал в руках карты, говорил:

- Сыграем в дурачка!

Терпеть не мог карты, но садился и играл. Если же мы приходили к Кобзевым всей семьей, я оставлял их за картами, а сам уходил в лес.

В тот день я очень хотел отвлечься,- игра в дурачка была для меня нужнее умных разговоров.

Впрочем, тень Суворова меня тоже изрядно позабавила.

Игорь провожал меня до дома. Шли лесом, он любил ходить по местам незнакомым. Там, где открывались дальние массивы деревьев, останавливались. Он показывал на стайки берез, ряды лип, тополей, говорил:

- Вот теперь начало сентября,- посмотри, какие новые краски появились в лесу. Вон там, видишь, лиловая полоса? Неделию назад ее не было. Теперь же по утрам и вечерам много темно-лиловой сини, сиреневых наплывов, и по краям, снизу или сверху, идут багровые полосы. Лес отсвечивает зарю.- И неожиданно предложил: - Пойдем завтра на зорьку. Я дам тебе этюдник, краски.

- Зачем? - не понял я.

- Будешь рисовать.

- Да я сроду не рисовал. И, кажется, не умею.

- А вот мы пойдем. И ты увидишь, как у тебя выйдет.

Домой ко мне Игорь не зашел. Прощаясь, сказал:

- Вчера на вечере поэзии был ваш Прокушев. Он выступал и сильно хвалил Сорокина. Читал его стихи. А потом сказал, что будут двигать его на премию.

- Таких людей, как Прокушев, не сразу поймешь. Видно, интерес к Сорокину имеет.

Мне вдруг, в одну минуту, открылась разгадка всех последних ходов Сорокина, и его частых отлучек, и охлаждения к делу художников, и статьи о Михалкове, припомнилась делегация челябинцев, страх Сорокина стать героем фельетона. Все звенья последних событий выстроились в ряд. Стало ясно: Сорокин ищет союза с Прокушевым. Он, может быть, не станет нам вредить, не уйдет в лагерь противника, - такой мысли я не допускал, - но и теснить художников он уже не будет. Бойца и товарища мы потеряли.

Припоминал, как сидит он в сторонке, слушает наши препирательства с Прокушевым и покорно молчит.

Трудно мне было представить таким Валентина: слишком он был смел и напорист, и верил я в него, как в себя.

В думах своих перенесся в далекие годы войны, вспомнил батарею свою - офицеров, сержантов, солдат. Подумал: было ли там что-нибудь подобное?.. Нет, не было! Случилось однажды, молодой солдат Иван Куренной, подносчик снарядов, в бою побежал от пушки. Командир огневого взвода вынул пистолет, хотел застрелить труса, но я ударил офицера по руке. И рванулся за солдатом, догнал его, схватил за шиворот, вернул на место. Немцев мы отбили. Наступила тишина. Батарейцы сидели возле пушек. Я обходил расчеты, зашел и на пушку, где был Куренной. Не упрекнул солдата. Зато и дрался же он потом, как лев. Остался жив, был не однажды награжден. И теперь, когда мы ежегодно в майские дни Победы собираемся на встречу фронтовиков-однополчан, Куренной подходит ко мне, как к отцу родному.

Неужели Сорокин, зрелый Сорокин - не мальчишка, побежит с поля боя?..

Раненько утром я был у Кобзева. Он дал мне этюдник, набор красок, кистей, раскладной стульчик, и мы пошли в лес. На берегу Монастырского озера выбрали поляны, недалеко друг от друга сели. Я стал рисовать стоявшие передо мной три березы и небольшой холмик на втором плане, а на первом, ближе ко мне, клин поляны. Из-за деревьев поднималось солнце, и лес, и трава, и вода в озере буйно засверкали, окрасились в тона яркие, радостные, - живопись хотя и была для меня загадкой, и кисть не слушалась, краски не давались, однако волнение в груди я испытывал ни с чем не сравнимое. И за четыре часа на маленьком моем холсте появились три березки и холм, и поляна. Рисунок незатейливый, однако же было видно, что это березы, и рядом - трава.

Стал рисовать. Есть у меня теперь свой этюдник, свои кисти и краски, а в кабинете на даче даже установлен большой рисовальный станок. Я пишу дома, природу, но больше мне нравится писать портреты. Натурщиков я, конечно, не приглашаю, но самых близких людей, из тех кто благосклонно относится к моим занятиям, я рисую по несколько раз. Люблю копировать. Копии доставляют мне особенно глубокое удовлетворение. Воспроизвести черты Лермонтова, Маяковского, Герцена, Тургенева - других, дорогих моему сердцу лиц, и если сделать это удачно - ах, какая тут большая радость для человека, любящего жить в мире собственных фантазий!

Однако злые силы не дремали.

Прокушев, Вагин, а с ними и Сорокин совсем перестали бывать в издательстве. Я, хотя и догадывался, но доподлинно не знал, не мог предположить, что борьба за «Современник» ведется не в коллективе издательства, а где-то в стороне. Испытав свои силы внутри редакций и не сумев одолеть здесь ни одного редута, противник отступил и стал обкладывать нас с флангов и с тыла.

Теоретики борьбы с сионизмом позже назовут свои книги: «Ползучая контрреволюция», «Осторожно, сионизм», «Рассказы о "детях вдовы"», «Вторжение без оружия»... Мы не знали, как она ползет, эта контрреволюция, и что «детьми вдовы» называют братьев-масонов, не научились мы в этой войне проявлять и осторожность. Потому и били нас, как слепых котят, и отступаем мы в этой войне и пятимся до сих пор. Не

знали тогда и не знаем еще и теперь сил, противостоящих нам в идеологической войне, - самой длительной из всех войн. Она длится уже более ста лет, мы беспрерывно несем потери, - нас подвели к краю пропасти. Только здесь мы увидели опасность. Пожалуй, отсюда и начнется наше наступление.

Настала зима 1974 года, работа наша набрала строгий, деловой ритм. Мы регулярно выпускали книги, и книги хорошие - об этом ныне может сказать каждый книголюб, имеющий в своей коллекции книги «Современника».

Прокушев и Вагин по-прежнему были беспокойны, часто и надолго пропадали из издательства, однако их отсутствия коллектив не замечал: свидетельство того, как обширен у нас класс паразитирующих бездельников. Работал я в «Известиях» - там коллектив был из нескольких сотен человек, а нужно-то было всего человек двадцать; в Комитете работал - там двести человек, а нужно человек десять; в издательстве тоже все начальство можно сократить. Оставить лишь главного редактора, редакторов и производственный отдел.

Невольно вспоминал я, как мальчонкой пришел в 1937 году на Сталинградский тракторный завод. В механо-сборочном цехе работало несколько тысяч человек, и над ними - начальник цеха, механик и несколько мастеров. Я был приставлен к токарю в ремонтно-механическую мастерскую, мы ремонтировали тысячи станков, конвейер. Нас, рабочих, было человек двадцать, а мастер - один. Он и работы давал, и наряды закрывал, и зарплату начислял. А когда уже в роли корреспондента «Известий» я приехал на свой завод двадцать лет спустя, - батюшки мои! - да там начальников, учетчиков и контролеров почти столько же, сколько рабочих!

Вот уж истинно - королевство кривых зеркал! Сумасшествие какое-то!

Итак, издание книг у нас хорошо наладилось. И люди спокойны и будто бы всем довольны. Беспокойны главные начальники: директор, заместитель его да главный художник. Но им пенять не на кого - сами виноваты. Следовательно продолжал работать. И рылся он в делах финансовых - там, где они оставляли следы. Как говорили еще в древности: «Каждому свое».

Сорокин был неровен: порой он успокаивался, ходил на службу, по-прежнему звал на обед. Квартиру он получил, дачу купил, заводил в другом издательстве новую книгу стихов, но мы сказали: «Издадим у себя, не будешь никому обязан». И запланировали объемистый том в подарочном оформлении. Думали так: в поэзии работает два десятка лет - пора иметь и солидную книжку. И были, конечно, правы. Тут не было и намека на свойские мотивы.

И вот уже весна 1974 года наступает. Прокушев подает третье заявление на увольнение, но мы уже к этому привыкли, воспринимаем такой маневр, как шантаж и истерику.

Авторитет его упал настолько, что ему неудобно было даже появляться в издательстве. Над ним стали посмеиваться. Иные смеялись в глаза. Задавали один и тот же вопрос: «Говорят, уходите, Юрий Львович?» На что он обыкновенно крутил головой, хмыкал, и если произносил слова, то как-то невнятно, и прибавлял шаг.

Зато мы заметили: в то самое время оживилась внешнеполитическая деятельность нашего руководства. То там, то здесь устраивались какие-то вечера с отчетом директора «Современника». За красный стол как-то сами собой затекали Вагин, Дрожжев и какие-то чиновники из Комитета по печати. Все они много говорили, хвалили Прокушева, Сорокина. Делались налеты на кабинет Прокушева бригад из радио, телевидения, и тоже много говорили тут разных хвалебных слов. Чаше стали наезжать иностранные гости. И тоже - к часу, когда были на месте все те же лица, и с ними Сорокин. Слышал я однажды, как при большом стечении народа, под фонарями и объективами телеаппаратов Сорокин проговорил длинную тираду во славу Прокушева: назвал его выдающимся критиком, писателем и одним из самых блестящих организаторов издательского дела в нашей стране.

Было ясно: Сорокин удобно устроился в кармане Прокушева. Во всякой борьбе это самое страшное, когда внутри вашего лагеря заводится предатель. Теперь уже я потерял сон и подолгу лежал с открытыми глазами. Надежда спросила:

- Чего не спишь? У тебя неприятности?

- Да нет, ничего. Спи ты.

Но однажды случилось чудо: наши руководители все вдруг явились на работу точно вовремя. Никогда такого не было! Важно и не торопясь шествовали по этажам и коридорам, заглядывали в редакции, чинно отвечали на приветствия и следовали дальше, в свои кабинеты.

Меня позвали к директору. И всех заведующих редакциями, и начальников служб.

На мое приветствие Прокушев едва кивнул головой, в глаза не смотрел. Но других встречал приветливо, голову поднимал высоко и чуть покачивал ею,- видно было, что он волнуется, что-то случилось важное и радостное для него.

Шел час, другой - совещание не начиналось, а в кабинете стоял гвалт, каждый болтал о своем, и все чего-то ждали. Прокушев поглядывал на часы, на дверь - выказывал явное нетерпение.

Я выходил, но меня тотчас вызывали. Директор говорил:

- Да сидите, пожалуйста! Вы будете нужны.

Я все равно пошел в какую-то редакцию. Именно в это время и случилось ожидаемое.

Мне потом в подробностях рассказали.

В кабинет в форме подполковника вошел следователь - тот самый, который вел дела художников. Неловко и несмело подошел к директору. И в наступившей тишине раздался его глухой, дрожащий голос:

- Юрий Львович! Приношу вам извинения за беспокойство и напрасные тревоги, которые мы доставили коллективу и вам лично своим следствием. Претензии к художникам оказались необоснованными, и я также извиняюсь перед вами, товарищ Вагин.

Наступила особенно чуткая, какая-то звенящая тишина. Подполковник вынул из портфеля папку с документами на художников, положил на стол директора. Сказал:

- Дело закрываем.

Круто повернулся и пошел к выходу. На глазах у него были слезы.

Ко мне постоянно заходили люди, и каждый рассказывал, и возмущался, и разводил руками. Впрочем, я их плохо слышал: в голове моей гудело как от артиллерийской канонады. Мне казалось, я со своей батареей стою на открытой местности, по нам бьют из всех стволов, а мы ответить не можем: нет снарядов. Гул нарастает, и солдатам спрятаться нигде. Было ли такое в годы Великой Отечественной войны - самой страшной из войн мировой истории?... Да нет, такого я не помню. Были, конечно, переделки, и попадали мы под огневой смерч, но и сами не дремали и таким отвечали огнем, что небу было жарко. А чем же я сейчас отвечу? Чем отплачу за позор и унижение фронтового товарища - командира пехотного батальона? Нечем мне ответить! Нет у меня оружия. И нет уже у меня вчерашних боевых друзей. Сидят поджав хвосты в Комитете Карелин и Свиридов, а Сорокин и вовсе перебежал в стан противника. А хитренький Чукреев сидит в своем окопе и злорадно улыбается: говорил же тебе - зубы обломаешь! И те мои приятели и доброхоты, что сидят в бесчисленных кабинетах московских редакций, и они, как Чукреев, злорадно улыбаются, в лучшем случае жалеют. Вот, мол, Иван! Незрелый он человек! Зря ему доверили такое дело. И чего только думал Свиридов? Ведь еще и по книгам его было видно, что не владеет он ситуацией.

А уж близкий мой товарищ - самый близкий! - Ваня Шевцов и смотреть в мою сторону не станет. О таких людях, как я, у него и слова другого нет, как только «идиот».

Вот такие невеселые мысли владели мной в те минуты. И еще хотелось мне догнать подполковника, сказать ему какие-то слова, утешить, но он уже был далеко. Не сломался бы! Не упал бы духом!

Подавали какие-то бумаги, механически подписывал.

Заходил Сорокин, что-то порывался сказать, но слов не находил, быстро удалялся. В конце работы снова зашел ко мне, сказал:

- Пойдем домой вместе. Надо все обговорить.

Вначале ехали на машине - ее вдруг стали регулярно подавать главному редактору.

Ехали до метро «Профсоюзная», потом шли пешком.

Сорокин порывался что-то обсудить, обмозговать новую тактику, но выходил у него один сумбур, и он свою речь прерывал, комкал.

- О чем твои тревоги? Что случилось? - спрашивал я его.

- Нам надо дело делать, дело - понимаешь?

- Понимаю. Дело это важно, это главное в нашей жизни, но кто тебе мешает? Закрыли дело на художников - и ладно. Пусть они работают. Значит, так надо. Государство пока не может защищать себя от лихоимцев. На наших глазах нарождается мафия, а может, она уже давно зародилась. Происходит сращивание государственной власти с казнокрадами. Народ наш, совершив революцию и сбросив с шеи одних паразитов, попадает под власть других. Кстати, кто принудил следователя извиняться - уж не Шевцов ли?

- Не знаю, - буркнул Сорокин.

Сердце мое слышало: Сорокин знал, но говорить мне не хотел. Оба мы понимали, что пути нашей жизни расходятся. Оба не хотели или не могли еще в это поверить.

Еще более тихим, упавшим голосом Сорокин продолжал:

- Готовься двухтомник издавать... Шевцова. Вагин уж портрет его рисует. На медной доске изготовят.

И вдруг - с тревогой, почти панически:

- Со мной, наверное, поведешь борьбу?

Ответил сразу, без раздумий:

- Нет, Валя, с детьми своими не воюю. Нет во мне силы такой, как у Тараса Бульбы.

Мне надо было сворачивать к дому.

- Ну, бывай.

И пошел. Руки ему не подал - впервые.

Поражение наше было сокрушительным. Мы тогда не знали, что дело имели с мафией, но не с той, о которой, конечно, догадывались, а с широко разветвленной, уходящей корнями на самый верх.

Бороться с такой системой у нас не было сил. Я понимал это как журналист, размотавший и описавший за свою жизнь много афер и преступлений. Герои моих статей и фельетонов не однажды пытались поставить меня на место - не могли, а теперь вот не только мне указали на свой шесток, но и людям повыше - Карелину, Свиридову. Ведь это не я же, а они решились на атаку - подали документы в органы надзора. Им первым щелкнули по носу, а уж потом мне. Вышло так, что я их подвел. Я и об этом теперь думал с душевной горечью.

Плачущий подполковник - фронтовой командир батальона, не знавший страха в смертельных боях, склонил голову перед Прокушевым и Вагиным, вымаливал прощение. Образ этого прирученного героя, сломленного и униженного бойца стоял перед глазами; я потерял покой, у меня вылетели из головы все мысли о книге: я даже и вспомнить не мог, на чем остановился, что уже написал и что надо было писать дальше. Поразительная, страшная пустота и прострация! Представил тысячи, миллионы творческих людей, которые, как и я, попав вот в такие обстоятельства, теряли не только способность творить, но и интерес к самой жизни. Ныне много говорят о горестном положении страны, ищут причины этого, но никто не подумает о том, что все семьдесят с лишним лет после революции мы жили в обстановке дичайшей несправедливости, физического и психологического разбоя - гнусной войны, которую развязало государство против своих граждан. Плотник, слесарь, пахарь в этой обстановке еще находят силы как-то двигать руками и ногами, но как воспламенить энергию разума? Как привести в движение весь психический строй человека и направить его на созидание?

И вновь и вновь является гениальный Пушкин, сказавший, что для творчества нужен душевный покой. Он оттого и рвался на постоянную жизнь в Михайловское, искал защиты у природы. В последнем в жизни, 1836 году, когда травля и клевета летели на него со всех сторон, он писал своему шурину: «Здесь у меня голова кругом идет, думаю приехать в Михайловское, как скоро немножко устрою свои дела».

Я знал, как сильно ударила история со следователем по самолюбию Карелина и Свиридова,- не хотел их видеть и не звонил им. Мафия поставила на колени всех, но я не хотел сдаваться и в то же время не видел никакой возможности победить.

Трудные это были дни. Я продолжал ходить на службу, проводил совещания, подписывал бумаги, читал верстки и сигнальные экземпляры, но делал все механически. Присматривался к товарищам. Саша Целищев был удручен,- в истории с художниками потерпел поражение и его брат. Панкратов, как всегда, был ровен, спокоен; Дробышев, Горбачев, Филёв исправно трудились. Ко мне заходили реже, словно бы чего-то стеснялись. Сорокин в эти дни получил звание лауреата премии Ленинского комсомола; в издательстве «Молодая гвардия», в коридоре на видном месте, в ряду других лауреатов, поместили его большой портрет. На лацкане пиджака у него засветился маленький золотой значок.

Я поздравил Сорокина. Сказал: «Премия эту ты заслужил. Она могла прийти к тебе и раньше».

Прокушев, представляя лауреата какому-то собранию, сказал, что он верит, что Валентин Сорокин скоро будет лауреатом и других премий - самых высоких в стране. А в тесном кругу, в подпитии, не обращаясь к Сорокину, но так, чтобы он слышал, проговорил: «Квартиру за свои деньги купил! В прошлом - металлург, и поэт какой! Да у нас литераторы куда меньшего калибра министерские квартиры с зимним садом получают. За выдающихся сходят».

Валентин при этом нетерпеливо и нервно теребил свой чуб. Приятные это были речи.

Не часто, но раз-другой в месяц продолжались наши со Свиридовым поездки на природу. О художниках и о следователе не заговаривали,- он будто бы не знал эту историю, я не хотел сыпать соли на рану. Николай Васильевич, как я себе представлял, глубоко страдал от сознания, что вот он, министр, а простого дела с художниками решить не мог. По моим понятиям, каждый, кто знал эту историю и близко стоял к ней по службе, должен был чувствовать себя в какой-то степени соучастником очень большого, гнусного преступления. Тем более это относилось к людям, имевшим власть над издательствами.

В последний раз, а это было весной 1974 года, когда снега в городе уже не было, а в лесу, в низинах и распадках между деревьями, он еще лежал синеватыми ноздрястыми пластами, Свиридов, как только мы углубились в лес и принялись за разведение костра, заговорил о Сорокине:

- Что он, как ведет себя? Лауреатом стал.

Я отвечать не торопился.

- Ну, чего молчишь?

Свиридов говорил грубовато, но я знал эту его манеру и то, что за внешней суровостью он частенько пытался спрятать свою тревогу, а иногда и бессилие.

- С Прокушевым дружит.

- И что же? Может, тактику такую принял. Прокушев, он ведь всякий бывает, флюгер! - то в одну сторону шарахнет, то в другую. Может, и нужно так - в свою сторону тянуть?

- Не знаю, Николай Васильевич, в тактике такой не силен.

- А как же на войне был? Батареей командовал?

- Так там у нас все ясно было: обнаруживаем цель, видим кресты и каски - бьем по ним.

- Случалось, по своим лупили.

- У меня не случалось. На груди все время бинокль висел, я и спал с ним. Морской, мощный. Бывало, гляну - все вижу. По своим - нет, ни одного снаряда за всю войну.

- А этот... твой дружок Сорокин, если, скажем, власть ему дать,- не станет лупить по своим?

- Я понял: прокушевская сторона двигает Сорокина на пост главного редактора. Сказал:

- Он человек русский. Из рабочих.

- Знаю, что русский. И грамотешка слаба. Ведь даже института не кончил. Но тут... нутро важно. Чтоб в план чертовщину разную не совал и кадры редакторов держал. Да и ты, надеюсь, и вы с Панкратовым... Кадры им не дадите?

- А что Панкратов,- на место Сорокина мыслится? Заместителем будет?
- Карелин с Сорокиным говорил. Тот будто бы, в случае назначения главным, идею такую подал. Панкратов-то как - крепкий мужик?

- Панкратов - да. Стоит крепко. И образован, культура высокая.
- Знаю,- буркнул Свиридов, боясь, что я Панкратова на пост главного рекомендовать буду. Сорокина михалковско-прокушевская рать двигает; председателю надо подпись под приказом поставить, и конец делу. А Панкратова как назначишь? Опять же - прокушевская рать не пустит.

Знал я все это и думал о Сорокине. Все-таки, как мне казалось, душа у него славянская, - конечно, он лучше любого скрытого сиониста - вроде того главного редактора, который женат на еврейке.

- О Сорокине что сказать? Пятиться он будет и приседать на корточки, но так уж, чтобы полностью в их карман ухнуть... Нет, не думаю.

На этом разговор о Сорокине кончили.

Вскоре Валентин был назначен главным редактором «Современника». На работу он приехал на служебном автомобиле. В новом дорогом костюме, на белоснежной рубашке пламенел красный галстук. Поэтов я обыкновенно видел задумчивыми и непременно с налетом грусти в глазах, но на этот раз я видел поэта счастливым.

Моя жизнь в издательстве с назначением Валентина стала круто меняться. В первое же утро столкнулся с новостью: ко мне для получения распоряжения на день не вошла секретарша Таня. Проходит час-другой,- не приходит. Я пригласил ее:

- Вы меня забыли, Таня.

Еще совсем молодая, только что вышедшая замуж, Татьяна смущенно смотрела в сторону.

- Нет, Иван Владимирович, не забыла. Валентин Васильевич не велел никуда отлучаться. Сказал, что я теперь буду его личным секретарем.

- А-а... понятно,- проговорил я, ошарашенный такой новостью. До сих пор мы знали, что Таня - секретарша главной редакции, она и в такой роли была мало загружена. Теперь же для меня наступил период «перестройки». Мы, правда, не знали еще этого слова, но я тогда подумал: нет худа без добра - буду побольше двигаться.

По-прежнему ко мне шли люди, было много дел, и я не знал, пришел главный редактор или нет. Потом ко мне зашел Панкратов - его одновременно с Сорокиным утвердили заместителем главного по поэзии. В сфере его забот оказались и редакция национальных литератур, и молодежная редакция. У меня осталась редакция русской прозы и критики. Это было разумное решение. Панкратов сказал:

- Сорокин нервничает.

- Почему?

- Люди к нему не идут. Ему будто бы Прокушев то ли шутя, то ли серьезно заметил: не смотришься ты на фоне Дроздова. Ну, ничего - привыкай.

- Юрий Львович все тут перепутал. Сорокин молодой красивый мужчина. Он теперь лауреат и вон какой нарядный - это мы не смотримся на его фоне.

Про себя я подумал: какой точный расчет, и сколько скрытого коварства в словах Прокушева! Представил, как закипел Сорокин с его болезненно раздутым самолюбием.

Незадолго перед обедом позвали на совещание к главному. Я пришел первым, поздоровался, поздравил с началом жизни в новой роли. Сорокин отвечал смущенно, в глаза не смотрел, он весь сиял новой одеждой и клокотавшей внутри радостью.

Входили заведующие редакциями, начальники служб. Поздравляли, впрочем, сдержанно, с достоинством. Теперь могу сказать, что все эти люди - командный состав «Современника» - подбирались тщательно, с разбором. Многие - еще Андреем Дмитриевичем Блиновым, и все отличались деловитостью, большой внешней и внутренней культурой.

Сорокин начал неожиданно:

- Иван Владимирович устал, я решил серьезно его разгрузить. Отныне можете приходить в издательство всего лишь один раз в неделю. Остальное время - читайте. Сидите на даче и - читайте.

Взял со стола две верстки, уже прочитанные мною, подал их мне:

- Вот, идите - читайте. Нам надо много читать. Будем глубже вникать в литературный процесс. Читайте, не торопясь, вдумчиво - потом будете всех информировать, что мы печатаем и какие нам нужны коррективы.

Я взял рукописи, вышел. И через пять минут очутился на улице. Посмотрел на небо, глубоко вздохнул. В одну минуту понял: началось отлучение меня от издательских дел. У меня теперь будет много свободного времени.

Как-то я им распоряжусь?

Зашел в книжный магазин. Долго рылся в книгах.

Мне не был назначен день присутствия, и я сам решил приходить в пятницу. И с этим сел в троллейбус, поехал домой. Дома позвонил жене, рассказал о своей новой жизни. Она обрадовалась, посоветовала ехать на дачу.

И вот я в лесу, хожу по знакомым тропинкам, пытаюсь вспомнить сюжетные ходы, эпизоды, картины давно отлетевшей юности, бедных, но счастливых тридцатых годов, о которых решил поведать людям.

Романом давно не занимался, в голове кипели иные мысли, душу теснили тревоги - из головы, точно вспугнутая стая воробьев, разлетелись все персонажи книги, стерлись, стусевались картины тех лет, остались три-четыре главных героя да я сам. Но что с ними делать и что делать с собой - все развеялось, все смутно, темно, и в душу закрадывается тревога, что ничего не вспомню, не напишу, а если стану себя насиловать, выйдет бессвязный, пустой разговор. Его и не стоит затевать с читателем, не стоит бледные неинтересные лица вырывать из забвения и тащить напоказ всему свету.

Сколько раз являются подобные сомнения за время работы над крупным литературным произведением! И сколько раз зарекался подступаться к большому роману. «Пиши малые рассказы, ну самое многое - повесть, и то небольшую, чтобы начать и скоро кончить, чтобы не мучиться, не сушить голову длительной изнуряющей работой». Такие сомнения приходят, когда нет впереди стройного плана, не наметил ряд лиц, не сколотил нужную для романа команду, а если она и являлась в отдельные моменты, то затем, задавленная суетой жизни, распадалась, улетучивалась, как в жаркий летний день гряда высоких перистых облаков.

Нет ничего мучительнее для творцов этих накатывающихся время от времени тревог и сомнений. Я как-то поделился о них с Михаилом Семеновичем Бубенновым. Он в жизни написал три романа, а рассказов и повестей почти не писал. Помнится, я в беседе с ним позавидовал тем, кто пишет короткие вещи: рассказы, повести, очерки. Рассказывал о давнем своем товарище по работе в газетах - Юрии Тарасовиче Грибове. Так он говорил: «И как люди пишут романы! У меня на очерк едва хватает терпения. Я, прежде чем его написать, долго примериваюсь, хожу по комнате, а потом раз присяду, два,- и в три-четыре приема напишу. А чтобы засесть за роман...-да меня при одной мысли такой в дрожь бросает».

Михаил Семенович слушал меня серьезно, потом со свойственным ему образным мышлением, сказал:

- Да, все так. Люди с виду вроде бы одинаковые, а дела у всех свои. Вот и курочки тоже - мало чем отличаются друг от друга, а яйца несут разные. У одной крупные, ядреные, а другая мелкие несут, почти голубиные. Играет тут роль и склад ума человека, и характер. Один, к примеру, случай изобразит, эпизод какой-нибудь - и доволен. И многое сказать в малой форме умудряется. Чехов, например. А другой непременно хочет целый мир показать - и людей, и быт, и все подробности жизни. Жажда такая есть - широко мир представить. Вот и романисты. Такие они. И ничего тут с собой не поделаешь.

Почувяв запах свободы, я вновь обратился к роману о тридцатых годах. И теперь уж каким-то шестым чувством понимал: жизнь моя поворачивается к свободному литературному творчеству.

За судьбу «Современника» не болел. Сорокин, Панкратов, а теперь еще и Виктор Кочетков, и с ними все заведующие редакциями - молодые крепкие ребята. Славяне, патриоты русской литературы - «Современник» в надежных руках. А то, что Сорокин ошалел от радости, весь во власти административного восторга, так этого следовало ожидать. Парень до восемнадцати лет жил в глухой уральской деревне - и вдруг такая власть, такой почет, - тут у любого голова закружится.

В беседах с самим собой умышленно не брал в расчет все темное, обидное, - в конце концов, не надо смешивать общую картину обстоятельств с отношением ко мне Сорокина. У него на то есть свои мотивы, и мне незачем в них копать, тем более что в сущности из его же рук я получаю желанную свободу.

От сознания, что никто и ничего от меня не требует, что новые, счастливые для меня обстоятельства сложились помимо моего участия, я ни в чем не виноват и жизнь сама посылала мне бесценный подарок - от этого было легко и радостно, и мысли бежали все резвее. Я все чаще доставал из кармана записную книжку, восстанавливал нити повествования моей будущей книги.

Не пошел к друзьям. Вволю набродившись по лесу, вернулся домой и завалился спать. Проспал до вечера.

Шел конец апреля, дни наступили теплые. Распахнул окна кабинета во втором этаже, глубоко вдохнул душистый лесной воздух, оглядел расстилавшуюся передо мной крону молодой, ярко-зеленой листвы, - снова и снова ощутил всю полноту вдруг подаренного мне судьбой счастья.

Все мое существо жаждало покоя, отдыха - и вот он наступил, этот долгожданный покой. Какой-то внутренний голос шептал: «Не омрачай счастливых мгновений, не думай ни о чем плохом, жизнь возвращает тебя к творчеству, это твой шанс...»

Об этом состоянии всякого творческого человека хорошо в свое время сказал Пушкин:

Постигнет ли певца внезапное волненье,
Утрата скорбная, изгнание, заточенье, -
Тем лучше, - говорят любители искусств, -
Тем лучше! Наберет он новых дум и чувств...

Известно и другое поэтическое откровение: «Покоя сердце просит».

Наблюдая за своим состоянием, вслушиваясь в голоса, исходившие из глубин сознания, я не однажды ловил себя на мысли, что мозг - необыкновенная умница, что в трудные для него моменты он будто бы независимо от меня и даже помимо моей воли принимает свои, одному только ему ведомые меры и с наименьшими для себя потерями выводит себя из трудной полосы, находит резервы для продолжения жизни, и даже как будто бы еще и обновляется, заряжается новой энергией для нового броска. Может быть, это состояние описано где-то учеными, может быть, наука до этого еще не дошла, однако же несомненно, что способности такие внутри нас имеются, и я их не однажды наблюдал. Вот и здесь, в этой моей жизненной ситуации, - казалось бы, потерпел поражение, на виду у всех показал себя несостоятельным бойцом, - полез в воду, не зная броду, - ввел в конфуз себя, своих начальников, - им ведь тоже щелкнули по носу; но главное - меня фактически отлучает от дел мой близкий товарищ, человек, которого я любил и тащил за уши, во всем помогал. «Сорокин-то! - скажут знавшие нас люди. - Да он еще вчера горой стоял за Дроздова!» Да, тот самый Сорокин не хочет видеть меня в издательстве.

Не пойду к Шевцову, не стану говорить ему об этом. Он скривит рот в ехидную улыбку, скажет: «А ты что - не знал разве? Два медведя в одной берлоге не живут».

Шевцов знает. У него на все случаи жизни есть свой ответ. Но это ведь и хорошо. Но почему же я не желаю слушать анализы и прогнозы Шевцова?... Почему еще вчера такой близкий и желанный человек становится чужим, ненужным, неприятным? Не пойду я и к Фирсову. Этот со своим обыкновенным цинизмом и острым, как нож, умом прогремит

гайморитным носом, отрежет:

- Кругом одни мерзавцы и негодяи!

Говорит забавно, смешно, а - слушать не хочется.

Представил на минуту Кобзева. Этому открою душу, может, пожалуюсь на Сорокина. Мы будем сидеть на веранде, где он обычно стоит у этюдника и рисует. Ответит не сразу, подумает. Потом скажет:

- Есть русская пословица: нет худа без добра. Меня тоже принудили уйти из «Комсомолки». И что же?.. Я стал писать стихи. Я иногда с ужасом думаю: а если бы служил до сих пор - стал бы редактором, а? - Да что это такое - редактор?.. Вон твой Аджубей. И редактором «Комсомолки» был, и в «Известиях» тобой командовал, а вытряхнули из кресла, и никто! Нет, брат, ты к своему положению подойди философски, осмысли его с точки зрения будущего.

Да, к Кобзеву я пойду. И буду ходить всегда. Это хорошо, что живет поблизости Игорь Кобзев. Он живет по своим и каким-то очень умным и прочным законам. Его трудно обидеть. Он большой и сильный. Есть, правда, и у него больное место - это его стихи. Их частенько не принимают в журналах, шельмуют в газетах, но и к этим ударам он, кажется, привык. Кажется, - это, конечно, только кажется. Знаю по себе, - и даже в пушкинское «хвалу и клевету приемли равнодушно» не верю. Стихи наши, повести, романы - те же дети, и очень больно, когда над ними глумятся, топчут и терзают.

Игорь не показывает вида. Гордо, неколебимо стоит он под ударами. Слышал, как не однажды говорил: «Нет худа без добра. Они меня бранят, а я, как железо под ударами молота, становлюсь крепче. Вон, смотри - вчера мне вернули из журнала подборку стихов, а я над ними целую ночь работал. Ах, как я их хорошо укрепил, поправил! Хочешь, почитаю?»

Вот ведь любопытно: беседа с одним вселяет разлад, смятение, с другим - укрепит, вдохнет новые силы.

А все идет от образа жизни, от склада духовного. Кобзев жил высокой духовной жизнью, он изучал свет и силу.

Одно меня мучило и томило - поведение Сорокина. Слышало мое сердце: много бед может принести этот молодой, прорвавшийся к власти себялюбец.

Впрочем, тут же являлось успокоение: парень из рабочих, закалка крепкая, здоровая.

И ходил по лесу, думал, думал...

Недели через две Сорокин мне сказал:

- За дела не беспокойся, пиши свой роман, живи на даче. В другой раз и всю неделю не приходи в издательство, когда надо, я тебя позову.

И, как бы извиняясь, добавил:

- У нас будет третий заместитель - Виктор Кочетков.

- Кочетков - поэт. Три поэта в главной редакции - Свиридов не согласится.

- Свиридов пусть себе подбирает заместителей, а мы как-нибудь...

Он запнулся. Видимо, понял, что зашел за черту приличия. Добавил мягче:

- Мы контролируем положение.

Придя к себе в кабинет, я подумал: Сорокин выполняет чужую волю. «Вот она, та сторона, с которой зашел на меня Прокушев! И ведь ход-то какой! Он, пожалуй, еще и моим защитником изображать себя станет. То-то он ласковый со мной: и руку подолгу жмет, и в глаза смотрит. Подкрепление к нему пришло. Он силу почувствовал».

Смотрел в окно и думал: «С Прокушевым, Вагиным, Дрожжевым я воевать мог, но воевать со своими? Нет, на это меня не хватит».

Написал заявление об уходе, зашел к Сорокину. Тот прочел и как-то нервно, суетно замотал головой. Я решил облегчить его участь, сказал:

- Ты, Валентин, не беспокойся, я решений своих не меняю, заявления обратно не возьму. Желаю успеха.

И уехал в Радонежский лес. То была пятница, и через час-другой на дачу приехала Надежда. А вслед за ней и наши молодые: Светлана, Дмитрий и пятилетний внук Денис.

За ужином я объявил им о своем решении и Светлане сказал:

- Денис пусть живет со мной. Ему тут будет лучше, чем в детском саду.

Все молчали, но дочь обрадовалась. Ей давно хотелось, чтобы Денис жил на даче, и, кроме того, она всегда говорила, что настоящая моя судьба - свободная творческая жизнь.

Надежда с тревогой сказала:

- Тебя не будут печатать.

- Да, верно, печатать меня никто не станет. Очень уж врагов много. Но времена меняются. Придет и на нашу улицу праздник. Важно, чтобы было что печатать. Но тут уж я буду стараться.

Мне говорили, что, узнав о моем заявлении, Свиридов приказал меня разыскать. И целый день искали. Но на завтра успокоились: Свиридов меня не требовал. Видимо, подумал на досуге и решил, что без меня ему будет спокойнее. Он легко расставался и с другими строптивцами: из «Малыша» уволил главного редактора Николая Поливина, из Комитета переместил в издательство Николая Сергованцева,- его душа тоже просила покоя, а на творческую жизнь он уйти не мог,- не было у него творчества, не зацепил его бес писательства,- он был человек серьезный, государственный. И, видимо, знал, как удерживать под собой кресло, не давал всяким строптивым молодцам уж слишком сильно раскачивать его трон.

Теперь говорят: это было время застоя. Нет, хрущевско-брежневский произвол мял и душил все живое на русской земле, доламывал дворцы и храмы, уничтожал остатки государственности.

К этому времени на костях русско-славянской культуры сложился и сплавился в исполинский монолит союз швондеров и шариковых,- он, этот союз, не терпел самобытных, самостоятельных натур,- он создал гигантскую машину превращения этих натур в серых мышей, а кто не поддавался, того разминал и выбрасывал.

Швондеры захватили все вышки. Шариковы толпились около и громко, забывая все другие голоса, облизывая башмаки главного швондера, кричали: «Архитектор мира! Творец развитого социализма! Великий ленинец! Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи!»

Официально это называлось диктатурой пролетариата. На самом же деле воплощалась в жизнь давно открытая мудрецами формула: «Революцию придумывают гении, осуществляют фанатики, а ее плодами пользуются проходимцы».

Шариковы поднимали вверх швондеров, которые кидали им жирные куски.

Сорокин мне говорил: «Печатать нас с тобой будет не Свиридов, а Прокушев».

Да уж, это верно. Свиридов слыл мастером запрещать и наказывать - держать и не пущать; Прокушев держал в руках пять полиграфических комбинатов, у него в кармане умещались тысячи тонн бумаги, краска, картон, переплетные материалы.

Сорокин так усердно хвалил Прокушева, что уговорил и его, и себя,- они оба поверили в свою исключительность и уж, конечно, не казались друг другу «чокнутыми». Это был классический пример того, как и в самой неблагоприятной среде, при самых разнообразных характерах в конце концов умудренный в политических играх Швондер вырабатывает из нужного ему субъекта удобное, послушное существо, и мир получает еще одного Шарикова. Ну, а если уж сколотился у них союз,- разбить его может только бронебойная сила.

В издательстве нашем такой силы в то время не оказалось. Зашел к Шевцову, доложил:

- Ушел из «Современника». В никуда - на свободные харчи.

- Я знал, что с тобой это случится.

- Да, случилось.

- На что же ты рассчитываешь? Будешь писать? Но кто тебя будет печатать? «Современник»?.. Не будет. «Советский писатель»? Тем более. Может, ты рассчитываешь на «Советскую Россию»? Там главным редактором Сергованцев. Но он, как и все, держит нос по ветру. Тебя засекла «Литературка», будет бить каждую твою книгу - и Сергованцев знает об этом, и Свиридов знает, и во всех других издательствах знают. Кому ты нужен?.. Ты теперь для них хуже прокаженного.

- Но тебя же вот... печатают.
- Да, печатают. Но с каким трудом! И это при моих способностях пробивать рукопись.
- Один твой роман называется «Свет не без добрых людей».
- Раньше я так думал. Сейчас - не думаю.
- Что же мне делать?
- Пиши очерки. Иди в газеты - там у тебя много друзей - оформляйся нештатным корреспондентом, очерки у тебя получаются.

- А романы?
- Романы - не знаю. Я тебе сказал: писать их нет смысла. Негде печатать. А писать в стол - извини, я бы на этот медвежий труд не отважился. Если же ты думаешь, что тебя напечатают дети наши и внуки,- это химера. У детей будут свои заботы и свои проблемы. Теснота в издательствах к тому времени будет еще большей. Рать писательская прибавляется, ныне едва ли не каждый мнит себя умником и норовит вспрыгнуть на книжную полку и стать учителем человечества. Будь реалистом - возвращайся в газету.

- Ладно, Михалыч, спасибо за совет.
И перед тем, как выйти, сказал:
- Буду пчел разводить. Приходи за медом.
- Ну-ну! Мы с Фирсовым придем к тебе мед покупать.
- Приходите. Но помните: цену заломлю высокую. Мед-то у меня без дураков, цветочный.

Сорокин не оставлял меня в покое. Он почти каждый день приезжал на дачу, заходил ко мне, кричал:

- Что ты там напланировал,- идут какие-то книги, черт в них голову сломит!
Бросал мне на стол верстку или сигнальный экземпляр. И, усевшись в кресло, спокойнее говорил:

- Прочти, пожалуйста! Я тебе хорошо платить буду.
- За что платить?
- Ну... за это. Ты читай, а я оформлю, как рецензию.
- Не надо мне оформлять плату за рецензию, а про честь - пожалуй, я почитаю.
Потом, полистав книгу, замечал:
- Планировали мы ее вместе, не знаю, чем она тебя озадачила. Помню эту повесть,- написана хорошо, автор интересный.
- Хорошо, думаешь? - спрашивает Сорокин, вполне успокоившись.- А Прокушев велел читать как следует, говорит, тут что-то не так.

- А ты и читай. Ты теперь главный редактор - за все в ответе.
Валентин опять взрывался:
- А черт знает, что там за рукописи! Ты планировал, а мне отвечать!
Он был растерян, не знал ни одной прозаической рукописи, включенной в наши планы. И не был уверен, что, прочитав любую из них, сможет верно оценить книгу. Прокушев же, нащупав в нем и эту слабость, путал его, смирял нрав, понуждал во всем идти к нему за советом.

Однажды Сорокин влетел ко мне совсем растерянный, выхватил из портфеля толстенную верстку, бросил ее мне под нос.

- На, читай своего Углова! Втравил в историю!..
- Почему втравил? И в какую историю?
- Углов - хирург, его дело резать животы, пришивать кишки, а не писать книги! Ну, скажи на милость, какого черта ты всунул в план эту галиматью?
- А ты почитай верстку.
- Где я возьму время читать такую массу! Из Комитета бумаги требуют, отчеты, планы... Голова идет кругом! А тут верстка Углова. Прокушев говорит, читать ее в лупу надо, тут столько подводных камней!
- Прокушев тебя пугает, Валя. И чем лучше рукопись, тем он сильнее тебя пугает.

«Сердце хирурга» Углова - прекрасная книга, она прибавит чести издательству. И судьбу ее решали мы с тобой вместе. Ты мне и писателя порекомендовал для литературной отделки. Вспомни-ка, не ты ли мне привел Эрнста Сафонова?

Валентин заметно успокоился, спросил:

- Так что же - можно подписать, не читая?

- Я все верстки и сигнальные экземпляры читал. Это трудно, много времени пожирает, но что же делать? Главный редактор в ответе за каждую строчку.

Сорокин сделал круглые глаза. В них отразились страх и смятение. Он, видимо, не представлял, как это он будет читать все верстки. А если и прочтет - все ли разглядит в них? Да и как это умудриться тянуть весь груз издательских дел и еще каждый день читать вот такую толстую книгу?

В самом деле, задача не из легких. Нужен навык читать быстро и ничего не упускать из виду. Работа эта требует больших затрат умственной энергии. Помню, как она изматывала меня и иссушала. Сказал Сорокину:

- Углова я прочту, но, вообще-то... ты, Валентин, читай все верстки сам. Иначе не обрешь покоя и не будешь знать, что печатает издательство, как работают редакторы, заведующие редакциями.

Обыкновенно, когда ко мне приходили гости, Надежда несла нам кофе или чай. На этот раз мы сидим час, другой, но она не появляется. Когда же Валентин уходит, она говорит:

- Не хочу, чтобы он к тебе приходил. Это о таких, как он, написал мудрец: друзья - воры времени.

- Да, ты права - беспокойный он человек. С ним является дух тревоги и сомнений, он как-то плохо на меня действует. Но как ты с ним поступишь? Не скажешь же, чтобы не ходил. Нет, ты, Надежда, моих товарищей не отваживай. Я уж сам как-нибудь.

- Хорош товарищ! Такой-то и предаст, и продаст да еще и в спину толкнет.

- Ну, ты тоже... говоришь крайности. Он, хотя и поступил со мной скверно, однако, думаю, не такой уж он плохой человек.

Помолчали. Я сидел у камина, наблюдал всполохи огней от горящих поленьев. Надежда за письменным столом листала верстку книги Углова.

- Зря вы печатаете этого академика,- неожиданно сказала, отодвигая книгу.

- Почему? - удивился я.

- Потому что не сам он писал. Нельзя поощрять обман.

- Ну вот... опять у тебя крайности. Федор Григорьевич очень умный, талантливый хирург, большой ученый, и человек он замечательный. Простой сибирский паренек, а вон каких высот в хирургии достиг!

- И хорошо. И пусть бы оставался хирургом, а писателя из него делать не надо. Зря ты это... помогал ему.

- И ничего не помогал! - начинал я сердиться.- Книгу он сам написал,- и все там его, от жизни его и от сердца.

- А зачем же писателя в помощь давал? Я же знаю, что это за помощь. Ты тоже «помогал» маршалу Красовскому писать мемуары. Я же помню - в ванной по ночам сидел. Вон она, та рукопись, на полке лежит. Я потом с книгой сверила. Там и строчки одной от Красовского нет. А деньги получали вместе: ты половину и такую же половину - маршал. Ты в Литинституте учился, мы тогда каждую копейку считали, а он... деньги твои не постеснялся взять. Не чистое это дело!

- Там - да, маршал рассказал мне о своей жизни, документы разные дал, к архивам допустил. Я и писал книгу, а тут - иное. Федор Григорьевич сам написал, мы же почистили текст, «причесали» стиль.

- Вот-вот... почистили, причесали,- слова находишь круглые. И фамилию писателя обозначили. Вон...- «Литературная обработка Э. Сафонова». Потом, при других изданиях книги, фамилия Сафонова отпадет,- как с тобой случилось,- а Федор Углов останется. И будет о нем думать читатель: ишь ведь,- хирург, а и писать умеет, и как еще пишет - лучше

иного писателя! Вот и выйдет из этой твоей затеи: обманули читателя, обманули и самого Углова. С ним ведь что получится? Сафонова невзлюбят. Ему одно упоминание о бывшем помощнике будет неприятно. И во всех разговорах о книге он его имя никогда не назовет, а все похвалы, если они будут, на свой счет примет. И так до конца жизни: его хвалят, а он улыбается, красуется перед людьми. Да, книга моя, вот видите, каков я, не только хирург, но и писатель вон какой! Одним словом, обман кругом. Нехорошо это.

- Ну вот, Сорокин нагнал волнения, а и ты тоже... В случае с Угловым не будет этого... ну, того, что с Красовским было. Углов - человек большой, красивый. Ему и своей славы хватает, а Сафонова он везде вспомнит и должное ему отдаст. Не верил бы я ему - не принял бы рукопись. А вообще-то у тебя сегодня плохое настроение - Сорокин на тебя хандру нагнал. Не знаешь человека, а уже судишь о нем.

Надежда подошла ко мне, обняла мою голову.

- Не сердись на меня. Но только скажи мне: ты бы принял такую «литературную» помощь?

- Я? Да ты что?

- Ну вот. И я бы не приняла. А вот Красовский и Углов - приняли. С таким-то характером легче достигают большого положения в жизни.

И, прежде чем выйти, добавила:

- Успокойся. Не терзай душу. Такие вот мы - верим людям.

Ушла, а я еще долго сидел и наблюдал игру ложных огней электрического камина.

Грустно и муторно было на душе. Вздрыбились волны сомнений, и мне уже не работалось.

Сорокинская истеричность доставала меня и в Радонежском лесу. Он хотя и заходил ко мне теперь реже, но дела его и поступки, калеча судьбы людей, рикошетом ударялись и в мое сердце.

Как-то приехавший ко мне профессор Валерий Павлович Друзин рассказал историю Алексея Емельянова - бывшего моего однокашника по Литинституту. Незадолго до моего ухода из издательства Емельянов пришел ко мне и попросился на работу редактором.

- А что в «Сельской жизни»? - спросил я у Алексея.- Газета - орган ЦК, и ты там, кажется, не последний человек.

- Да, у меня там хорошее положение, но я литератор, и газета мне не по нутру. Хотел бы быть поближе к литературе.

Я пригласил Целищева и Сорокина,- они знали Емельянова и были ему рады. Я позвонил Прокушеву - тот не возражал, и мы предложили Емельянову оформлять документы. Но, пока он оформлял расчет, я ушел из «Современника». Когда же он вновь пришел к Сорокину, тот сказал:

- Я передумал. На работу мы вас не возьмем.

- Как? - удивился Емельянов.- Мы же договорились. Я наконец из газеты ушел, расчет оформил.

- Ничего не знаю. Нам пока редакторы не нужны.

И Емельянов ушел.

Я в тот же день приехал в Москву, позвонил Емельянову, хотел сказать ему, что пойду к Карелину и если Сорокин будет упорствовать, устроим его в другое издательство,- хотел сказать ему все это, но мне ответили: «Емельянова нет. Он умер». В другом месте сказали: «Пришел от Сорокина и в ванной повесился».

Это был удар, после которого я едва отдышался. А когда пришел в себя, позвонил Сорокину. Тот в трубку закричал:

- А-а!.. Навязал мне пьяницу! Упился в стельку - вот и повесился.

Я ничего ему не сказал, положил трубку. На душе было скверно. Вечером позвонил на квартиру Прокушеву, сказал, что в смерти Алексея Емельянова виноваты мы все,- и я в том числе,- и что надо издать хорошую книгу этого писателя.

- А у него есть что издавать?

- Думаю, что есть. Он еще в Литературном институте писал хорошие рассказы.

- Ладно. Мы это сделаем,- сказал Прокушев.

Книга Емельянова была издана.

После этого случая мое отношение к Сорокину круто изменилось. Я вдруг понял, что действия и поступки его непредсказуемы, истеричность и капризы опасны. И я пожалел, что живописал его достоинства Свиридову.

Горько и обидно было сознавать, что и в пятьдесят лет способен так ошибаться в людях. Невольно подумалось, что вот жена моя и не ходила ни в каких начальниках, не руководила людьми, а порчу в человеке лучше меня видит. Случись ей быть на моем месте, не давала бы она ходу таким сомнительным молодцам, как Сорокин.

Ехал я на электричке в свой Радонежский лес, смотрел в окно и думал, думал. И не о том, как дальше плести кружево глав, картин, эпизодов в романе,-думалось о близком, волновавшем ум и сердце. Стала вдруг болеть душа о деле, попавшем в руки Сорокина, о судьбах многих и многих дорогих мне людей. Вдруг и с ними... как с Емельяновым?..

Как раз в это время заканчивал первую часть романа, хотел отдать его Сорокину. А теперь?.. Да разве можно такому человеку доверить свое, рожденное в муках детище? Но куда же понести рукопись?

Издательств в Москве много, но художественную литературу печатают лишь в нескольких. И в каждом таком издательстве я знал обстановку, директора, главного редактора. Они были русскими, носили славянские фамилии, но лишь единицы казались мне надежными. У большинства из них было такое положение, как у Гребнева в «Известиях». Формально он имел большие права, но фактически его действия были блокированы массой его же подчиненных. Они решали, кого избрать в партийное бюро, а если его, Гребнева, не выберут, это означало, что партийная организация отказала ему в доверии. По формальным фарисейским законам, царившим внутри партии, такой человек лишался и должности. Вот и сидит такой начальник смиренненько, тихонько, не смея выразить свою волю. В таком положении были начальники в издательствах, которые меня знали и в иных условиях могли бы поддержать.

Впрочем, был у меня один выход. Его подсказывал мне Шевцов: написать спокойный, никого не задевающий роман. Но кому нужна такая книга? Разве что для гонорара?

Но нет, пусть уж моя дорога будет трудной, тернистой, но это моя дорога, и я пойду по ней дальше.

Между тем, дела издательские продолжали меня доставать. Не успела зажить одна рана, как была нанесена другая, на этот раз особенно глубокая и болезненная: в издательстве довели до истерики и вынудили уволиться Марию Михайловну Соколову - младшую дочь Шолохова. Как раз в это время Михаил Александрович тяжело болел, и вести из столицы добавили ему горечи. Он писал в ЦК, просил помочь, но его просьбу оставили без внимания. Было ясно: травля великого русского писателя продолжается.

Звонил Марии Михайловне, успокаивал ее. Говорил со Свиридовым - он слушал и молчал. Трудное это было молчание. Министр, а не уберег! Печально это было сознавать: даже у него силенок не хватало.

Тайная темная рать - злая бесовская сила - обложила нас, обезоружила. Я настежь распахивал окна во втором этаже, в кабинете, смотрел на лес, где шестьсот лет назад на берегу крохотного озерца, превращенного затем в Монастырский пруд, разбил свой скит великий заступник России Сергей Радонежский. Смотрел и думал: «А сейчас нет у нас заступника, и когда он придет на русскую землю - никто не знает».

1990 год